

Дмитрий Нич

МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

1960-80-е ГОДЫ

ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

Личное издание, 2011

**Дмитрий Нич**

**МОСКОВСКИЙ РАССКАЗ**

**ЖИЗНЕОПИСАНИЕ**

**ВАРЛАМА ШАЛАМОВА**

**1960-80-е ГОДЫ**



Личное издание, 2011

© Оформление И.Г.



**Дм. Нич**

**Московский рассказ. Жизнеописание Варлама Шаламова, 1960-80-е годы.** – Личное издание, 2011. – 454с. PDF

Книга представляет собой по возможности детальную и внутренне непротиворечивую версию событий, происходивших с Шаламовым в контексте его творчества, его целей и его обстоятельств в 60-80-х годах, в период поисков и утверждения его гением самых радикальных способов преобразования концентрационной вселенной в поэзию.

© Дмитрий Нич

Тиражировать в Сети – **на некоммерческих сайтах** – можно, но только с моего разрешения (через личное сообщение Iaku-lok в нижеуказанном блоге) и со ссылкой на сообщество «Варлам Шаламов и концентрационный мир» [http://community.livejournal.com/ru\\_prichal\\_ada/](http://community.livejournal.com/ru_prichal_ada/)

## Содержание (интерактивное)

<i>О книге Глеб Морев</i> .....	5
<b>От автора</b> .....	7
<b>Предыстория</b> .....	12
<b>60-е годы, первая половина</b> .....	19
1960 .....	20
1961 .....	21
1962 .....	26
1963 .....	35
1964 .....	44
<b>60-е годы, вторая половина</b> .....	60
1965 .....	61
1966 .....	108
1967 .....	137
1968 .....	160
1969 .....	230
<b>70-е годы, первая половина</b> .....	235
1970 .....	237
1971 .....	246
1972 .....	266
1973 .....	286
1974 .....	296
<b>70-е годы, вторая половина</b> .....	303
1975 .....	304
1976 .....	312
1977 .....	318
1978 .....	323
1979 .....	332
<b>80-годы</b> .....	343
1980 .....	344
1981 .....	363
1982 .....	375
<b>Несколько слов об архиве Шаламова и его распорядительнице Ирине Сиротинской</b> .....	387
<b>Основные события жизни и творчества Шаламова 1960-80-х годов</b> .....	396
<b>Приложения</b> .....	404

## О книге

В истории русской литературы послесталинской эпохи, целиком доступной уже историко-литературному описанию, выделяются три биографических сюжета, относящиеся к авторам, которые – в традиционном российском понимании – являются ее «великими писателями». Это, разумеется, Солженицын, Бродский и Шаламов. Если два из них можно кратко описать как «романы литературного триумфа», то третий – шаламовский – как «роман литературного краха»\*. В то время, когда тюрьма и пуля перестали быть решающим аргументом в разговоре художника и государства, первым двум, пусть и очень по-разному, удалось выйти из этого всеопределяющего в тогдашней культуре разговора победителями, а Шаламов – при том что, казалось бы, обладал тем же, необходимым для победы, арсеналом – потерпел в нем поистине сокрушительное поражение. Осознание этого поражения в начале 1970-х, на мой взгляд, стало – в отличие от лагеря – разрушительным для него как для человека.

Нынешнее мировое признание Шаламова никак не снимает острого чувства несправедливости его писательской и личной судьбы. Очевидно, именно это чувство двигало Дмитрием Ничем в его биографическом повествовании о послелагерной жизни Шаламова. Эта внимательная, информативная и грустная книга открыто пристрастна, эмоциональна и полемична. Весь текст Дмитрия Нича пытается ответить на один из главных русских вопросов: кто виноват? Скажу сразу: с ответом и со многими оценками автора я не согласен. Здесь не место подробно аргументировать свою позицию; в двух словах: в отличие от Нича я склонен видеть причину шаламовской катастрофы не снаружи, не среди посторонних писателю сил и обстоятельств, но в нем самом, в

складе и особенностях его личности и новаторской поэтики. Однако самая постановка автором этого вопроса применительно к шаламовской литературной биографии – в сочетании с обширным фактическим материалом и убедительными реконструкциями – кажется мне чрезвычайно продуктивной.

\* *Используя mutatis mutandis давнее определение А.И. Рейтблата.*

Глеб Морев



## От автора

К 30-летию со дня смерти

*Больше, чем я есть, я не хочу, чтобы меня показывали – ни современники, ни потомки, ни предки[...] Никакой компиляции из истории, истории, написанной до Хиросимы. Чтобы сохранить если не живую душу, то хоть скелет духовный.*

***Шаламов***

Подступы к достоверной послелагерной биографии Шаламова страшно затруднены. Этот человек не дал ни одного интервью. Единственная киноплёнка, на которой он запечатлен – предсмертная, и та недоступна. Письма его опубликованы, но не все. В собрание переписки не включены письма, уже публиковавшиеся в периодике, но в поле зрения издателя шаламовского наследия не попавшие. Часть их включая письма корреспондентов Шаламова, а это не менее двух сотен писем и записок, не обнаружена сознательно (для примера: из 16 писем Галине Воронской опубликовано только четыре, из 49 Якову Гродзенскому – только 17, из 13 Ольге Неклюдовой, хранящихся в ее архиве в РГАЛИ – только 2, из 21 Солженицыну – только 16 включая неотправленные, из 60 Юлию Шрейдеру – только 21), часть – причем важнейшая – уничтожена. Записные книжки его скупы, отрывочны, изданы далеко не полностью и лишены необходимого подробного комментария. Проза его не отражает событий послелагерной жизни, о ней повествуют единичные тексты вроде рассказа «Академик» и наброска «Вставная новелла».

Воспоминания о нем крайне недостаточны. Их можно разделить на несколько групп. Первая – безыскусные, скудные показания как правило о каком-то одном событии или их короткой – в силу хронологических рамок либо прерывистости – цепочке (Иван Исаев, Михаил Левин, Майя Муравник, Александр Солженицын, Галина Воронская, Татьяна Леонова), свидетельства самого общего характера с незначительными вкраплениями реалий (Федот Сучков, Олег Волков), заметки людей, лишь мимоходом сталкивавшихся с Шаламовым и оставивших свои кратчайшие впечатления от него, нередко анекдотические или беллетризованные (Геннадий Айги, Лилиана Лунгина, Анатолий Михайлов, Евгений Федоров, Геннадий Красухин, Наталья Иванова). Вторая – рассказы московских знакомых из литературной среды, лучше знавших и ценивших Шаламова, но в атмосфере почти полной неосведомленности общества об авторе «Колымских рассказов» спешивших поведать о его величии как творца и поделиться соображениями о его творчестве и мировоззрении в ущерб ему самому (Вячеслав Вс. Иванов, Юлий Шрейдер, Сергей Григорьянц, Олег Чухонцев). Третья – пространные и часто путанные мемуары Бориса Лесняка, отравленные антипатией к бывшему лагерному товарищу и совершенно игнорирующие масштаб этой личности; непосредственный, растерянный, почти бессвязный, однако, несущий массу драгоценных подробностей поток речи Людмилы Зайвой; строгие и детальные, но повествующие лишь о «последних днях» жизни Шаламова заметки Елены Захаровой и, наконец, имеющие статус наиболее чтимого и уважаемого свидетельства воспоминания Ирины Сиротинской – на протяжении многих лет самого близкого Шаламову человека, пережившего с ним все надежды и разочарования второй половины шестидесятых – начала семидесятых годов, но сложившего тошнотворно сентиментальный, мировоззренчески и художественно беспомощный и полный лжи умолчания миф, не способный ни пробудить доверия читателя, ни закрепиться в его сознании, а лишь внушающий недоумение обилием противоречий, которые приписываются характеру Шаламова как человека и стечению не зависящих от него обстоятельств и находят в них объяснение – если натура и рок вообще нуждаются в объяснениях. Можно сказать, что извращение пропорций в картине целого и умышленное замалчивание всего, что обнаружило бы предвзятость Сиротинской, делают ее мемуары худшим из видов лжи – это образец умаления и выхолащивания превозносимого за счет изъятия всего, что есть его существо. Другими словами, читавшему их труднее понять и оценить Шаламова, чем не читавшему.



Люди, которых можно было бы назвать друзьями Шаламова и его близкими, воспоминаний о нем не оставили. Ни строчки не написали о Шаламове ни его первая, Галина Гудзь, ни его вторая, Ольга Неклюдова, жены, пасынок, Сергей Неклюдов, ограничился коротким малоинформативным этюдом под названием «Третья Москва». Не нарушили молчания Андрей Пантюхов, Наталья Столярова и Леонид Пинский. Лишь дважды между делом упомянула Шаламова во «Второй книге» Надежда Мандельштам.

Не оставили свидетельств или едва обмолвились о нем люди, которые по дружбе или по службе состояли с ним в многолетних тесных отношениях. Это относится как к человеческому окружению Шаламова, представленному Георгием Демидовым, Натальей Кинд, Верой Ключевой, Яковом Гродзенским, Валентином Португаловым, Моисеем Авербахом, Еленой Кавельмахер и другими, так и к литературному миру, в силу естественных причин вовлекавшему Шаламова в общение с сотрудниками редакций, издательства и вообще писательской средой – от Бориса Слуцкого, Владимира Лакшина и Олега Чухонцева до Бориса Полевого и Виктора Фогельсона.

Чрезвычайно важным обстоятельством для биографа Шаламова является то, что практически на протяжении всей своей жизни этот человек находился под неусыпным контролем советской тайной полиции, сопровождавшей его до могилы и значительно позже – по меньшей мере до конца восьмидесятых годов, когда доступ к архиву Шаламова получили пусть немногие, но хоть кто-то. Досье на Шаламова, о котором я не имею никаких сведений – и если оно не уничтожено, – должно быть кладезем письменной, фото-, кино- и, возможно, аудиоинформации (напомню, что, по рассказам Андрея Синявского, стены его и Даниэля квартир прослушивались на протяжении многих месяцев, и обвинения подкреплялись дословной расшифровкой бесед, которые они вели с глазу на глаз, а Шаламов всю жизнь прожил в коммунальных квартирах, где такого рода записывающие устройства могли располагаться сбоку, сверху и снизу; хорошо известно о прослушке квартиры Теуша в ходе слежки за Солженицыным, и вообще, говоря словами последнего, прослушка и перлюстрация в СССР – это как муха села, муха улетела). Этот полицейский надзор резко ограничивает как-либо задокументированные высказывания Шаламова по самым важным актуальным и общего порядка вопросам. Прекрасно зная, что окружен стукачами и наружными наблюдателями (зафиксировавшими, например, факт встречи в доме Шаламова Солженицына с Натальей Столяровой), самые важные вещи Шаламов обговаривал без посторонних, на свежем воздухе, как об этом свидетельствует Борис Лесняк,

а Сергей Григорьянц и невропатолог К. вообще говорят о рефлексе ээка, замолкавшего в присутствии третьего, поскольку третий, по нормам сталинского правосудия, считался тем свидетелем, показания которого гарантирует срок.

То же самое относится и к письмам Шаламова, и к его дневникам – письма и записные книжки не могли содержать сообщений или рассуждений, способных быть инкриминируемыми как подрывные и уголовно наказуемые – тайны частной переписки в условиях полицейского государства не существует, а «оргия обысков» (Сергей Соловьев), которым подвергся Шаламов в связи с его «Письмом старому другу» для сборника материалов по делу Синявского и Даниэля, дополняется неясным сообщением Сиротинской о «несанкционированном обыске» в конце семидесятых годов, добыча которого была продана музею Шаламова в Вологде бывшим сотрудником Комитета госбезопасности (ФСБ), дословно: о «сенсационной покупке в 1995 году Вологодской картинной галереей «похищенного» якобы полковником КГБ при несанкционированном обыске в отсутствие Шаламова. (Галерея хранит инкогнито похитителя)».

В совокупности все это делает послелагерную биографию Шаламова скоплением белых пятен, заполнить которые можно только опираясь на ясное представление о характере и целях этого человека и факты, рассортированные по степени важности и организованные внутренней логикой. В отношении Шаламова метод Юрия Тынянова начинать там, где кончается документ, не работает – во множестве случаев нет даже документов, пусть тенденциозных или намеренно наводящих тень на плетень. Часто о важнейших событиях сохранилось несколько строчек, а то и слов, погребенных в горах словесного мусора и требующих для нахождения целенаправленных поисков и самого пристального внимания. Пример такой крупницы сведений – единственная во всей шаламовиане обмолвка Сиротинской в интервью Джону Глэду, тщательно, кстати, замалчиваемом ею впоследствии, о передаче Шаламовым списка «Колымских рассказов» на Запад через Надежду Мандельштам.

Помимо прочего, материалы, которыми я располагаю (кроме книг самого Шаламова), в силу обстоятельств ограничиваются исключительно имеющимися в Сети, это скудный, недостаточный материал, но другого у меня нет. Я считаю позором для остатков русского культурного слоя, что спустя тридцать лет после смерти Шаламова не существует какой-то его связной послелагерной биографии – принимая во внимание, что и в России, и за границей Шаламовым профессионально занимаются специалисты, имеющие доступ ко всем библиоте-

кам мира и архивам, содержащим все необходимое для исследователя. Это жизнеописание, таким образом, можно сравнить с реконструкцией облика афарского австралопитека, как она описана, например, у Иди и Джохансона. Замещенные минералами обломки скелета можно сложить и так, и этак. Их слишком мало и они слишком повреждены. От послелагерной биографии Шаламова остались одни обломки, которые приходится выискивать в разрушенных, переотложенных, чрезвычайно замусоренных слоях минувшей эпохи. Допускаю, что их можно сложить по-разному. Я предлагаю свою реконструкцию.

И наконец, хочу подчеркнуть: я не биограф Шаламова, я его благодарный читатель, но если профессионалы заняты чем-то более важным, за дело приходится браться любителю. Я считаю это своим человеческим и читательским долгом.

Очерк, таким образом, представляет собой по возможности детальную и внутренне непротиворечивую версию событий, происходивших с Шаламовым в контексте его творчества, его целей и его обстоятельств в 60-80-х годах, в период поисков и утверждения его гением самых радикальных способов преобразования концентрационной вселенной в поэзию.

В этой работе я использовал материалы, выложенные в русскоязычном интернете на июль 2011 года. Я не собираюсь возвращаться к ней с появлением новых фактов, наоборот, моя задача – стимулировать отыскание этих фактов и выдвижение альтернативных, быть может, более обоснованных версий послелагерной биографии Шаламова. Могу гарантировать ссылки на все свидетельства, которые я использую, и добросовестность в обращении с ними, но не достоверность всего, что в них сообщается. Имена тех, на чьи показания я опираюсь, даны в скобках после цитат или изложения фактов.

Благодарю Сергея Ивановича Григорьянца за возможность поделиться некоторыми соображениями.



## Предыстория

В конце 1953 года Шаламов покидает район Оймякона на границе Магаданской области и Якутии, где отбывал ссылку, и возвращается в Москву. По условиям освобождения, проживать он может не ближе, чем в 101 км от столицы. Он находит работу мастером в Управлении торфяными разработками в Калининской области, а летом 1954 переходит на работу снабженцем, живет в Решетниково, в Озерках, в поселке Туркмен, пользуясь здесь богатой библиотекой, собранной ссыльным Караевым, и приступает к созданию своего колымского эпоса, который, согласно его замыслу, должен включать сто рассказов и очерков. Ютится он по разным рабочим общежитиям, в комнатах на несколько человек, с пьянкой, драками, казенным постельным бельем, неизменными советскими тумбочками, дивится граффити в общественных сортирах на станциях, пишет, что на Колыме такого не видел.

Тепло принятый Пастернаком, с которым переписывался еще в бытность фельдшером в Кюбюме и Томторе на полюсе холода, он становится свидетелем написания и одним из первых рецензентов «Доктора Живаго»; книга принесет Пастернаку Нобелевскую премию, но подтвердит убеждение Шаламова, что толстовский реалистический роман исчерпал себя окончательно и будущее – за жанрами, порвавшими с этой выморочной традицией. Факт тесной близости Шаламова к созданию скандальной книги и знания всех дальнейших перипетий этой истории очень важен – на глазах Шаламова Нобелевская премия по литературе из потусторонней заграничной абстракции превращается в советскую повседневность со всеми сопутствующими житейскими интригами, карательными мерами государства, общественным мессиджем, столь значимым в традиции русской литературы, междуна-

родным резонансом, отталкивающей, но и притягательной своими масштабами механикой создания бренда, к которой подключены спецслужбы и идеологическое обеспечение обеих сторон, – тайная уверенность Шаламова в том, что он рожден для великих дел и предназначен стать гордостью России, получает наглядный пример для подражания и образец осуществления этих замыслов – при том, что собственный талант прозаика и собственный жизненный опыт Шаламов, при всем его глубочайшем почтении к Пастернаку-поэту, ценит гораздо выше.

В 1965 году их отношения драматически рвутся, виной чему Ольга Ивинская, подруга Шаламова еще тридцатых годов и нынешняя любовь Пастернака, по мнению Шаламова, использующая «расположение» поэта в самых низменных целях, впрочем, и Пастернак в этой связи лишь иллюстрирует некое положение Мечникова о склонности творческих натур на склоне лет к утрате нравственного достоинства и падению. Разрыв для Шаламова глубоко травматичен, рана будет кровоточить долгие годы, однако, согласно психоаналитику Александру Большеву, ссора «открывает последний клапан» для его «зрелого творчества» – «феномена Шаламова, каким мы его знаем – с яростным богоборчеством, столь же яростным неприятием толстовского гиперморализма, с резкими выпадами в адрес покойного мученика-отца и, наконец, с уникальной колымской прозой». Звучит довольно убедительно, если забыть о том, что «уникальная колымская проза» пишется уже третий год, а поздним резким выпадам в адрес отца будет предшествовать полный сострадания и сыновних чувств рассказ «Крест». В отношении Пастернака Шаламов впервые использует термин и понятие «живого будды», который потом будет применять к людям, призванным являть нравственный пример во плоти, эта моральная концепция не выдержит испытания жизнью и, очищенная от дидактики, будет унаследована поэзией.

В августе 56 года Шаламов получает реабилитацию по обвинениям 37 и 43 годов, что дает право жить в Москве, и тут же пишет жене, Галине Гудзь, с которой фактически не прожил и трех лет и брак с которой совершенно разрушен семнадцатью годами разлуки: «Думаю, нам ни к чему жить вместе... Наши пути слишком разошлись...». С дочерью Шаламов за три года «не имел возможности поговорить по душам... Поэтому и сейчас мне нечего ей сказать». Дочь, уже замужняя, шлет в ответ осуждающее морализаторское письмо, обращаясь к отцу на «Вы», она воспитана в духе советского конформизма и всецело на стороне матери, дочь Шаламов потерял навсегда. В поведении жены, предшествовавшем разрыву, он – едва ли справедливо – видит

только рваческие поползновения человека, волей случая приобщенного к высшему литературному свету и его обещаниям. Позже Шаламов не раз выскажется в том смысле, что сделать карьеру де Голля было не поздно и в 1956, но для этого требовалась более прочная опора, чем его тогдашняя семья. Опоры в виде семьи он уже не найдет.

Вторую семью он пытается создать с Ольгой Неклюдовой, к которой переезжает на Гоголевский бульвар, в коммуналку – из коммуналок Шаламов тоже уже не выйдет. Судя по их переписке, Ольга – милая, домашняя, измученная жизнью женщина с ребенком на руках, писательница традиционной манеры и либеральных взглядов, склонная к тихому пьянству и меланхолии, такой человек может создать домашний уют, но быть опорой в наполеоновских планах, конечно, не в силах. Ей принадлежит фантастическая повесть «Питомцы музы» и ненапечатанный роман «Ветер срывает вывески», проникнутый, как кажется, робкими надеждами «оттепели». На фотографии, сделанной в ходе слежки за Шаламовым, это некрасивая, изможденная, темноволосая женщина, почти его ровесница – выбор, сделанный Шаламовым на скорую руку в суматохе послелагерных лет, на который, без сомнения, повлияло и то обстоятельство, что если даже реабилитированный и имеет право на жилплощадь в столице – в письмах ходатая Шаламова по квартирным делам Моисея Авербаха такая возможность упоминается, не знаю, насколько реальная – то осуществить это право Шаламову стократ тяжелее и проблематичнее, чем обосноваться в Москве через брак. По словам его колымской знакомой, Елены Мамучашвили, к женщинам у Шаламова отношение прагматическое, но в действительности, конечно, это отношение намного сложнее – сложнее даже того «рокового, страшного физического совпадения человеческих пар, неудержимой тяги друг к другу», которую принимают за несуществующую любовь – именно любовь продиктует Шаламову его нежнейшие письма к Сиротинской, его преувеличенное мнение о ее дарованиях, его бесконечное, месяцами, ожидание встречи. В записных книжках Шаламов сравнивает Анну Сниткину с Гелей Генисаретской, покончившей с собой на могиле Есенина, и без колебаний, с тайной мечтой о такой женщине, отдает предпочтение второй, однако, такой женщины судьба ему не подарит. Едва ли они вообще оставались в России после нескольких десятилетий отрицательной селекции и низведения общества к «нравственному нулю». Так или иначе, брак с Неклюдовой позволяет получить законную московскую прописку, что еще не означает получения сколько-нибудь нормальных условий жизни. В донесении стукача (тайную полицию информируют о Шаламове

несколько ее секретных сотрудников) от 1956 года говорится: «Директор торфопредприятия относится к нему хорошо», – благодаря дружбе Шаламова с управляющим торфо-трестом Опенченко, другом молодости. «В Москву сейчас он не приглашает. Комната у него очень маленькая. Сам он там, в семье, почти не бывает». Вскорости, однако, он оставляет работу снабженца и переезжает домой, рассчитывая урегулировать жилищные проблемы на месте, найти работу и восстановить литературные связи.

Цикл собственно «Колымских рассказов», давший название всему эпосу, начат параллельно с работой на торфоразработках в 54-55 годах.

Из колымских друзей у Шаламова к началу шестидесятых остаются трое – глазной врач Федор Лоскутов, «лагерный доктор Гааз», врач-терапевт Андрей Пантюхов и инженер Борис Лесняк, засвидетельствовавший это со слов Шаламова. Все трое – иногородние. Почему-то не упомянуты Аркадий Добровольский и потерявшийся на послеколымских этапах инженер и писатель Георгий Демидов, которого по нравственным качествам Шаламов ставит рядом с Энрико Ферми, кроме того, Шаламов продолжает поддерживать связи с театральным режиссером Леонидом Варпаховским, историком фотографии Леонидом Волковым-Ланнитом, дочерью известного литературного критика и троцкиста Александра Воронского Галиной и другими бывшими лагерниками, проживающими в столице. Друг Шаламова еще по студенчеству Яков Гродзенский живет неподалеку, в Рязани.

В Москве Шаламов находит работу внештатным корреспондентом одноименного «толстого» журнала, небольшая группа, в составе которой он работает, пишет статьи и очерки для рубрики «Смесь». В ответ на венгерскую революцию кулак идеологического террора опять произвольно сжимается. В 1957 году лагерный товарищ Шаламова магаданец Аркадий Добровольский (в конце 60-х он, подобно Шаламову, умрет в доме престарелых, на известие о чем Шаламов пророчески отреагирует загадочной и безжалостной фразой: «Я не считаю ошибкой передачу в инвалидный дом человека в таком состоянии [...] и не только потому, что «жизнь есть жизнь», а потому, что Колыма – это более сложная штука» – в письме Ореховой) в третий раз арестован по обвинению в антисоветской агитации, как квалифицирует власть его высказывания о вторжении советских войск в Венгрию. Шаламов внимательно следит за происходящим через его жену, Елену Орехову, однако осенью 58-го Добровольского освобождают – этот

рецидив, связанный со спецификой лагерной периферии империи, идет вразрез с политикой десталинизации, которую – в рамках, естественно, советской социалистической системы – упорно утверждает Хрущев.

Вся эта политическая и бытовая неопределенность, разрыв с Пастернаком, развод, последствия лагерей и жизни в ссылке тяжело сказываются на здоровье. В 57 году Шаламова госпитализируют в Институте неврологии Боткинской больницы. Припадок, который настигает его на улице и с которым он попадает на больничную койку, описан в потрясающей медитации, открывающей цикл «Артист лопаты». Под нажимом редакции его подвергают тщательному обследованию и диагностируют болезнь Меньера – нарушения работы вестибулярного аппарата, по словам Шаламова, мучившие его с детства, со времен Вологды, когда он терпел насмешки товарищей за боязнь лазать по крутым лестницам. Он получает инвалидность и пенсию в 42 рубля, жить на которую в Москве, разумеется, невозможно. Подрабатывает он очерками и внутренним рецензированием в журнале «Новый мир». Этим тяжелым, изнурительным годом не датировано ни одного рассказа.

Подборки стихов из «Колымских тетрадей», которые он впоследствии назовет «дерьмом двадцатилетней давности», печатаются в журналах «Знамя» (попечением завпоэзией Людмилы Скорино) и «Москва» (соответственно – Евгении Ласкиной, мелькающей на полях его биографии до самой могилы в Кунцево) – в общей сложности одиннадцать стихотворений из сотен написанных. «Многие журналы Союза брали у меня стихи в 1956 году, но в 1957 г. вернули все назад». Тем не менее, в самиздате они ходят. Солженицын читает их уже в пятьдесят шестом, ощущая некую братскую взаимосвязь с незнакомым автором. Это опровергает слова Сергея Неклюдова, что «стихи «Колымских тетрадей» и «Колымские рассказы»... знал лишь самый узкий круг друзей». Солженицын не относился тогда к кругу друзей Шаламова и вообще был никому не известным рязанским учителем. С рассказами Шаламов более осторожен. В опубликованных донесениях стукачей по 59 год о них не упоминается, вообще нет упоминаний о какой-либо его прозе, хотя за это время написаны от сорока до пятидесяти текстов трех циклов КР и «Очерки преступного мира» – чуть меньше половины задуманного, на самом же деле треть корпуса КР по его завершении в начале семидесятых.

В пятьдесят седьмом семья переезжает в новую коммуналку, на Хорошевском шоссе близ станции метро «Беговая», где у них две ком-



наты, меньшую из которых сначала занимает пасынок Шаламова подросток Сережа.

В мае пятьдесят девятого он снова оказывается в Боткинской – на сей раз в отделении уха-горла-носа. Там его посещает знакомый, осведомитель тайной полиции, косноязычно отчитывающийся:

«Здоровье Шаламова за последнее время сильно пошатнулось... все больше и больше ухудшается его моральное состояние. Он стал больше брюзжать,.. злобно охаявая советскую литературу, кино, музыку. Шаламов считает, что Пастернак сделал непростительную ошибку, написав свои письма Хрущеву и отказавшись от Нобелевской премии. По мнению Шаламова, Пастернак должен был «оставаться стойким до конца», то есть взять Нобелевскую премию и «не отвечать ни единым словом на собачий лай». Однако Пастернак... «струсил... в то время, когда, поступив правильно, он сделал бы в России переворот в отношении правительства к литературе и литераторам...» Шаламов... не видит на ближайшее время никаких перспектив «к улучшению литературной обстановки в стране»,.. и высказывал много других пессимистических фраз. Шаламов немного подрабатывает на внутренних рецензиях для журнала «Новый мир», жена его тоже имеет случайные не систематические заработки,.. семья... материально несколько стеснена, и это тоже накладывает свой отпечаток на настроения».

Пастернак к тому времени исключен из Союза писателей, но остается членом Литфонда, членом которого долгие годы будет и Шаламов, отвергающий предложения вступить в преступную советскую писательскую организацию.

О принципах своей «новой прозы» он думает неотступно, но формулирует их пока крайне невнятно.

«...в каждом рассказе – великое равновесие слов».

«...жизнь, но не отражение жизни».

«Проза достоверности, звучащая как документ,.. авторское ручательство...»

Не проза мемуара... Мемуар – это другое... проза будущего достоверна.

Не очерк, а художественное суждение о мире, данное авторитетом подлинности».

«Колымские рассказы» жанрово разнородны. Натуралистические зарисовки, сюжетная беллетристика, очерки группируются вокруг ядра той диковинной, невероятной по силе и эстетической новизне

«новой прозы», о которой Надежда Мандельштам скажет, что это, «может, и вообще лучшая проза двадцатого века». Небывалое искусство повествования, которое изобретает и отработывает Шаламов в пятидесятых годах, должно отвечать абсолютной новизне его опыта и уметь запечатлеть этот опыт в не подверженной действию агентов выветривания беспорочной бессмертной притче. Задача внутренне противоречивая, поскольку мир колымского эпоса не оставляет художнику средств для его освоения. В мире колымского эпоса поэзия упразднена радикально. Такого вызова она еще не знала. Этот вызов ставит под сомнение ее высший статус.

Начать хронику блокады «Колымских рассказов» советскими издательствами и периодикой можно с конца пятидесятых годов, когда Шаламов относит 34 рассказа (Александр Солженицын) или «необъятную папку» (Майя Муравник) в издательство «Советский писатель», где они пролежат много лет и будут возвращены.

Его положение в литературном мире совершенно ничтожно – очеркист раздела «Смесь» в журнале «Москва» и внутренний рецензент, сортировщик самотека, в журнале «Новый мир» («это ужасная работа, надо было читать тонны рукописей графоманов и отвечать им так, чтобы не обидеть» – Ирина Сиротинская), где не появится ни одной его стихотворной или прозаической строчки. Его тогдашняя – да и почти всегдашняя – самооценка в компании преуспевающих советских писак выражена в наброске второй половины пятидесятых годов под названием «Разговор с Михаилом Светловым» – тем самым Светловым, который «Гренада» и который на перевыборах в поэтической секции Союза писателей, где большинство отдало за него голос, «не использовал своего бюллетеня – был пьян». Отчужденное презрительное снисхождение и, пользуясь лексикой того времени, «пафос дистанции».

## **60-е годы, первая половина**



# 1960

Шестидесятый год – пробел в источниках. Нет ни писем, ни записей в дневнике. Зато есть рассказы «Стланик», «Припадок», «Надгробное слово» – величественный реквием мученикам арктических лагерей смерти с бесстрастным рефреном: умер... умер... умер..., – заканчивающийся таким пожеланием заключенного, единственного, быть может, выжившего: «А я хотел бы быть обрубок. Человеческим обрубок, понимаете, без рук, без ног. Тогда бы я нашел в себе силы плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами».

Шаламов мыслит себя поэтом, но тропу поэзии на равных торят стихи и проза:

«Нужно ли поэту писать прозу? Обязательно.

...У поэта путь один и тема его жизни – одна – которая высказывается то в стихах, то в прозе. Это не две параллельные дороги, а один путь».

В записных книжках следующего года вкраплено свидетельство Шаламова о посещении им фотовыставки с ремаркой, адресованной якобы узнавшим его на одном из снимков: «Скажите им, что я – лицо времени».

Борис Лесняк вспоминает, что весь шестидесятый год провел в Москве и много общался в Шаламовым и у него на «Хорошевке», и у своей матери, но никаких подробностей не приводит.

С 1960 года ГУЛАГ юридически отменен. «Проблематика «Колымских рассказов» начинает становиться историей.

В письме знакомой матери Елизавете Чеджемовой Шаламов коротко извещает о себе: «Мне 52 года. У меня есть дочь от первой жены, родившаяся в 1935 году... [не совсем понятно, почему в письме отцу от августа 56 года Елена пишет: «23 года своей жизни»]. У моей второй жены, Ольги Сергеевны Неклюдовой, есть сын от первого брака – ему 18 лет. Сам я сейчас не работаю по инвалидности – и инвалидность моя такого сорта, что никаким транспортом я пользоваться не могу и никуда не езжу. Сажу дома и варю суп». Тихий безобидный домосед-инвалид.

# 1961

В 1961 году в издательстве «Советский писатель» выходит небольшой, 53 стихотворения, сборник «Огниво», тираж которого – 2000 экземпляров – биограф Солженицына Людмила Сараскина называет «крошечным». Действительно крошечный по тем временам. Борис Слуцкий поверхностно, по мнению автора, рецензирует его в «Литературной газете» – «в тоне благожелательности, без акцента на лагерь, на прошлое». Другое незамеченное Слуцким заметит бывший норильчанин Сергей Снегов, к сожалению, только в частном письме Шаламову: «... конечно, Тютчев – Тютчев, а Шаламов – Шаламов,.. но здесь вы пересекаетесь, тут в философской глубине природоощущения вы – родня и, повторяю, единственная в истории нашей литературы такая близкая родня... у Вас всегда «природа природствующая», нераздельная от человека». Не избалованный читательскими откликами Шаламов запомнит эту оценку. Книжкой он недоволен, это редакторское, а не его достижение.

Один из авторских экземпляров он дарит Илье Эренбургу с надписью: «Спасибо Вам за Ваши теплые слова о Мандельштаме», – и подписывается «В. Шаламов» – вероятно, это имя уже известно Эренбургу от его литературного секретаря Натальи Столяровой, женщины, сыгравшей близкую к роковой роль в судьбе двух поэтов – парижского и колымского. Отношениям Шаламова с Эренбургом стоит уделить в будущем больше места, пока же благодарность Шаламова следует отнести к главке о Мандельштаме в воспоминаниях Эренбурга – пудовом пособии по ликвидации культурной безграмотности второго поколения советских людей, печатавшемся тогда из номера в номер «Нового мира». Как ни странно, эта сервильная, лживая и глупая книга действительно давала какие-то первоначальные сведения о людях, событиях и книгах, память о которых в послесталинском СССР была почти полностью истреблена либо извращена до неузнаваемости.

В ходе подготовки сборника к печати, ради чего Шаламов «ходит в издательство, как на работу, и вынохивает в корректуре каждую букву» (Майя Муравник), он знакомится с бессменным редактором всех пяти его поэтических книжек, серийным литературным убийцей и политическим надзирателем Виктором Фогельсоном, который спустя 11 лет предложит ему написать открытое письмо в опровержение слухов о сотрудничестве с эмигрантскими журналами. Во всех других отношениях этот Фогельсон – безликое, казенное воплощение человеческого ничто, почему-то приглашенное Людмилой Зайвой и Юлием

Шрейдером на первый посвященный Шаламову публичный вечер в 1987 году и делившееся там воспоминаниями о плодотворной совместной работе с полузабытым поэтом (Шаламов в духе статейки о нем в Краткой литературной энциклопедии подавался тогда советской аудитории исключительно как поэт).

Сотрудница издательства Муравник описывает Шаламова как глубокого старика с костлявым, иссеченным морщинами лицом, не снимающего ватного пальто и шапки-ушанки даже в разгар июньской жары. То же самое рассказывает Владимир Лакшин: «Он никогда не снимал верхней одежды, так и входил в кабинет с улицы», дополняя портрет рутинными «лицом с резкими морщинами у щек и на подбородке» и «глубоко запавшими глазами». О пальто и шапке, напяленных в разгар летней жары, будет вспоминать и Иван Исаев, собиравший Шаламова в дом престарелых почти через двадцать лет, – видимо, это постоянная примета промороженного и так до конца и не отогревшегося старого колымчанина, кроме того, свидетельство общего отношения Шаламова к быту, мало соответствующее принятому в благополучном московском литературном свете. Так же будет шокировать своими обносками приличное общество Солженицын, но у Солженицына это спектакль, тогда как у Шаламова – органика повседневного поведения.

Увлечение Шаламова шахматами, которое он разделяет с советской интеллигенцией, проявляется в интересе к матчам на звание чемпиона мира: «Таль – не Алехин. Успехи Таля – успехи скорее психологического, чем шахматного порядка». Позже он предскажет победу Карпова в матче с Корчным.

В будущий День космонавтики он со всеми следит за полетом Гагарина, отмечая, что репортаж, по обыкновению, ведется задним числом, однако, непритворно захвачен зрелищем рапортующего партии звездоплывателя и всеобщим коммунальным энтузиазмом: «Грамотный солдат. Очень уверенный, очень. Держится вовсе независимо, без тени волнения. Поздравлял весь мир, кроме Мао Цзедуна. Это, конечно, самое сильное, самое незабываемое». Более сильное и более незабываемое, чем июнь сорок первого и май сорок пятого, которых обитатели «планеты Колыма» почти не заметили. Шаламов еще надеется, что покоренный космос он наблюдает не из концентрационной вселенной, а из какого-то другого, более жилого и нормального места. Жизнь постепенно развеет эту иллюзию.

Шаламов полон поэзии и иллюзий.

«Время сделало меня поэтом, а иначе чем бы защитило».

Зимой Шаламов узнает адрес одного из своих колымских друзей, бывшего врача-заключенного Пантюхова, и пишет ему в Павлодар.

В 1946 году Андрей Пантюхов спасает Шаламова, избавившегося к тому времени от страшной буквы Т (троцкист) в «литере» – аббревиатуре, указывающей категорию преступника, в данном случае, самую страшную, годную для использования только на тяжелых физических работах – сняв его с этапа и направив из больницы на курсы фельдшеров (Шаламов рассказывает об этих курсах в нескольких очерках, как в КР, так и в воспоминаниях [О Колыме]). Пантюхов работает в институте медицинской паразитологии и тропической медицины в Казахстане, стал уже «аборигеном» Павлодара, где до реабилитации отбывал ссылку, и, кажется, совладал с колымским туберкулезом, отнявшим у него одно легкое, но освободившим от ледяных объятий Дальстроя. Теперь, бывая в Москве, он навещает Шаламова – «...статный мужчина, темноволосый, с густой шевелюрой, в очках с позолоченной оправой, очень моложавый: когда я его впервые увидел, ему было за 60, а выглядел он не старше 50» (Виктор Чигорин). Его политические взгляды таковы: «...советскую власть доктор Пантюхов ненавидел, насколько мог ненавидеть».

«Колымские рассказы» ему не понравились, свидетельствует Шаламов, второй книги не дочитал: «Слишком страшно».

В ответном письме Пантюхов пишет: «Я все время следил за журналами и искал все вашу фамилию и, откровенно говоря, потерял уже надежду узнать что-либо о Вас». Точно так же ничего не знает и еще долго не узнает о Шаламове другой его товарищ по лагерю, инженер Георгий Демидов, задумывающий в Ухте свой собственный свод «колымских рассказов». Напомню, что к 1961 году Шаламовым написано уже свыше полусотни рассказов и очерков, каждый второй из которых мог бы стать журнальной сенсацией, некоторые из них – образцы подлинной «новой прозы», того «лучшего за несколько десятков лет» в русской литературе, каким Шаламов сгоряча назовет солженицынского «Ивана Денисовича». Из них только «Стланик» усилиями Федота Сучкова будет позже напечатан в журнале «Сельская молодежь», но, вырванный из контекста, пройдет незамеченным. Это единственный текст КР, увидевший свет в Советском Союзе при жизни Шаламова.

К сожалению, никаких дополнительных сведений о докторе Пантюхове интернет не дает. В воспоминаниях Лесняка есть обмолвка

о том, что он скончался там же, в Павлодаре, в ноябре 1983 года и что в шестидесятых годах они обменялись тревожными письмами по поводу «бросающихся в глаза странностей» Шаламова, в контексте воспоминаний это должно расшифровываться как отчужденность от старых друзей, однако, для домыслов здесь слишком зыбкая почва.

Во второй половине года Шаламов предлагает своему работодателю «Новому миру» стихи и прозу. Одновременно Солженицын передает через Копелевых тому же журналу облегченный от непроходимых через цензуру кусков рассказ «Щ-854». Рукопись, переименованная в «Один день Ивана Денисовича», усилиями Твардовского и самого Хрущева будет медленно двигаться к публикации, рождая многочисленные слухи о появлении в русской литературе «нового Льва Толстого». Мнение Шаламова о Толстом известно: «...у Толстого никаких символов, никаких вторых планов, никаких подтекстов – нет». Ничего, что ценит в художественном тексте Шаламов.

«Оттепель» достигает пика. В Москве проходит XXII съезд партии, на стенограммы которого Шаламов сошлется в «Письме старому другу», написанному для «Белой книги о процессе Синявского и Даниэля» (1966), безжалостно резюмировав: «двадцать лет открытых убийств» – формула недавней советской истории обыгрывает название повести Юлия Даниэля «День открытых убийств», инкриминировавшей тому на суде.

По сообщению Бориса Лесняка, на рубеже 60-61 годов он встречает у Шаламова Федота Сучкова, просившего у хозяина посредничества в его планах вылепить скульптурный портрет Солженицына. « – Знаешь, кто это был? – сказал Варлам, закрывая за ним дверь. – Скульптор, Федот Сучков... приехал просить меня о рекомендации». Лесняк ошибается – с Солженицыным Шаламов знакомится только в конце 1961-го, а с Сучковым – в 1962 в журнале «Сельская молодежь», куда заглянул в надежде пристроить стихи.

В эти годы Лесняк снабжает Шаламова «справочной литературой, архивными документами, сведениями об интересующих его людях» и даже безуспешно пытается устроить ему рабочий кабинет («стол и стул») в своей московской кооперативной квартире, которая несколько лет так и простоит пустой, поскольку остальные пайщики жилищного кооператива – в духе обычного советского человеконенавистничества – категорически против того, чтобы «сдавать, подселать и просто пускать в пустующие квартиры кого-либо в отсутствие хозяев». К воспоминаниям Лесняка нужно относиться осторожно – как и



другие мемуаристы, он очень небрежен в датах, смешивает в одном абзаце события нескольких лет, а нередко, как кажется, намеренно датирует их более поздним сроком, чтобы создать впечатление более продолжительного и непрерывного общения с Шаламовым, чем было на самом деле.

В связи с выставкой Ренато Гуттозо в Эрмитаже Шаламов упоминает в записных книжках импрессионистов и Пикассо с его «символической идеограмм, искусством фрески» как преодолением и смещением границ реализма, с которым у Шаламова собственные серьезные сче-  
ты.



# 1962

В январе он отсылает заведомо журналу «Знамя» Людмиле Скорино свою «писательскую биографию». Скорино – сверхживучая редакционная вошь, благополучно пересидевшая в журнале все десять постигших страну египетских казней. По словам Натальи Ивановой, к Шаламову она питает некие «нежные чувства», но это ничуть не облегчит ему сотрудничества со «Знаменем», возглавляемым отпетым мерзавцем и служащим тайной полиции Вадимом Кожевниковым. Именно Кожевников отнес в ГБ рукопись grossмановской «Жизни и судьбы», на которую высшие советские инстанции наложили бессрочный арест. Это письмо Скорино Шаламов переработает в 1964 году в очерк «Несколько моих жизней». КР в письме даже не упоминается, сказано о большом количестве рассказов и очерков, написанных «на северном материале». В «Новом мире» они лежат чуть ли не со времен редакторства Константина Симонова, кажется, оценившего их по достоинству (Мая Муравник), и пролежат не один год, пока через заместителя Твардовского Игоря Саца, когда-то писавшего с Платоновым статьи в «Литературный критик» под общим псевдонимом «Человеков», не попадут на стол к этому версифицирующему аппаратчику и не удостоится такого отзыва: «Это какие-то очерки, мы их печатать не будем» (Сергей Григорьянц). Сиротинская в интервью Голосу Америки заявляет, что «хотя рассказы лежали в отделах, Твардовскому их не показывали. Видимо, считали их «непроходимыми». Свидетельство Григорьянца это опровергает. Твардовский – номенклатурный литературный чинуша и раб массовых вкусов либеральной интеллигенции, главного адресата журнала. Стихов Ахматовой он тоже не понимает, но «это имя», а у Шаламова никакого имени нет. Имя либеральный Твардовский делает Солженицыну, затхлая эстетика которого ему близка и понятна, а разработка лагерной темы отвечает линии партии на разоблачение преступлений «периода культа личности», но без привлечения таких категорий как «школа растления» и «абсолютное зло». При жизни Шаламова «Новый мир» не опубликует ни одной его строчки, хотя заместитель Твардовского прогрессист Владимир Лакшин почитит Шаламова присутствием на его похоронах, полчаса простояв у гроба, опираясь на палку. Интересно, что в предисловии к «перестроечной» публикации «Колымских рассказов» в журнале «Знамя» он найдет слова, по смыслу в точности повторяющие слова другого ценителя шаламовской прозы, Романа Гуля. Гуль печатал КР «без всякой помпы», назвав их, однако, единственным большим открытием «Нового журнала». Не печатавший КР новомирский Лак-

шин говорит: «Шаламов вошел в наше общественное и литературное сознание незаметно, но прочно, без шумной волны сенсации». Те же, как говорится, структуры сознания. Тупица находит в Шаламове «призвание Нестора-летописца колымского народа», не замечая, что КР несколько отличаются от «Архипелага ГУЛАГ», но полагая, что это послужит хорошей рекомендацией для читателя. По сообщению Валерия Есипова, встречи с Твардовским Шаламов не удостоился. Шаламов – внутренний рецензент (количество которых в отделе прозы – 16-18 человек, не считая штатных сотрудников), ничто в глазах главного редактора, в личности которого, пишет Есипов, «доминировала... ценностная компонента советской культуры, включавшая... прежде всего строгую внутреннюю дисциплину, основанную на соблюдении незыблемых иерархических табу в общественном и личном поведении». «Все знали, что «А.Т.», как называли его в редакции, по пустякам беспокоить нельзя: в кабинет не допускались только члены редколлегии и особо близкие люди из писательского круга». Стихи и проза Шаламова – пустяк, ради которого барина тревожить не будут. «В общем, дальше людской [Шаламова] не пускали» (Сергей Неклюдов). Его последующие ненависть и презрение к этому тугомясому долдону вполне заслуженны.

В начале 1962 года Шаламов знакомится и обменивается письмами с Сергеем Снеговым (Штейном). Впоследствии, из соображений чисто житейских, физик Снегов станет известным советским фантастом, «романистом» на лагерном жаргоне, а в начале девяностых успеет напечатать две книжки лагерных рассказов, предлагавшихся журналу «Знамя» как раз в период их знакомства с Шаламовым. Рассказы пролежат в редакции до выхода повести Солженицына и будут отвергнуты, поскольку тема исчерпана, однако весной 1962-го об этой повести ходят лишь слухи и можно позволить себе надежды.

Весной сестра Галина Сорохтина извещает Шаламова о смерти матери его зятя и мельком сообщает о настроениях и здоровье Елены (в замужестве Янушевой): «Не знаю, писала ли тебе сама Лена, но она очень переживает отчуждение, которое поняла, и хочет тебя видеть. Девочка она умная, работает инженером и семья, здоровье тоже не особенно, после той болезни». Что за болезнь, не уточняется, вероятно, Шаламов о ней знает, и вероятно, именно эта болезнь заставит молодую пару усыновить двух малышей, кровным родством с Шаламовым уже не связанных. Вклад Шаламова в трагедию русского генофонда в том, что его линия оказалась выморочной. Вымаривание на-

ции посредством лишения лучших ее представителей возможности закрепиться в потомстве – еще одно, наравне с золотыми забоями Колымы, эффективное средство политики геноцида, о котором Шаламов говорит прямо – в письмах и дневниках он использует именно это слово, хотя и применительно к сталинскому периоду – «абсолютное зло» этой эпохи навязало поколению Шаламова свою патологическую меру вещей, из которой исходит Надежда Мандельштам, желая косноязычному ничтожеству Брежневу править подольше, поскольку он «первый не кровавый».

В мае Шаламов выступает в телевизионной программе с чтением стихов. «Я рад, конечно, возможности выступить – от имени мертвых Колымы и Воркуты и живых, которые оттуда вернулись», – очевидный самообман: какие могут быть «мертвые Колымы и Воркуты» на стерильном государственном телевидении. Ему любопытен процесс функционирования нового СМИ. «...дело требует большой собранности, сосредоточенности и напоминает больше съемку игрового кинофильма, чем фильма хроникального, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. На крошечной площадке внутри огромной коробки телестудии, заставленной аппаратами, увешанной кабелями, сигналами, работает человек пятнадцать – режиссеры, операторы, нажиматели звонков и прочие лица, деловое содержание которых определить сразу нельзя. Все это висит в метре от твоего лица, освещенного ярким светом, словом, ничего домашнего в телестудии нет», – делится он впечатлениями с рязанским другом Яковом Гродзенским. «Яшка» – один из немногих, в ком нет «этой проклятой хитрожопости», умения устраиваться за счет других и обдeldывать делишки, декорируя шкурничество лексикой двуличного «прогрессивного человечества». «Яшку» Шаламов любит. В письме он упоминает свое предыдущее выступление в Доме писателей, других сведений о котором я не нашел, а Сергей Неклюдов рассказывает еще об одном поэтическом вечере в декабре того же года в «коммунистической аудитории» старого здания МГУ, прошедшем для Шаламова неудачно, если не унижительно – Шаламов не смотрится в рамках официальной программы, любые официальные советские рамки – это тот же род цензуры, что обезображивает его журнальные подборки стихов и поэтические сборники. Шаламов Москвы двадцатых годов и не пошел бы на вечер, на котором запрещено касаться любой животрепещущей темы, особенно лагерной. На знаменитом вечере, посвященном Мандельштаму, этих официальных рамок не будет, и Шаламов без труда прикует внимание зала. Неклюдов истолковывает неудачу Шаламова по-советски: поэтически неразвитая молодежь

падка на жареное, а Шаламов предлагает ей классический метр. Нормальная поэтическая молодежь и должна устремляться на запах жареного. Если бы Шаламов вместо разрешенного классического метра прочел уже написанный «Шерри-бренди», о вечере говорила бы вся Москва.

Но заговорит она вскоре о Солженицыне. Солженицын всегда опережает Шаламова и успевает завалить прилавки своим товаром, эта авантюристическая натура умеет создавать обстоятельства и использовать их потенциал до конца. Сама процедура движения повести к печатному станку разогревает ожидания до предела. Когда вещь, наконец, выходит, Шаламов, по его признанию, не спит две ночи, поглощенный чтением. С автором он уже сталкивался днями в редакции «Нового мира» и взволнованно размышлял, будет ли повесть ледоколом для зажатой во льдах «оттепели» лагерной правды или только крайним положением маятника, который теперь качнется обратно. Не знаю, кому из двоих тут изменило воображение. На ледокол повесть совсем не похожа. Ледокол – это мощный, почти военный корабль, за которым следует флотилия мирных гражданских судов. Тут за повестью должны были следовать «Колымские рассказы», и сюда намного лучше подошло бы сравнение «Ивана Денисовича» с травкой, которая расширяет трещину в асфальте, чтобы там могло угнездиться дерево, взламывающее и крошащее этот асфальт. В асфальтовой пустыне советских толстых журналов «Колымским рассказам» приткнуться покамест некуда. Но оба, и Шаламов, и Солженицын, в то время естественные союзники, надеются на лучшее – Шаламов в меньшей степени, и это понятно, поскольку он не участник, а наблюдатель – позиция вынужденного бездействия должна склонять к скептицизму. Совершенно иначе Шаламов будет чувствовать после вечера, посвященного Мандельштаму, где вопреки регламенту возьмет инициативу в свои руки: «Мой час придет!» (Солженицын).

По прочтении повести Шаламов посылает Солженицыну восторженное письмо. Он анализирует стилистику текста и его содержательную сторону, поверяя ее опытом Колымы, где многое из того, что описано в повести, невозможно и делает солженицынский лагерь «курортом». Эта критика не имеет цели обидеть, но вносит ясность: настоящий сталинский лагерь уничтожения, Ижма, спрятан в «Иване Денисовиче» за лагерь без вшей, без блатарей, без бурок из старой ветоши вместо валенок, за лагерь, где махорку отмеряют стаканами, где после работы «не посылают за пять километров за дровами», где «хлеб оставляют в матрасе, да еще набитом!», где, наконец, целым и

невредимым бегают знаменитый кот, судьба которого в настоящем таежном лагере – угодить в котел. Шаламов рассказывает, что такое золотой сезон Колымы 38 года, к концу которого в бригаде «оставались только бригадир и дневальный», что такое «большая пайка», которая убивает, особенно таких крупных, долговязых, как Шаламов или прибалты (хорошие в лагере Солженицына лишь потому, что еще не оголодали), кто такие бригадиры и блатари, – вообще, что есть сталинский лагерь уничтожения без оглядки на политику десталинизации, проводимую сталинистами, и гуманистическую традицию русской литературы, кругозор которой ограничен «Мертвым домом» Достоевского и чеховским Сахалином. Суть подспудных претензий Шаламова можно свести к такой формулировке: лагерь Солженицына не повергает человека в условия, где с неизбежностью вылезли бы те закономерности поведения, которые уравнивают его с животным и ставят перед новой правдой о человечности. Он не открывает истины о человеке, ограничиваясь традиционной литературной задачей, хотя делает это хорошо, признает Шаламов. Суммируя впечатление, он сравнивает повесть со стихами и называет «откровением для читателя». В постскриптуме он клянется сказать свою правду до конца – под своей правдой он всегда имеет в виду не внешнюю, анкетную, сторону своего впечатляющего колымского опыта, а правду о человечности в условиях казавшихся невозможными испытаний, – и значительно преувеличивает объемы написанного: тысяча стихотворений, сотня рассказов. На самом деле к 1963 году написано около шестидесяти текстов КР и восемь очерков преступного мира, колымский эпос, этот мегалитический архитектурный ансамбль, парящий в потустороннем северном небе, еще далек от завершения. Точно так же преувеличит он, когда, комментируя в разговоре с Солженицыным внутреннюю рецензию Дремова, буркнет, что КР создавались за десять лет до «Ивана Денисовича» – в 1951 году Шаламов, живя на приисковом медпункте в самом сердце Дальстроя, не мог создавать никаких КР, разве что замышляя самоубийство. Это вспышки зарождающейся ревности к удачливому сопернику, которая вот-вот начнет сопровождаться пониманием, кто перед ним, и переходить в отчуждение и презрение.

Несколько трезвых отзывов о повести Солженицына его современников.

Поэт Давид Самойлов считает, что «высшую точку хрущевизма могло бы обозначить и другое литературное произведение, кроме «Ивана Денисовича», например, рассказы Шаламова. Но до этого

высший гребень волны не дошел. Нужно было произведение менее правдивое, с чертами конформизма и вуалирования, с советским положительным героем. Как раз таким и оказался «Иван Денисович».

Куда резче и без оглядки на диктат общего места отзывается интеллеktуал и старый лагерный волк Юрий Домбровский, вообще считающий «первым в лагерной литературе» Шаламова, себя – вторым, а Солженицына – только третьим. «Иван Денисович – шестерка, сукин сын, «каменщик, каменщик в фартуке белом», потенциальный охранник и никакого восхваления не достоин. Крайне характерно, что отрицательными персонажами повести являемся мы (рассуждающие о «Броненосце «Потемкине»), а положительными – гнуснейшие лагерные суки... Уж одна расстановка сил, света и теней говорит о том, кем автор был в лагере». Чрезвычайно редкое и независимое для того расценочное время и среды суждение.

Сам Шаламов, свободный от конформизма только за рабочим столом, скорее полностью солидаризуется с духом времени. «Сейчас Солженицын показывает нашим «писателям», что такое писательский долг, писательская честь», – пишет он тоже пробующему себя в изящной словесности Лесняку («...решил попробовать силы: пишу маленькие рассказы») и от широты души дарит «сюжет для рассказа», вовсе не солженицынский. «История болезни» – по форме, по бланку, каких были тысячи, десятки тысяч. С лабораторным анализом, следами переломов от побоев, пеллагры. Анамнез морби и анамнез вита. И смерть. И секционный акт, где диагноз не сходится, но подгоняется под какой-нибудь «нейтральный». Очень похоже на «историю болезни» самого Шаламова пера Сиротинской и ее подпевал. В сущности, эти несколько строк – чистый образец «новой прозы», игра созвучиями и смыслами. «Истор» – «форм» – «лабор» – «морби» – «смер». «Бланк» – «лабор» – «перел» – «пеллагр» – «нейтрал». «Анализ» – «анамнез» – «диагноз». «Боле» – «лабо» – «были» – «бое». В центре – смысловой и фонетический фокус: «Секционный акт» – твердое, римское. И все это на материале трупа колымского доходяги, падали, отброса золотого забоя, чего-то безымянного, статистического, предназначенного для хранения в вечной мерзлоте в качестве свидетельства на суде, который не состоится.

Летом Шаламов успевает познакомиться с Львом Копелевым и Раисой Орловой, судя по названию солженицынской повести в цитате из мемуаров интересующимися им уже не один год: «...рукопись «Щ-854» была не единственной нашей заботой. Были еще... рассказы Варлама Шаламова, другие рукописи, которые мы старались «пробивать»

в редакциях и распространять в самиздате». К сожалению, Копелевы всеядны, и, к сожалению, этих знакомств слишком мало, чтобы создать критическую массу той человеческой и организационной поддержки, какую без труда завоевывает у фрондирующей интеллигенции Солженицын. Столичный культурный круг, в котором закрепляется неофициальное общественное признание и который служит механизмом промоушена, неотделимого от перехода явления из частной сферы в общественную, настолько узок и унифицирован десятилетиями террора, что на двоих его уже не хватает. В этом трагедия соперничества Шаламова с Солженицыным, превращенного скудоумием, отсталостью, душевной черствостью, социальной безответственностью и общим ничтожеством советской либеральной интеллигенции в дилемму «или – или». Никакое нормальное общество не позволит себе этой дилеммы, а ненормальное, мыслящее в категориях исключения, деградирует еще глубже.

С Копелевыми они расстаются «с тысячью взаимных обещаний», потом Шаламов передаст через Солженицына пьесу, и знакомство заглохнет до весны следующего года. Едва ли это промедление лишает Шаламова чего-то большего, что то, что активный, общительный и поверхностный Копелев и так делает для распространения самиздата. Решает не самиздат, решают его читатели. Относительно же возможностей официальной публикации – пусть «Колымские рассказы» дойдут до Твардовскому не через Берзер, а через Саца – мнение не изменится: нам это не нужно.

Жить на пенсию в 42 рубля в Москве невозможно, и с конца пятидесятых годов Шаламов подрабатывает рецензентом журнального самотека, продукта горьковской утопии самозарождения писателя из всеобща. Эта иссушающая мозг и плохо оплачиваемая работа не дает никакого положения, и Шаламов, возможно, обманывает себя, когда записывает в дневнике, что его отношения с «Новым миром» ухудшились после того, как он рекомендовал повесть бывшего врача-заключенного. Ни автор, ни вещь не названы, и вообще трудно представить, что рекомендация какого-то сортировщика самотека могла задержать внимание, тем более дойти до стадии конфликта. Между Шаламовым и этажами, где принимаются решения, этажами литературной власти – в буквальном смысле непроходимая кафкианская пропасть.

Что такое советский толстый либеральный журнал, видно из подробного рассказа Солженицына о прохождении рукописи «Ивана Денисовича». Вкратце фабула такова. Жена друга Солженицына Копе-



лева Раиса Орлова частным образом передает ее Анне Берзер, одной из случайно затесавшихся в этот зверинец действительно либеральных сотрудниц третьего эшелона. Берзер хитроумным образом обводит вокруг пальца трех или четырех замов Твардовского, подсунув им повесть с учетом характера каждого из сукиных сынов и со словами, которые заранее отбивали бы охотку ее читать. И лишь после этих акробатических трюков, нейтрализовавших субординацию, для того и существующую, чтобы стоять на пути любого сюрприза, о чем опытная Берзер прекрасно осведомлена, повесть напрямую вручается хозяину канцелярии, опять же в сопровождении внешне проходной, но в свете крестьянского происхождения начальника определяющей реплики: лагерь глазами мужика. Все это неспроста отдает чем-то кафкианским. Именно такова советская издательская действительность, где отношения писателя с литературным журналом декорируют его истинные отношения с репрессивным подразделением идеологического отдела ЦК партии с прекрасно вымуштрованным избыточным штатом, естественными для такой инстанции роскошью интерьеров и церемониями, феодальной иерархией от всемогущей именной элиты до почти безымянной челяди, – словом, со структурой, озабоченной словесностью лишь в той ничтожной, хотя и неустранимой мере, в какой специфика поглощенной партией и выполняющей ее задачи литературы не может быть сведена к агитпропу. Банальность и простота этой картины с одной стороны снимают, за его как бы очевидной нелепостью в ситуации, глухой к любым подобным вопросам, а с другой стороны очень резко ставят вопрос: как с такого рода учреждением может сотрудничать даже не гениальный писатель, а просто неиспорченный проницательный человек, такой как Шаламов за вычетом его гения. На этот прямой вопрос требуется недвусмысленный ясный ответ. Может. Все определяется наличием или отсутствием выбора. У Шаламова этого выбора никогда не было. Крайний случай отсутствия выбора – это пространство, обнесенное колючей проволокой, но тот же принцип господствует и снаружи. Выйдя из лагеря, Шаламов опять оказался в лагере, который «мироподобен» в обе стороны и в котором он со временем распознает выношенную на Колыме и вынесенную с Колымы модель мира, где власть принадлежит лагерному начальству и ворами, а «битому фраеру», не принадлежащему к этим кастам, остается изворачиваться, как ляжет случай. По существу, всю биографию Шаламова следует рассматривать как биографию зэка (зэ/ка, что он неизменно подчеркивал) или в лучшем случае ссыльнопоселенца, лишённого настоящего выбора и местожительства, и работы. Как сказал один его колымский товарищ, приветствуя другого, только что от-

бывшего срок: «Ну, Алеша, поздравляю тебя с выходом из малой зоны в большую...». Эволюция дара Шаламова осуществлялась в бесконечно стесненных условиях, иначе можно было бы вообразить цикл «московских рассказов», дополняющий и завершающий циклы колымских – этот последний колымский, но уже московский, рассказ попробовал дописать за него Густав Герлинг-Грудзинский, лишенный точного знания обстоятельств гибели Шаламова, но так же утверждающий их высшую достоверность, как делал это Шаламов в рассказе «Шерри-бренди», не будучи очевидцем гибели Мандельштама. Время от времени за горизонтом этой «большой зоны» Шаламову мерещится настоящая воля, куда он в поисках понимания и диалога отправляет свои послания без адреса, как некогда отправил с Еленой Мамучашвили стихи Пастернаку, но Пастернака там нет, послания застревают на полдороге, и вся жизнь узника-Шаламова протечет в этой безвыходной одиночной концентрационной вселенной.

В августе Неклюдова с сыном в Коктебеле, по писательской путевке. «Здесь вся «знать»... очень смешная сцена, когда он [поэт Леонид Мартынов] в столовой увидел Твардовского и, как-то странно подпрыгнув,.. с подобострастием ему поклонился». Через много лет Шаламов на законных основаниях насладится тамошним обществом и экскурсией по дому-музею Максимилиана Волошина.

В декабрьском номере журнала «Сельская молодежь» усилиями Федота Сучкова напечатана подборка стихов, а Борис Слуцкий по неведению сватает Шаламова некоему магаданскому альманаху, которым заправляет уже знакомые ему провокаторы и отборная сволочь – таковы его успехи на издательском поприще.

Хроника блокады. Журнал «Знамя» предлагает ему написать серию очерков о Москве двадцатых годов. Шаламов с воодушевлением берется за работу и за неделю делает пять листов, но опубликованы – в другом журнале и в сокращенном виде – они будут только через четверть века, а полностью увидят свет уже в новом тысячелетии.



# 1963

Семь следующих лет – решающие для Шаламова. Репетиция этого прорыва к истине и в большую литературу состоялась семилетием раньше, во время недолгого пребывания Шаламова на седьмом литературном небе в обществе гостеприимного «нэбожителя», но этот неверный период послелагерной эйфории не оставил ему ни единомышленников, ни постоянной питательной литературной среды, ни авторитетных в этой среде знакомств, ни неподверженного капризам благосклонности или неприязни признания, ни ориентиров, достойных его дара и честолюбия. Да и сам Шаламов был не готов к прорыву – его полуоформленный опыт старого колымчанина только искал себя на дорогах слагающегося эпоса. Сейчас Шаламов движется в направлении всего этого полный сил и уверенности в себе.

Вся его послелагерная биография – череда взлетов, перемежающихся крушениями и растерянностью, но каждый следующий взлет выше предшествующего, пока, наконец, вся концентрационная вселенная, пройденная душой от края до края, не оказывается во власти поэзии.

Его отношения с Солженицыным проистекают из естественной взаимной тяги друг к другу. Успех младшего товарища ослепителен, но непрочен. Эстетические и идейные разногласия, если идейные еще как-то артикулированы, не проявляют себя перед заступающим дорогу общим врагом – страшной советской машиной лжи и обуздания писательских честолюбий, низведения художника до служащего всеохватывающей зловонной бюрократической корпорации.

Шаламов, воспитанник спонтанности искусства начала века, ненавидит и презирает предписанное советскому писателю «черепашье», тщательно контролируемое, «со щепочки на щепочку», пайковое карьерное продвижение («Даже Пастернак не нарушает этой схемы. Но Солженицын нарушает»), кроме того, у него просто нет времени, годы и силы ушли на то, чтобы сделать карьеру лагерного фельдшера. Успех Солженицына вдохновляет его. Солженицын мыслит и действует, как настоящий художник: написал, издал, проснулся знаменитым. Поздняя запись в дневнике Шаламова проясняет его эволюцию в отношении Солженицына: «Москва двадцатых, но без меня, без моей фамилии». Звучит враждебно и осуждающе, но под осуждением таится и другой смысл. По рассказам самого же Шаламова, Москва двадцатых не столь уж плоха. Скверно то, что это отнюдь не Москва двадца-

тых, это протухшая послесталинская Москва шестидесятых годов, где авантюра художника, подняв пыль лихорадочных общественных ожиданий и черпая в них харизму, стремится вырасти в циклопическое учительство, сосредоточив в себе все подмены истины и искусства, как власть, которой оно противостоит, сосредоточила в себе все подмены политической мысли и институтов уничтоженного им революционного общества, и этим духом подмены, духом перерождения заражена вся советская жизнь, другой она себя просто не знает.

В течение всего года они обмениваются письмами, Солженицын бывает у Шаламова дома, а осенью приглашает отдохнуть на своей деревенской даче. Шаламов берет с собой стопку бумаги для работы, но едет не работать, а по-человечески пообщаться, тогда как у Солженицына строгий график, и разговорам он может уделять полчаса после ужина. Солженицын работает как машина – метод, противоположный шаламовскому, каждый рассказ которого прокрикивается, вытягивается наитием, оставляя черновики в голове. В статьях о Шаламове это связывают с подлинностью свидетельства, исходящего из уст человека, повергающего себя ради этой подлинности в подлинность физической муки. Действительно, зрелище Шаламова, ломающего мучительной декламацией сопротивление еще более измученной памяти и через живую речь восстанавливающего страшную правду о человеке, скрытую в клетках тела, должно впечатлять, но это мученическое прокрикивание текста заслоняет своим драматизмом суть дела. Суть же в том, что введение себя в подобного рода транс – необходимый для Шаламова профессиональный прием, посредством которого достигается «вдохновение» или высшая дистанция от противной существу поэзии повседневности – той повседневности, где не облагороженному творческим началом лагерному опыту действительно лучше пребывать втуне, как неустанно повторяет Шаламов, опуская очевидный для него центральный пункт своего колымского нарратива – его не-бытовую, лиро-эпическую природу. Особенность шаламовского метода в том, что свидетельства униженного и беспомощного перед последней низостью лагерей тела крайне парадоксальным образом сочетаются в состоянии экзальтации с высшими достижениями европейского духа, рождая художественный текст, полностью очищенный от какой бы то ни было непроработанной злобы дня, текст, связующий высоты и бездны, как разряд молнии, и совершенно свободный от трухи времени и места, в которых он создавался, следовательно, эстетически и содержательно всеобъемлющий. В письме Борису Лесняку он очень рано предостерегает от «позиции», которая есть дело критика, но не писателя. Этот последовательный отказ от «позиции» делает позицию пове-

ствователя позицией поэта, прибегающего к действенным профессиональным приемам, чтобы на языке, бесконечно далеком от повседневности, выразить обойденные традиционным искусством стороны мира и человечности. Декламация Шаламова – это физические условия, в которых слова находят друг друга и выстраиваются аутентично, без посредничества быстро ветшающих указателей «духа времени». Указатели устареют, и слова перестанут вести читателя к самопознанию через приобщение к истине, потеряют для него смысл и интерес, как это произошло с текстами Солженицына.

По просьбе последнего Шаламов читает ночами груды стихов и прозы хозяина, пока, наконец, одуревший от плодов «грамофании» и не понимая, что ему делать в компании механизма, бесперебойно строчащего перегруженную «позицией» беллетристику, не сбегает в Москву. В дальнейшем определение «графоман» по отношению к Солженицыну станет у Шаламова постоянным. Это не совсем справедливо, поскольку метод Шаламова уникален, и гений не должен мерить обычного литературно одаренного человека собственной меркой, они отличаются и методами работы, и ее плодами, и адресатом. Об адресате обоих я скажу позже. Мешает и некоторый психологический диссонанс – Солженицын не тонок, «чуть-чуть слишком верит в свою способность угадать человека», слишком деловит в ущерб сердечности отношений, которая очень нужна Шаламову как противовес общей разочарованности в людях и природной склонности к одиночеству, правда, наравне со столь же стойким идеализмом и стремлением к солидарности.

В эти месяцы Шаламов ставит свои трогательные тесты на соотношение в советском человеке запросов брюха и духа: выходит на улицу с книжкой журнала, в которой напечатана какая-нибудь вещь Солженицына, и считает, сколько народу спросит, где взял, а потом сравнивает с количеством людей, привлеченных стеклянной банкой с топленным маслом. Когда Шаламов чем-то увлечен, в нем пробуждается много детского, непосредственного.

Всю первую половину шестидесятых он живет в писательском доме на Хорошевском шоссе, деля две комнаты в коммунальной квартире с женой, Ольгой Неклюдовой, и пасынком Сережей, впоследствии филологом и исследователем фольклора, который будет избегать разговоров об отчине, хотя оставит о нем небольшой мемуар под названием «Третья Москва». Неклюдов показывает Шаламова независимым, весьма «некорпоративным» человеком, в равной степени жертвой собственной неспособности сходитья с людьми и предвзятого

отношения продвинутых московских литературных кругов, ценивших в нем скорее очеркиста, чем художника, и совершенно не понимавших масштабов явления, с которым имеют дело. Все это очевидно, однако у Неклюдова Шаламов предстает каким-то пережитком двадцатых годов, полностью дезориентированным в новой действительности и беспомощным перед ней – его усилия быть услышанным сводятся к нелепой, трагикомичной борьбе с чудовишной мясорубкой издательской практики, и плоды этой борьбы ничтожны – «в этой его жизни победили они», заключает Неклюдов. Он ошибается. Таким он мог видеть Шаламова начала шестидесятых – уже к середине десятилетия семья распалась, Шаламов одиноко жил в своей комнате, и в дневниковых записях сетует на неотвязное шпионство (надо полагать, Ольги Неклюдовой), от которого его освободит переезд в 1968 в новую коммуналку, этажом выше, – совершенно ясно, что в таких условиях Шаламов меньше всего склонен посвящать домочадцев в свои дела и делиться своими планами, стало быть, суждения Неклюдова основываются на заблуждении. Глубину его неведения выдает фраза: «Он совсем не стремился к публикации своих вещей за рубежом». Стремился, и еще как!

Быт Шаламова в эти годы вполне приемлем. Неклюдова заботлива, домовита и, вероятно, робеет мужа, человека слишком уж из другого мира, вернее, миров – и колымского, и высшего, куда этот колымский получает через него выход. Сергей Григорьянц, бывавший у них в начале шестидесятых, говорит о «приятном жилище», обставленном уютно и с большим вкусом, о милой, интеллигентной хозяйке и о странно смотрящемся среди всего этого «громадном худом лагернике Шаламове». В противоположность ему Солженицын, тоже вспоминая начало шестидесятых, пишет, что семья уже как-то явно разлажена: такое впечатление, замечает он, что каждый ведет собственное хозяйство, и лишь в один из визитов гость застаёт их вместе – позже хозяин всякий раз принимает его в своей комнатухе, «сходной с камерой», по-видимому, той, для которой Федот Сучков не нашел других слов кроме как плачевно-жалостливых: «узкая, скудная» – стол, диван и тесный проход. Пишу не кровать, а диван, поскольку именно о диване пишет в Солотчу Неклюдова: «Очень хочется выбросить твой диван и купить тебе новый. В этом такая уйма пыли, надо будет это сделать, когда ты приедешь. Его и перетягивать не стоит, он такой громоздкий, занимает всю комнату». Шаламов как-то органически чужд и враждебен быту. Можно отнести это на счет поэтической сосредоточенности, постоянного рабочего состояния, а можно – на счет просто отсутствия какого-либо упорядоченного быта с самого детства:

в 1918 Вологда и шаламовский дом переживают большевистские «уплотнения», потом он уезжает в Москву, где живет где придется, потом Вишерский концентрационный лагерь, потом опять недолгая жизнь в Москве – и четырнадцать лет колымских скитаний между прииском и больницей, кончающиеся возвращением, но не в Москву, а на окрестные торфяники, откуда в Москву нужно добираться электричками и дрезиной, и уже совсем поздно, почти в пятьдесят, обретение какого-то дома, но тоже в коммуналке и уже скорее угла, чем дома в европейском, мещанском смысле.

Заканчивается октябрьское письмо Неклюдовой трогательным: «Целую тебя крепко, любимый мой, Варлашенька». По-видимому, инициатива ведения каждым собственного хозяйства исходит от Шаламова, однако любящего отношения нелюбимой жены не меняет.

Шаламова изводят хронические недуги, хотя складывается впечатление, что к действительным серьезным болезням добавляется мнительность, еще усиленная самомнением полубразованного в медицинском смысле лагерного фельдшера, путающего, например, симптомы аневризмы аорты с симптомами другого заболевания сердца, на что со слов знакомых специалистов указывает в письме Гродзенский. Это сочетание реальных и мнимых хворей еще более осложняет быт. В неоправленном письме Солженицыну Шаламов жалуется на непонимание близкими всей тяжести его состояния и перечисляет условия, в которых он может существовать сравнительно без помех: исключение поездок по железной дороге, невозможность есть в ни в какой столовой (при этом Олег Чухонцев рассказывает, что в столовой редакции журнала «Юность» Шаламов прекрасно поглощает полный обед), строгая диета, запрещающая все жареное, любое мясо, любые консервы, наконец, тепло, что понятно у замороженного до костей колымского старожилы, чьи перчатки, наподобие кожи Эльзы Кох, живут в каком-то «музейном льду», во всяком случае, одна из них экспонируются в магаданском Музее санитарного управления, приложенная к истории болезни Шаламова. К тому же мешают работать постоянные сильные головные боли.

Шаламову поставлен диагноз «болезнь Меньера», но под этим относительно безобидным диагнозом кроется другой, не поставленный, а под не поставленным другим может скрываться третий, напрямую отсылающий к «безумноватым» глазам, отмеченным Солженицыным. Не исключено, что впечатление Солженицына верно. Солженицын натуралист, его творческий метод: берется человек и описывается, – ответ вне искусства, как говорит Шаламов. Не исключено, что

лишенный фантазии и не имевший в пору написания мемуара особых причин выставить Шаламова в черном свете Солженицын просто углядел некоторое отклонение от нормальности, образцом которой справедливо почитает себя, и отметил это отклонение, как бесстрастная фотокамера. Не стоит забывать, что именно в 65 году, когда сделано наблюдение, Шаламовым написаны его лучшие рассказы – «По лендлизу» и «Сентенция», оба, конечно, законченно «безумноваты» по глубине проникновения в устройство концентрационной вселенной и человеческую природу.

В августе Шаламов сдает в издательство «Советский писатель» новую поэтическую книжку. Через год она выйдет, как обычно, обезображенной: «...больше редакторское достижение, чем авторское, но я устал сопротивляться. И это – не тот сборник, который мне хотелось бы иметь», «...и в предыдущей моей книге («Огниво»), и в этой нет главного, самого важного». Кроме того, в издательстве уже не первый год лежит папка с КР, которые директор, аппаратное животное с «душой злобного садиста» (Анна Берзер) Лесючевский, публиковать, конечно, не собирается, но на всякий случай не возвращает. Это из хроники нескончаемой блокады, которой власть и совпис подвергают всю поэтическую и прозаическую работу Шаламова. К хронике блокады можно добавить еще одного участника: «...в редколлегию «Литературной газеты» я отнес 150 стихотворений, исключительно колымских (1937–1956)... имел беседу с Наровчатовым – ответ, носящий характер категорического отказа напечатать что-либо колымское». Кто такой Наровчатов? Кто такой Лесючевский? Кто такой Фогельсон? Этим людям повезло, их навсегда запомнят как литературных убийц Шаламова.

Сразу после выхода второго сборника стихов важный литературный функционер Тимофеев предлагает Шаламову рекомендацию в Союз советских писателей, но тот, по словам Лесняка, не желает связывать себя обязательствами, налагаемые членством в этой богомерзкой организации, откуда незадолго до того был исключен Пастернак. Академик Леонид Тимофеев постоянно маячит на обочине шаламовской биографии. В литературоведческом словаре, составленном этим мелким бесом вместе с подельником по фамилии Венгров, «нет вовсе слова «гений!»», – удивляется в Записных книжках Шаламов. Гению невдомек, каким образом о его существовании неизвестно человеку, предлагающему ему рекомендацию в ССП. Ситуация гротескная, но для советской литературной действительности обыденная.



Все десять лет послелагерной жизни писательская репутация Шаламова держится, по существу, самиздатом («Рассказы мои по Москве ходят, я слышал» – Солженицыну, видимо, в ответ на сообщение, что в столице «Колымские рассказы» читают). Изуродованные, выхолощенные поэтические сборники не в счет – по наблюдению Неклюдова, они, напротив, оставляют превратное, чуть ли не обратное должному впечатление о Шаламове как поэте. Однако репутации, которую создает самиздат – возможно, это действительно несколько десятков, от силы сотня списков, как считает один из исследователей – недостаточно. Мессидж Шаламова настолько фундаментален, что носитель его по необходимости вырастает в масштабное общественное явление. Превращение частного человека в такое явление требует рычагов. Безупречная репутация политкаторжанина и автора самиздата – один из них, но не главный. Главный – книга. Общественный резонанс вызывает книга, это убеждение Шаламова полностью разделяется властью, которая делает все возможное, чтобы книга не вышла. Федот Сучков вспоминает, что именно тогда Шаламов, разуверившись увидеть КР напечатанными, дает ему рукопись из примерно шестидесяти рассказов, которые постепенно расходятся в самиздате. Не думаю, однако, что Шаламов разуверился окончательно. 1963 – год качания того маятника, о котором он говорил с Солженицыным, к тому же, рукопись еще лежит и в издательстве, и «Новом мире», а в самиздат – это ведь тоже аудитория – Шаламов пускает рассказы без всякой оглядки на легальную публикацию. Например, Яков Гродзенский постоянно отчитывается в письмах об откликах на его прозу в Рязани. Интересно, что в Рязани его рассказы распространяет Гродзенский, а не Солженицын, забирающий их у автора порциями во время наездов в Москву.

Настоящей литературной и общественной среды Шаламов покамест не приобрел. Круг общения его по-прежнему очень узок, довольно случаен и не включает людей, способных служить реальной «группой поддержки». В основном это товарищи по лагерной судьбе, с большинством из которых Шаламов поддерживает связь преимущественно путем переписки: Гродзенский – рязанец, Лесняк и Португалов (сам поэт и опекун чукотских поэтов) – магаданцы, Аркадий Добровольский и его жена Елена Орехова – киевляне и в связи в резким ухудшением состояния здоровья главы семьи все реже дают о себе знать. Солженицын. Вера Ключева, переводчик с французского и лингвист, которая косвенно сыграет в жизни Шаламова важную роль: «Туся», упомянутая в том письме Неклюдовой, где она печалится о

диване – это Наталья Зеленина, дочь тяжело больной Клюевой, архивист и сослуживец Ирины Сиротинской, по чьей рекомендации последняя попадет к Шаламову. Вероятно, Леонид Волков, писавший под псевдонимом Ланнит, знакомый Шаламова еще по салону Бриков, тоже лагерник и специалист по Родченко, Сиротинская пишет, что познакомилась с ним через Шаламова, а это не ранее второй половины шестидесятых, следовательно, связь поддерживалась. Особый случай – Наталья Столярова, довоенная французская репатриантка, лагерница и активный антисоветчик, по версии КГБ познакомившаяся с Солженицыным как раз в доме Шаламова и в дальнейшем хранившая у Ильи Эренбурга рукопись «Архипелага ГУЛАГ», человек на редкость незаурядный, отважный и энергичный, но их с Шаламовым отношениям не хватает контекста и конкретной задачи. Наверняка кто-то из литературной среды, среды вынужденного профессионального обитания, вроде Федота Сучкова, о котором Шаламов отзывался сдержанно, Бориса Слуцкого, Олега Чухонцева и будущего правозащитника и политзаключенного Сергея Григорьянца, в начале шестидесятых сотрудника журнала «Юность», впрочем, Григорьянца с Шаламовым знакомит Валентин Португалов. Иногда в поисках «Колымских рассказов» («где-то услышал о них») Шаламова находит кто-нибудь из старых колымских приятелей, таких как режиссер Леонид Варпаховский, сидевшей на «23-м километре» от Магадана (концлагерь «Промкомбинат №2») и поставивший с крепостными актерами «Травиату». Весь круг людей, связанных с Пастернаком и первой женой Галиной Гудзь, кажется, исчез полностью, исключение, по-видимому – та же Наталья Столярова и ее подруга, переводчица и художница Лидия Бродская, имя которой встречается в дневниках сына Цветаевой Георгия Эфрона. Любопытно, однако, что Шаламова годами преследуют недотыкомки-Асмусы – со дня встречи с «автором работ по интуиции в философии» в Переделкино на даче Пастернака, через прежнюю квартиру, в которой сквалыга-профессор перед выездом отдирали линолеум от пола и вывинчивали шпингалеты, и до асмусовской тещи, вбившей в стол на общей кухне нынешней коммуналки гвоздь, чтобы не облакачивались соседи.

Кроме шахмат, Шаламов увлекается футболом и болеет, согласно Валерию Есипову, за «Спартак», в дневниках присутствует запись-напоминание: «Сборник «Спутник любителя футбола». II круг 1963». Болеет он страстно: орет, подпрыгивает и размахивает руками.

Через Сучкова, лично знавшего Андрея Платонова и занимающегося его творчеством, Шаламов получает доступ к спискам «Котлована», лучшей, по его мнению, книги Платонова, «Чевенгура», фрагментом которого почему-то считает повесть «Впрок», и незавершенной аллегории «Джан». Англичанин Роберт Чандлер пытается как-то соотнести Андрея Платонова с лагерным «романистом» из рассказа «Заклинатель змей», но рассказ написан в 54 году, когда о ненапечатанных вещах Платонова никто не знал, печатавшееся и доступное – второсортно, и в литературе этого имени просто не существует.

Шаламов домосед («Ольга Сергеевна и Сережа на даче, .. я же все время дома – могу только уйти в магазин» – Солженицыну, «Я всегда дома» – Галине Воронской). Помимо магазинов, он ходит в редакции – в «Новом мире» он еще работает внутренним рецензентом, а в издательстве «Советский писатель» готовит сборник под названием «Шелест листьев»: «...рукопись включена в план и прошла подбор и гребенку первого редактора, имя которого будет значиться на титуле. Еще – два чтеца кроме Главлита... сражаюсь за каждую строку». Имя, паразитически прилипшее к Шаламову – напомним – Виктор Фогельсон, которого, надеюсь, без усталости превращают в шашлык сотрудники тамошнего отделения издательства «Советский писатель».



# 1964

К Новому году Лесняк посылает Шаламову авиабандеролью ветки стланика. Стланик – очень своеобразное дерево приполярного климатического пояса. Он похож на обросшего хвоей осьминога и в лесных массивах непроходим. На зиму он ложится и засыпает, а весной пробуждается. Шаламов ставит ветки в воду, и они оживают. В голове его складывается стихотворение в прозе, которое он хочет посвятить Лесняку с Савоевой, «черной мамой» его загробных скитаний, но Лесняк не соглашается «с некоторыми положениями будущего рассказа, просит их убрать и не называть наших имен» – от греха подальше. В будущем лапы стланика превратятся в ветку лиственницы, и воскреснет она в квартире Надежды Мандельштам, вдовы поэта, умершего на родине даурской лиственницы, «дерева концлагерей», и не боящейся посвящений Шаламова.

Солженицын в это время – один из немногих, в котором Шаламов надеется обрести достойного собеседника, во всяком случае, эпистолярного. Выборка из переписки Шаламова может составить самостоятельное законченное литературное произведение, звездный шлейф его «новой прозы». В такое произведение вошли бы несколько обширных фрагментов из писем Солженицыну. Одно из них, от ноября 1964 года – настоящий отточенный «опыт художественного исследования», пользуясь выражением адресата. Летом этого года Солженицын предлагает Шаламову вместе работать над «Архипелагом ГУЛАГ», от чего тот с ходу отказывается. Солженицын пишет, что был «тяжко поражен». Видимо, он плохо читал «Колымские рассказы». Позже Шаламов не раз будет подчеркивать, что он «не историк лагерей», он – летописец своей души, изведавшей лагеря и поднявшейся из ада рассказать, каково ей там было. Здесь водораздел с Солженицыным. Предложение Солженицына – это предложение историка, компилятора и статистика, тогда как Шаламов запечатлевает не историю, но откровение, посетившее человека, или еще точнее, его душу, орган проникновения в существо бытия. Шаламов поэт, поэтому предложение не по адресу. Кроме того, трудно представить себе Шаламова, работающего на чужой замысел. Шаламов не поясняет причин отказа, а Солженицын передает разговор крайне невнятно. Что значит, «хочу знать, для кого пишу»? Что означает фраза: «Какая разница, что я напишу – и это будет лежать в каком-нибудь другом месте»? Язык какого-то платоновского героя. В каком другом месте? У Солженицына? В зарубежном издательстве? Солженицын представляет дело так, что Шаламов

против публикаций за рубежом, ему нужна известность в СССР. Одна из их предыдущих бесед зафиксирована в записных книжках уже Шаламовым. Эта та странная беседа, второй участник которой доказывает, что герой художественного произведения непременно должен быть верующим. «В Америке, – говорит он, – есть даже закон на этот счет». Я думаю, если такой разговор и имел место, Шаламов его искажил. Не может человек в здравом уме утверждать, что где-то в цивилизованном мире есть закон, по которому герой переводного романа непременно должен быть верующим. Как-то это иначе, наверное, было выражено. Но не в этом дело. Главное в этом разговоре – то, что не сказано. А не высказано Шаламовым ни малейшего возражения по существу разговора – об издании книги за рубежом, в «тамиздате». Двое человек обсуждают возможность и желательность публикации, в частности, «за кордоном», и это принимается как само собой разумеющееся. (В черновике неотправленного письма Солженицыну от 1974 года Шаламов напишет, что отказался давать что-либо за границу, но в 1974 тема заграничных публикаций для него – незаживающая рана и источник чувства великой горечи и унижения, яростно требующие противопоставить себя «дельцу», сделавшему имя как раз на заграничных изданиях). Поэтому в разговоре об «Архипелаге ГУЛАГ», записанном Солженицыным, он совершенно напрасно оборачивает дело так, словно Шаламовым движет только тяга к известности, обусловленная публикацией книги в СССР. Публикация возможна везде. А вот говорить о том, чтобы просто писать для потомства, Солженицыну не следовало бы – как раз все, что написал этот фарисей, стало достоянием современников – в отличие от написанного Шаламовым. «Мысль об известности, видно, сильно двигала им». Надо полагать, Солженицыным всю жизнь двигало что-то другое. Кроме того, что, повторяю, предложение не по адресу, Шаламов просто не желает работать на новоявленного Чичикова, быть в ряду и без того множества информаторов, которые трудятся на его личный проект. Может быть, тактически это неверно. Может быть, стоило заключить с Солженицыным союз, своего рода «договор» вроде тех, какие Шаламов заключает с издательством «Советский писатель», и положиться на его невероятную удачу и «хитрожопость». Но для Шаламова это оскорбительно. Не следует видеть этот разговор в обратной перспективе, из следующего тысячелетия, откуда исполин Солженицын будет предлагать карлику Шаламову совместно работать над «Архипелагом ГУЛАГ», а карлик Шаламов по недомыслию упустит шанс прибавить в росте в соседстве с будущим лауреатом Нобелевской премии. Ничего подобного в 1964 году нет. Есть автор трех напечатанных рассказов (один из которых, назвавшись

повестью, принес сенсационный успех – но и только) и кучи чернови-ков продукции «уровня Писаржевского». И есть автор по меньшей мере двух готовых циклов совершенно новаторской, не имеющей в русской словесности аналогов прозы, отнюдь не напрасно именующей себя «новой». У одного в послужном листе четыре года «шарашки» и вполне сносного существования в лагере в качестве бригадира и канцелярского служащего. У другого за плечами семнадцать лет концентрационных лагерей Северного Урала и «сталинских Освенцимов» Северо-Восточной Сибири. Старшинство, даже по возрасту, очевидно. В этом предложении по всем пунктам выгода Солженицыну. Солженицын умеет использовать людей, это его призвание и профессия. Но едва ли тут речь о простом использовании. Солженицын по-своему умен и хорошо видит пропорции. Солженицыну Шаламов нужен куда больше, чем тот Шаламов. Отсюда предложение. И Шаламов совершенно естественным образом от него отказывается. Но, мысль, очевидно, запала. И в ноябрьском письме он как бы вносит свой вклад в отвергнутый, но все же привлекательный, нужный замысел. Во всяком случае, «планету Колыма» Солженицын получил, потом Шаламов решительно отберет ее у этого «неподходящего человека», а на последней странице шаламовской биографии колымский эпос целиком войдет в компиляцию прославленного ловчи́лы на правах приложения.

Не помню у Солженицына таких сжатых, чеканных очерков какого-либо из островов его внушительного архипелага. Дальстрой – сам по себе целый рабовладельческий континент, охватывавший в послевоенные годы территорию в два миллиона квадратных километров и пропускавший через свои жернова до 800-900 тысяч заключенных одновременно. Шаламов анализирует все подразделения этой системы в поисках ответа на вопрос, в каких условиях может сохраняться человечность и в каких из подразделений этой империи НКВД такие условия сохранялись.

«Золото, золотые прииски – это главное, ради чего Колыма существует. Ведь то, что на Колыме есть золото, – известно триста лет. Но никогда и никто не решался использовать труд заключенных в таких суровых условиях. В этих вопросах есть какой-то моральный предел, рубеж. Оказывается, этот рубеж можно перейти очень легко...

Попасть на золото – значило попасть в могилу. Случайность судьбы, когда список разрезают надвое – одни идут умирать, а другим достается жизнь и работа, которую можно вынести, перенести, пережить...

Второе по величине управление – Дорожное. Центральная «трасса» Колымы – около 2000 километров. Эта дорога имеет десятки ответвлений, подъездных путей к приискам, морским портам и полярным аэродромам...

Работа дорожников гораздо легче работы на золоте, хотя тут тоже грунт, тачка и кайло...

В дорожных управлениях нет промывочного сезона, нет «металла». Там десятичасовой рабочий день, регулярные выходные...

Угольное управление (Дальстройуголь), где на отдельных шахтах в разных местах Колымы живут и работают люди опять-таки по-своему, по-угольному, а не по-«золотому»... Есть речное управление – obsлуга пароходства на Колыме и Индигирке. Там был вообще рай. Есть геологоразведочные управления (так называемые ГРУ), где только живут многочисленнные расконвоированные с «сухим пайком»...

Есть управление «второго металла», оловянный рудник касситерита (Бугугычаг, Валькумей), руды, которую все зовут «костерит». Есть управления секретные, где заключенные получают зачеты семь дней за день. Это относится к урану, к танталу, к вольфраму. Заключенных на этих предприятиях мало: тут действуют контингента «В», «Г», «Д» и так далее.

Есть управления совхозов, где заключенные живут дольше, какими бы слабыми они туда ни попали... в управления совхозов входят и большие рыбалки на всем Охотском побережье. Попастъ туда – достаточно, чтобы жить, а не умереть...

Есть управление автохозяйства, очень большое, со своими мастерскими, автобазами не меньше тысячи машин, работающих день и ночь, зиму и лето. Заключенных там очень много. И шофера и автослесари и т. д. Но все это конечно – не золото...

Есть управления подсобными предприятиями – всевозможными мастерскими «пошива»...

Есть заводы ремонтные, которые давно перестали и быть ремонтными, а стали механическими, строящими станки...

Есть заводы по производству аммонита, электролампочек... Всюду работают арестанты. Есть поселки Санитарного управления, где свои законы...

Страшнее всего, зловещее всего это – золото, золотые прииски. Ничто другое в сравнение не идет... на золоте каждый самый благополучный прииск кажется труднее и страшнее любой штрафной зоны любого другого управления».

Золотые забои, донный круг в этой иерархии ада, потребляли, пишет Шаламов, 90 процентов рабочей силы, человечность девяноста

процентов лагерников подверглась испытаниям, которых она не выдержала, и все гуманистические представления о ней после двадцатого века требуют пересмотра. Трудно сказать, в какой мере письма Шаламова – диалог, а в какой – монолог, поскольку на публикацию своих писем, а их четырнадцать, Солженицын наложил запрет, действующий поныне. По-видимому, непримиримые, фундаментальные разногласия оба стараются не подчеркивать. Шаламов возражает лишь против воспеания лагерного труда, этого эвфемизма массового убийства, но находит это воспеание не в «Иване Денисовиче», вернее, как бы не замечает его в «Иване Денисовиче», а у бездарных писак, вроде Алдан-Семенова, лагерный опыт которого он определяет как опыт расконвоированного при дорожном управлении в поселке Аркагала на Колымской трассе – чего-то вроде лагеря из повести Солженицына, где вполне можно жить. Но дело не в лагерном опыте, тут же вносит ясность Шаламов. Ценность свидетельства неотделима от его художественной ценности, это, собственно говоря, единое целое, иначе для входа в литературу достаточно справки из соответствующего учреждения: «Можно ли простить выступления целой тучи бездарностей – только потому, что они «сидели» в свое время... искусству... нет дела до того, страдал бездарный автор или нет». Подход Солженицына значительно проще и логичнее – это подход статистика и этнографа, собирателя фактов независимо от их эстетической ценности. Какая эстетическая ценность в факте? Факт важен для создания исторического полотна. Шаламова историческое полотно интересует, но мало. Историческое полотно – сырье для поэзии, преобразующей его в миф, а в поэзии господствует великое равновесие слов, их интригующее соседство в потоке высказывания и звуковой каркас – вещи, история уничтожения которых и есть история лагерей. Историю лагерей можно писать сколь угодно антихудожественно – факты от этого ничего не потеряют. Миф о концентрационных лагерях держится на великом равновесии слов, ибо даровать опыту лагерей бессмертие можно только полным подчинением их действительности законам поэзии. «...есть только один род бессмертия – искусство».

Упоминание о справке здесь не случайно. Справка – деталь шаламовской биографии. Шаламов сам недавно запрашивал справку, подтверждающую его стаж горняка, но получил ответ, что сведения отсутствуют, и отсюда делает вывод, что архивы самых страшных лагерей – колымских и воркутинских (вероятно, по сведениям знакомых воркутинцев) – уничтожены. Так что долг памяти никто не отменяет. В «Колымских рассказах» поэзия и память объединяют усилия



для исполнения этого долга – но не в актуально-публицистическом приближении, а в естественной для гения перспективе бессмертия. Солженицыну не хватает в «Колымских рассказах» публицистического заряда. Одно лишь полного отрицания общества, породившего сталинские лагеря смерти, ему недостаточно. Должен быть антикоммунистический заголовок и политическая программа. Эти люди вышли из разных миров. Солженицын – в полном соответствии с его натурой эпигона и соглашателя – будет похоронен с государственными почестями, в присутствии президента и премьер-министра, бывшего полковника ГБ, а потом руководителя постсоветской тайной полиции, – Шаламов – тоже в полном соответствии с его гением – умрет в психушке и гроб его донесут до могилы случайные люди.

Справку о горняцком стаже Шаламов с помощью Гродзенского все-таки раздобудет, и пенсия его со следующего года будет увеличена с сорока двух до семидесяти двух рублей, на которые, по словам следователя госбезопасности из наброска «Вставная новелла», «жить нельзя». Но жить все-таки можно, а гонорары за сборники стихов даже позволят Шаламову в том же 1964 году разделаться с осточертевшей работой внутреннего рецензента при «Новом мире». Для хроники блокады можно воспользоваться его дневниковой записью, итожащей отношения с самым либеральным советским толстым журналом: «Я проработал в нем целых шесть лет и – кроме денежной – не встретил никакой поддержки». В дополнение к этой хронике: примерно тогда же Сергей Григорьянц предлагает «Колымские рассказы» киевскому журналу «Радуга», но получает отказ.

В апреле Шаламов в одиночестве – Неклюдова с Сергеем мерзнут на даче – переживает начатый еще в марте «ремонт, государственный ремонт, которому нет конца и края... плотничьи работы в разгаре, а до малярных далеко». В мае это стихийное бедствие должно закончиться, и Шаламов приглашает Гродзенского в гости, соблазняя билетами на матчи футбольных команд «Торпедо – Торпедо Кт.» и «Динамо – Крылья Советов», – удивительно, что не «Динамо – Динамо Кт.», а лучше всего было бы под номерами (Щ-854 – Ъ853) или аббервиатурами лагерных управлений. Однако, в июле он сообщает Лесняку, что ремонт не закончен, а жена с пасынком так и отсиживают на даче. Вот образ жизни Шаламова – с апреля по июль без женщины в доме, делает покупки, метет – или моет? – полы, стирает, пылесосит, чистит картошку, варит суп, супчик.

Федот Сучков, заправляющий отделом поэзии журнала «Сельская молодежь», спрашивает совета, как быть: «Я, конечно, усиленно буду рекомендовать в своей рецензии на вашу рукопись стихотворение «Об одном и том же». Но мне кажется, что едва ли в нем пройдут слова:

Освобождения (Преображенья) песни ждем  
(О песне громкой)  
О слове вольном думал он».

Поэтому «рискует просить», «чтобы Вы до передачи Ваших стихов начальству дали другой вариант двух слов «освобождения», «вольном». Сучков – бывший лагерник, если не друг, то приятель Шаламова, а также приятель и исследователь Андрея Платонова, друг Юрия Домбровского и Натальи Столяровой, человек прогрессивного, передового образа мыслей, и все это – не анекдот и не антисоветская пропаганда, а абсурдный, подлый, поднадзорный советский литературный быт. Тем же занимается в «Советском писателе» Виктор Фогельсон и еще тысячи, десятки тысяч штатных надзирателей за словами и словочетаниями в рифмованных строчках по всему СССР, включая союзные республики, автономные республики, национальные автономии и национальные округа. Все это гротескно, карикатурно до непристойности, но отнюдь не смешно. В письме Шаламову Анатолия Жигулина, отбывавшего срок на колымском секретном руднике Бугутычаг – добыча урановой руды, – есть такие слова: «Примите от меня... одну из худеньких моих книжек. Резали ее жестоко и редакторы, и цензура».

Шаламов уклоняется от ответа Сучкову, набрасывая вместо этого целое эссе о поэзии. В результате стихи, о которых вопрошает Сучков, будут опубликованы в сборнике «Стихотворения» в 1988 году, вместе с первыми из «Колымских рассказов».

Солженицын, еще год назад поспешно принятый в ССП, в котором Шаламов демонстративно не состоит, в декабре того же года выдвигается на Ленинскую премию. Вместе с журналом его номинирует ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства, куда Солженицын отдаст на хранение рукопись своего романа «В круге первом» и откуда к Шаламову придет симпатичная Ирина Сиротинская. Все эти курьезные, но неслучайные совпадения отчетливее прорисовывают облик столичной либеральной интеллигенции, их основного адресата и вершителя судеб: ЦГАЛИ, входящий в систему Министерства внутренних дел, ведающего также тюрьмами и лагерями, не уступает в либеральности «Новому миру», точно так же являю-

щемся органом Союза писателей, главного гонителя свободы литературного творчества в стране победившего соцреализма.

Выдвижение сопровождается интригами и провокациями, которые приводят Шаламова в негодование. В пылу гнева и дружеского участия он называет «Ивана Денисовича» «лучшим, что есть в советской литературе, в русской литературе за десятки лет» (Солженицыну) или пуще того: «Все три рассказа его — чуть не лучшее, что печаталось за 40 лет» (Лесняку), то есть с 1921 года!, — не подозревая, что именно эти «болельщицкие» настроения скоро вознесут соперника в новые львы толстые, из глубокой тени которого Шаламов уже не выйдет.

Никита Струве приводит дарственную надпись Шаламова Солженицыну, сделанную им на поэтическом сборнике, а это, скорее всего, «Шелест листьев», «крошечная книжка», которую Шаламов обещает прислать, «как только выйдет». «В знак бесконечного восхищения Вашей художественной, общественной и нравственной победой». Все победы еще впереди, но восхищаться ими Шаламов уже не будет. Солженицын, которого он считает не поэтом, а стихоплетом, пишет в ответ:

«Тому, кто вас совсем не знает, — и по этому сборнику тоже можно представить Вашу подлинную силу — но об этом читатель должен догадаться по «Пню», «Пауку», «Памяти», «Оде ковриге хлеба» (эти два Вы второй раз включаете, и хорошо делаете) — стихотворениям великолепным, ни в чём не ниже всего того, что я у Вас так люблю. «Поэзия — дело седых» — тоже из этого ряда, но выраженная мысль не безусловна, иногда верна, иногда нет, поэтому в эту четвёрку я его не включаю... Однако я бурчу, а надо радоваться: тираж уже похож на человеческий, его прочтут уже не столько, сколько «Огниво». И я твёрдо верю, что мы доживём до дня, когда и «Колымская тетрадь» и «Колымские рассказы» тоже будут напечатаны. Я твёрдо в это верю! И тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов».

Сам по себе отзыв Солженицына неинтересен, интересна тут его вера в день, когда «Колымские рассказы» будут изданы, и все узнают, кто такой есть Варлам Шаламов. За время своего пребывания за границей в качестве «совести России» и нобелевского лауреата он, кажется, ни разу публично не упомянул имени Шаламова. Владимир Войнович упрекает Солженицына в том, что тот уклонился от использования своего авторитета для помощи Шаламову в издании «Колымских рассказов» за рубежом. Это не совсем так. Дело обстоит значительно

сложнее и значительно хуже. Появлению по крайней мере трех книг Шаламова Солженицын как раз способствовал – это два тома плюсуя переиздание, вышедшие в парижском издательстве ИМКА-Пресс. Восхититься этой очередной победой Шаламов уже не мог – он умер и погребен на Ново-Кунцевском кладбище.

В биографии Шаламова необходимо упомянуть его кошку Муху – создание настолько исключительное, что способно было бы «изменить мир», если бы ее не убили. Шаламов и потом держал кошек, но имен их история не оставила. Муха, по-видимому, и фигурирует в рассказе «Безымянная кошка», написанном на колымском материале. На московском материале она фигурирует в нескольких сюжетах, связанных с коммуналкой и житьем-бытьем на Хорошевской: в одном из них теща Асмуса «специально просит дворника Николая набить колючую проволоку по столбикам», дабы воспрепятствовать прогулкам кошки на улицу, в другом Лесняк фотографирует ее на коленях Шаламова, лицо которого «излучает покой и умиротворенность», в третьем негодники-котята изгрызают авторучку – чернильную, не шариковую, шариковых тогда в СССР, кажется, не было – и письмо приходится писать карандашом, в четвертом, наконец, Муху убивают, и Шаламов не находит себя от горя. Поскольку чувства юмора у Шаламова нет, его запись о том, что Муха – «праведник» наравне с доктором Лоскутовым, следует понимать буквально. «Муха пожертвовала жизнью, чтобы освободить мне время, дорогу». Муха – единственное любимое существо до прихода Сиротинской. «...лучше всего была жизнь с Мухой, с кошкой. Лучше этих лет не было. И все казалось пустяками, если Муха здорова и дома». Муха, как любая значимая деталь в притчах Шаламова – символ. «О том, что на знамени Спартака была изображена голова кошки как символ свободолюбия и независимости, впервые я узнал от Шаламова» (Борис Лесняк). Жалость к животным – то, что все-таки воскресает в оживающем доходяге – в отличие от любви.

Летом того же года он получает восторженное письмо Фриды Вигдоровой – журналистки и общественницы, обнародовавшей через самиздат стенограммы суда над Иосифом Бродским и тем положившей начало целому диссидентскому жанру. Ответ Шаламова дышит благодарностью за то, что его замысел «понят, почувствован, оценен». Понимание, насколько можно судить, содержится в «полувопросе», «почему «Колымские рассказы» не дают, не производят гнетущего впечатления, несмотря на материал». Вероятно, Шаламов переоценивает

степень понимания Вигдоровой его замысла, во всяком случае, посвящает целую страницу настойчивому повторению того, что «опыт лагерей – полностью отрицательный», «растлевающая сила лагерей велика и многообразна» и сказывается даже в «желании изобразить характеры «устоявших», «душевные травмы – непоправимы», «моральные барьеры отодвинуты», но здесь задет какой-то очень важный для Шаламова нерв, «скрытая суть»: «...дело тут в силе душевного сопротивления началам зла», пишет он впоследствии Мандельштам, когда «оказывается, что и душевных, и физических сил хватает еще на что-то, что позволяет держаться, жить...». Для Шаламова важен именно полувопрос, на который дается полуответ. Ответов он не дает. Ответов не существует, поскольку новизна пережитого абсолютна. Лагеря подвергли человека испытанию, которого он не выдержал, но вместе с тем выдержал, и этому есть свидетельства, а почему и как – Шаламов не знает. Он описывает закономерности поведения человека в условиях, которые лишают традиционное понимание человечности его смысла – и вместе с тем это новое понимание несет проблеск надежды. На глубину достигнутой человеком низости нисходит и что-то неистребимое, что может вернуть ему человеческое достоинство, но ни тому, ни другому нет готового объяснения, всякое готовое объяснение – ложь, высшие силы к этой коллизии не причастны, они ничего не предупредили и ни на что не откликнулись, человек в этих обстоятельствах реализует только собственную природу и должен смотреть правде в глаза. Способность смотреть правде в глаза и искать ответы на ее вызов – определяющий для Шаламова признак личностной полноценности. Опыт лагерей – полностью отрицательный, но он приносит знание, с которым нужно что-то делать, которое нельзя игнорировать. «Все это надо было показать людям, не знающим этого страшного мира». Эта тень диалога с почти вымышленным собеседником – прообраз того диалога, к которому он стремится, обескураживая читателей своими безжалостными открытиями.

В 1964 году завершены циклы «Колымские рассказы» и «Левый берег» и пишется цикл «Артист лопаты», куда войдет рассказ «Почерк» – исследование неисповедимых путей случая или рока, избирающего на роль спасителя палача, а палача – на роль жертвы, иллюстрация того, насколько в условиях лагеря и вообще тоталитарного государства эти роли замешаны и как проявляет себя человечность в ситуации, казалось бы, напрочь ее исключаящей. Окончательного ответа нет. «Осуждения нет», пишет Шаламов Вигдоровой. К теме «смещения моральных границ», делающего позицию судьи зыбкой и

уязвимой – при том, что осудить все-таки необходимо и осудить беспощадно – он возвращается постоянно, вплоть до позднего цикла «Перчатка или КР-2», где в рассказе «Вечная мерзлота» в роли палача выступает уже «второе я» автора, фельдшер лагерного медпункта, если не сознательно, то не безотчетно толкающий на самоубийство спасающегося здесь от общих работ заключенного. «... я понял внезапно, что мне уже поздно учиться и медицине и жизни», – приобщает Шаламов читателя к истине о вечной мерзлоте, бессмысленно хранящей трупы до Судного дня, этой метафоры земного неразрешимого настоящего, религиозный ответ на которое, по мнению Шаламова – малодушное и никчемное словоблудие. Библия для него – не более (но и не менее), чем набор общих с читателем великих культурных кодов, позволяющих встроить лагерный опыт в отрицаемую этим опытом высшую реальность поэзии, спасительную, но совсем иначе, чем поусторонняя реальность религиозной проповеди, обращающей мертвые словесные клише к сердцу воспитанного на подменах глубоко безрелигиозного, но стадно отзывчивого на голос не утерявшей авторитета традиции советского человека.

К кому, кстати, обращается Шаламов со своими колымскими откровениями, со своей правдой и со своей, надо сказать это слово, – моральной проповедью, как бы он ни обрушивался на учительство? Кто его московская аудитория? Что представляет собой послевоенная, послесталинская Москва, ее образованный слой, ее охлосинтеллигенция, ее, заимствуя выражение Примо Леви, «лагерные старожилы», оставшиеся в спасительной части списка распределения по лагерным управлениям и мало того что выжившие – выжившие, по советским меркам, довольно неплохо, заполнившие бесчисленные офисы столицы концентрационной вселенной? Ближайшую – фантастическую, разумеется – аналогию я вижу в нацистском Берлине шестидесятых годов, в столице Третьего рейха, избежавшего и тотальной победы, и безоговорочной капитуляции, во всяком случае сохраняющего неплохой геополитический статус кво, – естественная смерть вождя избавила его от крайностей гитлеризма, которые роняют великую нацию в глазах по-прежнему враждебного, но не агрессивного и даже желающего сотрудничать свободного мира; эксцессы теории и практики расовой доктрины осуждены и вина за них возложена на «культ личности», главарь тайной полиции уличен в заговоре и расстрелян с несколькими высокопоставленными гестаповцами, власть – у его не столь одиозных партайгеноссе, остатки расово неполноценных реабилитированы, военная мощь страны по-прежнему велика, ракеты с

атлетами на борту покоряют космос, восточные территории колонизируются и цивилизуются, и среди всего этого выживший в Дахау и Аушвице еврей, пользуясь «оттепельными» настроениями и брожением в получивших некоторую свободу умах, пытается донести до сограждан какую-то свою лагерную правду, какую-то вынесенную из барачных и каменоломенных истин относительно природы арийского человека и его государства, пусть натворившего зол, но вовремя опамятавшего, осудившего и очистившегося и, в конце концов, наследующего Гете и Канту. Москва, конечно, побивает этот рекорд – Германия не претерпела такого физического самоуничтожения нации и разрушения всех ее общественных институтов, но степень нравственного растрепания и социального одичания сопоставима.

Внезапная отставка Хрущева, совпавшая с очередным запуском космического корабля, смещает политическую ситуацию вправо, и издательство «Советский писатель» возвращает Шаламову залежавшуюся папку с «Колымскими рассказами». Работник издательства Майя Муравник описывает душераздирающую сцену, когда убитый горем Шаламов восклицает: «Куда я с этим пойду? Куда мне теперь деваться?», – словно это самое тяжкое испытание в его жизни. Мемуаристы-верхоглядцы работают по лекалам расхожего мифа: жестокая советская власть возвращает несчастному, умершему в сумасшедшем доме Шаламову труд жизни, и тот по законам жанра должен стенать, не зная, куда пойти. Ответ, кажется, очевиден – в направлении «тамиздата». Как раз сейчас Шаламов свободен от обязательств, и, возможно, просто заручается свидетелями своего безвыходного – действительно безвыходного в СССР – положения, оправдывающего дальнейшие действия. Писатель должен печататься. Книга пишется для того, чтобы быть изданной. Не издадут здесь – найдется издатель там. Пример Пастернака еще свеж. А Шаламов – не дачник-Пастернак, это упорный, жесткий, нераскаившийся политкаторжанин. Ослабление режима не вводит его в заблуждение относительно природы этого режима и сформированного им общества. Как раз тогда он ставит в письме Гродзенскому беспощадный диагноз советскому обществу: «Совершив столетний оборот, русское время подходит в своей шкале к нравственному нулю...». Иначе говоря, нужно начинать с нуля. Начинать с нуля – значит, начинать с чего-то наглядного, слова тут бессмысленны, вернее, оболганы, слова исходят из лживых уст и обращены к нравственно опустошенным циникам, которые знают им цену. Следовательно, нужен пример поведения, наглядный личный пример (в том же письме). Что-то совершенно в духе русской традиции Аввакума и ре-

волюционеров-народовольцев. Нужны, по выражению Шаламова, «живые будды», такие же люди, соседи, но нравственно состоятельные, у которых слова не расходятся с делом, а поэтические декларации – с повседневным житьем-бытьем. При всем безграничном цинизме советского общества запрос на безупречную нравственную позицию очень велик, и Солженицын потом откликнется на него собственным категорическим императивом: жить не по лжи. Позиция, довольно близкая к шаламовской, но у Шаламова она еще более ригористична и смертоносна, поскольку не считается с изощреннейшей способностью к двоемыслию, воспитанной в советском интеллигенте и позволяющей путем череды подмен создать обширное буферное поле между непосредственно ощущаемой правдой и явной ложью, поле, в котором можно существовать, ничем особо не поступаясь и чувствуя себя нравственно состоятельным. Шаламов говорит просто о личном примере, подразумевая поведенческий кодекс некоего идеализированного русского интеллигента рубежа веков, гуманитария, атеиста, человека передовых взглядов и политически активного гражданина, обобщенно говоря, члена эсеровской партии, безоглядное самопожертвование которой в борьбе с царизмом лишило ее плодов собственной революции, присвоенных расчетливыми большевиками. Политически, а следовательно, этически, Шаламов совсем не в своем времени, он это чувствует и держит дистанцию от нарождающегося диссидентского движения, которое, в свою очередь, держит подчеркнутую дистанцию от любой безнадежно скомпрометированной в глазах коррумпированного советского интеллигента революционности. Дистанция Шаламова от диссидентского движения объясняется, на мой взгляд, не избытком радикализма этого движения, а, напротив, нехваткой, его робостью, зависимостью от власти и склонностью к соглашательству. Куда легче представить Шаламова деятелем и идеологом революционной партии, чем той «внутрипарламентской оппозиции», т.е. части системы, на лидерство в которой, по складывающемуся у него впечатлению, претендует активист реставрации Солженицын. Политически Шаламов – пережиток политической культуры России начала века, от которой Советский Союз отброшен сталинизмом в эпоху зиккуратов и пирамид. Политически и мировоззренчески он так же опережает свое время, как эстетически. Это – вынужденное одиночество в отсутствии возможности солидарности, одиночество революционера в среде обывателей, общий язык с которыми потерян до такой степени, что из «Колымских рассказов» вычитывается что угодно, кроме их чрезвычайно ясного и чрезвычайно подрывного политического мессиджа. Солженицын, например, его не вычитывает. Удивляюсь, какие нужно



иметь глаза, чтобы вычитать там лучшее отношение к советскому государству, чем в «Архипелаге ГУЛАГ». Этой ригористической позиции Шаламов не выдержит, жизнь его сломает, но потенциал учителя в ней ничуть не меньший, чем в солженицынской, и, может быть, к лучшему, что это учение о «живых буддах» не подхватила и не раздула толпа. Известно, что происходит с учителями нравственности под прицелом глаз и рукоплескания клаки, а я не верю, что Шаламов, окруженный учениками, смог бы так же твердо придерживаться заповеди «не учи», как придерживался ее, находясь на отшибе общественного внимания. Эта страстная фанатичная натура неминуемо поддалась бы соблазну менторства, тон которого возмутил Георгия Демидова, одного из лучших людей, встреченных Шаламовым, и последнего, кто заслуживал прочитанных ему другом и агиографом высокомерных несправедливых нравоучений.

Тогда же, видимо, рвутся непонятно насколько тесные отношения Шаламова с Федотом Сучковым. «Скульптор, который торопится вылепить Солженицына, – не опоздать бы к раздаче премий. Серебрякову он уже вылепил». Галина Серебрякова, жена расстрелянного наркома Сокольникова – одна из тех бездарностей, что «разрабатывают» лагерную тему применительно к подлости. Шаламова отталкивает это смешение бывшим лагерником Сучковым грешного с праведным по конъюнктурному признаку «сидел-не сидел». Кроме того, Сучков что-то наобещал ему «с три короба» и ничего не сделал, «морочил голову года три». Что именно, я не знаю. Может быть, недостаточно постарался для продвижения стихов и прозы Шаламова в журнале «Сельская молодежь». Может быть, промедлил с его скульптурным портретом – не знаю, каких лет памятник на могиле Шаламова, портрет ли это с натуры или по памяти. Позже Шаламов напишет Мандельштам, что «талант у Сучкова невелик», но он «не шпион, не доносчик, не бахвал», а это немало. В 72 году после письма в ЛГ Шаламов не пустит его со Столяровой на порог дома. Десять лет спустя Сучков прочтет стихотворение над гробом Шаламова. При Горбачеве напишет водянистое эссе-мемуар под названием «Его показания» и даст телеинтервью, в котором отметит замкнутость, скованность писателя и свободу, «безыскусность», простоту его прозы. Гонорар за первое издание «Колымских рассказов» в СССР Сиротинская отдаст ему за надгробие, которое потом осквернят вандалы.

Итог хрущевского правления Шаламов подведет для себя позже, посетив в годовщину отставки его могилу. «Три великих дела сделал

Хрущев: 1) возвратил и реабилитировал, пусть посмертно, миллионы, 2) разоблачение Сталина, 3) атомное противостояние 1961 года. Он был хозяином Кубы, не выстрелил, осталась жизнь, осталась жизнь на земле». Будь Шаламов лучше осведомлен, третий, патетический, пункт он бы убрал. Хрущев не выстрелил, поскольку стрелять по Америке ему было решительно нечем – кроме ракеты, на которой летал Гагарин. Перевес США в ядерном оружии и средствах доставки был абсолютным. Межконтинентальных ракет у СССР не было, а у США были – и на жидком, и на твердом топливе. По ядерным зарядам СССР отставал в 17 раз. Ракеты средней дальности Америка держала в Турции и Италии, а на Кубе они только разворачивались, и за время заправки перед запуском их можно было успеть расстрелять раз сто, благо заправка занимала часы, а необходимое вертикальное положение они принимали не в шахтах, а в низкорослых пальмовых рощах. На девять американских атомных ракетных подлодок, по шестнадцать ракет «Поларис» на каждой, приходилась одна советская с тремя ракетами дальностью полета на шестьсот километров, причем выстрелить ими можно было только из надводного положения, и, кроме того, как раз ко времени карибского кризиса ее обезвредила катастрофическая авария. На семьсот с лишним американских стратегических бомбардировщиков «Б-52» приходилось несколько советских, которые, в отличие от американских, должны были подниматься с советских баз и лететь через все полушарие. Хрущев не выстрелил, потому что играл краплеными картами, запуская в космос Гагарина и Титова и демонстрируя на военных парадах 26-тонную Царь-бомбу, которую не могла поднять ни одна ракета. Карибская авантюра была мошенничеством, которое сошло мошеннику с рук, не считая того, что «дело Ленина», по словам Хрущева, оказалось проиграно. Что касается первого и второго пунктов, то, конечно, Шаламов должен был испытывать к Хрущеву личную благодарность – все-таки климат и режим в Москве мягче, чем на поселении на полюсе холода.

Напоследок этот первый брежневский год сводит его с Юрием Домбровским, человеком, высоко почитающим его труд, находящим в «Колымских рассказах» знакомую ему по подлиннику «тацитовскую лапидарность и мощь» (Сиротинская), называющим себя «хорошим», а Шаламова – «великим» писателем (Сучков). Они почти ровесники. Домбровский – москвич, по иронии судьбы высланный после окончания Высших литературных курсов в Алта-Ату как раз в год возвращения Шаламова с Вишеры, старожил Колымы и огромного лагерного комплекса в Восточной Сибири под названием Озерлаг, патриот Ка-

захстана, бесшабашная, непосредственная натура, глубоко переживающая и способная выразить безграничный трагизм существования, но отзывчивая на все его немногие радости, по крови не то русский, не то поляк, не то еврей, по самоощущению же цыган, бродяга, пьяница, скандалист, превосходный писатель и диссидент, предсказавший в последнем рассказе «Ручка, ножка, огуречик» свою смерть от рук агентов советской тайной полиции (по версии, высказанной его женой Кларой Турумовой, казашкой, дополняющей великолепный космополитизм Домбровского, его хранителем, любовью, утешением и по-смертным издателем). К сожалению, и тут, при всей взаимной симпатии и схожести лагерных судеб, эти двое не могут быть друг другу поддержкой – слишком разные характеры (Шаламов, кажется, напрочь не выносил выпивох) и слишком велика институциональная разобщенность бывших узников лагерей, оставляющая каждого его невеселой участи. Погибнет Домбровский за год до помещения Шаламова в дом престарелых, успев получить известие об издании во Франции на русском начатого им как раз в 1964 году романа «Факультет ненужных вещей» (факультет остатков права – того самого, на котором до первого ареста учился Шаламов). На родине эта книга, венчающаяся реминисценцией из евангелия кисти друга и младенчески бесстрашного художника-авангардиста Сергея Калмыкова, как-то пережившего в своем солипсическом пузыре все волны сталинского террора, выйдет одновременно с «Колымскими рассказами» при последнем издыхании сгубившего обоих режима.



## 60-е годы, вторая половина



# 1965

В январе, в «новогодних обвалах личной жизни», Шаламов получает от Домбровского ответ на свое новогоднее поздравление, где тот называет КР «буквально великим открытием» для себя и просит разрешения поделиться им с писателем и историком Юрием Давыдовым («Кандалакша», рекомендует он), впоследствии автором книг о выдающемся эсере-боевике Германе Лопатине, с внучкой которого Шаламов вскоре сведет знакомство через вездесущую Наталью Столярову.

«Обвалы личной жизни» означают, по-видимому, фактический развод с Ольгой Неклюдовой. Восемилетний брак исчерпал себя, но собственного отдельного жилья у Шаламова нет, и вынужденное, мучительное для обоих сожительство в двух комнатах коммунальной квартиры на фоне изнурительной, требующей от Шаламова уединения и бесконечной самоотдачи работы, хронических недомоганий и стены, воздвигнутой на пути публикаций, пробуждает самые дурные черты его характера, о которых Ольга Неклюдова с болью рассказывает другу семьи Лесняку во время его случайного визита в отсутствие хозяина. Характер Шаламова «стал несносен, – записывает с ее слов Лесняк. – Он подозрителен, всегда раздражен, нетерпим ко всем и всему, что противоречит его представлениям и желаниям. Он терроризирует продавщиц магазинов ближайшей округи: перевешивает продукты, тщательно пересчитывает сдачу, пишет жалобы во все инстанции. Замкнут, озлоблен, груб.

Я ушел от нее с тяжелым сердцем. Это была наша последняя с ней встреча и беседа. Вскоре В. Т. получил комнату тоже в коммунальной квартире, этажом выше».

Заметим, далеко не вскоре. Лесняк, как представляется, пугает даты. По замечанию Гусяка (Лесняка, подсказывает сноски Сиротинской, что подтверждается записью в дневнике Шаламова) из претендующей на документальность «Вставной новеллы», гость и хозяин не виделись восемь лет, дело происходит в конце 1971 года, следовательно, последняя их встреча датируется концом шестьдесят третьего. Соответственно, и разговор с Неклюдовой должен происходить не позже, скорее раньше, а в новую комнату того же дома Шаламов переедет только в апреле 1968, так что это губительное для психики и быта Шаламова положение продлится еще лет пять, вынуждая его затвориться в тесной, узкой, выходящей на грохочущее шоссе комнатепенале, радость в которую внесет только появление жизнерадостной Ирины Сиротинской. Предоставленный самому себе, Шаламов огра-

ничивает требования быта тем минимумом, которые гарантируют сытость, тепло и необходимый для чтения и работы покой, а с бессонницей помогает справиться нембутал – отраву, которую ему прописали в Боткинской больнице при определении инвалидности и которую он называет «главным элементом своего физического, духовного и нравственного равновесия». «Никаких усилий ради минимального комфорта в еде, одежде или обстановке», – отмечает Шрейдер. Исключительная жизнестойкость Шаламова крайне далека от того жизнелюбия, которое заботится о житейском комфорте и домогается мелких радостей жизни, в совокупности составляющих обычный домашний уют. Все описания его комнаты, его бытового уклада отмечают эту крайнюю аскетичность, не столько намеренную, сколько вынужденную – в отсутствии женской руки, которой жесткость особенно советского быта, помноженного на непритязательность бывшего лагерника, смягчается как бы сама собой. Сергей Григорьянц пишет, что «жил он нище», комната, правда, уже другая, «этажом выше», но и «этажом ниже» он жил не лучше, очень запущена, стаканы зеленые и немые. Сахар и хлеб держит в тумбочке у кровати (Олег Волков). Сиротинская (сама, впрочем, запомнившая «узкую комнатушку» и «облезлый стул») возражает Григорьянцу, что зеленых стаканов у Шаламова не было, а Волкову – что кровать была не железная, а деревянная, и стол – не кухонный, но письменный, однако, независимо от того, прозрачные ли стаканы и деревянная ли кровать – это врезавшееся в память впечатление неуютности, скудости, нищеты, объективных причин для которой, кстати, могло и не быть, одно и у Григорьянца, и у Волкова, и у Сучкова, а Лесняк упоминает о картонной коробке, стоящей на тумбочке под узким, «наглухо закрытым» (Солженицын) окном, где живет кошка Муха, убитая каким-то мерзавцем летом 1965 года. Через пятнадцать лет эта бытовая неустроенность делается патологической, и Шаламова спровадят в дом престарелых.

Из-под Киева на прошлогоднее письмо-вопросник Шаламова откликается Федор Лоскутов, его товарищ по Центральной лагерной больнице для заключенных, «живой будда» шаламовского нравственного учения, о котором тот задумывает очерк или рассказ («Напишу о праведниках. О докторе Лоскутове. О Мухе...»), может быть, в противовес посконному «Матрениному двору» Солженицына подбирая для жития героя-интеллигента. С учетом условий деятельности Шаламов ставит Лоскутова выше знаменитого доктора Гааза. Фельдшер в первую мировую войну, потом участник гражданской на стороне большевиков, выпускник медицинского института и врач-окулист, чью жизнь

Колыма изуродовала не меньше, чем жизнь Шаламова, Лоскутов не ищет для своего самоотверженного сострадания к людям никакой высшей легитимации, кроме врачебного долга. Колымчанка Елена Орехова вспоминает подробности медицинской практики этого удивительного человека, уже после освобождения работавшего в Магадане врачом по вызовам и передававшим в лагеря деньги, заплаченные ему вольными пациентами. Шаламов, вероятно, не знает, что Лоскутов спас ему жизнь, когда своим авторитетом среди больных-уголовников предотвратил убийство ненавидевшего их и нелюбимого ими «лепиль».

Ни о Лоскутове, ни о Мухе Шаламов не напишет. Единственную и не слишком удачную попытку такого рода он предпримет в рассказе «Житие инженера Кипреева», героем которого станет другой его колымский товарищ, не столь редкостно незлобивый, как Лоскутов, но калибром личности не уступающий ему и даже превосходящий его – Георгий Демидов. Шаламову не дается иконописание. Работа с чистыми красками иконописи требует либо особенностей дара, либо, как в СССР середины шестидесятих годов, особого рода чуткости к общественному запросу – к «позиции», неприемлемой для Шаламова ни идеологически, ни эстетически. Иконопись, которой занимается Солженицын – ответ на социальный заказ растленного общества, ожидающего искупления собственных грехов какими-то таящимися в недрах самого же этого общества, но общим грехом не оскверненными носителями благодати, божьими избранниками и хранителями извечной народной нравственности, как бы пронесшими эту нравственность непорочной через все испытания двадцатого века. Шаламов знает, что это ложь. Предельные условия его опыта не оставляют народной нравственности, если таковая вообще есть, никаких шансов за исключением смерти, способность ускользнуть в которую у животных, например, у лошадей на Севере, значительно выше, чем у человека, чья живучесть и, соответственно, глубина падения беспрецедентны в животном мире. Человек может восстановиться, но прежде глубоко пав и не волей некоей внешней ему высшей силы, гарантирующей нравственное начало, но собственным страшным усилием и природной выносливостью, превышающей выносливость лошади. Клиническая картина такого восстановления дана в рассказе «Сентенция» – человек восстает из предельной низости, предельного скотства, в которые перемолот «зубьями государственного механизма», не к постижению бога, который непонятно что все это время делал, наблюдая за творящимся в аду золотых забоев, а к началу собственной же культуры, плода его тысячелетней работы, присутствующей вместе с ним в этом аду как залог

его человеческого достоинства, уничтоженного, но не в каждом и не навсегда. Праведники религиозной традиции, как ее понимает и пропагандирует для советской либеральной интеллигенции Солженицын, делают опыт Шаламова каким-то отклонением от мейнстрима истории и вывихом человеческой природы сродни монструозности на фоне нормы, значение которой неоспоримо. Шаламов оспаривает значение этой нормы. Его опыт Колымы говорит, что в легко создающихся силами государства условиях голода, холода, непосильной работы, битья и бесправия нормой истории и человеческой природы становится как раз монструозность, и эту истину нужно усвоить. Она добыта слишком дорогой ценой, чтобы пройти мимо нее как мимо вывиха к традиционному пониманию человечности, ставшему ложным без данных опыта Колымы. Здесь – точка непримиримой вражды Шаламова с идеологией Солженицына, пользующегося, по мнению Шаламова, простейшими и наиболее эффективными в делах с толпой приемами завоевания симпатии и успеха. Но не только с Солженицыным. Солженицын представляет и литературно оформляет общий запрос советской интеллигенции и русской диаспоры на ответы, которые обходили бы вопросы, звучали бы так, чтобы снять и подменить сам вопрос, лишая истину Шаламова силы и ушей, готовых ее услышать. Эту «солженизацию» советской интеллигенции Шаламов будет находить всюду, даже там, где, казалось бы, должен встретить полное понимание. Эта «солженизация» в конечном счете закроет брешь в стене, которой обносит его труд советское государство, и стена станет глухой и непреодолимой, превращая жизнь в застенок.

Но до этого еще далеко. Наоборот, ближайшие годы обещают Шаламову радости человеческого общения и некоторую тень признания, которые имеют свой вектор, и этот вектор будет постепенно расходиться с вектором Шаламова, пока они не потеряют друг друга из глаз.

Весной Шаламов встречается с Гродзенским, главой своего скудного представительства в Рязанском княжестве Солженицына, который уже успел попасть в случай, впасть в опалу, опубликовать в Литературной газете нашумевшую статью в защиту русского языка и без собственного ведома издать в типографии ЦК КПСС закрытым и секретно малым, но оттого лишь повышающим престижность издания тиражом – исключительно для номенклатуры! – пьесу «Пир победителей» и роман «В круге первом». Что бы ни происходило с Солженицыным – все ему на руку, поскольку по законам шоу-бизнеса чем вы-



ше уровень шума, тем глубже его трансгрессия в низменные области массовой популярности, а массовая популярность имеет мелкочейстую структуру и захватывает в свою сеть всех встречных, гонится этот улов или нет: главное – загрести, потом разберемся, что оставить, а что – на свалку. Такой хищнический способ добычи известности губит и рассеивает возможную аудиторию Шаламова, но Шаламову это пока не до конца ясно, и его отношения с Солженицыным остаются если не дружескими, то достаточно приятельскими чтобы обмениваться письмами и даже встречаться. Солженицын упоминает о летней встрече, когда после мандельштамовского вечера в МГУ Шаламов «сказал буквально: – Мой час придет!». «Да, было у него много прав для такой надежды», – снисходительно соглашается мемуарист и перекладывает ответственность за последующее на жизнь и здоровье, которое, на его нечеловеческом русском языке, «обрывчиво» и своей «обрывчивостью» развеет эти надежды без всякого вклада самого Солженицына.

Гродзенский рассказывает Шаламову о лестных отзывах достойных людей и пожеланиях издать рассказы «большим тиражом и перевести на другие языки» – как раз то, что уже осуществил и осуществляет сейчас Солженицын, чьи сборники избранного выйдут в этом году в переводах на английский в Америке и на немецкий в Германии. Солженицын беспримерно рачителен – американское «избранное» составлено, например, из «Ивана Денисовича» и двух «новомирских» рассказов, однако, книга есть книга, резонанс который не сравним с журнальными публикациями, а у Шаламова в переводах нет и того.

Сохранился отзыв Солженицына на машинописный сборник из одиннадцати «Колымских рассказов», данных ему Шаламовым на прочтение. «...все они кажутся мне значительными, незаменимыми по верности свидетельствами, как всегда у Вас очень точно и весомо передающими обстановку. Отличными кажутся мне «Утка», «Первый зуб» (и принципиален к тому же, и изящный приём с подбором концов) и «Надгробное слово» (глубочайшая искренность, ничего нарочитого). Остальные все хороши, и все ценны познавательного. Только, пожалуй, рассказ об эпилептике мне показался аморфным – главным образом по мысли. Можно спорить об авторской точке зрения в «Почерке». Отзыв бледный, и привожу его только в качестве образца запрещенных для публикации писем автора этой эпистолы. В письме того же времени поэту Анатолию Жигулину Солженицын рекомендует: «А прозу Шаламова постарайтесь прочесть».

В письме Сергею Снегову, жалующемуся, по-видимому, на издательские рогатки, Шаламов дополняет собственную хронику блокады, достойную отдельной «библиографии ненапечатанного»: «Дела мои примерно в том же положении, что и у Вас – договоров нет, а выход стихов в «Знамени» – № 3.

Через восемь лет после первой моей встречи с журналом – стал возможен после очень тяжелых переговоров, отбора из сотни стихотворений, многих задержек и т. д.». Напомню, что в «Знамени» управляет его «дважды крестная мать» Скорино, с неприличной поспешностью прилетевшая на специальном автомобиле вместе с Кожениковым на звонок номенклатурного совписа Леонида Леонова, предложившего рукопись какой-то заваливающей повестушки тридцатых годов. Это тот самый Леонов, который, «не будучи ни шизофреником, ни психопатом в 1949 г., а только безграничным подхалимом и подделом, предлагал начать летосчисление «Эры человечества» со дня рождения Сталина». Упорство Шаламова пробиться к читателю очень напоминает упорство колымского доходяги перехватить любую работу, которая избавила бы его от кайла и тачки и тем спасла жизнь – и там, и там речь идет о жизни, и в обоих случаях эта задача требует предельной мобилизации и почти неосуществима.

Единственное, что Шаламов может осуществить своими силами и упорно осуществляет – это книга. В мартовском письме Вигдоровой он пишет о трех законченных (со временем выяснится, что вчерне) циклах КР: «Евгения Самойловна [Ласкина] сказала, что передала Вам первую книгу моих рассказов. Две другие Вы, кажется, знаете». Первая – это цикл «Колымские рассказы», вторая и третья – «Левый берег», первоначально называвшийся «Уроки любви» по одноименному рассказу, который Шаламов почему-то вообще изымет из этого цикла и перенесет в поздний «Перчатка или КР-2», и «Артист лопаты». Двенадцатый год Шаламов работает «в стол», помимо прочего и едва ли осознанно выказывая мотивацию, которая пренебрегает любой прагматикой и подтверждает ту развенчанную скотами истину, что приручить поэзию невозможно – наука доместикации не учитывает ее природы и, независимо от средств, демократических или тиранических, добывается успеха лишь там, где имеет дело с подменами поэтического, в существе своем глубоко обыденными и охотно лицедействующими по указке выработанных обществом стимулов. Подлинная поэзия чует и обходит эти отравленные приманки, часто ломая шею на бездорожье. Подлинная поэзия не отвечает, она ставит перед проблемой. Она сродни тому, что остается неподконтрольным лагерю даже после шкалы пищевых пайков и золотого забоя и кричит: «Сентенция!».

вызывая у окружающих злобный смех. Ее можно уничтожить, но не в каждом и не навсегда. Шаламов продолжает невероятную по жизненной силе линию русской словесности эпохи модернизма и авангарда, которую убили, но не социализовали – линию Хлебникова, Мандельштама, Платонова, Цветаевой, Клюева, Есенина, Добычина, Хармса и многих других, обнаживших первобытное начало поэзии и умерших, но не одомашнившихся. С Шаламовым эта линия, кажется, кончилась, как кончилась и поэзия, однако, поскольку поэзия бессмертна, эта линия возродится.

Итак, написаны три сборника рассказов и сотни стихотворений, имя Шаламова должно уже греметь по стране, в действительности же его коллега по Центральной лагерной больнице для заключенных, вольнонаемный хирург Александр Рубанцев, живущий в Московской области, только сейчас обнаруживает в мартовском номере журнала «Знамя» несколько стихов автора по фамилии Шаламов и, узнав через справку адрес, спрашивает, тот ли это Варлам Тихонович, о котором он «часто с болью вспоминал» и которого ему «очень хотелось бы повидать». Да, это я, без промедлений отвечает Шаламов и в своей суровой манере выделяет Рубанцева как редкого из встреченных в жизни людей, которые при столкновении с реальностью Колымы смогли «изменить предвзятое мнение», с которым приехали, и «сочли своим нравственным долгом активно действовать в соответствии с новым, более глубоким пониманием вещей». Случай с Рубанцевым хорошо иллюстрирует работу поэтической интуиции Шаламова, действующей под прикрытием лежащей на поверхности психологии и вопреки нормативному, не учитывающему опыта лагерей, взгляду на человека, который суммировался бы из взвешенной оценки его достоинств и недостатков. Рубанцев, как пишет сам Шаламов – из немногих людей, способных освободиться от предрассудков и в меру возможностей деятельно противостоять злу. При встрече, однако, он хорошо отзывается о бывшем начальнике больницы, некоем «докторе Докторе» (настоящее имя этого доносчика и мерзавца Михаил Дактор), травившем фельдшера-Шаламова как подлежащего уничтожению троцкиста, и этим отталкивает от себя Шаламова, совсем недавно «бесконечно обрадованного» его письмом и видевшего в Рубанцеве «тот случай, который укрепляет веру в людей». Психологически все понятно, однако одобрение одного негодяя (о котором, кстати, неплохо отзывался и Лоскутов) никак, вроде бы, не перевешивает явных человеческих достоинств Рубанцева. Но в разговоре выясняется еще одна вещь – хирург «забыл про этап с обморожениями», и поэтическая ин-

туция Шаламова, освобожденная после отзыва Рубанцева о начальнике больницы от уз симпатии, немедленно опознаёт эту забывчивость как закономерность поведения человека в условиях Колымы или истину о его природе, которую возвещают КР. Поэзия принимается за работу и создает притчу «Прокуратор Иудеи», где Рубанцеву (выведенному под именем хирурга Кубанцева) уже ничего не прощается и где он осужден как человек, предавший забвению нечеловеческие муки, которым оказался свидетелем – худшее из забвений, уравнивающее его с растленным персонажем рассказа Франса и евангельского сказания. У Лесняка в мемуаре есть главка, в которой он упрекает Шаламова за привнесение в реальные обстоятельства, отраженные в «Колымских рассказах», извращающего их художественного вымысла. Нужно совсем не понимать принципов работы поэзии, чтобы так непосредственно обижаться на отклонение притчи от протокола. «Проза, пережитая как документ» – это не документ, это особого рода послание, толкующее документ в контексте откровения о человеке и бытии, частью которого является документ. Откровение приходит через эмпирический опыт тела и души и формулируется средствами поэзии, наделяющей документ достоверностью, которой он в качестве протокола обладать не может – протокол не учитывает ничего, кроме находящегося непосредственно в поле зрения, именно поэтому он протокол, а не притча. Претензии Лесняка – печальное недоразумение в ситуации, когда человек не отличает очерка от рассказа, и это печальное недоразумение, только без личной окраски, определит отношения Шаламова со всей либеральной интеллигенцией, деградация эстетического чувства которой имеет результатом полную неспособность воспринимать прозу, отказавшуюся от хлама романной поэтики, как эстетическое явление, венчающее целую художественную традицию, у самых истоков порвавшую со сгнившим изнутри реализмом.

Весной Шаламов получает от Натальи Столяровой список «Воспоминаний» Надежды Мандельштам и в ночь после прочтения пишет пространный хвалебный отзыв, испорченный отталкивающей манерой рецензента журнального самотека, инерция которой еще жива после стольких лет лямки. Мандельштам, конечно, знает о Шаламове и читала его, возможно, не меньше, чем ее добрые подруги Вигдорова и Столярова, которая в курсе всего, что делает Шаламов. Шаламов тоже знает о Мандельштам, о Мандельштам в Москве знают «все», это живая легенда, кроме того, близкая подруга Ахматовой, и вот в руках Шаламова ее воспоминания о поэте, перед которым он преклоняется и который умер в том же транзитном лагере во Владивостоке, где Ша-

ламов был годом раньше. О смерти Осипа Мандельштама Шаламову рассказывала жена Лесняка Нина Савоева, колоритная «черная мама» лагерной медицины, о которой дошли самые противоречивые мнения: от садистки и крепостницы, издевавшейся над лагерными рабами, до самоотверженной начальницы больницы в Беличьей на Колымской трассе, где она выходила и приютила Шаламова и Евгению Гинзбург, автора известных воспоминаний «Крутой маршрут», с которой Шаламов вскоре встретится и о которой вынесет крайне негативное впечатление. Надежда Мандельштам, в свою очередь, наверняка читала «Шерри-бренди», написанный Шаламовым несколько лет назад на основе рассказа Савоевой, и наверняка ее отношение к автору еще до личной встречи окрашено любовью и состраданием, которого Шаламов найдет в ней сполна. Тиски рецензентских штампов не дают Шаламову выразить свое непосредственное отношение к книге, хотя он и пишет, что отзыв не исчерпывает «и тысячной доли достоинств рукописи». Ясно, что книга произвела на Шаламова сильное впечатление (к слову, Майя Каганская, хорошо знавшая Мандельштам, утверждает, что «...такой литературный аскет, как Шаламов, ставил прозу Н.Я. выше поэзии О.Э.»), но интереснее его ремарки и мелкие возражения, в которых задним числом можно увидеть слабые места этого союза родственных душ, по которым в будущем пройдет трещина.

«Рукопись эта – славословие религии, единственной религии, которую исповедует автор, – религии поэзии, религии искусства... без всякой мистики...

Я – человек, не имеющий религиозного чувства...

...люди из народа. Самый тон рассказа о них несколько книжен, традиционен и больше склоняется к картинам прошлого столетия...

Цитирование Бердяева выглядит чуть-чуть инородным телом...

13 мая они встретятся в МГУ на вечере, посвященном Мандельштаму или, скорее, очередному проявлению необъяснимого советского самодурства, без видимых причин годами тянущего с выходом книги и превращающего изысканного поэта петербургских салонов в знамя интеллигентской столичной фронды. Зиновий Зиник называет вечер «ключевым эпизодом литературного инакомыслия той эпохи» и «увенчавшейся успехом политической акцией». Председательствует на этой акции («очень толково, сердечно и умно», отмечает Шаламов) Илья Эренбург, из месяца в месяц печатающий в «Новом мире» свои сомнительные, но для «той эпохи» почти оппозиционные и довольно информативные мемуары, в которых Шаламова возмутит объяснение Эренбургом его пресмыкательства перед Сталиным: «...лизал

задницу Сталину именно потому, что тот был богом, а не человеком... удивительная формула... [доказывающая], что он ничуть не хуже и не трусливей других». В записных книжках Шаламов называет Эренбурга и Твардовского «сталинистами», не простившими Хрущеву своего страха. Суждение кажется парадоксальным, но интуиции Шаламова подтверждает Рой Медведев, несколько месяцев спустя вынесший после многочасового разговора с Эренбургом близкое впечатление: «Он испытывал острую неприязнь к Хрущеву и не скрывал этого. Хрущев, по мнению Эренбурга, был слишком грубым, импульсивным и необразованным человеком... О Сталине писатель, напротив, говорил с явным уважением, хотя и осуждал его за репрессии». Теперь Эренбург председательствует на вечере, посвященном поэту, которого, в отличие от него, давно нет в живых – не в последнюю очередь из-за проявленного неуважения к такому богу как Сталин. Битком набитый зал устраивает овацию присутствующей Надежде Яковлевне («все встали и зааплодировали» – Юрий Фрейдин), а Шаламов, вдохнувший пьянящей атмосферы массового политического протеста («бледный, с горящими глазами, напоминает протопопу Аввакума, движения некоординированные, руки всё время ходят отдельно от человека, говорит прекрасно, свободно, на последнем пределе, – вот-вот сорвётся и упадёт...» – запись неизвестного очевидца), читает «написанный на Колыме» рассказ «Шерри-бренди», по ходу чтения которого Эренбург получает записку какого-то сидящего в зале начальника с просьбой прекратить выступление, но сует ее в карман. Если бы у Шаламова постоянно была такая трибуна, мы увидели бы быстрое преобразование домоседа и нелюдима в собирающего толпы оратора самого радикального толка.

Сохранилась его запись об этом событии.

«В воскресенье, 9-мая, меняется дата, вечер будет 13-го в четверг... Изменен не только день – изменена аудитория, вместо большой 14-й вечер будет проводиться в маленькой десятой, где теснота помещений должна помешать любым разглагольствованиям...

Печатаются пригласительные билеты на стеклографе, как можно бледнее и скучнее: «Уважаемый товарищ! Клуб интересных встреч приглашает Вас на вечер посвященный творчеству О. Э. Мандельштама»

13 мая в шесть часов вечера звонок, Злотников из «Юности».

– Вечер отменен, просили вам передать. Вечер будет пятнадцатого как напечатано в билетах.

– Благодарю вас.

Я старый волк, я знаю, что отменить этот полу потаенный вечер, отменявшийся ранее десятки раз, может только тот человек, который пригласил меня на этот вечер и своей рукой исправил дату вечера на тринадцатое мая. Это – провокация, где Золотников лишь передатчик неверной информации. Звоню Надежде Яковлевне. Нет дома. Но и Надежда Яковлевна ничего не знает. Едет к семи...

У университета, у главного входа – ни души. Но я уже весь в напряжении, весь в игре. Протискиваюсь сквозь вертящуюся дверь. Дежурный рычит «Что нужно вам?»

От колонны, из глубины вестибюля – тонкая фигура студента:

– Вы на вечер Мандельштама?

– Да...

Эренбург читает несколько стихотворений Мандельштама. О веке-волкодаве. Проклинай глухоту, прислушиваюсь...

Чуковский вынимает аккуратно рукопись и читает свою статью, напечатанную в журнале «Москва». Ничего лучше Чуковский не придумал. Статья в «Москве» была хороша стихами Мандельштама...

Степанов. Открыл портфель,.. добросовестно доложил собранию о «Камне», о «Tristia», о теоретических трудах Мандельштама. Цитаты стихотворные и прозаические аккуратнонейшим образом нанизывались на гладкую безулыбчатую речь...

После Степанова – Тарковский. У этого не было портфеля...

Потом прочел я рассказ «Шерри-бренди», стараясь в предисловии дать надлежащий «градус» вечеру, не зная, что я выступаю последним».

В письме Гродзенскому Шаламов обосновывает достоверность рассказа о гибели Мандельштама, а заодно некоторые принципы «новой прозы», пересказывая свой разговор в редакции, где ему пеняют за создание «легенды о смерти» поэта:

«Описана та самая пересылка во Владивостоке, где умер Мандельштам, дано точное клиническое описание смерти человека от голода, от алиментарной дистрофии, где жизнь то возвращается, то уходит. Где смерть то приходит, то уходит. Мандельштам умер от голода. Какая вам нужна еще правда? Я был заключенным, как и Мандельштам. Я был на той самой пересылке (годом раньше), где умер Мандельштам. Я – поэт, как и Мандельштам. Я не один раз умирал от голода и этот род смерти знаю лучше, чем кто-либо другой. Я был свидетелем и «героем» 1937 – 38 годов на Колыме. Рассказ «Шерри-бренди» – мой долг, выполненный долг».

«Если бы я печатался постоянно, я бы писал день и ночь», – дневниковая запись того времени, в которой сожаление смешано с чувством гордой уверенности в своих силах.

Вот еще некоторые теоретические положения, из того же письма:

«Стреляющее ружье – это требование, унаследованное от XIX века, – так же, увы, как и «характер» – индивидуализация пресловутая. Все это – чушь. Есть один вид индивидуализации – это писательское лицо, почерк, стиль...

Когда пишешь, думаешь только о теме, но о принципах, о способах выражения раздумываешь десятки лет. Работа над аллегорией, над подробностью – деталью, над светотенью – все это обязательно, но очень элементарно. Есть более тонкие достижения, вопросы более сложные...

Первый вариант – как в стихах – всегда самый искренний. Вот эту первичность, сходную с «эффектом присутствия» в телевидении очень важно не утерять во всевозможных правках и отделках. Рассказ сделается слишком литературным – и это смерть рассказа...

Я не пишу воспоминаний и стараюсь уйти от рассказа как формы».

А вот некоторые возражения Солженицына, сформулированные уже в другой части света:

«...рассказы Шаламова художественно не удовлетворили меня: в них во всех мне не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц... не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторяясь из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт.

Другая беда его рассказов, что расплывается композиция их... составлены как бы из калейдоскопических кусочков, нет цельности, а наволакивается, что помнит память».

Дело не в том, что в чем-то Солженицын прав, что кое-где композиция действительно расплывается, камешки мозаики не стыкуются – «Колымские рассказы» не однородны ни жанрово, ни, само собой разумеется, качественно, есть такие, где не вынуть ни слова, есть такие, из которых, наоборот, хочется вынуть «новую прозу», попавшую в чуждое словесное окружение, – дело во взаимном неприятии эстетик: у Шаламова – «характер», индивидуализация пресловутая – все это чушь», у Солженицына – «не хватает характеров, фамилии без накопления индивидуальных черт», у Шаламова – «стреляющее ружье унаследовано от девятнадцатого века», прибылой палец, у Солженицына – «расплывается композиция, нет цельности». Солженицын работает по проверенному шаблону, тогда как Шаламов, имея дело с абсолютно



новым материалом и по подсказке своего гения, разрабатывает не просто иной шаблон, но иные способы работы с материалом; беспомощны не просто шаблоны, а сам способ привычного обращения – другое агрегатное состояние означаемого, лед не зачерпнешь, его требуется наколоть на куски. Эстетика Солженицына – это эстетика реставрации: рассказать о мире после Судного дня на языке мира, где Судный день – метафора в ряду других стертых метафор. «Трупы... сваливались в кучу и наспех засыпались промерзшей землей. Отсюда и пошло – накрылся». Это не Шаламов, это из письма Гродзенского Шаламову о концлагерях Воркуты, но тоже «новая проза», не имеющая никакого отношения к «характерам, лицам, прошлому этих лиц», на нехватку которых сетует Солженицын.

В послевоенном СССР нет общества политкаторжан, и находят они друг друга уж как повезет. По словам Шаламова, он искал Георгия Демидова пятнадцать лет и нашел случайно: рукопись пьесы с посвящением Демидову увидела у знакомой Шаламова новая соседка по коммунальной квартире, Вера Линде, она «повертела пьесу в руках: «Совпадают буквы инициалов с моим знакомым. Только он не на Колыме, а совсем в другом месте». Моя знакомая позвонила мне. Я отказался продолжать разговор. Это – ошибка. К тому же по пьесе герой – врач, а Кипреев – инженер-физик.

– Вот именно, инженер-физик».

Демидова тоже можно назвать личностью калибра людей Ренессанса, но если людей Ренессанса целенаправленно изводить, о них никто не услышит. Разночинец, ровесник Шаламова, весьма одаренный студент физико-химического факультета Харьковского университета, которого Лев Ландау с третьего курса взял к себе в лабораторию. «Хиросима. – Вот чем мы занимались в Харькове», если верить герою «Жития инженера Кипреева». Защитил диссертацию, «когда его однокурсники защищали дипломы» (Валентина Демидова). В 1938 году был арестован, осужден на восемь лет лагерей, отправлен на Колыму, где пережил тот же ад, что Шаламов. Спасся благодаря специальности физика и мощной внутренней установке на интеллектуальную деятельность в любых возможных условиях, вроде той приверженности поэзии, которая спасала Шаламова. Изобрел сначала способ восстановления отработанных электрических лампочек, вечный дефицит которых на Колыме обусловлен труднодоступностью территории и коротким периодом навигации. За демонстративный отказ от награды в виде «американских обносков», поставлявшихся по лендлизу, полу-

чил еще десять лет. С прииска по уже хоженому маршруту «доходяги» попал в больницу, где Шаламов работал фельдшером, здесь собрал «из старья» рентгеновский аппарат и изобрел «бленду» – диафрагму для улучшения качества рентгеновских снимков. Наконец, в рамках программы поисков уцелевших ученых-ядерщиков, был переведен сначала в Москву, а потом досиживал в республике Коми севернее Печоры и после освобождения остался в тех краях на должности главного инженера механического завода.

Десять из четырнадцати колымских лет Демидов провел на общих работах и не сгинул буквально чудом. Одна не то легенда, не то быль рассказывает, как на работе в отряде по добыче морского зверя он упал в ледяную воду и с температурой за сорок был брошен умирать в неотапливаемой избушке, но через три дня возвращавшиеся с промысла товарищи обнаружили его живым и забрали в больницу. Арктическая лагерная быль так часто напоминает фантастику, что возможно все. После освобождения Демидов понимает, что наверстать ничего нельзя, и, отказавшись от престижной по местным меркам карьеры инженера-рационализатора, направляет свой, по-видимому, универсальный дар на создание собственного колымского эпоса. В письме Шаламову из богом забытой Ухты он так и называет свои рассказы – «колымскими». Литература – не его область, но оставить свидетельство об этом «Освенциме без печей» Демидов считает своим гражданским и человеческим долгом – довольно странная в глазах современности мотивация, однако, и рассказ, вернее, очерк Шаламова недаром именуется «житием». Жанр жития отмер вместе с людьми, для которых предназначался, но во времена Шаламова эти люди со странной мотивацией еще жили и действовали. Рассказ этот мне кажется неудачным. «Новая проза» противится традиционной героике. Героика – это та самая «индивидуализация» и цельность композиции, о которых пекутся «литература» и Солженицын. Внешняя этой прозе задача сбивает ее с толку и уводит от того, чему она должна служить в подобном сюжете. Инженер Кипреев изобретает способ восстановления перегоревших электрических лампочек и за отказ принять в качестве награды американский костюм с чужого плеча, мечты местных рабовладельцев, получает добавочные десять лет. Шаламов дает «характер» образцового русского интеллигента, с которым «новой прозе» делать решительно нечего, это идеологический и эстетический штамп прошлого века. «Новая проза» прекрасно находит себя в этом сюжете, но не в колее «жития».

«На Колыме – сотни приисков, рудников, тысячи участков, разрезов, шахт, десятки тысяч оловянных, вольфрамовых забоев, тысячи

лагерных командировок, вольнонаемных поселков, «лагерных» зон и барачков отрядов охраны, и всюду нужен свет, свет, свет. Колыма девять месяцев живет без солнца, без света...

Промприборы, бутары, забой требуют света. Подсвеченные юпитерами, забой удлиняют ночную смену, делают производительней труд.

Везде нужны электролампы. Их возят с материка – трехсотки, пятисотки и в тысячу свечей – готовых осветить барак и забой. Неровный свет движков обрекает лампы на преждевременный износ.

Электролампа – это государственная проблема на Колыме.

Не только забой должен быть «подсвечен». Должна быть подсвечена «зона», колючая проволока с караульными вышками по норме, которую Дальний Север увеличивает, а не уменьшает...

Электролампы перегорают быстро. И восстановить их нельзя.

Кипреев написал докладную записку, удивившую начальника Дальстроя...

Восстановить лампы можно – лишь бы было цело стекло.

На следствии в 1938 году интеллигент Кипреев оговорил себя и «этот страшный нравственный удар пронес через всю жизнь». Моральная дилемма искусственна – если бить человека смертным боем и угрожать арестовать жену с грудной дочкой (которую и арестовали), он признается в чем угодно. Шаламов сам признает, что допросы третьей степени лишают узника возможности прогнозировать свое поведение, это часть этиологии человека в мире, сделавшемся нечеловеческим. Настоящая моральная дилемма вот в этих электролампах. Русский интеллигент, человек высоких нравственных качеств, инженер, который не может не изобретать, вся жизнь которого в том, чтобы изобретать, изобретает – в надежде на освобождение – способ увеличения производительности труда в забоях, где убивают его товарищей, и подсветки жилых зон лагерей, которые едва ли могут существовать без прожекторов, при одних факелах. Неизбежно утрируя, можно задать вопрос: чем это лучше работы бригадира, палкой и пайкой выбивающего из рабочего скота норму? Как функционирует система, делающая совестливого русского интеллигента пособником палачей? Почему свое ложное признание на следствии он воспринимает как позор, а работу начальником цеха на заводе, где реализуется его смертоносное изобретение, расценивает как достойное интеллигента занятие? Что такое человек в «обществе, где человека пытаются превратить в нечеловека»? Здесь стихия прозы должна быть свободна, раскована от искусственной «композиции» и из житийной героики выходить на реальный вопрос «самообслуживания Треблинки и Освенцима»,

«заимствованного из Колымской и Вишерской лагерной системы», как формулирует проблему Шаламов. Это не гарантирует совершенного произведения, но дает словам сопрягаться аутентично, в соответствии с их взаимной тягой в мире после апокалипсиса, абсолютная новизна которого диктует словам абсолютно новые, завораживающие читателя связи.

«Все должно выходить на бумагу само. В уме и за руку слова привлекать не надо».

Найденный на краю света Демидов пишет Шаламову: «...о тебе я пока что ничегошеньки не знаю. Где ты сотрудничаешь? В каком жанре пишешь?». Еще одно поразительное свидетельство эффективности блокады, в которой держит Шаламова советский режим – в год написания «Сентенции» и «По лендлизу» его колымский друг, интеллигент, литератор, наверняка оповещаемый московскими друзьями о примечательных культурных событиях, знает о Шаламове лишь то, что он жив и «работает в своей области». Демидов планирует приехать в Москву в июне, но сможет выбраться только осенью, и эта встреча, как он трогательно признается, «с тобой и твоими друзьями» (видимо, с Надеждой Мандельштам, которой он передает «особый привет», и ее кругом, но у Шаламова теперь и вообще хватает, с кем пообщаться) «...очень укрепила веру в себя и в продолжение своей жизни. Вообще-то этого мне здорово недостает», – признается Демидов, «надежды быть напечатанным» у которого «конечно, нет никакой» и чьи гонорары в Ухте – «доносы, окрики, угрозы... И самое подлое – «товарищеские» обсуждения в узком литературном кругу». Удивительно, что Демидов преодолет все и в семьдесят два года – Шаламов уже будет переведен в дом престарелых – выдержит последний удар – сделанный одновременно в разных городах обыск у него и его друзей и конфискацию всех пяти имеющихся экземпляров его машинописного собрания сочинений. Рукописи будут возвращены его дочери только после смерти отца, в разгар «перестройки», и изданы в виде книг уже в следующем тысячелетии, когда сталинские лагеря уничтожения никого не интересуют, а Солженицын принимает в своей подмосковной усадьбе российского президента в лице бывшего полковника КГБ. Трудно сказать, предчувствовал ли Шаламов подобную аудиенцию, но той же осенью он запишет в дневнике, что мир Солженицына – это «мир расчетов» и что этот человек «оставил по себе мое презрение». Предвидение Шаламова исполнилось даже точнее, чем он предвидел: Солженицын вписался в систему не просто в качестве лидера советской «внутрипарламентской оппозиции», а как одна из опор наследовавшего

советскому империалистического охранительного режима с рептильным «парламентом» под объединяющим его двухглавым орлом монархии.

Близкое знакомство с Надеждой Мандельштам сразу выводит Шаламова на пестрое сборище обретающихся на ее кухне («кухня» звучит более интимно, чем «комната», хотя в действительности это комната), а кухня эта чрезвычайно вместительна, поскольку Надежда Яковлевна чрезвычайно общительна и гостеприимна. Более общительна только Наталья Столярова, отношения которой с Шаламовым становятся все теплее и которая вскоре начнет помогать ему – к сожалению, между делом, вернее, дел, важность которых превышает для нее дело Шаламова. О Столяровой необходимо сказать больше, чем о ком-либо из людей, близких к Шаламову в эти годы, поскольку судьба его книг в обществе, где их подвергают жестокой официальной блокаде, находится в руках единиц, способных или не способных, желающих или не желающих создать противостоящие властным механизмы нейтрализации этой блокады, прорыва книг в большой мир, где их ждали бы аудитория и признание.

Столярова родилась в Генуе в семье русских политэмигрантов, левозеровских боевиков, этих конченных людей, которые жили быстро и умирали без сожаления, успевая унести за собой в могилу десятки и сотни тех, на ком держался ненавистный царский режим. Мать Столяровой, Наталья Климова, входила в число организаторов покушения на министра внутренних дел Столыпина, при взрыве дачи которого погибло двадцать шесть человек. Климова была схвачена, приговорена к смерти и в ожидании казни написала получившее широкую огласку письмо, некую медитацию об открывшейся ей на пороге смерти вечной любви и свободе – это чувство переживает одна из героинь «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева. Казнь заменили бессрочной каторгой, и Климовой удалось бежать. Через Манчжурию и Японию она добралась до Италии, здесь познакомилась с будущим мужем, родила двух девочек, переехала жить во Францию, заразилась испанкой и умерла, когда Наталье было шесть лет. Отец после февральской революции вернулся в Россию и при Сталине был расстрелян как «враг народа». Сестры воспитывались у безалаберных знакомых в Париже, взрослея в болезненной атмосфере «русского Монпарнаса» с его бытом нищей богемы, литературным декадансом, политической маниловщиной и провокацией, религиозными исканиями, наркотиками и сексуальной свободой. Екатерине удалось в конечном счете вы-

браться из этой трясины на твердую почву мешанской Швейцарии, Наталья же в шестнадцать лет сошла с сыном Бориса Савинкова Леоном и подпала под обаяние русской идеи, быстро обернувшей связями с ОГПУ и полувынужденной репатриацией. Вместе с сыном Леонидом Андреевым Вадимом Савинков выпускал национал-большевистский журнал «Завтра», идейно ориентированный на некое мистическое тоталитарное почвенничество, откуда сравнительно логично проистекали симпатии к СССР и «Союзу возвращения на Родину», руководимому Сергеем Эфроном, а затем и работа в парижской резидентуре советской разведки. До отъезда инфантильная и привлекательная Наталья успела познакомиться с поэтом Борисом Поплавским, стать его последней и «настоящей» любовью и героиней посмертно изданного романа «Домой с небес». Судьба Поплавского известна. Он погиб через год после отъезда Столяровой в СССР – либо перебрал кокаина, либо покончил самоубийством. Савинков с помощью Эфрона съездил повоевать – или чем он там занимался – в Испании и вернулся продолжать службу в какой-то французской фирме. Столярова два с половиной года наслаждалась обретенной коммунистической родиной, в 1937 году была арестована, осуждена на восемь лет и отправлена в лагерь под Караганду. В 1945 году ее честно освободили, позволив пропадать без работы и жилья в стране, где бывшему лагернику никто не рад. Каким-то образом она не пропала, дожидаясь реабилитации и по просьбе своей парижской соученицы Ирины была устроена на должность секретаря ее отца, Ильи Эренбурга, автора знаменитой в то время «Оттепели» и самого эффективного агента влияния Кремля на Западе, холодная война с которым со времен Фултоновской речи Черчилля не прекращалась ни на минуту. Едва ли в возрасте под пятьдесят у Столяровой оставались какие-то иллюзии относительно русской идеи, Родины, демократии, социализма и прочих губительных абстракций. Сирота, выпущенная в чашу жизни, стала тем сильным, хитрым, выносливым, чутким зверем, задатки которого вложила природа и которого распознавал в ней невротичный Поплавский. Настоящей родиной этой законченной авантюристки было сопротивление, а духовной основой этого сопротивления – принцип самопожертвования, в прямом смысле слова всосанный с молоком матери. Столярова не вернулась на Запад, где была ее настоящая родина, она осталась партизанить в стране, которая волей обстоятельств вытеснила и заместила старую родину, оставив от обеих только этот первобытный русский принцип самопожертвования, для которого родина там, где он реализуется. (В отношении поэзии Шаламов выразит это так: «...предложить собственную кровь для жизни возникаю-

щего пейзажа», иначе говоря, собственную жизнь, себя). В мелкобуржуазной, опустошенной, серой Москве шестидесятых годов Столярова была из редких полноценных людей, реликт уничтоженного биоценоза, стихийно воссоздающий черты этого биоценоза своим присутствием.

С Шаламовым она знакома с конца пятидесятых годов, в 1962 году познакомилась с Солженицыным – по версии КГБ, в доме Шаламова, по версии самого Солженицына – по собственной инициативе пригласив его к Илье Эренбургу (который ни при чем, ибо пребывал за границей), чтобы предложить восходящему имени свою помощь. Интересно, кстати, что эта встреча у Шаламова зафиксирована тайной полицией. За кем из них велась слежка? В справке КГБ говорится о 1962 годе, но если встреча имела место, то скорее в течение полугода с момента публикации «Ивана Денисовича» – до сих пор Солженицын едва ли вообще мог интересоваться госбезопасность. 1963 – год его триумфа, организованного при содействии такой инстанции как Хрущев и завершившегося их личным знакомством на помпезном банкете в ЦК для самых сливок номенклатуры. Непонятно, зачем тайной полиции следить за новоиспеченным советским писателем, ничем покамест себя не скомпрометировавшим, – разве что рефлекторно. О какой-то подпольной деятельности Столяровой в это время свидетельств у меня нет. Зато Шаламов просто просится на карандаш особиста: недавний друг Пастернака и автор злобно антисоветских текстов (а никак иначе они не могли квалифицироваться госбезопасностью), регулярно пополняющих самиздат. Не вызывает сомнений, что под наблюдением находилась именно квартира Шаламова.

Возвращаясь к Столяровой, этой «невысокой русоволосой женщине» (Шаламов), «серьезной, хмурой», но при этом «смешливой, любознательной, задиристой, кокетливой» (Копелевы), – помощь осторожному Солженицыну понадобилась сразу после отставки Хрущева, и Столярова по его просьбе устроила передачу микропленок с архивом на Запад через находившегося в то время в Москве жителя Женева Вадима Андреева.

Летом 1965 года она сама едет к сестре в Женеву, а оттуда в Париж, где у нее много друзей юности и где имеется солидное русское издательство ИМКА-Пресс, возглавляемое Никитой Струве, племянником влиятельного деятеля культуры Глеба Струве, который занимается в США изданием сочинений Осипа Мандельштама и тесно связан с его вдовой через посещающих СССР американских славистов. Здесь

целый узел каналов связи с Западом, вернее, с русской эмиграцией, выполняющей роль посредника между странами проживания и неподцензурным кириллическим сегментом европейской культуры, лишенным в СССР голоса и институционального представительства. Этот канал буквально создан для автора «Колымских рассказов», для которого с окончанием оттепели надежды напечататься в СССР остается не больше, чем у Демидова. Можно предположить, что понимание этого очевидного обстоятельства заставляет Шаламова внимательнее отнестись к очень расположенной к нему Столяровой, и в летнем письме он выражает свои чувства в таких проникновенных словах: «...все, кто Вас знает, слышит Ваше имя, улыбается необыкновенно теплой, а главное, одинаковой улыбкой из самых глубин сердца.... Думаю, вспоминаю Вас – ...чувствую, как губы мои раздвигаются и прищурятся глаза той же самой доброй улыбкой внутренней памяти, о которой я думаю сейчас! Это – необыкновенное качество человека, редчайшее....

Ваша поездка в Париж – то же самое чувство победы. Не удачи, а победы». Это Шаламов сравнивает возвращение Столяровой в Париж со своим возвращением в Москву с Колымы. Остается только уточнить, что Париж Столяровой – не французский, а русский, а Москва, куда возвращается Шаламов – по-прежнему неизбежно советская, если не сказать, сталинистская.

Не знаю, но вполне допускаю, что речь идет о «самовольной отлучке» Столяровой из Швейцарии во Францию – вроде той, какую не позволила себе Ахматова, испугавшаяся без разрешения советских властей слетать в этот самый Париж из Англии, что вызвало у Шаламова презрительную усмешку.

«Я как-то встретился с ней в перерыве между двумя волнами ее заграничной славы.

– Я хотела бы в Париж. Ах, как я хочу, хочу в Париж, – твердила Анна Андреевна.

– Так кто вам мешает? Из Лондона слетайте на два дня.

– Как кто мешает? Да разве это можно? Я с Италией не отходила от посольства. Как бы чего не вышло.

И видно было, что Ахматова твердит эту чепуху не потому, что думает «следующий раз не пустят» – следующего раза в 80 лет не ждут, – а просто отвыкла думать иначе. Женщина, присутствовавшая при этом разговоре, неоднократно пользовалась таким способом во время своих заграничных поездок. Но она не была Ахматовой. Вернее, Ахматова ею не была.

Досада бессрочного узника Москвы Шаламова понятна без пояснений.



Два слова об его отношении к Ахматовой. В 1965 году его представили этому идолу советской либеральной интеллигенции. В описании Шаламова Ахматова отталкивающе манерна, самовлюбленна и карикатурно глупа. На «приеме» Шаламов собирается поведать ей о колымской судьбе некоторых ее знакомых, но Ахматову Колыма не интересует. «Я слышал только трескотню о том, как она боялась в Париже – чего, неизвестно. Все выглядело низкопробным балаганом». Эти уничтожающие характеристики сделаны позже, видимо, в начале семидесятых годов, когда Шаламов полностью освобождается от рутинного пиетета перед именами, священными для каждого культурного москвича. В 1965 он еще идет с ними на компромисс и в записке, переданной Ахматовой в Боткинскую больницу, пишет: «Вы живы благодаря тому, что тысячи людей шлют Вам... пожелания доброго здоровья», – и опять повторяет, что «в жизни нужны живые Будды, люди нравственного примера, полные в то же время творческой силы». Ахматова очень мало похожа на «живого Будду», но, по логике Шаламова, как поэт обязана быть похожа. В письме Мандельштам Шаламов так обосновывает взаимозависимость художника и его моральной позиции: «...религия – это поэзия, искусство,.. своими эстетическими канонами наметившая этические границы, моральные рубежи». Логика здесь хромает, но у этой логики есть скрытая подоплека, о которой я скажу позже. Пока возражение. Пусть эстетические каноны – плод долгой и самоотверженной работы многих поколений художников и в этом смысле задают этические точки отсчета, – все равно любое искусство есть в первую очередь система приемов, иначе говоря, способов работы с материалом, который с обнаружением своих подлинных свойств требует от художника постижения этой подлинности средствами вполне суверенной системы знаков, родословная которых восходит к звуку, ритму, графеме, чувству симметрии, чувству пропорций, в конечном счете, к формальной гармонии и едва ли напрямую перекликается с этикой как учением о благе и зле, постулирующем какие-то поведенческие императивы. По-видимому, ключевое слово здесь «религия», подразумевающая некую трансцендентность, неотмирность поэзии, сопричастность которой обусловлена особым даром художника постигать истину непосредственно, в состоянии благодати, именуемой вдохновением, и жить в согласии с этой истиной, поскольку измена истине есть измена себе.

Эта безбожная религия (хотя Шаламов отвергает слово «религиозный» по отношению к вдохновению), вернее, религия, не принимающая всерьез высшие силы, а использующая их как знаки универсального культурного кода, может обернуться проповедью чего-то

совершенно противоположного «живым буддам». В парадоксальном письме Юлию Шрейдеру середины семидесятых годов, очевидно, в приступе тяжелой депрессии и отвращения к жизни, Шаламов заявляет: «...в стихах до самого последнего неизвестно – с Дьяволом Вы или с Богом», и даже более определенно: «...тот – Другой, о котором пишет Блок в своих записках о «Двенадцати» – он-то и есть наш хозяин». Религия искусства, которую исповедует Шаламов, как видно, совсем не обязательно имеет дело с благим началом, как религия она в первую очередь увязана с откровением – Шаламов работает в жанре откровения, что очевидно, – а откровение в этом мире вероятнее услышать из уст Дьявола – даже по евангелию (не говоря уж о следственных делах Шаламова) истинного хозяина этого мира. Насколько далек Шаламов от прописей христианства, а в Москве это «просвещенная» православная ортодоксия, распространяющаяся в среде столичной интеллигенции, как моровое поветрие, видно из его оценки роли надежды и злобы в «обществе, где человека превращают в нечеловека»: надежда, основная христианская добродетель, здесь – губительная ловушка, тогда как «к собственным костям ближе всего злость», и эта последняя злость – источник энергии отчаянья, которая двигала и движет Шаламовым, эмпирически доказывая, что творческое начало – свойство исключительно человека, теряющего и вновь обретающего человеческое достоинство без всякого вмешательства извне благой высшей силы, не переступающей пределов надежды.

Теперь об его учении «живых будд». Учение это имеет оборотную сторону. «Живой будда» существует не в безвоздушном пространстве. Это человек, сосед, у которого есть соседи, который живет той же жизнью, что и его соседи, но являет для них пример нравственной полноценности, неизбежно жертвуя ей обычным житейским благополучием. Какова должна быть реакция соседей, шире – общества – на эту жертву? Реакция нормальных, способных оценить жертву людей и будет нормальной: цена редкостное проявление нравственного величия, без живых примеров которого общество деградирует к пещерному состоянию, они постараются компенсировать человеку, являющему нравственный пример, ту нехватку житейского благополучия, которым наслаждаются сами. Такого рода обмен жизненно необходимым для тех и других – основа любого жизнеспособного социума.

Шаламов тоже претендует на роль «живого будды» – «на своем малом пути» («это уже от гордости», подсказывает Сиротинская). Каково его положение в московском обществе в середине шестидесятых годов? «В нашей неофициальной литературной и общественной среде

после-хрущевского времени судьба и проза Шаламова были из самых заметных явлений», – говорит Вячеслав Иванов, сын писателя Всеволода Иванова, с дачи которого Шаламову пришла новогодняя открытка от Копелевых. Нет сомнения, что Иванов высоко ценит Шаламова. Но вот один штрих. В той же короткой статье он пишет: «Во всем том, что он торопился записать, день и ночь работая целое десятилетие после возвращения с Колымы...». Здесь каждое слово – небрежность, каждое слово выдает глубокое равнодушие. «Колымские рассказы» в первой редакции писались с 1954 по 1967 год, это не десять, а четырнадцать лет. А если прибавить время работы над циклом «Перчатка или КР-2», то выйдет все восемнадцать. Почти вдвое больше, чем насчитал Иванов. Посчитать было легко, статья написана в девяностых годах. И где тут торопливость? Восемнадцать лет торопливых записей? Что же, в таком случае, представляет собой труд Шаламова? Пуд мемуаров? Наброски? Записные книжки? «Лагерная литература»? Равнодушие, проявляющее себя в такого рода небрежностях, свойственно почти всем и без того скудным свидетельствам о Шаламове людей, казалось бы, предназначенных для противоположного, ведь эти люди мыслили себя, да и были, культурной элитой общества. Федот Сучков относит начало интенсивной работы над «Колымскими рассказами» «приблизительно» к 1967 году, то есть ко времени их завершения в первой редакции, и приписывает Шаламову авторство рассказа Демидова «Убей немца!». Лиана Лунгина, переводчица и литературная дама из круга Пинского, в воспоминаниях лепечет о какой-то «жизни урок», изображенной Шаламовым, как основной характеристике его прозы. Лакшин, путая Шаламова с Солженицыным, утверждает: «Шаламов чувствовал за собой призвание Нестора-летописца колымского народа». Чепуха! Шаламов – «летописец собственной души. Не более». Единственный человек, не позволяющий себе этих небрежностей, этого равнодушия – оставшийся ему верным, и то не до конца, Юлий Шрейдер. Но он единственный.

И как же живет-может это «одно из самых заметных явлений»?

Быт Шаламова, по существу, ужасен, хотя Олег Волков считает, что «житейски он был мало-мальски сносно устроен». Я уже упоминал «узкую, скудную», «голую», «очень запущенную» комнату («метров семь-восемь», прикидывает Сиротинская), наглухо закрытое окно, выходящее на автомагистраль с ее клубами выхлопных газов и грохотом, которого жилец по своей глухоте, к счастью, не слышит, о немых стаканах, об облезлом стуле (у Волкова: «тройка разнобойных стульев»), о тумбочке у кровати, в которой хранятся хлеб и кулек с

сахаром, о гвозде, вбитом соседкой в стол на общей кухне, о непрерывной психической травме существования на глазах чужих людей, усугубляемого вымышленным или нет «адам шпионства». На что уходят психические силы Шаламова в коммуналке? На отстаивание своей бытовой независимости с «твердостью в отношении асмусовых [почти асмодеевых] (попыток) покушения на комнату, полный разрыв с миром без малейших послаблений» (речь идет уже о комнате «этажом выше», Записные книжки). «Полный разрыв с миром», в котором Шаламов желает быть «живым буддой»? Тогда это крах учения. Ирина Полянская, автор неплохого элегического рассказа «Тихая комната», неназванным по имени героем которого является Шаламов, говорит в интервью, что «нашла и опросила нескольких людей, близко знавших Шаламова, и в результате этих изысканий собрала кое-какой материал... воссоздающий бытовые подробности и детали». Главный информант, по-видимому, Сиротинская, но не только. Весь рассказ, по словам Полянской, «построен на свидетельствах очевидцев». Вот из чего Шаламов упоенно готовит «супчик»: картошка, морковь, колбаса, луковица, помидор, петрушка, фасоль, острые специи, соль. Все это варится в алюминиевой кастрюле. Это улучшенный, доведенный до совершенства рецепт. «Первоначально в «супчик» входило только три компонента: колбаса, картофель и лук». Автор рассказа, комментируя не то от себя, не то от лица описавшей этот «супчик» Сиротинской – обе домашние хозяйки, чьи суждения вполне компетентны – добавляет мысли неких гостей, господ здравомыслящих и ухоженных: «...до чего должен был дойти человек, чтобы теперь с восторгом хлебать это варево». Холостяк, не приспособленный к быту, недавний лагерник, свидетель истины, поэт, живущий в иных мирах, готовит себе обед на общей кухне, гладит рубашки, брюки, подштанники, меняет постельное белье, моет посуду и пол, ходит с авоськой по магазинам и на базар и сам обстирывает себя. Я намеренно нарушаю традицию смотреть на гения как кого-то, кто органически выше быта. Конечно, Шаламов выше быта. Конечно, быт Шаламову органически чужд. «Жизненная скверна». Но тем он мучительнее. Тем презреннее – во всяком случае, в советском коммунальном изводе, превращающим мужчину в нелепого, беспомощного юрода.

Спасти от этого юродства должна женщина. Но женщины у Шаламова нет. В супружеских отношениях с Неклюдовой он не состоит и не ведет общее хозяйство года с шестьдесят третьего. Проблемы личной жизни частного человека никого не касаются. Но Шаламов не частный человек. Шаламов – «одно из самых заметных явлений» об-

щественной жизни Москвы середины шестидесятых годов. Общественное явление прямо или косвенно втягивает в свою орбиту множество людей, особенно учитывая литературоцентричность и политическую ангажированность тогдашней либеральной интеллигенции. Среди этого множества людей должно быть немало молодых идеалистически настроенных женщин, эти женщины – часть общества, которое стихийно указывает им их специфически женское поприще реализации своих идеалов и воздает уважением и сердечностью. Женщина-добрый ангел поэта – традиционнейшее для русской культуры явление. В Записных книжках Шаламов сравнивает достоинства Анны Сниткиной и Галины Бениславской, возлюбленной Есенина, покончившей самоубийством на его могиле, и ставит вторую гораздо выше первой – за «отречение полное от себя», которое он называет «подвигом». Когда через три года Солженицыну, привыкшему втягивать в свои дела всех окружающих, понадобятся дополнительные помощники, Столярова незамедлительно найдет ему молодую энергичную аспирантку Наталью Светлову, которая вскоре заменит уставшую тянуть воз Решетовскую. Такие вещи происходят как бы сами собой, но в этой кажущейся стихийности закономерно проявляется истинное отношение общества к человеку, которого оно ценит – или не ценит – как национальное достояние. Шаламов ценит обществом, но не слишком. Не настолько, чтобы оно нашло для него женщину. Его ценность недостаточно велика, чтобы выразиться в чувствах какой-нибудь интеллигентной женщины в возрасте тридцати плюс, готовой связать с ним жизнь. Женщина, которая в какой-то мере и временно разделит его бремя, придет к нему не из круга Надежды Мандельштам, не из круга Натальи Столяровой, не из круга молодых ученых вроде Всеволода Иванова, не из круга поклонниц художников-нонконформистов вроде Биргера и Сучкова или диссидентов вроде Сергея Григорьянца и не из какого-либо другого подобного круга, – эта женщина придет по службе, лишь в самой малой степени движимая очарованностью и любопытством идеалистки (мотив, который должен быть основным), и будет совершенно не той, какая должна прийти, чтобы самоотверженно, до конца, разделить ношу Шаламова. Почему я так задерживаюсь на этом? Потому что отношение общества к Шаламову, выраженное через женщину – точная копия его отношения к труду Шаламова. Шаламова и его труд знают и вроде бы ценят, но не настолько, чтобы всерьез ими озаботиться. А что есть у мужчины, кроме женщины и его дела? В обеих этих областях жизни Шаламов предоставлен самому себе, но для решения первой проблемы он слишком замкнут и поглощен работой, а

решению второй препятствует всесильное враждебное государство, бороться с которым в одиночку бессмысленно.

В августе убита кошка Шаламова Муха. Для человека, одиноко живущего в комнате-пенале коммунальной квартиры, лишённого родственников, чужающегося бывшей жены и соседей с их неизбежными для коммуналочников конфликтами персонажей Зошенко (когда его вызовут для разбирательства склоки уже в другой коммуналке, на Васильевской, и в ответ на его заявление, что дела соседей его не интересуют, спросят, как же он там живет, он ответит: «Живу, как инопланетный камень»), сосредоточенного на внутренней работе высочайшей сложности, постоянства и интенсивности, любящего и жалеющего животных, умница-кошка может стать родным существом, утрата которого страшна и невосполнима. Шаламов убежден, что его кошку застрелил во дворе «какой-то генерал», и в письме Мандельштам дает волю своему отращиванию к государству, которое этот генерал представляет и в котором «смерть и убийство считаются делом чести». «Массовое убийство кошек и людей – это одна из отличительных черт социализма, социалистической структуры». Затем он описывает «ад животных», «карантин» на ветеринарной станции, куда попал в поисках пропавшей Мухи и куда «лучше бы не ходил»:

«...огромный каменный мешок, где внизу, на первом этаже, большие железные клетки с собаками, конусом сток для мочи в середине, а поверх железных клеток собачьих стоят железные ящики величиной с посылку, фруктовую посылку килограмм на восемь, решетчатые ящики, битком набитые кошками всех цветов и оттенков. Они уже помолились своему звериному богу и ждали смерти...

Еще страшнее был ящик особый, куда были набросаны котята разного возраста, от только что родившихся до месячных котят.

Я ушел, поблагодарив начальство за человечность, за «человеческий» подход ко мне, а не к кошкам, ибо сначала мне не хотели ничего показывать – «нет, да и все». А потом удалось увидеть этот ад: у этих железных клеток есть подвеска, чтобы прицепить этот контейнер к крючку газовой камеры. Я рылся в этих ящиках с полчаса, но не нашел Мухи; хотел указать на какую-нибудь кошку, чтобы выпустили из этого ада, но потом раздумал.

Самое страшное вот что. Я думал, когда шел по коридору, что в реве, крике, в вое и визге, которыми меня обязательно встретит этот зал, – последняя звериная надежда, случайность сказочная, что все душевные силы кошек и собак будут напряжены в этот последний миг последней надежды...

Звери встретили меня мертвым молчанием. Ни одного писка, ни лая, ни мяуканья».

«Он рассказывал об этом, дрожа всем телом» (Сиротинская).

Воистину, трудно вообразить такой ад животных, сотворенный природой. «Зубья государственного механизма» предназначены для человека, но с тем же автоматизмом перемальвают все в них попавшее. Шаламов найдет трупик Мухи, вымоет его и закопает во дворе дома, который ему еще и поэтому тяжело будет оставить при переезде: «...там, во дворе, похоронена Муха» (Сиротинская). «Кошка может изменить мир, но не человек. Особенно моя кошка, Муха, которую Вы, кажется, знали, имела все данные для того, чтобы изменить мир. Но ее убили», – спустя три года напишет Шаламов Шрейдеру, который не мог знать Мухи – он познакомился с Шаламовым, когда тот жил уже «этажом выше».

«...лучше всего была жизнь с Мухой... все казалось пустяками, если Муха здорова и дома». Поэтому гибель кошки кажется мне важным событием шаламовской биографии.

В августе же умирает Фрида Вигдорова. Шаламов чувствует себя связанным с ней понимающим читательским откликом и высоко ценит ее общественную деятельность, «деяние» в противоположность просто «сочувствию», которое он находит недостаточным для нравственной состоятельности. Шаламов упоминает в этой связи роль Вигдоровой на процессе Иосифа Бродского и весной следующего года озадаченно фиксирует в дневнике впечатление от молодого поэта: «Надежда Яковлевна: «Но Фрида Абрамовна?» Бродский, недовольно: «Ну, что такое Фрида Абрамовна?» Джинсы поношенные». Бродский скажет замечательные слова на смерть Надежды Мандельштам, но, насколько я знаю, никогда нигде ни словом не обмолвится о Шаламове, должно быть разделяя мнение старого лагерника, что «проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью», а этики-эстетики оценить не то чтобы не умея, но либо не утруждая себя этим бесплодным занятием, либо совестью своего безотказного многословия перед явлением, человеческий и литературный масштаб которого подрывает и без того невысокий авторитет стокгольмских ценителей русской словесности.

В это лето Шаламов напишет самые поразительные тексты своей «не-литературы», «не рассказ, а то, что было бы не литературой», своего рода формулы бытия, упразднившего всякое традиционное понимание человечности – «Сентенция» и «По лендлизу». «Сентен-

ция» суммирует результаты опыта, поставленного над человеком и его душой «обществом, где человека превращают в нечеловека». Ближе всего к костям доходяги оказывается злость: «храня эту злобу, я рассчитывал умереть». Но смерть не приходит, и злоба сменяется равнодушием. С ним просыпается восприятие окружающего, чуть менее скотское, чем вынуждаемое голодом и тактильным контактом – человек начинает слышать стоны и хрипы соседей по бараку. Появляется боль в остатках мышц и страх – не слишком сильный – «лишиться этой спасительной жизни, уехать на прииск». Наконец, возникает слово, которому нет места в бедном доисторическом языке заключенного. Слово жило под черепной костью и родилось, повергая в недоумение. «Сентенция». Со словом, с потоком слов – неизвестных, неуместных в тайге – возвращается жизнь – помимо воли человека и без всякого вмешательства высшей силы.

Надежда Мандельштам, которой Шаламов посвящает рассказ, откликается с несвойственной ей восторженностью:

«Это точность, в миллион раз более точная, чем любая математическая формула. Точность эта создает неистовой глубины музыку понятий и смыслов...

По-моему, это *лучшая проза* в России за многие и многие годы... А может, и вообще лучшая проза двадцатого века».

Кажется невероятным, что после такой оценки такого авторитета эта проза заслужит отдельного издания только через тринадцать лет – причем у той самой русской эмиграции, которая будет почитать автора отзыва почти как самого Мандельштама. Очень важно понять, как и почему это случилось, поскольку понимание этого парадокса имеет ключевое значение для понимания биографии Шаламова и состояния общества, на языке которого создается колымский эпос.

В продолжающейся параллельно переписке с Демидовым Шаламов уточняет, временами крайне эмоционально и зло, принципы своей «новой прозы»:

«Я не пишу воспоминаний и рассказов тоже не пишу...

«Запомни и расскажи» – вот все, что требуется... Я ненавижу литературу...

...надо написать просто. Я, Георгий Георгиевич Демидов, был привезен на Колыму – остальное даст выстраданность и талант. О лагерях уже написано бесконечно много... Солженицын, опыт которого очень невелик, поднял наверх именно жадной силой времени...»

Имя Солженицына, компилирующего свое «художественное исследование», ударными темпами «разрабатывающего тему» (невинный



штамп, употребленный Демидовым по отношению к Колыме, который возмугит Шаламова) возникает также в контексте следующей дневниковой записи: «Я пишу о лагере не больше, чем Экзюпери о небе или Мелвилл о море». У Шаламова тяжелейшая двойная задача – дать свидетельство, претендующее на абсолютную достоверность, и возвести это свидетельство в ранг высочайшей поэзии, «летописи души», абсолютно чуждой хронисту-Солженицыну, и сейчас и позже мыслящему строго линейно, в манере прошлого века, в отличие от Шаламова, эстетика которого заставляет пространство и время сворачиваться вокруг масс материала и умещает сказанное Солженицыным на десятках страниц в пару абзацев. В рассказе «По лендлизу» действие происходит в советском концлагере в Северо-Восточной Сибири близ полюса холода, но одновременно это постапокалиптический ландшафт «планеты Колыма» с разверзшимися могилами и встающими из них мертвецами, которых бульдозер сбрасывает в другую, более надежную ледяную яму, чтобы эти нетленные тела однажды снова могли встать. Координаты – местоположение прииска и библейская har Мегиддо, холм Мегиддо, поле Армагеддона. Протекает действие в начале сороковых годов, можно даже сказать с точностью, если знать даты начала поступления по лендлизу американской техники, но одновременно, вернее, вневременно, это и царство звероящеров, настоящих хозяев Земли, один трак которых ценнее человеческой жизни, и пещерная праистория человечества с каннибалами-блатарями, и современность, в которой превращенные в рабов агрономы, инженеры и журналисты добывают ассирийскому режиму золото в оплату заокеанских поставок военных материалов. Поэтика Солженицына исключает такую притчу. Линейность повествования и накопление «индивидуальных черт» дадут лишнюю сотню страниц и подогреют банальные переживания читателей, привыкших отождествлять себя с персонажами, но никогда не освободят энергий, при которых ослепительно вспыхивает поэзия. «...проза – это часть стихов», «не две параллельные дороги, а один путь».

В эссе «О прозе» Шаламов делает первую основательную попытку сформулировать принципы своего искусства повествования, окончательную редакцию которых закрепит литературный манифест [О новой прозе] 1971 года. Кроме прочего, он отрицает необходимость какого-либо специального подготовительного этапа по сбору материала («...нет надобности в творческих командировках в какую-нибудь Тамбовскую область», где летом побывал Солженицын), «цифрового материала, выводов, публицистики». «Дело... не в сборе фактов».

Сюжет – дело случая, интуиции: «Жизнь – бесконечно сюжетна, как сюжетны история, мифология; любые сказки, любые мифы встречаются в живой жизни. Для «Колымских рассказов» не важно, сюжетны они или нет».

«Весь «ад» и «рай» в душе писателя и огромный личный опыт, дающий... не только право писать, но и право судить».

Рассказ должен стремиться к тому, чтобы стать неотличимым от документа, однако документ этот особого рода, хотя Шаламов категорически настаивает на неопровержимости любого факта из «Колымских рассказов». Документ – «в более высоком, в более важном смысле» всегда – «документ об авторе», другими словами, КР – это «проза, выстраданная как документ», написанная «своей кровью». На вопрос, что возмещает автору потерю крови и как она вообще может быть пролита в таких количествах, я попытаюсь ответить позже.

В сентябре госбезопасность делает обыск на квартире друга Солженицына Теуша, что вызывает, вероятно, оживленные толки и дает повод Шаламову записать в дневнике (его мнение о Солженицыне, перебравшемся после обыска на дачу Чуковского в Переделкино, уже оформилось):

«Мир Солженицына – это мир подсчетов, расчетов...

...не появиться в тени... дельца...

Первый человек – оставил по себе мое презрение...»

«Тогда как второй», – добавляет он, – «восхищение и бесконечную преданность». Это о Надежде Мандельштам, слова которой: «лучшее в моей жизни знакомство», – настолько тронули и преисполнили Шаламова гордостью, что он приводит их в Записных книжках. Летом Мандельштам настойчиво приглашает его в тихую Верею, где привыкла отдыхать от загазованной, шумной Москвы. В этих приглашениях и ответных письмах мелькают имена нескольких общих знакомых, представляющих окружение и Мандельштам, и Шаламова и полностью опровергающих миф о какой-то его изолированности или самоизоляции урюмого пустынножителя от многолюдного московского света.

Попробую очертить эти круги, которые Вера Лашкова, диссидентка и фигурант «процесса четырех» (1967), имеющего отношение и к Шаламову, называет «несколькими на всю многомиллионную Москву очагами культуры, от которых волнами расходилось все светлое, как «из-под глыб».

«Елена Алексеевна... поедет на своей машине к Вам и обещает взять меня», – пишет Шаламов. Кто такая Елена Алексеевна? Это солагерница Столяровой переводчица и бывшая воркутинская каторжанка Елена Грин, с которой Шаламов столкнулся у Мандельштам и чья англосакская фамилия не случайна (девичья – Ильзен) – Грин замужем за Джорджем (Георгием) Грином, сыном канадского инженера, оставшимся в СССР после отъезда отца, а с конца тридцатых годов естественным образом воркутинского заключенного, женившегося на заключенной (сведения о круге Гринов во многом почерпнуты из семейной хроники Сергея Заграевского). У Гринов большая квартира, где поет Александр Галич и собираются бывшие лагерники, фронтеры, диссиденты и либералы, такие как Столярова, Майя Улановская, Юрий Домбровский, Евгения Гинзбург, супруги Александр и Евгения Дейчи, Анатолий Якобсон, переводчик Рильке Константин Богатырев, убитый в 1976 году на пороге своей квартиры агентами тайной полиции, с женой Софьей, некоторое время хранительницей мандельштамовского архива. «...собираемся в годовщину смерти Сталина и отмечаем это событие. Сидим за богатым столом. У каждого рядом с тарелкой – кусок чёрного хлеба с довеском, закреплённым щепкой. Символическая пайка остаётся цела до конца ужина» (Улановская).

Один из друзей дома – Моисей Авербах, товарищ по лагерю рызанца и друга Шаламова еще по студенчеству Якова Гродзенского. Авербах – тип энергичнейшего еврея-пролазы, прекрасно ориентирующегося в лабиринте советских канцелярий и подрабатывающего всякого рода юридическим обеспечением жилищных и прочих проблем людей своего круга, в том числе Шаламова, которому тот обязан комнатой «этажом выше» на Хорошевской, 10. Авербах возбуждает ходатайство о получении жилья для реабилитированного Шаламова, умудряется дать делу ход и довести его до конца. «Благодарность моя безмерна», – пишет Шаламов Гродзенскому. – «Я бы ничего без М.Н. не добился, конечно». Жена Авербаха – Елена Александровна Кавельмахер (фамилия по первому мужу, немцу, тоже репрессированному, в девичестве Колобашкина), бессменная машинистка Шаламова, а до того – Василия Гроссмана, та самая, которая «печатает мои рассказы: «Плачу, а деньги все-таки беру» втридорога в качестве платы за риск или платы за страх», но единственная, кроме Надежды Мандельштам, кто «обратил внимание, что Муха погибла,.. счел нужным посочувствовать, разделить мое горе». Не она ли в 1961 году назвала госбезопасности точное количество отпечатанных ею экземпляров гроссмановской «Жизни и судьбы», которые вместе с копировальной бумагой были методично изъяты тайной полицией и помещены под бессроч-

ный арест, точнее, как выразился кремлевский недочеловек по имени Михаил Сулов, на ближайšie «лет двести-триста»? Семья несколько эксцентрична благодаря характеру Авербаха с его графоманией, патологическими педантичностью и принципиальностью, доходящим до гротеска домостроем и необузданной деловитостью. Еще одна бывшая воркутинская заключенная, Зельма Руофф, презрительно упомянутая Шаламовым в Записных книжках в связи с ее статьями о Пастернаке, через посольство ФРГ имеет неограниченный доступ к «тамиздату» и распространяет его с помощью семьи Гринов и Авербаха.

Грин, как уже сказано - знакомая Наталья Столяровой, а Столярова – это даже не круг людей, но целая институция. Литературный секретарь из нее не самый лучший, но ведь и устроена она секретарем по знакомству. Рой Медведев, рассказывая о визитах к Илье Эренбургу, пишет, что «сотни рукописей и папок с бумагами были в беспорядке свалены на антресолях...» и что его предложение «привести в порядок эту часть архива и составить хотя бы простую опись материалов» было охотно принято, но Эренбург куда-то уезжал, а менее чем через год умер. В доме Эренбурга Столярова, не опасаясь обысков, может хранить любой самиздат, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, которого она «боготворила», по выражению Игоря Шафаревича. Столярова любознательна, отважна и энергична, способна и готова принести реальную пользу, для себя, кажется, ничего не требует, кроме возможности быть связующим звеном между всем и вся и заниматься тем делом, для которого создана – подрывать систему (больше ее, похоже, ничто всерьез не интересует; литература, живопись, политика, путешествия, религия – побочные области, которые это дело захватывает), ее должность секретаря Эренбурга сама по себе выводит на множество людей, в том числе известных и влиятельных в свете, ее заграничные знакомства – парижские через друзей юности, женевские через проживающую там сестру и заокеанские через обосновавшуюся в Америке внучку писателя Леонида Андреева – служат гарантией доверительных отношений с дипломатами и иностранцами, посещающими СССР в рамках различных культурных программ. Все эти немалые преимущества в свою очередь привлекают к ней людей, нуждающихся в завязывании связей внутри отечественного культурного слоя и неофициальных контактах с Западом. Поэтому круг общения Столяровой практически неограничен и очертить его в точности невозможно – и вследствие прижизненной конспирации, и вследствие посмертной утраты архива, не то конфискованного ГБ, не то украденного вместе с коллекцией картин (которыми «увешана ее квартира» – Ольга Кар-

лайль) и библиотекой. В общих чертах его можно обрисовать, просто перечислив некоторых из тех, кто находился с ней в отношениях человеческой близости или сотрудничества. Солженицын, Надежда Мандельштам, отец Александр Мень, Анна Ахматова, поэт Всеволод Некрасов, Сергей Аверинцев, Шаламов, парижская подруга Поплавского Татьяна Шапиро и ее муж востоковед Евгений Штейнберг, Юрий Домбровский, искусствовед Игорь Голомшток, Копелевы, писатель Феликс Светов, лингвист Вячеслав Вс. Иванов, математик и диссидент Игорь Шафаревич, Лидия Чуковская, правозащитники Александр Гинзбург и Вера Лашкова, Елена Грин, художники Лидия Бродская и Владимир Вейсберг, литературовед и скульптор Федот Сучков, геолог Наталья Кинд, дочь Цветаевой Ариадна Эфрон, филологи Александр Богословский и Ефим Эткинд, ученый-семиотик Юлий Шрейдер с женой, математиком Татьяной, и наверняка с тещей, математиком и писательницей И. Грековой, коллеги-переводчики, ибо Столярова – профессиональная переводчица, французский дипломат Степан Татищев, семья Вадима Андреева, культурный деятель эмиграции и издатель Никита Струве. Это, конечно, малая, но достаточно представительная часть списка. На похороны Столяровой собралось несколько сот человек, среди которых многие с удивлением находили друзей и знакомых, о близости которых к Столяровой не подозревали. Оперативная справка тайной полиции говорит о ее «большом опыте конспиративной работы», об использовании ею в качестве связных иностранных студентов и владении такими средствами подпольной деятельности как «тайнопись, самостирающиеся доски и разного рода условности».

Упомянутая близкая подруга Столяровой и «пламенная почитательница таланта Шаламова» (Федот Сучков) Наталья Кинд вместе с мужем, физиком и историком античности Иваном Рожанским – это уже другой либеральный дом, где Шаламов – желанный гость. О самой Наталье Кинд позже, а пока о посетителях и завсегдатаях этого салона и студии аудиозаписи, сохранившей кроме прочего голос Шаламова. «Гостями Наты и Ивана бывали иногда одновременно ученые, литераторы, геологи, друзья семьи и друзья друзей, соотечественники и иноземцы. За веселой трапезой,.. мирно спорили Вячеслав Всеволодович Иванов (Кома) – лингвист, философ, поэт и литературовед, Макс Рохлин – редактор химического журнала Академии Наук, Михаил Поливанов – математик, влюбленный в поэзию «Серебряного века», академик Шафаревич,.. Вера Кутейщикова и Лев Осповат – оба испанисты». Другие гости – «Генрих Бёльль, Корней Чуковский,.. Давид Самойлов,

Макс Фриш, Александр Солженицын [который в целях конспирации не участвует в посиделках], Пабло Неруда, Иосиф Бродский, Геннадий Айги, Константин Богатырев, Александр Галич, Вольф Бирман, Булат Окуджава, Юлий Ким...» (Копелев). «Ближайший друг Ивана Дмитриевича еще с фронта, писатель Лев Копелев, человек... необычайно общительный, приводил к Рожанским толпы своих друзей со всех частей света» (Дмитрий Рожанский). Можно добавить имена участников домашнего семинара Рожанского, довольно распространенного явления того времени, Фриды Вигдоровой, поэта Наума Коржавина, Федота Сучкова, Марины Баранович – подруги и машинистки Пастернака, антропософки, переводчицы Экзюпери и доверенного лица Солженицына, Шаламову она встрече «очень понравилась», голландского слависта и приятеля Бродского Кейса Верхейла, Лидии Чуковской, диссидентов Вадима Борисова, Веры Лашковой и Бориса Михайлова, участвовавшего, как можно вынести из слов Григорьянца, в качестве осведомителя госбезопасности на похоронах Шаламова, Анны Ахматовой, Оге, сына физика Нильса Бора, супругов-нобелиатов Фредерика и Ирэн Жолио-Кюри, археолога профессора Отто Бадера, палеонтологов Андрея Шера и Элеоноры Вангенгейм, которой отец за год до расстрела на Соловках подарил мозаичный портрет Сталина *in octavo*, американского геолога Дэвида Хопкинса, священника Александра Меня, географа Елены Лопатиной, внучки знаменитого народовольца Германа Лопатина и дочери расстрелянного в 1938 году его сына Бруно Барта, служащей ЮНЕСКО парижанки Николь Вазар. Эта самая Николь по недомыслию рисует злую карикатуру на столичные «очаги культуры, от которых вся страна страдает по причине», что я сразу очарована и взволнована этим пылким и единственным в своем роде русским гостеприимством. И я чувствую себя в кругу семьи еще до того, как оказываюсь в изысканной гостиной, стены которой закрыты книгами на всех языках...

После дружеских тостов языки развязываются, мы говорим о России, о настоящей России. О лагерях, тюрьмах, нарушении свободы мысли, существования, действия; о терроре и массовых доносах; о гонениях на духовность и религиозную практику; говорящие обвиняют «советских», не признавая их русскими, обличают режим. Мы пьем за будущее России, за пришествие нового человека и Веры, которую только она – Россия – сможет породить, пройдя через все страдания, потому что об этом говорил Достоевский и потому что строчки Тютчева всегда будут верны: Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, У ней особенная стать, В Россию можно только верить.

Время бежит, уже поздно, очень поздно (или очень рано, как угодно), и пора возвращаться к себе, чтобы с утра вновь начать будничную жизнь... Мы уходим с сердцем, наполненным этим чудесным вечером – оазис среди обыденной серости – укрепленные пищей земной и, особенно, духовной».

Просторная академическая квартира положена Рожанскому как номенклатурному работнику – в течение нескольких лет он работал в качестве дипломата, специалиста по ядерным технологиям, в комиссии по атомной энергии ЮНЕСКО в Женеве, где познакомился с Вадимом и Ольгой Андреевыми, в свою очередь знакомыми Столяровой через ее живущую в Женеве сестру Екатерину Анзи. Все четверо Андреевых – родители и дети – будут привлечены для переправки на Запад и подготовки к изданию сочинений Солженицына, и делает это Наталья Столярова, которой Шаламов недавно писал в Женеву, что его герой там – не Кальвин, а тот «испанский врач, открывший кровообращение», которого сожгли на костре свои, такие же реформисты, и что «костер, на котором сгорел Сервет, был вовсе не символическим». Через год он запишет в дневнике: «Мне нужно сжечь себя, чтобы привлечь внимание». А еще через пять лет помянет Яна Палаха, присовокупив: «Западному миру мы нужно только в качестве горящих факелов». Это преувеличение. Как раз наоборот. Шаламов совершенно не нужен Западу, точнее, гуманной русской эмиграции в качестве горящего факела, это испортило бы все впечатление от шоу, которым развлекает прогрессивное человечество Солженицын, а Солженицын не нужен в качестве горящего факела, поскольку и так прекрасно справляется с обязанностями шоумена на этом празднике жизни.

Летом Шаламов знакомится у Надежды Мандельштам с выше-названной Натальей Кинд, а к осени их отношения становятся настолько теплыми, что во время прогулок от дома Рожанских до дома Мандельштам в Черемушках, это четыре автобусных остановки, Шаламов за ней, по ее признанию, «приухаживает». Личная жизнь Натальи Кинд на пороге развала – муж тоже «приухаживает» за другой подругой Мандельштам, переводчицей Юлией Живовой, которая через некоторое время родит ребенка и въедет в дом второй хозяйкой, заставив Наталью смириться с положением соломенной вдовы при паре молодоженов и двух детях, которых она, кажется, любит одинаково – собственной дочери и ее маленького сводного брата. Наталья принадлежит к людям того поколения с ужасной судьбой, чья жизнь полностью перекрывается советским режимом, правда, она не «ровесница Октября», как попробовала ее назвать Людмила Зайвая, а «февраль-

ская, керенская», дореволюционная, если это может служить утешением. Советскую власть она переживет и умрет в 1993 году, оставив у друзей самые светлые воспоминания и успев выступить в первых телеэфирах, посвященных Шаламову – восьмидесятилетию со дня его рождения и одиннадцатой годовщине со дня смерти в «интернате для психохроников», говоря по-человечески, в сумасшедшем доме.

Наталья Кинд – крупная, породистая, если не красивая, то еще привлекательная женщина покладистого, доброго нрава, в обществе одних молчаливая, в обществе других болтливая, но обычно хлопотливая, жизнерадостная и компанейская. В год «кировского потока» она поступила в университет, на геолого-почвенный факультет, по окончании уехала по распределению на Урал, причем выйдя замуж за ссыльного, тоже геолога, в 1946 едва не умерла при родах, разродившись двойней, спасти которую не удалось, в пятидесятых сошлась с Иваном Рожанским и тогда же работала на Вилно в Сибири в поисках коренного месторождения якутских алмазов, на котором будет построен Мирный. Руководимый ею отряд был в двух шагах от открытия этой кимберлитовой трубки, практически открыл ее, кстати говоря при довольно драматических обстоятельствах – гибели или, скорее, самоубийстве коллеги и автора самой идеи поиска коренного залегания алмазов Николая Бобкова. В 1955 коренное месторождение, наконец, найдено прорабами партии, в которой Кинд работала главным геологом, но в последовавшей свирепой борьбе за приоритет (приоритет в таком открытии – это деньги, ордена, карьерный рост и т.д.) Кинд была оттеснена, имя ее старательно замолчали, а влезать в склоку было, видимо, не в ее характере или ниже ее достоинства, что характеризует ее как действительно достойного человека. В шестидесятых и позже она занималась геохронологией четвертичных отложений Средней Сибири на основе данных радиоуглеродного анализа, и еще во второй половине девяностых годов составленная с ее участием стратиграфическая схема оставалась в силе. В монографии, изданной в 1971 году, она иллюстрирует данными изотопного анализа общность «геологических и климатических событий позднего антропогена» для Евразии и Америки, то есть вместе с американскими исследователями работает над проблемой Берингии, межконтинентального «моста», сравнительно недавно соединявшего эти части света. Кроме того, продолжает принимать в доме различные сливки общества, опекает Надежду Манделъштам, страстно увлечена тейярдизмом и делит со Столяровой и Александром Угримовым заботы по хранению и передаче на Запад трудов Шафаревича и Солженицына, у которого получает без-



вкусную конспиративную кличку «Царевна». Столярова зовется «Евой».

Зачем так много об этой женщине? Затем, что она, помимо некоторой роли, которую сыграет в жизни Шаламова, сохранит о нем память. До официальных, уже при Горбачеве, вечеров памяти Шаламова, застрельщиками которых будут Юлий Шрейдер и Людмила Зайвая, эти вечера будут ежегодно устраиваться у нее дома.

Октябрьское письмо Шаламова к Кинд проникнуто неподдельным и, вероятно, ответным теплом. Из него выясняется, что Шаламов уже устраивал публичные чтения своих рассказов в доме Рожанских. Он спешит пояснить, что «очень волнуется, читая собственные вещи – до слепоты», это подтвердит потом поэт Геннадий Айги. Солженицын, впрочем, добрался до «Грюндига» Рожанского годом раньше, читал свой пухлый роман «с направлением» «В круге первом», с «модуляциями провинциального актера; безвкусными, провинциальными...» (Лидия Чуковская). Кинд – человек отзывчивый, а Шаламову так не хватает сейчас в особенности женского, сердечного понимания. Страшно представить, что ни одна минута его сознательной жизни – а вся его сознательная, неподконтрольная действию барбитуратов жизнь есть подспудный рабочий процесс – не свободна от памяти о золотых забоях, угольных шахтах и ледяных трассах, об умирании на лагерных нарах или в палате лагерной больницы, о людях, доведенных голодом и непосильным трудом до состояния, в котором случайная сытость может укрепить волю к самоубийству, словом, от того «Освенцима без печей», где протекает действие колымского эпоса. Он отчаянно нуждается в близком человеке, женщине, но, строго говоря, не своих лет, а значительно более молодой, не отягощенной опытом его поколения и не разбалованной знакомством со знаменитостями, среди которых Шаламов – лишь еще один экзотический персонаж.

Хронологически уместно дать здесь портрет Шаламова в восприятии тех немногих, кто потрудился хоть как-то передать свое впечатление. Продолжает ли он – считаясь с его героической репутацией – оставаться привлекательным для молодой, идеалистически настроенной и в свою очередь привлекательной женщины? Вот как он выглядит в глазах друзей и знакомых приблизительно в возрасте 55–60 лет, на пике своих творческих достижений, то есть откладывая плюс-минус два года от середины десятилетия.

«За трибуной, не касаясь ее,.. стоял человек с неподвижным лицом. Сухой и какой-то замороженный, темный. Словно черное дерево, а не человек» (Григорий Свирский, около 1965)

«Я увидела еще не старого, но совершенно состарившегося, похожего на образы Рембрандта человека; жизнь наложила на него ужасную печать, исказила лицо, он был весь в морщинах, у него был тяжелый, страшный взгляд. Это был абсолютно раздавленный системой человек» (Лилиана Лунгина, около 1967)

«Лицо его было почти лишено растительности. Небольшой и очень мягкий нос он постоянно мял и сворачивал набок. Казалось, что нос лишен костей и хрящей. Небольшой и подвижный рот мог вытягиваться в длинную тонкую полосу. Когда Варлам Тихонович хотел сосредоточиться, он сгребал губы пальцами и держал их так. Когда предавался воспоминаниям, выбрасывал руку перед собой и внимательно разглядывал ладонь, при этом его пальцы круто изгибались к тыльной стороне. Если что-то доказывал, выбрасывал обе руки вперед, разжав кулаки, и как бы подносил к вашему лицу на раскрытых ладонях свои аргументы. При высоком росте кисть руки была небольшой и не носила даже малых следов физического труда и напряжения. Пожатие ее было вялым.

Он часто упирал язык в щеку, то в одну, то в другую, и водил изнутри языком по щеке.

У него была мягкая, добрая улыбка. Улыбались глаза и чуть заметно рот, его уголки. Когда он смеялся, а это случалось редко, из груди его вырывались странные, высокие, словно рыдающие звуки» (Борис Лесняк, первая половина 60-х)

«Он был высок, худ, длиннорук, с круглой головой и неправильными чертами скуловатого лица, изрезанного глубокими складками-бороздами. И на лице этом – яркие синие глаза, словно вспыхивавшие при разговоре, когда разговор приобретал интересный для него поворот....

Кисти рук у него были очень сильные,.. хотя сами руки всё время странно двигались, вращались в плечевых суставах.

В разговоре произносил слова отрывисто и даже отворачивал от собеседника лицо... Говорил несколько в нос» (Олег Михайлов, 1967)

«Первое впечатление – большой... высокий, широкоплечий.

...ярко-голубоглазый человек с глубокими морщинами на обветренном лице. Викинг!

Одевался он всегда так: клетчатая рубашка,.. грубошерстный пиджак в крупную темную клетку или типа букле. Темные брюки, купленные отдельно. Отечественные ботинки. Летом – голубые ру-

башки навыпуск с короткими рукавами. Зимой – плащевка на меховой подкладке,.. кроличья ушанка» (Ирина Сиротинская, 1966 и позже)

«Сидел какой-то очень высокий, костлявый человек, приложив руку к уху, слушал меня» (Александр Галич, около 1965)

«Варлам Тихонович сильно заикался, плохо видел... Еще не старый, он выглядел глубоким стариком, крупным, костлявым, с лицом до того иссеченным морщинами, что они казались ненастоящими...

Голова его тряслась, тесемки поношенной ушанки качались» (Майя Муравник, около 1963)

«...во время его чтения... писатель вдруг зажестикублировал как-то «дергано», перешел на скороговорку.

...он бросил мгновенный антрацитово-твердый взгляд и быстро овладел собой, – перед нами снова был стройный, артистичный человек с легкими движениями, руки его были не «почти», а просто изящны....

В передней долго мучился «надеванием» пальто: левую руку старался засунуть в рукав правой рукой, уже «одетой». Я сделал движение, чтобы помочь ему. Шаламов мгновенно остановил меня твердым, почти жестким взглядом.

Крепкое, как камень, лицо» (Геннадий Айги, 1967)

«Шаламов, похожий на старый огромный разохшийся шкаф» (Игорь Голомшток, около 1967)

«Бумазейная сорочка с расстегнутым воротом и мятые брюки.

...твердое, нервное лицо» (Олег Волков, середина 60-х)

«Когда я шел с ним рядом по улице, становилось больно: полностью была расстроена координация движений... эта высоченная фигура, все составные части которой двигались порознь» (Вячеслав Вс. Иванов, 1965-67)

«Мое первое впечатление: как он прекрасен! Красивое, очень русское, чисто выбритое лицо северного типа с твердыми чертами, выразительный низкий голос, с неповторимыми интонациями заинтересованности в предмете беседы, статная фигура, значимость каждого слова...

В свои 59 лет он был очень красив, даже декоративен, хотя явно не придавал никакого значения своей одежде» (Юлий Шрейдер, 1966)

«У него была поразительная осанка... Это, наверное, врожденное. Он был высок, временами, когда чувствовал к себе расположение, делался красив, очень тщателен и разборчив в одежде. Помню его в длинном, черном, широком, почти рыцарском – на нем – плаще... Речь его была яркой, образной, за ним хотелось записывать. Он сопровождал свои рассказы плавной и крупной, как у священника, жестикубли-

цией» (неназванная сотрудница, как представляется, редакции журнала «Сельская жизнь», свидетельство из рассказа Полянской «Тихая комната», 1963-64)

Но лучший портрет Шаламова, как и следует, бежит реализма и дан таким же исключительным человеком, как он сам. «Надежда Яковлевна Мандельштам как-то мне сказала, что внешность Шаламова ей напоминает современную авангардистскую скульптуру из железа» (Вячеслав Вс. Иванов). В этом сравнении вся Мандельштам с ее отношением к Шаламову в середине шестидесятых годов: ирония, оценка соотношенности явления с бытом и вообще сферой утилитарного, его эстетическая идентификация и печальная нежность, которую оно вызывает. У Мандельштам взор провидца – она видит произведение искусства там, где есть пока всего лишь его создатель, у нее «устройство зрения хищных птиц и мертвецов из дантовской «Комедии»: они не различают предметов вблизи, но... способны прозревать будущее». К счастью, предметы вблизи Мандельштам до поры до времени различает, и до тех пор, пока эта «нищенка-подруга», «пария» и вдова умершего на владивостокской «пересылке» поэта и Шаламов равно отвержены, равно неконвенциональны, их отношения возвышенны и прекрасны.

Прежде, чем говорить об отношениях Мандельштам и Шаламова, стоит привести слова Юлия Шрейдера, хорошо знавшего их обоих: «В Шаламове я встретил человека (второго в моей жизни после Надежды Яковлевны), который не только не боялся, но стремился осознавать действительность, не пытаясь опереться на успокаивающие идеологемы, не принимая никаких расхожих оправданий царящего зла». Из множества друзей и знакомых рафинированный и пронизательный Шрейдер выделяет только этих двоих – только эти двое не бегут от своего жизненного опыта в мировоззренческие клише, задача которых, по существу, очень проста – дать опыту такое истолкование, какое предало бы его ради выживания и преуспевания в концентрационной вселенной.

О Надежде Мандельштам стоит сказать два слова, хотя о ней известно значительно больше, чем о Шаламове – почти столько же, сколько о ее муже. Это человек необыкновенной интуиции и ума, в совершенстве владеющий языком, гибкость которого позволяет достигнуть универсализма суждений вкупе с мельчайшими их оттенками, стихийный стоик с наклонностями к самоубийству, подогреваемыми

десятилетиями свирепых гонений, выкормыш сумасшедшей российской богемы первой четверти века, жестоко издевавшейся над буржуазной моралью (примером может служить кошунственная свадьба Мандельштамов, сыгранная в кабаке и без промедления увенчавшаяся постелью), бисексуалка и отнюдь не противница любви втроем, «блудница принципиальная», по свидетельству Эммы Герштейн, летописец акмеизма от самых его истоков до смерти Ахматовой, сплетница и насмешница, ищущая духовной отдушины в евангельских притчах, неутомимый текстолог горстки непревзойденных стихов и прозы, которые требуют публикации и дают волю жить, мифотворец, построивший вместе с мифом себя и попавший в болезненную зависимость от него, бесконечно любящая и сострадающая натура для тех немногих, кто, по ее ощущению, этого заслуживает, а заслуживают единицы, бездомная скиталица, чуткая собеседница и легкомысленная подружка, циничная угрюмая недоброжелательница и гостеприимная хозяйка салона, вернее, проходного двора, автор двух автобиографических книг, суммировавших в прекрасном изложении жуткий опыт российского культурного слоя, любимица молодежи, страстная «болельщица» на всякого рода диссидентских литературно-политических шоу, немногословная душа общества, усталая грешница, все более склонная к замаливанию грехов на руинах жизни и примирению с ее филистерскими основами, против которых так отчаянно восставала в юности.

В Мандельштам недоверчивый Шаламов, кажется, находит то бескорыстное человеческое участие, на какое столь скупа его жизнь. «...будете ли Вы мне рады в Верее, как были рады в Москве?». «...в течение всей моей жизни я не был в квартире, где бы мне дышалось так легко и свободно, как в квартире 47 по Лаврушинскому переулку». «Для всех я был предметом торга, спекуляции, реже интереса, и только в случае Н.Я. – глубокого сочувствия». Кроме того, здесь взаимопонимание людей одной генерации, одного культурного горизонта. «С Пастернаком, Эренбургом, с Мандельштам мне было легко говорить потому, что они хорошо понимали, в чем тут дело... Солженицын, я вижу,.. просто не понимает, о чем идет речь». И вдобавок, у них одна культурная задача, трудновыполнимая, но неотложная: «Утрачена связь времен, связь культур – преемственность разрублена, и наша задача восстановить, связать концы этой нити. В поисках... этой ариадниной нити разорванной молодежь тянется наугад, цепляясь даже за Мережковского, что ранит мое сердце очень глубоко». Ни тот, ни другая не ведают, что эти отношения, которые должны бы были войти в хрестоматии, переживают ряд скрытых драматических испытаний, кон-

чатся бескомпромиссным разрывом Шаламова с кругом Мандельштам, а заодно и со всем «прогрессивным человечеством», как он с сарказмом и ненавистью станет называть столичную либеральную публику, и до крайности упрочат его вынесенное с Колымы, но покамест не всеохватывающее убеждение, что «человек – существо бесконечно ничтожное, унизительно подлое, трусливое» и пределов эти замечательные свойства не знают.

Однако, в неведении этого еще не скорого будущего оба щедро, с любовью отдают друг другу должное, и здесь не лезть, здесь понимание и здравая оценка калибра личности. «...я со страхом и ревностью увидел, что у этого человека жизнь гораздо значительнее, чем моя». «...люди Ренессанса, прославленные характеры Возрождения много уступают людям наших дней в духовной силе, крупномасштабности, нравственным величия» (Шаламов, Записные книжки). «...перед вами... я всегда буду стоять на задних лапах, потому что вы... достигли тех глубин, куда я могу проникнуть только вслед за вами, когда вы лучиком освещаете мне путь» (Н. Мандельштам – Шаламову).

Вскоре после знакомства Шаламов с опаской наблюдает энтузиазм бездомной Мандельштам, как раз в это время приобретшей маленькую, однокомнатную, но отдельную кооперативную квартиру в Черемушках, – для него, ниспровергателя и романтика, только что нашедшего родную душу в пустыне непонимания, это стремление к бытовой устроенности ассоциируется со стремлением Пастернака к оппортунистскому «опрощению» за счет утраты высших достоинств, достоинств «пророка», которого из него безуспешно пытался сделать Шаламов. «Для всех, для всех людей вы должны остаться излучающей свет, залогом и знаком непримиримости. Ничего не должно быть забыто, ничего не должно быть пропущено», – взывает он к человеку, который, кажется, действительно ничего не забыл и докажет это во «Второй книге». «...я в самом деле воображаю себя в Переделкине», – с иронией отвечает Мандельштам, успокаивая Шаламова, и тревога оставляет его, напротив, он рад, что теперь у нее будет «чудесная соседка», Наталья Кинд, которой Надежда Яковлевна «бесконечно важна». Но скрытый камень преткновения остается – мышление Шаламова элитично: «дело не в обыкновенности, а в нравственной ответственности, которую принимает на себя поэт. Этой ответственности у обыкновенного человека нет, а для поэта она обязательна» – тогда как Мандельштам уже утвердилась во взгляде на поэта, сложившемся в ходе ее работы над мифом об Осипе Мандельштаме, что поэт – «обыкновен-

ный... до ужаса человек и всегда весь в своей обыкновенности, и судьба у него самая обыкновенная для своей эпохи». Она права. Мандельштам человек действительно обыкновенный, необычна она сама, но и она мало-помалу устаёт от своей необычности и ищет в муже авторитетный пример для подражания, навязывая ему, кроме прочего, ощущение себя «последним христианским поэтом» – почему не последним поэтом античности, для акмеиста это куда органичнее?

Тут уместно сказать об отношении Шаламова к роду человеческого, который для него вовсе не монолитен. Ближе всего оно к отношению раннехристианских гностиков или катаров. Люди для Шаламова делятся на три категории: ненавистный двуногий скот, нелюдь, воплощенная в блатарях, урках, вообще во всех, в ком высок потенциал принадлежности к преступному миру; собственно люди, в терминологии гностиков «душевные», в терминологии Гродзенского «людской планктон» – к этой массе он равнодушен и ничего от нее не требует, кроме соблюдения «десяти заповедей», иначе говоря, следования опробованной традиционной морали, и, наконец, одухотворенная элита, к которой он причисляет себя – носители доблестей, которые отличают интеллигенцию, социальный слой, совмещающий в своих представителях высокую культуру с готовностью к самопожертвованию ради общего блага и высших целей. Подобное членение, вернее, карикатуру на него, он наблюдал в лагерях: воры, бытовики, 58 статья. Культурный слой, если не сказать, орден, интернационален, родина его – просвещенный городской Запад. Требования к нему необычайно высоки. На интеллигенции, в особенности гуманитарной, лежит ответственность за поддержание уровня общественной нравственности, гарантировавшего бы как минимум защищенность сограждан от произвола. Высшее выражение эта миссия получает в художнике, дарования которого позволяют ему видеть дальше и глубже, чем остальным, и в свете этого знания являть собой живой образец подлинности, с которым пропитанное фальшью общество могло бы постоянно сверяться. Это и есть «живой будда», которого Шаламов ищет то в Пастернаке, то в Ахматовой, пока не найдет в себе. Эгалитизм Надежды Мандельштам, выросший из отвращения к самовлюбленности, процветавшей в артистической среде десятых и двадцатых годов, и ее декларации, что поэт – «обыкновенный до ужаса человек», должны ранить Шаламова куда глубже, чем тяга молодых к Мережковскому. В самом деле, очень трудно понять отрицание в казарменной стране, и без того упраздненной индивидуальности, индивидуализма, да еще в устах такой законченной индивидуалистки как Мандельштам. По существу, это попытка

найти с казармой общий язык. Шаламов тоже будет искать общий язык с казармой, но, в отличие от Мандельштам, его не найдет. Катары горели на кострах, а костер – это постоянный мотив у Шаламова: Жанна д'Арк, Сервет, Джордано Бруно, Аввакум, Ян Палах. «Костер сделал ее бессмертной».

С середины шестьдесят пятого года Шаламов глубоко укоренен в московской литературной среде – через круги Мандельштам, Рожанских-Кинд, Столяровой, Гринов, другие знакомства он получает выход практически на любого человека, с которым имел бы охоту общаться и которые в сумме должны составить механизм промощения его труда, очень стесненного рамками самиздата и уже не имеющего шансов быть обнаруженным на родине. «Это не сюрпризы судьбы, а сознательно созданные государством препятствия», – пишет он в ответ на сообщении Мандельштам об очередном отказе, на сей раз воронежского издательства, печатать злополучные «Воронежские тетради» («Будем с вами продолжать подсчет отказов» – Шаламову).

К хронике блокады. Из далекого Зауралья Шаламов получает письмо от родственницы героя его рассказа «Вейсманист» профессора Уманского. Софья Уманская, чья племянница, Татьяна Трусова, будет потом ухаживать за Шаламовым в богадельне, пишет: «Мне сообщили, что Вы написали воспоминания о Колыме. В одной из глав (под названием «Вейсманист») Вы рассказываете о патологоанатоме Уманском, который составил картотеку родственных слов из 20 языков. Я пыталась в наших библиотеках разыскать Ваши воспоминания, но поиски не увенчались успехом. Хотела сама просмотреть летопись журнальных статей, но областную библиотеку закрыли надолго на ремонт. Хотя Курган – областной город, но трудно найти все журналы. Думаю, что поэтому мои попытки не увенчались успехом... Мне очень хотелось бы прочитать Ваши воспоминания, ибо я уверена, что Вы писали в них о моем брате... Прошу Вас написать мне, где я могу найти Ваши воспоминания (в каком журнале или в отдельном издании)?» Действительно, Курган – областной центр на транссибирской железнодорожной магистрали, и журналы сюда исправно доходят. Просто шаламовских «воспоминаний» в них нет и не будет. «Вейсманист» не напечатан пока нигде», – отвечает Шаламов, не упуская случая повторить, что то, что он пишет – не воспоминания и не рассказы, а «нечто другого». Этого «нечто другого» к 1966 году написано уже три цикла плюс «Очерки преступного мира» плюс очерки Москвы 20-х годов, и совершенно невозможно представить, что все это будет до бесконечно-



сти оставаться в столе или ходить в нескольких самиздатских копиях. Чем дольше накапливается напряжение, тем мощнее должен быть взрыв.

Именно в это время едва народившаяся традиция «тамиздата» – неподцензурной публикации на Западе – получает от советских властей неожиданную рекламу и тем самым дополнительную привлекательность в глазах фрондирующей интеллигенции, исполненной, как обычно, стадного чувства и формирующей свой собственный конформизм, систему ценностей и образ действий, которые в условиях вынужденного тотального соглашательства отличали бы ее от официоза, тоже соблазняемого оппозиционными настроениями и временами с оглядкой их демонстрирующего.

В октябре арестовывают Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Первый хорошо известен в литературных кругах – это автор «Нового мира» и сотрудник Института мировой литературы имени Горького, несколько лет назад написавший предисловие к сборнику избранных стихов Пастернака, удивившее Шаламова серостью и беспомощностью. Оба с конца пятидесятых печатаются за границей под псевдонимами Терц и Аржак. Обвинение не разглашается, но Шаламов хорошо посвящен в обстоятельства дела – через Вячеслава Вс. Иванова, который выступит экспертом прозы Синявского на процессе и подпишет заключение полной титулатурой: кандидат филологических наук, заведующий сектором структурной типологии славянских языков Института славяноведения АН СССР, председатель Комиссии по структурной лингвистике Секции семиотики Научного совета по кибернетике АН СССР, – Шаламов живет отнюдь не в тайге. Синявский и Даниэль не составляют Шаламову конкуренции – они не «разрабатывают лагерной темы» «в личных целях», они просто хотят свободно печататься, а для Шаламова это кровотокающий, жизненно важный вопрос, и он всецело на их стороне. Слухи будоражат общественное мнение, которое проявляет себя в первой с конца двадцатых годов открытой политической демонстрации, собравшей на Пушкинской площади несколько десятков человек, в основном молодежи. Лилиана Лунгина, как и Шаламов, привлеченная необычным зрелищем, описывает эту акцию так:

«Мы пришли скорее как зрители, чем как участники, и стояли, не зная, что произойдет. Вдруг посреди площади толпа как-то сгустилась, и я увидела развернувшиеся над головами транспаранты. Прошло всего несколько секунд. Едва можно было успеть прочитать: «Уважай-

те Конституцию!» и «Свободу Синявскому и Даниэлю!» – и все исчезло. В тот же миг началась суета, слышались протестующие голоса, милицейские свистки, включились громкоговорители – а может, это были просто мегафоны: «Разойдитесь, разойдитесь!» Люди не заставили себя упрашивать, и мгновенно площадь почти опустела.

Шаламов, по свидетельству Иванова, тоже, «стоя в переулке», присутствует среди зрителей и находит количество демонстрантов «обнадеживающим». Иванов добавляет: «В нем была страстность. В его мыслях, в категорическом отрицании советского режима». Эта страстность политической позиции выльется в анонимном «антисоветском» (квалификация обвинения) «Письме старому другу», которое Шаламов напишет для сборника материалов по делу Синявского и Даниэля, подготовленного диссидентом Александром Гинзбургом. Тайная полиция доискивается, кто автор письма, и Шаламов переживает «целую оргию обысков» (Сергей Соловьев), но тем дело и кончается – сажать на скамью подсудимых создателя «Колымских рассказов» власти не решаются, хотя если кого и сажать, так автора едва ли не единственного антисоветского материала в сборнике. Этот первый открытый, умышленный взлом «железного занавеса» со стороны «большой зоны» вкупе с лихорадочной деятельностью Солженицына, который всюду опережает Шаламова и всюду заступает ему дорогу, с необыкновенной ловкостью избегая репрессий, но наращивая политический капитал как самый непримиримый борец с режимом, настойчиво толкают Шаламова в направлении «тамиздата», обещающего, как показывает практика еще со времен Пастернака, достойный великой книги резонанс, читательскую аудиторию и трибуну, которой в СССР Шаламов лишен.

«Много сердечных приступов, давящих по ночам. Скоро смерть». Это стенокардия, которая уложит Шаламова на месяц в больницу в 76 году, но и тогда смерть к Шаламову не спешит. Смерть от сердечного приступа поэзию не устраивает, в последнем колымском рассказе смерть поэта должна быть мученической и служить символическим противовесом евангельскому воскрешению лиственницы.

В 1965 Шаламов знакомится у Кинд с Еленой Лопатиной, профессиональным географом и блокадницей, и знакомство это переживает, как ни странно, все его разрывы с «кружками», продлившись до середины семидесятых годов. Именно Шаламов вывел Лопатину на свидетеля смерти ее отца Бруно, историка и кумрановеда Иосифа Амузина, делавшего все, чтобы облегчить страдания сокамерника

после пыток. При Амусине уроженцу Альбиона Бруно Лопатину велели выходить с вещами – эфемизм расстрела. Первый разговор Шаламов и «Лея» посвящают – странное время и странные люди – не больше не меньше как «судьбам, страданиям и долгу русской интеллигенции», «самому главному вопросу нашей жизни». Ответов – если они нашлись – Шаламов не разглашает.



# 1966

ый год он встречает у Надежды Мандельштам в обществе нескольких человек – брата и сестры Живовых и Вадима Борисова, историка и в будущем доверенного лица Солженицына. Новый год в СССР – самый интимный, домашний праздник, общий для верующих и атеистов, и то, что Шаламов встречает его у Мандельштам, говорит об обоюдной тяге и безоблачной близости.

Зимой того же года он успевает повидаться с вырвавшимся в Москву Демидовым, знакомит его со своими друзьями и, вероятно, делится соображениями о литературе, которые в его эпистолярных спорах с колымским товарищем звучат настолько резко и директивно, что наводят на мысль: не возрождает ли Шаламов близкую ему традицию двадцатых годов, традицию школы, направления – всех этих конструктивизмов, Лефов, «Синих блуз», «Серапионовых братьев», куда органично новой школой с ее основателем вошла бы «новая проза», революционно отвергающая все предшествующее и конкурирующее в современности? Возможно, так, а возможно, нет – временами Шаламов настаивает на неповторимости своего письма: «...я добился каких-то важных для литературы результатов... не с тем, чтобы превратить их в очередной канон или схему». В любом случае, Демидов – неверный, случайный слушатель, он не может отвечать ожиданиям, он чужой в мире формальных поисков и столкновений принципов искусства повествования, ему нужно просто грамотно поведать об ужасах пережитого и предостеречь от их повторения, во что Шаламов не верит. «Я не верю в литературу, ... не верю в ее возможность кого-нибудь предупредить, избавить от повторения». Каноны новой литературной школы следует проповедовать молодежи, это часть той аудитории, которой Шаламова лишают, лишая массового читателя – поля литературной борьбы, утверждения своего эстетического взгляда на мир как последнего слова об этом мире.

Конфликт Шаламова с Демидовым вызван отсутствием у Шаламова верного адресата, это следствие недоразумения, переросшего в драматичный, но не обусловленный логикой отношений разрыв. Демидов – последний человек, который заслуживал бы того, чтобы быть стриженным под одну гребенку с суетливой московской публикой.

В феврале Синявского и Даниэля судят и осуждают. Ни в дневниках Шаламова, ни в его переписке о процессе ни слова (если не считать косвенной отсылки через цитату из речи Шолохова), но Алек-

сандр Гинзбург, собиравший материалы для «Белой книги» о судебной расправе, передает их обмен мнениями на тему, какой срок грозит инициатору затеи. Гинзбург предполагает – семь лет, Шаламов замечает, что в его время дали бы двадцать пять. Составители сборника слишком молоды, чтобы видеть процесс в той ретроспективе, в какой его видит Шаламов. Для молодежи это борьба за право свободно высказываться согласно статьи советской же Конституции. Для Шаламова это тоже борьба за право свободно высказываться, но куда больше возможность напомнить, что вообще представляет собой режим, десятилетиями практикующий политические процессы над любой тенью инакомыслия.

«...первый открытый политический процесс при советской власти, когда обвиняемые... не признавали себя виновными... Первый процесс за четыре с лишним десятилетия...»

Только правые эсеры уходили из зала суда, не вызывая жалости, презрения, ужаса, недоумения...

Может ли быть в правде прошлой нашей жизни граница,.. после которой начинается клевета? Я утверждаю, что такой границы нет,.. что для сталинского времени понятие клеветы не может быть применено...

Повесть Аржака-Даниэля «Говорит Москва»... вряд ли в чисто реалистическом плане может быть поставлена рядом со стенограммами XXII съезда партии... Тут уже не «день открытых убийств», а «двадцать лет открытых убийств»...

Меняется весь мир, не меняются только догмы советского права...

Нельзя судить человека, видевшего сталинское время и рассказавшего об этом, за клевету или антисоветскую агитацию...

Пильняк, Гумилев, Мандельштам, Бабель, Воронский, Табидзе, Яшвили – сотни фамилий включены в... мартиролог... Эти мертвецы, эти жертвы... могли бы составить славу литературы любой страны...

Море человеческой крови было пролито на советской земле...»

Как бы упреждая ядовитую, с напускным простодушием фальсифицирующую очевидное реплику Солженицына, Шаламов сразу минует любые возможные «стилистические» разногласия подсудимых с советской властью, чтобы заявить: режим обременен злодеяниями, к которым понятие клеветы не может быть применено. Нужно читать «Колымские рассказы» глазами партийного прагматика или вообще их не знать, чтобы не извлечь из них того же ясного мессиджа, пусть и укоренного в тех самых метафизических сферах, на доступной воспри-

ятию «дельца» изнанке которых обезьянничает национально-православная метафизика Солженицына. Впрочем, даже эта аляповатая вторичная метафизика едва ли ему доступна. «Солженицын в то время [конец 60-х] имел весьма смутное представление о христианстве. [Александр Мень]: «Дело в том, что когда я с ним познакомился, он даже христианином не мог называться. Он был скорее всего толстовцем, а христианство было для него некоей этической системой. Он читал тогда некоторые мои книжки – в частности «Откуда явилось все это»... Она ему понравилась, а когда речь шла о «Небе на земле»... он говорил: «Ну, это все крылышки, невозможно, какие-то ангелы...» Все церковное было от него еще очень далеко, мне приходилось говорить с ним о символических и подобных вещах...» (Сергей Бычков).

«Вы так денно и ночью кричите о религии громко: «Я – верю в Бога! Я – религиозный человек!».

Это просто бессовестно. Как-нибудь тише все это надо Вам...» (Шаламов, из неотправленного письма). Шаламову, атеисту, сыну священника и миссионера, стыдно за фарисея-прозелита перед лицом обетшалога, но не заслуживающего профанации христианства.

Тише, однако, нельзя – ярмарочный зазывала не может быть тихим. Смысл деятельности ярмарочного зазывала – продать товар, горластость, бесстыдность и навязчивость тут обязательны, а поток покупателей подтверждает, что товар ходовой, не залежится.

Либеральный столичный свет и Запад незамедлительно выступают в защиту осужденных писателей – в СССР обращения подписывают среди прочих Домбровский, Каверин, Эренбург, Арсений Тарковский, Окуджава, Шкловский, Корней и Лидия Чуковские, Давид Самойлов, Копелев, Ахмадулина. С Запада письма протеста приходят от Ханны Арендт, Андре Бретона, Сола Беллоу, Грэма Грина, Альберто Моравиа. Эмигрантское издательство «Посев» оперативно придает машинописному сборнику материалов о процессе солидный вид книги. Авантюра двух смельчаков получает совершенно непропорциональные ценности их опусов резонанс. Слаженная работа советского пропагандистского аппарата, общественного мнения в лице влиятельной и многолюдной столичной фронды и западных медиа почти на пустом месте делают имя двум заурядным прозаикам, один из которых после освобождения будет преподавать в Сорбонне и редактировать альтернативный затхлому, с его лежалой эстетикой, «Континенту» журнал «Синтаксис». Мощь этого слаженного механизма промоушена кажется почти бесчеловечной, но это не так – в истоках каждого действия стоит человек, эти люди объединяются в рабочие коллективы или друже-

ские компании, коллективы и компании задают тон, заданный тон включает машину промывки мозгов или подхватывается хором общественных ожиданий – и только тут ситуация выходит из-под контроля отдельного человека, но даже и тогда от отдельного человека, располагающего возможностями заставить себя услышать, зависит многое – заставляя себя услышать, он задает новый тон и вносит в происходящее губительный для бесчеловечного автоматизма разлад. Во всем и всегда остается человеческое, личное измерение, иначе некому было бы задействовать механизм. Вопрос в том, кто и какие механизмы задействует, или наоборот, обрекает их на бездействие.

Сближение со Столяровой и внучкой рыцарственного Германа Лопатина Еленой, по-видимому, пробуждает старый интерес Шаламова к русскому революционному террору, и он задумывает жизнеописание матери Столяровой Натальи Климовой, этой незаурядной женщины, о которой я уже говорил и которую Шаламов оценивает не ниже знаменитой Софьи Перовской. Он с благоговением читает переданные ему Столяровой письма матери и даже обращается к восьмидесятипятилетнему секретарю Льва Толстого Николаю Гусеву, чтобы выяснить обстоятельства написания Толстым статьи «Не могу молчать», и весной, считая, что безымянных героев быть не должно, пишет рассказ «Золотая медаль», по правде сказать, весьма далекий от «новой прозы», нечто в духе художественных биографий серии «Пламенные революционеры», единственную достойную книгу которой – «Нетерпение» Юрия Трифонова, о народовольце Желябове и цареубийстве 1881 года – Шаламов невесть почему разругает и назовет «балаганом» и «уголовным романом». Работа над рассказом – или скорее очерком – завершается в марте-апреле. «Я написал рассказ для себя – о великой преемственности, рассказ о тех живых Буддах, которыми живет земля». «В моих рассказах праведников больше, чем в рассказах Солженицына». Действительно больше, притом они настоящие. Солженицын работает с установкой на всенепременного, традиционного для толстовской словесности «с направлением» праведника, без которого не «стоит село», это трафарет прошлого, обанкротившегося века – у Шаламова действуют реальные люди, подвергнутые испытаниям, казалось бы, исключаяющим любые проявления праведности, но кто как не праведники «все умершие» «Надгробного слова»: Иоська Рютин, не обижавшийся, что напарник работает плохо, экономист, «добрый человек» Семен Шейнин, Сережа Кливанский, делившийся последним куском, правда, добавляет Шаламов, «это значит, что он не успел дожить до времени, когда ни у кого не было последнего куска, когда

никто ни с кем не делился» – но ведь это и есть человек, а не реплика Платона Каратаева из ненавистной Шаламову «литературы», бригадир Дюков, «бытовик, неплохой парень», пытающийся спасти осужденных по проклятой пятьдесят восьмой статье крестьян и гибнущий вместе с ними под пулями расстрельной команды на Серпантинке, Володя Добровольцев, «пойнтист», не гнавший насмерть вымерзавших товарищей от трубы с горячим паром, струя которого размягчает заледеневший золотиносный галечник, и хотевший бы быть обрубок без рук без ног, чтобы, наконец, «найти в себе силы плюнуть им в рожу за все, что они с нами делают». Кто как не праведник вейсманист профессор Уманский, реальное лицо, покрывавший доходяг-симулянтов, пытавшийся вести в лагере масштабные лингвистические исследования и преподававший курсантам-заключенным генетику – в глазах следователей НКВД почти такую же крамолу как троцкизм или космополитизм. Кто как не праведник герой «Сентенции», еще полутруп, «завидующий мертвым своим товарищам», но из жалости к животным помешавший топографу геологической партии убить сидевшую на яйцах самочку снегиря:

- «...я отвел ствол в сторону.
- Убери ружье.
- Я начальнику доложу.
- Черт с тобой и твоим начальником».

Столяровой рассказ не понравился, и Шаламов не включил его ни в один из списков КР, переданных на Запад. Претензии у нее, впрочем, не эстетического, а чисто фактографического порядка. Столярова так же не понимает авангардиста Шаламова, как не понимала модерниста Поплавского, от родителей она унаследовала вкус к той «литературе», которую «привез студент» (Набоков), а такую литературу в избытке производит и поставляет душка-рязанец. Наверное, ей дико читать в письмах Шаламова тезисы его литературного манифеста: «нет нужды обращаться к обреченному на смерть жанру... роман мертв, но голос документа будет звучать всегда», перемежаемые совсем не свойственными отправителю и непонятными мне восторженными характеристиками адресата: «огромный характер превзойден Вами – дела матери Вашей превзойдены Вами, если все временные коэффициенты учесть... Ваш характер, Ваша роль... – все это увеличивает требования, чтобы удовлетворить Вас. Только то, что будет самым лучшим – что завоеует всеобщую признательность, бесспорная нравственность».

В одном из таких довольно бессвязных писем всплывает имя Леонида Андреева: «Рассказ о «Семи повешенных» Андреева – пре-



восходная проза. Андреев – это русский писатель, о котором будут у нас говорить завтра и послезавтра и не найдут меры хвалы». В контексте разговора о Климовой и боевике Соколове имя не неожиданное, но существует и другой контекст: Столярова ждет в гости сына Андреева, швейцарца Вадима, с которым знакома еще по Парижу и который по предложению Столяровой, с благодарностью принятому Солженицыным, год с небольшим назад переправил за границу микрофильмы его архива, хранящиеся сейчас в Женеве (а его сын, Александр, с подачи Столяровой же переправит через два года «Архипелаг ГУЛАГ», за перевод которого возьмется дочь, Ольга Карлайл). Вполне допускаю, что разговор об Андреевых между Столяровой и Шаламовым состоялся уже давно, и он с нетерпением и надеждой ждет приезда супругов Вадима и Ольги, чтобы взглянуть на них и оценить возможности и перспективы передачи КР за «железный занавес». Летом он с ними встретится и попытается наладить переписку, которая, очевидно, не сложится – при всей искренней симпатии Шаламова к этим «старосветским помещикам в лучшем, самом лучшем гоголевском плане». Трудно представить, что может быть общего у Шаламова со швейцарскими «старосветскими помещиками», пусть даже в «самом лучшем гоголевском плане» – это совершенно чуждые друг другу миры, человеческая и рабочая связь между которыми возможна, но требует особого рода настойчивого посредничества и среды устоявшейся общезначимости – той самой репутации Шаламова и его труда как великого достояния русской и мировой культуры, что побудила бы принять в них деятельное участие, а репутация эта создается на месте, той же Столяровой с ее окружением, которые в состоянии по достоинству – в их понимании – оценить и превознести Солженицына, но не его антипода. Вот на примере той же Столяровой иллюстрация отношения к обоим, на одном и том же материале.

Рассказ «Золотая медаль» ей не понравился. В письмах Шаламову она высказывает недовольство, особенно концовкой рассказа, где освободившаяся из лагеря дочь Климовой вынуждена продать гимназическую золотую медаль матери, чтобы не пропасть с голоду. Столярова называет это «унижающей ее небылицей» и добавляет, что никогда ни у кого ничего не просила, а когда ее «осторожно спрашивали: «Ты голодна?», – отвечала: «Уже обедала». – «Ночевать есть где?» – «Есть». В следующем письме она пишет, выделяя подчеркиванием: «1946: ни малейшего страха свободы, нетерпеливое ожидание ее». Она врет – или врет Солженицын – но важно не это. В «Архипелаге ГУЛАГ» (который через Столярову и попадает на Запад) о ее послелагерных мытарствах повествуется так: «В хорошо знакомых московских

семьях поили чаем, но никто не предлагал остаться ночевать. И ночевала она на вокзалах». Не потому, что, как она пишет Шаламову, из гордости «предпочитала Казанский вокзал», а потому, что «никто не предлагал ночевать». Выдумал это Солженицын или передал с ее слов, неважно. Несущественна и другая его «небылица»: «Наталья Ивановна Столярова освободилась из Карлага 27 апреля 45 года... Проев несколько рублей, собранных лагерными друзьями, Столярова вернулась к зоне, соврала охране, что идет за вещами (порядки у них были патриархальные), и – в свой барак!

То-то радость! Подруги окружили, принесли с кухни баланды (ох, вкусная!), смеются, слушают о бесприютности на воле: нет уж, у нас спокойнее. Поверка. Одна лишняя!.. Дежурный пристыдил, но разрешил до утра 1 мая переночевать в зоне, а с утра – чтобы топала!». Это и есть отсутствие «малейшего страха свободы». Но неважно, как было на самом деле. Важно то, как она выговаривает Шаламову: «клевета», «вы порочите меня и мою подругу», «как плохо вы меня знаете, представляя себе...», «не только извращаете действительность, но и...», и, наконец, «ваша чувствительность». Но ведь Солженицын невозбранно говорит о ней более горькие вещи, тогда как Шаламова можно отчитывать за них, как нашкодившего ребенка. Это не просто штрих к психологии отношений. Это показатель полной утраты у окружения Шаламова чувства масштабов, понимания того, с кем они имеют дело в одном случае, и с кем – в другом. При этом Столярова – из лучших, она действительно готова помочь, но как постыдно мало этой толики участия для усилий, необходимых от многих и многих, чтобы не просто кинуть рукопись за «железный занавес», а настоять на ее издании, позаботиться о качественных переводах и вообще обязать себя сделать колымский эпос и его автора достоянием мира вопреки твердой решимости советского режима не допустить этого!

«Надо сказать, что его писательский масштаб тогда [был] осознан не слишком широким читательским кругом» (Юлий Шрейдер)

Возникает подозрение, что не просто не слишком широким, а считанными единицами.

Тем не менее, Шаламов не обижается на резкое письмо Столяровой, наоборот, напишет посвященную ей прекрасную медитацию под названием «У Флора и Лавра» и сохранит к ней добрые чувства вплоть до второй половины 1968 года, когда уже на пороге разрыва со всей либеральной фрондой просит Мандельштам постараться не приглашать одновременно с ним в гости «одиноких дам» – «кроме, разумеется, Натальи Ивановны Столяровой». Лишь в феврале семьдесят второго, после Письма в ЛГ, он поставит в этих отношениях точку,

прогнав из дому ее и Сучкова с их ненужными ему поддержкой и утешениями.

В отношениях Шаламова со Столяровой есть какая-то тайна, которую я не могу разгадать за отсутствием материала. Рассказ «Золотая медаль» появляется в корпусе КР только в советском издании, следовательно, в списки, передававшиеся на Запад, он не включался. Можно объяснить это нежеланием Шаламова править рассказ в соответствии с претензиями Столяровой и обижать ее публикацией того, что вызвало ее гнев. Но рассказ «У Флора и Лавра» – совершенно законченный, прекрасный текст, из лучших образцов «новой прозы» – будет найден в его архиве только летом 2011 года, т.е. Шаламов категорически отказал ему в читателе. В чем причина? В чем причина того, что в 1978 году Столярова передает Шаламову лондонское издание КР, «геллеровский сборник», не из рук в руки, а через Юлию Шрейдера, и допускает возможность, что Шаламов его вернет – вернет книгу, выхода которой ждал столько лет! В подоплеке всего этого мне видится какая-то страшная обида Шаламова, какое-то его беспредельное разочарование, сравнимое с реакцией на предательство. Что произошло на рубеже 68-69 годов, что заставило Шаламова изъять рассказ о женщине, перед которой расступается табун бешено мчащихся лошадей, из корпуса «Колымских рассказов»? Рассказ, заканчивающийся такой фразой: «Я и сам был волк – и научился есть из рук людей». Неправда. Не научился.

В этот год происходят два важнейших события послелагерной жизни Шаламова.

Запись в дневнике от 2 марта гласит: «Ирина Павловна Сиротинская».

Кто такая Ирина Павловна Сиротинская, которая станет его любовью, его душеприказчицей, владельцем его архива, текстологом и публикатором в годы, последовавшие за «перестройкой»? Как ни странно, об этой женщине, давшей множество интервью, курировавшей все публикации Шаламова и написавшей о нем лживые и бесталанные, но пространные мемуары, известно очень мало. Девичьей ее фамилии я не знаю, возможно, Сиротинская – и есть ее девичья фамилия, поскольку фамилия мужа – Ригосик. Имя варьируется – в большинстве публикаций она Ирина, но в некоторых именуется Ираидой – по-видимому, ее настоящим именем. О предках своих она говорит, что они «древнего священнического рода». Ребенком во время войны была в эвакуации в Иркутске, где работал инженером ее отец. Ко времени

знакомства с Шаламовым она – работник Центрального государственного архива литературы и искусства и приходит к нему по службе, хотя и по рекомендации коллеги-архивиста Зелениной, дочери скончавшейся от рака знакомой Шаламова переводчицы и преподавателя Веры Ключевой. Она сравнительно молода, ей тридцать три года, у нее трое маленьких детей и муж-«технар», не чающий в ней души любитель футбола и путешествий. «Семейное амплуа» Сиротинской – «обожаемая жена и мать». Красивой ее не назовешь, но, судя по фотографиям, она миловидна, несколько сдобрна, ухожена, выглядит мечтательной и простодушной. Что приводит ее к Шаламову, кроме желания познакомиться с человеком, рассказы которого она уже читала в самиздате и, кажется, оценила, во всяком случае, ей хочется услышать от этого человека ответ на вопрос: как жить? Цели прихода она не скрывает – ей нужны рукописи Шаламова для архива, это ее работа. Александр Морозов, эксцентричный молодой филолог, вся жизнь которого посвящена Манделштаму и который вместе с его вдовой и Николаем Харджиевым собирает материалы к собранию его сочинений, а в 1967 даже сумеет издать отдельной книжкой «Разговор о Данте», что по тем временам настоящий подвиг, называет Сиротинскую «главной гэпэушницей», иначе говоря, осведомителем тайной полиции (Эмма Герштейн). Диссидент Сергей Григорьянц, хорошо знакомый с Шаламовым и знавший Сиротинскую, считает, что это излишне – ЦГАЛИ и без того относится к системе Министерства внутренних дел, то есть Сиротинская – сотрудник МВД, другого охранного отделения, при необходимости, разумеется, тесно сотрудничающего с госбезопасностью. Шаламов – очевидный объект внимания тайной полиции на протяжении всей его послелагерной жизни. Слежка за ним ведется с середины пятидесятых годов, а в докладной записке Главлита, советской цензуры, за 1971 год имя его в списке деятелей демократического движения, или диссидентов, соседствует с именами Натальи Горбаневской, участницы демонстрации на Красной площади против оккупации советскими войсками Чехословакии в августе 1968-го, и Владимира Буковского, сторонника вооруженной борьбы с советским режимом, неоднократно судимого и в конце концов высланного на Запад в рамках обмена на сидящего в пиночетовской тюрьме чилийского коммуниста Корвалана. Это как бы второй эшелон активистов демократического движения, лидеры которого представлены в записке Сахаровым и Солженицыным. Разумеется, тайной полиции крайне желательно знать о деятельности и планах Шаламова из первых рук. Кроме того, необходимо контролировать распространение в самиздате его открыто «антисоветских» текстов, а главное, не дать им улизнуть за рубеж, где

эти уничтожающие свидетельства злодеяний советской власти будут тотчас использованы русской эмиграцией и западными спецслужбами в непрекращающейся «холодной войне». Я намеренно использую эту лексику, чтобы ввести Шаламова в контекст острого идеологического противостояния Запада и Востока и формирующегося движения политического протеста в СССР – явления, еще несколько лет назад напрочь отсутствовавшего. Именно в таком контексте рассматривают Шаламова политическая полиция и органы идеологического контроля, и они правы – Шаламов мыслит себя «русским революционером» (Сиротинская), наследником освободительного движения прежде всего социал-революционеров первой четверти века, но и вообще сторонником радикальной левой в духе европейских «новых левых» и Че Гевары. Если Сиротинская – действительно осведомительница госбезопасности, это должно быть зафиксировано в донесениях, подписанных обязательной для сексотов агентурной кличкой. До тех пор, пока архивы ГБ закрыты и если они вообще уцелели, ничего определенного сказать нельзя, но одну вещь можно сказать определенно уже теперь: была ли Сиротинская «гэпэушницей» или не была, в отношениях с Шаламовым она руководствовалась не полицейскими инструкциями, а своими, близкими к его собственным, целями и не воспрепятствовала ни одному его действию, которые в случае успеха с неизбежностью спровоцировали бы громкий международный скандал и вовлекли бы обоих в жестокий конфликт с властью со всеми непредсказуемыми последствиями. Вполне возможно, что именно этого она и хотела, и тогда жизнь не позволила этой женщине реализовать потенциал и склонности, лишь краешком обнаружившие себя в многолетней связи с Шаламовым.

Сантиментальной стороны этой связи я буду касаться только в меру необходимости, поскольку в мемуаре Сиротинской как раз сантиментальная сторона отражена более чем достаточно. Со стороны Шаламова это была страстная, рыцарственная, почти юношеская любовь, обманывавшая свою уязвимость и романтизм обычными для него бестрепетно нигилистскими формулировками: «Никакой любви нет, но есть роковое, страшное физическое совпадение человеческих пар, мужчины и женщины, неудержимой тяги их друг к другу. Есть физический тип, человеческий склад, с которым тот и другой могут брать, отдавать и желать друг друга без конца». Шаламов, по-видимому, ошибается. Никакого «страшного, рокового совпадения пар» не было, неудержимая – и понятная – физическая тяга была только с одной стороны, отвечало же ей что-то куда более заурядное, хотя по-своему трогательное и благородное: «Меня привязывало к нему глубочайшее

сострадание... боль в сердце... А у него ко мне были, конечно, другие чувства». Не только, разумеется, «глубочайшее сострадание». До поры до времени репутация Шаламова в кругах столичной интеллигенции, к которой принадлежит – но в которой ровным счетом ничего собой не представляет – Сиротинская, достаточно высока, чтобы романтическая связь с таким человеком поднимала ее в глазах окружающих и весьма повышала самооценку – не лишая при этом никаких житейских тылов. Сиротинская – не Галина Бениславская и даже не Анна Сниткина, Сиротинская – архивист, советская офисная дама, выпускница советской школы и советского вуза, рабски зависимая от стандартов среды, в которой она своя, а эти стандарты поощряют почти оруэлловское двоемыслие и двуличие, при которых вполне достойно работать в учреждении, входящем в систему МВД, и одновременно состоять в сердечной связи с уничтожавшимся в лагерях этой системы писателем, рукописи которого распространяются из рук в руки и который демонстративно сторонится членства в профессиональном союзе, созданном и функционирующем как подразделение тайной полиции. Все это, однако, не лишает человека спонтанности и возможности эволюции к чему-то совершенно другому. На протяжении нескольких лет Сиротинская была Шаламову верным другом и в меру сил помощником и возлюбленной, а Шаламов ее любил. Ни он, ни она не виноваты, что ничего лучшего Москва дать ему не могла.

Интересно, что ее самое общее первое впечатление от Шаламова: «...он был точно такой, каким должен был быть автор «Колымских рассказов», – буквально совпадает с почти одновременным впечатлением учителя литературы и диссидента Анатолия Якобсона: «...Познакомился с В. Шаламовым, который – копия своих рассказов, что очень приятно». Возможно, тут эффект, о котором говорит Вячеслав Вс. Иванов, комментируя высказывание Мандельштам об «авангардистской скульптуре из железа»: «Не только его стихи и проза,.. он сам оставался произведением искусства».

Параллельно с тем, как это знакомство в течение весенних и летних месяцев превращается в любовные отношения, с Шаламовым происходит второе важное событие – он, наконец, бросает власти открытый вызов и передает за рубеж рукопись «Колымских рассказов» для публикации книгой. Два с лишним десятилетия Сиротинская тщательно заметала следы этой инициативы, но в интервью Джону Глэду 1992 года проговаривается. Проговаривается и потому, что еще не утратила ее слашавая, пораженческая и карикатурно зависимая от

расхожего образа Солженицына – которому Шаламов противопоставляется как верный сын Родины, годный для любых изводов казенного патриотизма, донкихотствующий бессребреник и невинная жертва собственной бескорыстной тяги к самоожожению – версия «моего друга Варлама Шаламова», и потому, что имеет дело с иностранцем, первым переводчиком Шаламова на английский, хотя бы в самых общих чертах представляющим обстоятельства – десять лет назад Глэд брал интервью у редактора эмигрантского «Нового журнала» Романа Гуля и наверняка просматривал его книгу «Я унес Россию», где случую с Шаламовым уделен целый абзац. Впоследствии Сиротинская, вероятно, будет сожалеть о своей оплошности и нигде ни словом не упомянет этого интервью, лучше которого она не давала и которое, кстати, остается на сегодняшний день лучшей краткой биографией Шаламова. За четыре года до интервью Глэду на прямой вопрос журналиста отечественного «Книжного обозрения» Вячеслава Огрызко, с ведома ли Шаламова осуществлялись заграничные публикации «Колымских рассказов», она ответила, казалось бы, недвусмысленно: «Вероятно, кому-то из работников издательств или рецензентов удалось сделать копии. Во всяком случае в разное время по Москве ходило немало копий с рассказами Шаламова. Видимо, они попали и на Запад... Сам писатель разрешения на публикацию своих произведений за рубежом не давал». Списков не передавал, разрешения не давал.

Оказывается, нет, не совсем.

Итак, что произошло?

«Варлам Тихонович сетовал на западных издателей за то, что они нарушают его авторскую волю», – следуя сценарию Глэда – во всяком случае, так построено интервью – говорит Сиротинская, и Глэд подхватывает:

« – Он был недоволен Романом Гулем, редактором нью-йоркского «Нового журнала».

– Да, очень недоволен, он был просто в бешенстве. Гуль печатал его аптекарскими дозами. Первую книгу Варлам Тихонович отправил на Запад через Надежду Яковлевну Мандельштам. Насколько я знаю, это была единственная попытка публикации, предпринятая с его ведома. Но Шаламова очень разочаровало то, что сделали с его первой рукописью. Он ждал, что его издадут отдельным томом, что будет удар, резонанс, а из-за публикации маленькими дозами исчез эффект. Позже он счел, что Запад его не оценил, и перестал поддерживать отношения с западными корреспондентами. Так что все последующие публикации были взяты из «самиздата».

Про последующие публикации поговорим в должное время, а пока разберемся с авторской редакцией КР 1966 года, лично переданной Шаламовым на Запад для издания книгой, я буду называть эту редакцию «список-66» (будет еще «список-68», «список Лунгиной», а возможно, и четвертый, пока непоименованный).

Поскольку, приходится повторить, послелагерная биография Шаламова – сплошное белое пятно, к тому же замусоренное горами словесного хлама и сознательной ложью, то картину происходящего я не столько рисую, сколько реконструирую, и кое в чем могу ошибаться; собрать это мозаичное панно не упустив ни одной детали – задача исследователей, в отличие от меня имеющих доступы к архивам редакций и фондам библиотек.

В 1966 году у Шаламова есть возможность передать рукопись через гостей в СССР Андреевых, но подворачивается, вернее, имеется вариант куда лучший. В СССР работает по обмену американский славист Кларенс Браун, автор предисловия к первому тому первого собрания сочинений Мандельштама, он собирает материалы для подготавливаемого в Америке второго и третьего томов – наряду с собраниями сочинений Гумилева и Ахматовой весьма престижного проекта издательства «Международное литературное содружество», осуществляемого видными русистами Глебом Струве и Борисом Филипповым. Браун тесно общается с Надеждой Мандельштам, вконец разочарованной и обозленной бойкотом творений мужа со стороны советских издательств и взвешивающей возможность передать его архив за границу. Браун, по словам Эммы Герштейн, «соблазняет» вдову поэта вождленным трехтомником: «Там же Глеб Струве и Филиппов, они же вам издадут... все собрание сочинений, только дайте ваши списки». Для обольщения своенравной и недоверчивой Мандельштам используются даже такие «милые, трогательные» мелочи как паста для мгновенного мытья сковородок или американский плед, в который укуталась бы мерзнувшая Надежда Яковлевна. Словом, отношения у Мандельштам с Брауном очень хорошие, «она полюбила этих людей», говорит Эмма Герштейн, имея в виду еще и Андреевых, немного позже привезших ей в подарок роскошный ярко-красный махровый халат. Все это смешно, но именно такие мелочи и создают атмосферу благожелательности и доверия, и в этой атмосфере доверия и всеобщей любви, одна из составляющих которой – взаимная приязнь отверженных, Мандельштам и Шаламова, либо сама Мандельштам, о которой Шаламов как раз тогда пишет Сиротинской: «Для всех я был предметом торга, спекуляции, режее интереса, и только в случае Н.Я. – глубоко-



кого сочувствия», – предлагает Шаламову свой надежный «канал» на Запад, либо откликается на его просьбу, – так или иначе, Браун увозит объемистый машинописный том «Колымских рассказов» в Америку. Кому? Зная дотошность и упорство Шаламова в вопросах публикации («приходил к нам с утра, как на работу, присаживался в уголке и в сотый раз вычитывал корректуру,.. водил носом по строчкам, вынюхивал каждую букровку», – пишет Майя Муравник, и примеров с избытком), можно не сомневаться, даже не ссылаясь на Гуля, что рукопись Брауну, хорошо владеющему русским языком, Шаламов передал сам лично, выспросив при этом обо всем, касающемся зарубежных издательств, где труд его, подчеркивает Сиротинская – со слов Шаламова, разумеется – должен быть издан книгой, ни о каких журнальных публикациях речи нет. Ответы, видимо, его удовлетворили, поскольку казии, связанной с Андреевыми, он ждать не стал. В Америку Браун возвращается летом. В письме к Филиппову от 12 августа Глеб Струве пишет о материалах для собрания сочинений Мандельштама, полученных «Кларенсом Брауном от вдовы ОЭМ, с которой он много раз виделся во время своего шестимесячного пребывания в Москве в этом году». Шесть месяцев – это январь-июнь. Таким образом, в начале лета рукопись уже в США и может быть издана к концу года. Но происходит следующее.

«Один известный американский профессор-славист как-то позвонил мне по телефону и сказал, что был в Москве и привез большую рукопись для «Нового журнала», – рассказывает Роман Гуль, его редактор. – Я поблагодарил, и на другой день профессор привез мне на квартиру рукопись «Колымских рассказов». Это была очень большая рукопись, страниц в шестьсот. Передавая ее, профессор сказал, что автор лично виделся с ним и просил взять его рукопись для опубликования в «Новом журнале». Профессор спросил автора: «А вы не боитесь ее опубликования на Западе?» – На что Шаламов ответил: «Мы устали бояться...». Так в «Новом журнале» началось печатание «Колымских рассказов» Варлама Шаламова из номера в номер.

Эта мерзкая ложь опубликована в третьем томе воспоминаний Гуля «Я унес Россию». Шаламов не передавал рукопись в «Новый журнал». У рукописи совсем другой адрес – издательство. Книги издает не журнал, а издательство, это хорошо известно и Брауну, и Гулю. О каком издательстве могла идти речь? В Америке есть уже названное издательство «Международное литературное содружество», с которым связан Глеб Струве, с которым, в свою очередь, связан мандельштамовед Браун и которому, без сомнения, и должен был быть передан список-66 – и как лицу, связанному с издательствами, и как лицу, завися-

щему от источника текстов для собрания сочинений Мандельштама – его вдовы, как бы служащей для Шаламова гарантом точного исполнения его воли. В Америке есть несколько других крупных эмигрантских издательств, например, восстановленное в 1968 году Максом Хэйуордом «Издательство имени Чехова», которое выпустит книгу «Воспоминаний» Надежды Мандельштам, но второе издательство, имя которого естественным образом всплывает именно в связи с Глебом Струве – это уважаемое парижское ИМКА-Пресс, возглавляемое его племянником Никитой, который, по словам его дяди, «очень любит секреты». Переслать туда рукопись из Америки ничего не стоит, «железного занавеса» между США и Францией нет. Почему же рукопись вопреки ясно выраженной и преступно нарушенной авторской воле попадает в «Новый журнал»? Ответа у меня нет. Могу только высказать предположения. В середине 1966 года единственный серьезный соперник Шаламова в области советской неподцензурной словесности – Солженицын. Уже тогда с Солженицыным эмиграция может связывать далеко идущие планы. Списки романа «В круге первом», повести «Раковый корпус» и некоторых других вещей вывезены Андреевыми на Запад еще в конце 1964 года и должны быть хорошо известны дирижерам эмигрантского издательского процесса, в том числе – и в первую очередь – Никите Струве, этому воплощению на Западе настроений московской либеральной интеллигенции антикоммунистического центристско-клерикального толка. Все, что написал до сих пор Солженицын, и все, что можно вынести из его устных высказываний, дайджест которых наверняка своевременно попадает на Запад, полностью отвечает мировоззрению и эстетическим предпочтениям Никиты Струве и вообще христианско-демократических кругов эмиграции, контролирующей основную массу выходящей на русском языке печатной продукции. Издать сейчас «Колымские рассказы» Шаламова – это зарубить под корень весь будущий успех Солженицына. Солженицын известен пока только рассказом, обернувшимся в советской журнальной публикации повестью, и еще парой-тройкой новелл, сделавших шум в СССР (благодаря которому этот шум вообще возник), но в СССР может сделать шум и какой-нибудь Паустовский, которого наравне с Шолоховым и Ахматовой проталкивают в номинанты на Нобелевскую премию. Запад пока еще совершенно не задет Солженицыным, занятым срывом аплодисмана на локальной московской сцене. Взорвать сейчас на Западе бомбу «Колымских рассказов» – это переключить все внимание на подозрительно неуправляемого и мировоззренчески враждебного эмиграции троцкиста Шаламова.

Как нормальный издатель должен выпустить попавший к нему список-66? Список-66 – это три цикла рассказов общим объемом полноценных пятьсот-шестьсот страниц типографского текста книги стандартных размеров плюс, возможно, цикл эссе «Очерки преступного мира». Нормальный издатель выпустит это серией быстро следующих один за другим сборников, выход каждого из которых будет сенсацией и заставит советские власти реагировать с величайшим неудовольствием и встречной пропагандистской компанией. О Солженицыне с его «Иваном Денисовичем» если не забудут, то вспомнят нескоро. Поэтому, я полагаю, принимается промежуточное решение. Список-66 попадает туда, куда и должен попасть – к издателю, какому – не знаю, пусть выясняют, и им, этим издателем, передается во временное пользование Гулю для печатания небольшими порциями из номера в номер и без всякой шумихи. Вот что говорит Гуль в интервью тому же Глэду в 1982 году. «...мы не делали никакой из этого помпы, никакой публикации особой, но это было просто открытием этого писателя, потому что это замечательный писатель и его вещи останутся, по-моему, и в литературе и в истории, потому что он чрезвычайно важен для истории», – делится этот мерзавец своими вполне основательными соображениями, а на вопрос Глэда, кто из писателей был самым большим открытием журнала, отвечает поразмыслив: «Больших открытий... Кроме Шаламова... Это было открытие... это, конечно, было настоящим открытием. Других таких сразу на ум мне не приходит». (Мнение Гуля можно дополнить справкой Владимира Агеносова: «Именно он [Гуль] «благословил» в «Новом журнале» первые книги И. Елагина, Н. Нарокова и Л. Ржевского; заметил рассказ С. Юрасова "Враг народа", переросший затем в роман»). В 1978 году Гуль, по его словам, передаст не принадлежащие ему права на публикацию «Кольмских рассказов» книгой лондонскому издателю Стипульковскому. Но, во-первых, в книге, выпущенной издательством «Оверсиз пабликэйшнс», из 103 рассказов и очерков от десятка до дюжины написаны в конце 66 года и после, то есть таких, которых в списке-66 быть не могло. Во-вторых, 17 рассказов и очерков попадут в книгу из публикаций в журналах «Посев» и «Грани», то есть должно быть как минимум два договора на передачу прав – существует еще третий партнер, какова его роль? И-третьих, главное. С 1966 по 1976 год в «Новом журнале» было напечатано всего 49 рассказов из списка-66. Семнадцать, как я уже сказал, напечатали в 1967-70 годах периодические издания НТС, из этого списка или другого, не знаю, и никем другим эти семнадцать рассказов перепечатаны не были, что может быть результатом партнерского соглашения. Таким образом, в распоряжении Гуля из списка-66, вклю-

чавшем, как представляется, свыше ста текстов, оставалось не менее тридцати – еще на десять лет публикаций из номера в номер, отменный резерв для любого журнала. Почему же Гуль уступил эти не принадлежащие ему права на публикацию Стипкульсковскому вместо того, чтобы продолжать печатать подборки? Это как-то увязывается с вопросом, почему публикация «Колымских рассказов» осуществлялась журналом «без всякой помпы». В интересах любого нормального редактора извлечь из взрывного материала максимум. Это азбучная журналистская истина, ею руководствовались даже редакторы советских журналов. Но могут быть обстоятельства, когда к взрывному материалу не надо привлекать лишнего внимания – например, внимания советских властей, если дело происходит в СССР. Грубо говоря, печатать, но не выбываться. Печатать, но считаясь с властью, жертвовать кое в чем интересами журнала ради общего благоприятного климата. С чьей властью считается Гуль, печатая «Колымские рассказы» «без всякой помпы», ради чего он жертвует интересами редактируемого журнала? Власть бывает не только советской. Власть – это власть, например, настоящего владельца списка-66 (разумеется, не автора), от которого он получен во временное пользование на определенных условиях. И этот же владелец (сформулировано это может быть так: «Пока печатай, а мы посмотрим, какие у нас возможности», – вот Гуль и печатает, книга-то не выходит) однажды может сказать: все, хватит, пора издавать книгой, сейчас уже можно, – и Гулю ничего не остается, как передать не принадлежащие ему права на публикацию Стипкульсковскому, освоив материал только наполовину. (В интервью Глэду Гуль говорит, что передача прав состоялась после того, как журнал напечатал «почти все» рассказы, но слово «почти» в устах лжеца может означать что угодно). Понятно, что изложенное – мои домыслы. Я не знаю, как увязаны все эти обстоятельства, но что они увязаны – очевидно. Мое предположение – что блокада Шаламова эмиграцией началась не в 1968 году, когда она совершенно неоспорима, а уже в 1966 и тем же кругом людей, которые параллельно советскому режиму держали Шаламова в жестокой блокаде вплоть до богадельни и смертного часа и только посмертно издали его целиком в двух уже ничьих, безнадежно опоздавших, обезвреженных и опозоренных, и при этом почти классических книгах, о чем я скажу подробно.

На все эти вопросы необходимо найти ответы. Все убийцы, как в «Колымских рассказах», должны быть названы их настоящими именами.

Тем же летом Шаламов пишет короткое гневное (не в адрес «дельца», но, пожалуй, по адресу его стремительно разрастающейся клани) письмо Солженицыну, где содержится ключ к его пониманию так называемого «прогрессивного человечества» – домашний термин, которым можно припечатать кого угодно, хоть ту же Сиротинскую, просвещенную законопослушную даму, состоящую одновременно в предосудительной связи со злостным внутренним антисоветчиком-эмигрантом Шаламовым. «...просматривается несколькими инстанциями сотня стихотворений, а потом выбираются десятки безобиднейших, случайнейших. Такой «помощью» авторам – «даем место, печатаем!» – занимаются все: «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Семья и школа», «Сельская молодежь» – все тонкие и толстые журналы Советского Союза... Это называется помогать, выбивать, хорошо отнестись и т. д... я это все Вам пишу,.. чтобы разоблачить всех «либералов», чья «помощь» – подлинная фальшь». «Помощь-фальшь» становится для Шаламова диагностическим признаком всех окружающих или отстоящих далеко и потому недоступных для плевка в лицо негодяев – практика надежного и безопасного приобретения общественно-го веса или репутации достойного человека за счет поэта, которого эти благодетели только обкрадывают. Действительность Колымы грубее и потому очевиднее, но тот же принцип наебаловки, «хитрожопости», «умри ты сегодня, а я завтра» пронизывает всю жизнь «большой зоны», простирающейся далеко за «железный занавес», повсюду, где звучит горемычный русский язык, ставший спутником и переносчиком этой поразившей страну проказы. Родословная письма в ЛГ 1972 года и стихотворения «Славянская клятва» восходит к этому гневному, но еще сдержанному «разоблачению «либералов», чья «помощь» – подлинная фальшь». К сожалению, «фальшь» обнаружится не только у официозных фигур, вроде заведующей отделом поэзии журнала «Москва» Евгении Ласкиной («в «Москве» будет напечатано только два очень старых стихотворения – тридцать строк за два года – чаще они меня не печатают» – Гродзенскому) или ее бывшего мужа номенклатурного сточкогона Симонова, «стоящего в двух шагах» от тупой подручной литературного палача Вадима Кожевникова Людмилы Скорино, хотя бы, отмечает в записных книжках Шаламов, «не разыгрывающей из себя благодетеля прогрессивного человечества». С перерождением на зарубежное издание «Колымских рассказов» те же свойства начнут проявляться в людях, мало или совершенно не влияющих на издательские процессы в СССР, но достаточно уважаемых в эмиграции – не говоря уже о самих эмигрантах – чтобы при желании и должной твердости с успехом на них воздействовать. В

конечном счете это прозрение относительно повсеместно господствующего шкурнического принципа приведет Шаламова к полному одиночеству и тем высказываниям, которые приписываются его крайней ожесточенности лагерями, а то и чуть ли не врожденному презрению к человеку, в чем ни грана ни правды, ни знания фактов шаламовской биографии.

К хронике блокады, из того же письма. «Три года назад с приходом Наровчатова в редколлегию «Литературной газеты» я отнес туда 150 стихотворений, исключительно колымских (1937–1956) и примерно через год имел беседу с Наровчатовым – ответ, носящий характер категорического отказа.

...у меня кромсали колымские стихи в «Новом мире», в «Знамени», в «Москве», в «Юности».

К слову, что собой представляет процесс прохождения рукописи в советской печати, рассказывает Джону Глэду бывший сотрудник «Литературной газеты» Илья Суслов, предупреждая: «У тебя волосы дыбом встанут».

«Цензура – это не просто Главлит, как это думают, это девять инстанций, поставленных друг на друга, которые читают все материалы...

Коротко. Вот тебе маленькая цепь: автор – литературный сотрудник – редактор, ведущий этот материал, – заведующий отделом – заместитель ответственного секретаря – член редколлегии, читающий материал, – заместитель главного редактора, читающий материал, – ответственный секретарь – главный редактор. Это девять, не считая самой цензуры, которая называется Главлит. Все эти люди читают один и тот же материал до конца, и, если каждый из них что-то «видит», он ставит птичку. И там, где эта птичка, – это вычеркивается. Поэтому ты можешь себе представить, каким материал выходит – в отличие от того, что сделал автор».

Стоит добавить, что стихи в качестве «материала» ничем не отличаются от передовицы и проходят сквозь тот же строй.

Здесь ко времени уделить несколько абзацев отношениям Шаламова с Ильей Эренбургом, чья секретарша в силах продырявить «железный занавес», но не в состоянии рассортировать сваленный на полати архив великого советского публициста. Литературовед Борис Фрезинский занимался этим вопросом. Он упоминает совместное участие Шаламова и Эренбурга в вечере, посвященном Мандельштаму,

где первый председательствовал, а второй читал написанный им «на Колыме» «Шерри-бренди». Об их участии в другом мероприятии повествует в мемуарах Григорий Свирский. Дело происходит в 65-66 годах.

«Я... заглянул в конференц-зал Союза писателей, где шло заседание.

За трибуной, не касаясь ее, словно трибуны вообще не было или она была отвратительно грязной, стоял человек с неподвижным лицом. Сухой и какой-то замороженный... черное дерево, а не человек. В президиуме находился Илья Эренбург, измученный, взмокший, нервно подергивающийся, отчего его седые волосы встряхивались, как петушиный гребень, и тут же падали бессильно.

Эренбург пытался встать и тихо уйти, но человек, не прикасавшийся к трибуне, вдруг воскликнул властно и тяжело: «А вы сидите, Илья Григорьевич!» – и Эренбург вжался в стул...

Шаламов, как мне рассказывали позднее, говорил о расправе с писателями его поколения, говорил что-то угрожающе-неортодоксальное, и Эренбург попытался «при сем» не присутствовать: лучшие главы из его книги «Люди, годы, жизнь» – о Мейерхольде, Таирове – цензура вырубала в те дни топором. Он отстаивал их в ЦК. Однако пришлось ему остаться».

В апреле 66-го Эренбург выступает на читательской конференции в Молодежном клубе на Беговой. Говорит он следующие интересные вещи:

«Что действительно необходимо для нас в настоящее время? Нам надо реабилитировать совесть. Сделать это может (после отказа от религии) только искусство...

Человек, в котором есть только знание, но нет сознания (а под сознанием я понимаю совесть), это еще не человек, а полуфабрикат...

...меня упрекают, что я называю Сталина умным. А как же можно считать глупым человека, который перехитрил решительно всех своих бесспорно умных товарищей? Это был ум особого рода, в котором главным было коварство, это был аморальный ум.

Миллионы верили в него безоглядно, шли на смерть с его именем на устах...

Надежда моя – на молодежь, которая не прошла через такое воспитание. Я ее очень люблю... у нее есть дух критики, дух независимости мысли, она не оглядывается на директивы, а ищет, и она найдет. Найдет, но только в том случае, если сумеет реабилитировать совесть...

Если же мы не сумеем восстановить место совести в нашей жизни, если мы не реабилитируем совесть, то вся эта галиматъя с луной, спутниками и прочим окажется бредовым цирковым трюком».

Бредовым цирковым трюком, если уж откровенно, кажется употребление Эренбургом, «сталинским любимцем» (Шаламов) и «сталинским эмиссаром» на Западе, слова совесть, да еще толкуемая как сознание. Мир тотальных подмен позволяет все, проблематика Достоевского давно снята жизнью. Фрезинский пишет, что Эренбург «никогда не работал «в стол» (таковы уж были его психологическая природа и его жизненная программа)». Что значит, никогда не работать «в стол» в эпоху кровожадного или вегетарианского сталинизма? Это значит, безоговорочно обменивать перо на гарантии безопасности и все доступные блага. Иначе говоря, быть воплощением либо самого этого сталинизма, либо столь ненавидимой Шаламовым «хитрожопости». Эренбург, воплощение «хитрожопости» в самом ее искусном и постыдном изводе, внушает советской молодежи необходимость «реабилитировать совесть» через искусство. Интересно, что Шаламов ловится на эту удочку, и после прочтения стенограммы, от которой, замечает он в Записных книжках, Эренбург тут же отрекся: «Я этого не говорил» (о Хрущеве и «Новом мире»)), – пишет ему письмо с благодарностью за сказанное о Хрущеве и «Новом мире», очевидно и получая в ответ это обескураживающее отречение. О «Новом мире», с бесчувственностью машины бойкотирующем его труд, Шаламов отзывается так: «Это – журнал конъюнктурный, фальшивый, враждебно относящийся к интеллигенции». Исследователь Валерий Есипов объясняет резкие выпады Шаламова в адрес Твардовского и его вотчины «изолированностью от самых горячих «очагов» литературного процесса, какая была свойственна замкнутому образу жизни Шаламова». Неправда. Шаламов не был изолирован от «очагов» советского литературного процесса. Если уж задействовать метафору пламени, он всегда находился меж двух огней. Он вовсе не вел замкнутый образ жизни, замкнутым его образ жизни может казаться только в сравнении с образом жизни окружавших его полых людей, неутомимо пляшущих вокруг кактуса. Твардовский и Эренбург солируют в толпе этих плясунов.

Эренбург не сыграл в судьбе Шаламова и его труда никакой роли, да и трудно представить, какую роль мог бы сыграть в судьбе человека, пишущего исключительно «в стол», человек, принципиально «в стол» никогда не работавший. В ноябре Шаламов нанесет Эренбургу визит и после трехчасового разговора назовет хозяина «свободным человеком». Совершенно удивительно, как, оставаясь самим собой,



можно снискать расположение таких антиподов, как Шаламов и Джугашвили. В Эренбурге, по-видимому, напрочь отсутствует то, что называется личностью. Это лицедей, настолько приживший маски, что кроме маски в нем ничего не осталось. Маска, рассуждающая о совести и искусстве – воплощение Москвы шестидесятых годов, в которой Шаламов ищет – а, может быть, уже и не ищет – понимания и читателя.

Летом Сиротинская отдыхает в Крыму, расписывает Шаламову красоты окрестностей Алушты и Ялты и без особого внутреннего сопротивления – ведь пока это ее ни к чему не обязывает – принимает его литературно-общественную позицию: «Союз [писателей], карьера – все это такие пустяки для настоящего писателя. Все это смешно... Каждый творит в одиночку, и один отвечает за все, что написал», – хотя и добавляет: «Мне кажется, что Вы нетерпимы к людям». По возвращении в Москву, вспоминает она, он сгреб ее в охапку, сопровождая объятия «такими словами, что я растерялась». Однако, условия коммунальной квартиры с бывшей женой по соседству вынуждают их прибегать к унижительной для Сиротинской конспирации, и она готова отказаться от едва начавшихся отношений. Шаламов в отчаянной записке убеждает ее: «...ты меня ни у кого не отнимаешь.

Ты мне даешь ту жизнь, то понимание моих задач,.. которого не было ни у кого из моих друзей.

Все они не стоят твоего пальца.

...встречаться раз в неделю не часто – и я тебя люблю.

...почему я должен отказываться от своего счастья – первого, может быть, в жизни, в его искренности, подлинности».

Тогда же он пишет посвящение Сиротинской на рукописи «Колымских рассказов»: «Ире – эти скромные школьные тетрадки... это такая тема, где встанут рядом и им не будет тесно – сто таких писателей, как Лев Толстой».

В дальнейшем он разумно сократит количество толстых до пяти, а цифру сто оставит для таких его эпигонов, «как Солженицын».

В мемуарах последнего сказано, что после 1965 года они с Шаламовым не встречались, но в другом месте читаешь: «В тот же год [а это уже осень 1966-го] и он мне – на моё выступление в Институте востоковедения: «Поздравляю. Так и надо было действовать давно». (Не угас под пеплом его политический, бунтарский огонь...))».

В опубликованных письмах Шаламова Солженицыну этого нет, стало быть, не исключено, что сказано устно. Но путает Солженицын

или нет, говорить им, в сущности, уже не о чем. Поэтому отклик на переданный ему для прочтения роман «В круге первом» Шаламов не отсылает, и странно было бы, если бы отослал: после нескольких дежурных, притом сомнительнейших похвал («значительнейшая вещь», «великолепен сам замысел, архитектура, задачи: дать геологический разрез советского общества – от Сталина до Спиридона», «..хвалю Вас за роман, за победу в... неизбежно консервативной форме... наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме»), следуют тезисы литературного манифеста, беспощадно утверждающие смерть романа как жанра («выдуманные сюжеты... оскорбительны для читателя») и в энергичных выражениях рисующие то, что его хоронит: «...в прозе будущего важен выход за пределы и формы литературы. Не описывать... а создавать новые способы описания. Проза, где нет описаний, нет характеров, нет портретов, нет развития характеров.

...проза, пережитая, как документ».

Солженицын, кстати, не остается в долгу. На вопрос зала о том, что он думает о рассказах Шаламова, следует такой исчерпывающий ответ: «Его рассказы? Они отражают жизнь в заключении в самом тяжёлом её аспекте» (стенограмма выступления).

Проза, «пережитая как документ», Солженицына не интересует, а вот читательский успех, вообще, *успех*, какая бы литературная форма или внелитературные обстоятельства ему ни способствовали – первенствует среди задач. Упомянутый Институт востоковедения – только одна из многих площадок, где этот бешено стремящийся к известности честолюбец завоевывает самую обещающую, самую уважаемую и искушенную в двоемыслии аудиторию, которую он впоследствии – с полным на то основанием – назовет «образованщиной», сорвав дополнительные овации – совершенно в духе эстрадных авантюристов и хамов начала века, о которых с омерзением рассказывает в воспоминаниях Бунин: «...рычал на интеллигенцию: «Вы жабы в гнилом болоте» – упивался своей неожиданной, негаданной славой и все позировал перед фотографами». «Деятельность дельца, направленная на узко личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности. Москва двадцатых, но без меня, без моей фамилии», – сурово, без бунинского блеска, соотнесет Шаламов с опытом человека уже предреволюционного поколения и решительно отмежует, обрекая себя на все растущую изоляцию.

Шоу в Институте востоковедения с массовой истерией сотен зрителей только завершает осенний охотничий сезон Солженицына. Вот перечень залов (Людмила Сараскина), где он успел побывать и упиться славой в течение октября-ноября: Институт атомной энергии, Институт молекулярной биологии, Институт народов Азии, Фундаментальная библиотека общественных наук, ЦАГИ и ОКБ Туполева, МВТУ им. Баумана, НИИ им. Карпова, НИИ в Черноголовке, Институт элементарно-органических соединений, мехмат МГУ и, наконец, Малый зал московского ЦДЛ, куда «правдами и неправдами... набилось полторы сотни человек – среди них Окуджава, Дудинцев, Вознесенский, Коржавин».

Соперничать с этим факиром «лагерной темы» в его стихии маркетинга невозможно. «Банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме», на популяризацию которых работают тысячи московских интеллигентских кухонь, а на дискредитацию автора – самая одиозная полицейская закулиса, что только повышает его престиж, лишают идеи небанальные и выраженные совершенно новаторски самого доступа к возможному адресату, который либо оглушен ревом стада, либо ощущает «тему» этими банальностями и формой исчерпанной и теряет к ней интерес. Доступ к советской аудитории постепенно перекрывается для Шаламова уже и со стороны самиздата, основной читатель которого получает требуемые бестселлеры и новости с фабрики Солженицына, а вкрапленные в эти массы потенциальные читатели и ценители «новой прозы» дезориентированы и обделены как текстами, так и резонансом, который эти тексты должны вызывать, но который начисто перекрывается шумом, поднятым Солженицыным и его клакой. Невозможность прочесть, невозможность узнать, невозможность отрефлектировать, невозможность вступить в диалог. Однако у «Колымских рассказов» все-таки есть выход на читателя – через публикацию за границей, международный скандал и массовую осведомленность о них в СССР, которую контрпропагандистский рефлекс советских идеологических служб и тайной полиции обеспечит практически неизбежно. Радикальный во всех отношениях характер текстов Шаламова спрямляет ему стези и заставляет действовать так, как до него не делал никто – «Доктор Живаго» был издан как бы в обход автора, Синявский и Даниэль печатались под псевдонимами, и только «Колымские рассказы» должны выйти книгой по прямому распоряжению их создателя – и это задолго до Солженицына, который еще два года спустя будет публично отрекаться от западных изданий своих

книг, рассчитывая вместе с Твардовским на публикацию «Ракового корпуса» в «Новом мире».

Тут я хочу сказать совершенно определенно: я уверен, что Шаламов – чье честолюбие (не «тщеславие», как пишет знавшая его, но не русский язык Галина Воронская) ничуть не уступало честолюбию Солженицына, честолюбию генерала де Голля, «карьеру которого... не было поздно повторить даже в 1956 году» – ставил себе целью мировое признание и Нобелевскую премию. Именно она была бы достойным вознаграждением его дара, его открытий в области поведения человека в условиях абсолютно нового, концентрационного, мира, «иноного мира», как назвал его Герлинг-Грудзинский, его бескомпромиссной общественной позиции (бескомпромиссность Шаламова исследователю Роберту Чандлеру помогла уяснить не кто иной как подпольщица Столярова), наконец, целой жизни на «планете Колыма», планете смерти. С конца пятидесятых до конца шестидесятых Нобелевская премия по литературе – почти домашняя для СССР: в 1958 ею награжден Пастернак, в 1965 – Шолохов, чью кандидатуру до последней минуты оспаривала Анна Ахматова, в 1970 – Солженицын. В литературоцентричном СССР статус Нобелевской премии иной, чем на Западе – для наследующего российскому советскому писателя и читателя это мировое признание не только литературных заслуг человека, но его власти над думами в противовес безраздельной власти тирании над телами и жизнью подданных. Шаламов был близким свидетелем и участником истории присуждения премии Пастернаку. Путь к Нобелевской премии ловкача Солженицына вымощен его глубочайшими разочарованиями и душевными травмами. Положение поднадзорного не позволяло Шаламову высказываться открыто, но иногда это случилось и зафиксировано в отчетах осведомителей тайной полиции. Вот цитата из донесения стукача от 1959 года, всего за несколько лет до передачи Шаламовым рукописи КР за рубеж: «Шаламов считает, что Пастернак сделал непростительную ошибку... отказавшись от Нобелевской премии. По мнению Шаламова, Пастернак должен был «оставаться стойким до конца», то есть взять Нобелевскую премию и «не отвечать ни единым словом на собачий лай...». Однако Пастернак, по словам Шаламова, «струсил и... показал свою беспомощность и беспринципность, сделав тем самым хуже себе и другим...». Вот свидетельство Сиротинской, уже второй половины шестидесятых: «С нотой пренебрежения говорил В.Т. о «покаянных письмах» Пастернака. Б.Л. не проявил душевной твердости, по словам В.Т. Если он пошел на публикацию романа на Западе, – надо было идти до конца». Услышать

от Шаламова эти слова Сиротинская могла не раньше лета 66 года, когда он уже «пошел на публикацию на Западе» – стало быть, готов «идти до конца». В семидесятых годах Шаламов делает наброски к пьесе, место действия которой – тюрьма, а действующие лица – русские Нобелевские лауреаты по литературе – Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, и украшает эту компанию сам Шаламов. «...он их собрал, чтобы сказать все, что о них думает» (Сиротинская). К сожалению, пьеса не опубликована, и о чем они говорят, неизвестно, известно лишь, во слов Сиротинской, что Шаламов сводит с ними счеты, да и подбор героев говорит сам за себя. Непосвященный ни в происходящее в жизни Шаламова, ни в его планы Борис Лесняк – тот самый Лесняк, который «точно знает» и простодушно уверяет читателя мемуаров, что Шаламов «не имел ни малейшего представления об эмигрантских журналах и вряд ли названия их слышал раньше, чем поднял шум по поводу публикаций ими отдельных его рассказов» (примерно то же говорит примерно так же осведомленный Сергей Неклюдов: «Он совсем не стремился к публикации своих вещей за рубежом»), но тем не менее что-то чувствующий, морализирует в тех же воспоминаниях: «Шаламов был человеком страстным, погруженным в себя. Перед ним была Цель. Он шел к ней, не размениваясь на мелочи, жертвуя стоящими на пути, отбрасывая все, что не служило или мешало достижению этой цели... он считал, что славу и бессмертие, к которым он с детства стремился, принесет ему проза, его «Колымские рассказы» в первую очередь. Варлам был очень чувствителен к славе и безрассудно ревнив».

Здесь все шиворот-навыворот.

Во-первых, жертвовал не столько он, сколько им, во-вторых, хочу немного остановиться на этой чувствительности к славе, честолюбию, стремлении к популярности и прочих затененных сторонах грешной человеческой природы. Первым делом, нужно разделить честолюбие и тщеславие, которые путает Воронская. Тщеславие – это желание любой ценой поставить себя в центр внимания, абсолютно глухое к любой трезвой самооценке. Тщеславие – синоним самовлюбленности. Мириады тщеславцев вьются вокруг любого громкого имени – близость к знаменитости помещает их вблизи центра внимания независимо от того, оправдано ли это внимание чем-то большим, нежели утолненной самовлюбленностью объекта внимания. Свита знаменитости – это золотая жила тщеславцев, их коренное залежание, откуда их можно извлекать слитками в химически чистом виде. Совершенно очевидно, что Шаламов никогда не тянулся ни к каким знаменитостям, избегал их и не любил своего имени в паре с чьим-то. «Москва двадцатых, но

без меня, без моей фамилии». Тщеславие – порок, тогда как честолюбие – вещь нейтральная. Честолюбие проявляется в любой области, и в большинстве из них ничего не прибавляет и не убавляет – большинство областей деятельности – сфера рутины, сфера утилитарного, в котором недостающее без труда находит замену. Важным это качество становится только в сочетании с даром, творческими способностями, делающими их носителя незаменимым, а если заменимым, то с невозможными потерями. Здесь слово «честолюбие» отвечает своему первоначальному смыслу – любовь к чести, стремление продемонстрировать на деле и на людях достоинства, объективно возвышающие их обладателя над массой этих достоинств лишенных. Честь – особое благородство материала, неоспоримое в проявлениях и естественным образом требующее признания. Гений – носитель неповторимых, уникальных достоинств – почти обречен на сопровождение их честолюбием. Честолюбие – это то, что требует от даров быть врученными, расточить богатство среди нуждающихся, облагородить дюжинное, непроработанное вещество бытия. Честолюбие, великое честолюбие, мне кажется, присуще Шаламову по природе. Совершенно незачем, живописуя лубок, лишать его этого качества только потому, что оно безобразно дискредитировано его антиподом. У Солженицына свои достоинства. Это достоинства политика, идеолога, общественного деятеля, домогающегося власти, узурпированной ничтожествами. Но при чем тут литература? Честь Солженицына – это честь политика. Честь Шаламова – это честь поэта. Когда происходит подмена, поэт лишается своей чести, а политик присваивает чужую, превращаясь в проходимца и самозванца. Именно поэтому оппозиция Солженицын – Шаламов так кричаще требует восстановления справедливости. Именно поэтому Нобелевская премия по литературе Солженицына в присутствии неизданного Шаламова так кричаще обнаруживает культурное одичание русской интеллигенции, послужившей первому сокрушительной, но безмозглой и бесчувственной машиной промозжена. Именно поэтому я считаю необходимым ясно сказать, что Шаламов был достоин Нобелевской премии, как никто другой, стремился к ней и был сознательно, злонамеренно лишен возможности заявить эту претензию – чтобы была удовлетворена претензия Солженицына.

В этот год Шаламов дарует Надежде Мандельштам еще один прекрасный рассказ, как будто прошлогодней «Сентенции» недостаточно. «Проходит три дня и три ночи, и хозяйка просыпается от странного, смутного скипидарного запаха, слабого, тонкого, нового запаха...

Лиственница жива, лиственница бессмертна, это чудо воскрешения не может не быть – ведь лиственница поставлена в банку с водой в годовщину смерти на Колыме мужа хозяйки, поэта.

...память о мертвом тоже участвует в оживлении, в воскрешении лиственницы...

Сначала кажется, что это запах тления, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы. К тому же – мертвецы на Колыме не пахнут – они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте».

Историю «Воскрешения лиственницы» я уже пересказывал со слов Лесняка. Два года назад он послал Шаламову авиабандеролью ветки кедрового стланика (что, кстати, делал не раз), они выжили в перелете и, поставленные в банку с водой, «злой хлорированной обеззараженной московской водопроводной водой, водой, которая сама, может, рада засушить все живое», зазеленели. Шаламов хотел посвятить рассказ Лесняку и Савоевой, но те отказались, попросили «не называть наших имен» – вполне понятная осторожность, особенно со стороны колымчан, а в настоящем жителей Магадана, – и стланик превратился в лиственницу, «дерево познания добра и зла», «дерево концлагерей», ослепительно зеленеющее в доме вдовы поэта, сгинувшего на родине трехсотлетней даурской лиственницы.

В комнате Шаламова на стене висят портреты того и другой, поэта и его женщины. И взаимопонимание с этой другой покамест так велико, что в августовском письме Шаламов с обезоруживающей уклончивостью влюбленного, не имеющего права любить («любовь не вернулась ко мне»), со множеством оговорок, с упорным поиском слов, которые передали бы пережитое воскрешение, пишет: «Нынешнее лето было у меня в рабочем смысле не очень удачным... Но зато лето это было для меня очень важным в каком-то особенном личном смысле – сознание этого странным образом не то что примиряет, а сближает меня с жизнью – в возможных пределах, в режимах, в границах примирения, сближения. Впрочем, речь идет не о примирении, а о сближении, пересечении каких-то важных путей и дорог...

В каком-то особенно личном смысле лето принесло мне спокойствие, не примирение, а сближение – пересечение путей и дорог».

С Сиротинской они видятся от случая к случаю, но Шаламов настаивает, что этого мало, настаивает на еженедельных встречах, и раз в неделю они от четверти до получаса «прогуливаются по Всехсвятской, ныне Березовой роще», где однажды он признается ей в любви «с та-

кой эмоциональной напряженностью», что и спустя годы Сиротинская «ощущает ее, как электрический разряд».

Стремление к определенности заставляет Шаламова, наконец, официально расторгнуть захиревший брак с Ольгой Неклюдовой.

Параллельно рассказу о ветках стланика Лесняк упоминает случай, которой мне кажется следствием путаницы или забывчивости, но на всякий случай я его приведу. Будучи в 1966 в Москве, вспоминает Лесняк, я забежал к Шаламову и увидел у него на столе два машинописных тома «Колымских рассказов», которые он, по его словам, собирается нести в издательство «Советский писатель». «Хочу там оставить. Пусть не печатают, черт с ними, но пусть у них побудет». Если Лесняк не тасует, по забывчивости или намеренно, хронологию событий, не могу найти этому объяснения. Зачем нести КР туда, откуда их всего лишь полтора-два года назад вернули? Я уже говорил, что, по моим наблюдениям, Лесняк пугается в датах сознательно – чтобы произвести впечатление непрерывности общения с Шаламовым на протяжении всех шестидесятих годов, тогда как в действительности вторая их половина едва ли богата встречами – Шаламов в эти годы почему-то избегает личного общения с Лесняком (хотя эпистолярное ни шатко ни валко продолжается, почти исключительно на почве нужды Шаламова в различной справочной литературе о Колыме). Относил ли Шаламов в это время «Колымские рассказы» в «Советский писатель» и когда ему опять их вернули, можно выяснить, только подняв архивы издательства. Определенно можно сказать, что в «Советском писателе» в это время находились «Очерки преступного мира», попавшие на внутреннюю рецензию к Олегу Михайлову, «протолкнуть» которые ему, конечно, не удалось ни в издательстве, ни в умеренно националистическом журнале «Наш современник», чей редактор, земляк Шаламова Сергей Викулов, ничем не отличался по сервильности от редакторов «интернационалистских» «Нового мира» и «Юности», с которыми яростно враждовал. Советская блокада душила прозу Шаламова по всему периметру – слева направо и справа налево, от розовых демократов до розовых черносотенцев.



# 1967

Сиротинская пишет, что в те годы, когда она опекала Шаламова, он не болел. Это не так. 1967 год начинается недомоганием, которое не дает ему двигаться и зайти к Мандельштам, где он появляется не реже раза в неделю, а следующий приступ того, что он называет в письме Гродзенскому синдромом, т.е. признаками болезни Меньера – однажды поставленный ему диагноз, который позже будет пересмотрен невропатологом в сторону значительно менее утешительного – собьет его с ног в июне, головой о деревянный, к счастью, пол, поскольку, пишет Шаламов, «упал бы на каменной лестнице – разнес бы череп». Кроме того, Шаламова преследует глухота, затрудняющая общение и особенно телефонные разговоры. Сергей Григорьянц рассказывает об одном из, вероятно, не единичных недоразумений: Шаламов по телефону принял его за какого-то неприятного ему человека и говорил очень резко, на что Григорьянц ответил возмущенным письмом, – следствием был звонок Шаламова в студенческое общежитие, где обитал неустроенный Григорьянц и где найти его было нелегко, Шаламов извинялся с «каким-то даже самоуничижением: простите меня, глухого», эта природная деликатность как-то совмещается в нем с тем прагматизмом по отношению к переставшим интересоваться его людям, за которое ему пеняет Лесняк.

«Я медленно глухну... Я еще слышу мир, еще могу беседовать с людьми, если вижу мир, движущиеся губы. И каким-то особым напряжением мозга, ранее мне неизвестным, угадываю слова и успеваю подобрать ответ и чувствую себя еще человеком. И никто не знает, сколько душевных и нервных сил стоит мне каждый разговор».

Еще в ноябре прошлого года он знакомит возлюбленную с Мандельштам. Вначале, отмечает Сиротинская, та ей не приглянулась, но потом совершенно очаровала «умением вести беседу, умом, тактом», сочетая это вежество с настораживающим умением «прощупать» собеседника неожиданной репликой и наблюдением за его реакцией, что Сиротинская называет «манипулированием». Умная, циничная и проницательная хозяйка видит людей насквозь: Сиротинская – работник ЦГАЛИ, подбирающаяся к архиву поэта, и Мандельштам охотно идет навстречу, дарит – в обмен на копии имеющихся в фондах хранилища материалов – несколько автографов мужа, а главное, может теперь использовать Сиротинскую как официальное лицо в конфликте с текстологом и коллекционером Николаем Харджиевым, на протяжении многих лет занимающимся рукописями Мандельштама и безуспешно

пытающимся издать в СССР сборник его стихов. Тем временем в издательстве «Международное литературное содружество» в Америке на сносях уже второй том собрания сочинений поэта, и Мандельштам, в обмен на обещание передать архив мужа в ЦГАЛИ, привлекает Сиротинскую к изъятию этого архива у Харджиева – известная скандальная история, в которой Мандельштам проявляет не лучшие качества – возможно, те самые, которые и позволили ей сохранить горсть бесценных листков в катастрофе, покончившей с Серебряным веком. Представление об этих чертах характера Мандельштам дают строки из ее летнего письма Шаламову: «Харджиев... оскорблен. Он благодетельствовал Мандельштама, а я посмела отобрать у него рукописи... Мерзость. Слава Богу, основные рукописи у меня, хотя многого он не вернул. Саша Морозов устраивает мне сцены – неизвестно, на каком основании. Это наследники при моей жизни начинают скандалить. Что же будет после моей смерти?.. Я нашла ответ. Я готовлю собрание и зову себе на помощь, кого хочу. Если не нравится – пошли вон». Другое свидетельство ее переменчивого нрава, норова, если не самодурства, приводит Лидия Чуковская: «28 мая 1967 года Надежда Яковлевна Мандельштам, вспоминая о том давнем страшном дне, когда посылка, отправленная ею в лагерь, вернулась с пометкой: «возвращается за смертью адресата», написала Николаю Ивановичу Харджиеву: «Во всей Москве, а может, во всем мире было только одно место, куда меня пустили. Это была ваша деревянная комната, ваше логово, ваш мрачный уют». Странно, что вспоминается это буквально в то самое время, когда у хозяина «логова» изымается архив Мандельштама. Неуместная служебная ретивость Сиротинской в этой интриге впоследствии скверно повлияет на отношения Мандельштам с Шаламовым. До сих пор же история с архивом Мандельштама имеет к Шаламову то отношение, что материалы, собираемые Харджиевым и Александром Морозовым, Надежда Мандельштам пересылает для издания Глебу Струве, куда передана и рукопись «Колымских рассказов», подборки которых уже печатаются в «Новом журнале» Гуля. Книги до сих пор нет.

В мае Солженицын, незадолго до того закончивший работу над «Архипелагом ГУЛАГ», пишет и распространяет открытое «Письмо съезду» Союза советских писателей с требованием отмены цензуры (Главлита) и возвращения читателю русской литературы, похороненной соцреализмом. Письмо распространяют, опуская прямо в почтовые ящики, десятки добровольных помощников, и оно тотчас становится темой горячих обсуждений в кабинетах идеологических надзи-

рателей и на кухнях. Шаламов, не состоящий в ССП, следовательно, не являющийся его адресатом, воспримет письмо как очередной ход в кампании саморекламы («безопасная, дешевого вкуса» абстракция), желчно отмечая в дневнике со слов такого сомнительного персонажа как Храбровицкий: «Проверена юристом каждая фраза, чтобы все было «в законе». Не знаю, оправдано ли такое отношение, но ход, очевидно, удался – в статье Википедии отмечается, что «после «Письма» власти стали воспринимать Солженицына серьезно», а просоветский историк Александр Островский в книге «Прощание с мифом» говорит, что именно после «Письма» «руководство РСХД обратило внимание на А. И. Солженицына», поместив в своем «Вестнике» «статью И. В. Морозова «Александр Исаевич Солженицын». Парижский «Вестник РСХД» возглавляет Никита Струве, в триумвирате с Иваном Морозовым и коммерческим директором Борисом Физом руководящий издательством христианского молодежного движения ИМКА-Пресс, одним из возможных адресатов списка-66 и после смерти Шаламова самочинным публикатором его двухтомника, включающего почти весь корпус КР, очерки и «Четвертую Вологду». Статья в «Вестнике РСХД» совсем не обязательно должна служить точкой отсчета для попадания Солженицына в поле зрения русской христианско-демократической эмиграции. Интерес мог быть проявлен намного раньше, наоборот, странным было бы отсутствие интереса к автору полуоппозиционных почвеннических повести и рассказов, вокруг которого уже несколько лет кипят страсти.

Летом Сиротинская уезжает с детьми отдыхать в Крым и, не жалея чернил, оповещает Шаламова о всех происходящих с ней благоглупостях курортницы, наслаждающейся морем, солнцем, скалами, бездельем, видом дельфинов, фантазиями о придуманных экзотических островах, ставших уже общими и интимными, и выказывая некоторые способности к литературному изложению, которым Шаламов возносит неумеренные хвалы. Его письмо от конца июня посвящено выходу поэтического сборника «Дорога и судьба» (тиража не знаю, но, видимо, мизерный – Шаламов просит Лесняка купить в Магадане побольше экземпляров книги, поскольку «в Москве ее в продаже нет»), о котором он отзывается так: «Эта книжка получше прежних, но лучше за счет старых стихов десяти-двадцатилетней давности, к тому же потерпевших всяческие сокращения, урезки.

...большой радости книжка эта мне не доставила...».

(В письме критику Олегу Михайлову, автору рецензии на сборник в «Литературной газете», он выразится определеннее:

«Непоправимый ущерб в том, что здесь собраны стихи-калеки, стихи-инвалиды (как и в прошлых сборниках). «Аввакум», «Песня», «Атомная поэма» («Хрустели кости у кустов»), «Стихи в честь сосны» – это куски, обломки моих маленьких поэм... «Гомер», «Седьмая поэма» и к порогу сборника не подошли».)

Дальше он печально подводит некоторые итоги, почти дословно повторяя сказанное в неотправленном письме Солженицыну:

«Шестидесятилетие свое я, всю жизнь занимавшийся стихами и прозой, встречаю вот с каким итогом. Для того, чтобы иметь литературный успех, известность, популярность, вовсе не нужно быть большим писателем. Нужно иметь банальную идею, выраженную самым примитивным банальным литературным способом, только это обеспечивает успех. Всякая же напряженная работа (над стихом, прозой – все равно), ведущая к созданию *новых* литературных форм, всякая сколько-нибудь сложная мысль, лежащая в теме, в идее, – никого не интересует. И не нужна читателю».

Но ведь у него нет читателя!

Как бы издевательски возмещая невыход КР книгой на русском, случайную подборку рассказов издают книгой в переводе на немецкий. Сборник под названием «58 статья. Записки заключенного Шаламова», включающий двадцать шесть текстов, с перевранной фамилией автора и в ненавистой Шаламову подаче одномерных «лагерных мемуаров» выпускает по собственной инициативе заштатное кельнское издательство – разумеется, без всякого согласования с автором и в дурных дилетантских переводах, качество которых для еще одного свидетельства о злодеяниях коммунистического режима совершенно неважно. Сергей Григорьянц с сожалением вспоминает, что дал почитать имевшийся у него самиздатский список КР немецким студентам, через которых они попали в Германию. По его словам, Шаламов был возмущен первым появлением «Колымских рассказов» не на русском, а на немецком, кроме того, опять же по его словам, это повлекло «чудовищный скандал», масштаб которого, тем не менее, не идет ни в какое сравнение со скандалом, вызванным «Письмом» Солженицына, и память о котором к настоящему времени полностью изгладилась. Вероятно, именно по этой книге с «Колымскими рассказами» знаком Генрих Белль, с которым в один из его приездов в СССР Шаламов встретился в ЦДЛ. Галина Воронская, которой Шаламов рассказывал о встрече, замечает, что тот «был очень польщен» разговором с Беллем – «ведь все-таки это Белль». Белль середины шестидесятых годов – традиционный беллетрист «с направлением», сделавший себе имя на

теме Второй мировой войны и эксплуатирующий как раз те самые «банальные идеи, выраженные самым примитивным банальным литературным способом», о которых Шаламов пишет Сиротинской. В Советском Союзе Белль желанный гость по причине его эстетической близости к соцреализму, а главное, в качестве противника политики «реваншизма» – это болезненная тема не только в переполненной беженцами и депортированными Западной Германии, но и в странах восточного блока, к которым отошли очищенные от одиннадцати миллионов немцев и аннексированные территории Пруссии, Силезии и Померании, Данцига и Судет. Только в условиях той жесточайшей блокады, которой подвергнут Шаламов, ему может «очень польстить» разговор с Беллем, западным двойником Солженицына, которого, кстати, Белль будет принимать в своем сельском доме после высылки советскими властями в 1974 году.

Этот халтурный сборник в течение пары лет переведут – уже с немецкого – на французский и африкаанс. Можно себе представить, что там остается от великой поэзии колымского эпоса.

Книжку «Дорога и судьба» Шаламов посылает в подарок Лесняку, Эренбургу, Марии Юдиной, Евгении Гинзбург, резко отрицательное мнение о которой переменяет на более благожелательное – возможно, под влиянием Столяровой или круга Гринов-Авербаха, в компании которых, как свидетельствует Майя Улановская, автор «Крутого маршрута» не скрывала своего истинного отношения к партии, – художнику Владимиру Вейсбергу, с которым знаком через его страстную поклонницу Мандельштам, и Андреевым – женецам Вадиму и Ольге и их дочери американке Ольге Карлайль, только что посетившей СССР. Другой художник-нонконформист, также познакомившийся с Шаламовым у Мандельштам, Борис Биргер, пишет в это время его портрет, первую свою работу, которую он называет попыткой «психологического портрета». Биргер – придворный живописец столичной либеральной интеллигенции, ухитрившийся запечатлеть всех ее тогдашних кумиров и властителей дум: Андрея Сахарова с Еленой Боннэр, Надежду Мандельштам, Василия Аксенова, Владимира Войновича, Льва Копелева, Фазиля Искандера, Булата Окуджаву, Александра Галича, Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Эдисона Денисова, Аллу Демидову и так далее («более девяноста портретов, не считая групповых»). Вердикт моды дает Шаламову пропуск в это избранное общество, но в избранном обществе царят нравы лагеря, и поддержка здесь обусловлена включенностью в тесную круговую поруку, с которой гению Шаламова не ужитья. Что же до самого портрета, то это скорее

кариатура: на тебя смотрит дегенеративное лицо с глубоко утопленными подозрительно косящими глазками, разнесенными на полполотна монгольскими скулами и бескостным утиным носом, а наклон головы наводит на мысль о мании преследования, что, впрочем, не лишено оснований. Все, знавшие Шаламова, говорят о глубоких морщинах, придававших его лицу неповторимый рельеф – на портрете это рельефное лицо фальсифицировано под плоскую маску. В коротком комментарии Биргер собирает все тошнотворные клише, какие знает и какие увязываются с моделью: «человек страшной, нечеловечески страшной судьбы», «двадцать лет ада», «вернулся из ада», но под конец все-таки признает, что взялся не за свое дело: «мои возможности были тогда очень ограничены». Странно, что Шаламов согласился позировать. Сиротинская рассказывает, как на выставке Петрова-Водкина Шаламов, стоя перед сюжетной картиной, яростно утверждал, что «будь на этой картине только зеленая и красная краски – она волновала бы точно так же». Создатель «новой прозы» не должен позировать для «психологического портрета», тем более, в серии портретов «прогрессивного человечества», которое питается Солженицыным.

Кстати, об упомянутой Евгении Гинзбург. Двучливая и бесталанная Гинзбург, о которой Лесняк пишет в комментариях к переписке с Шаламовым: «...она жила при ОП одна в изолированной комнате с отдельным входом, питалась из «котла» отдыхающих, а не из общего больничного, как весь медперсонал. Продукты для отдыхающих отпускались по приисковым нормам первой категории! Ни один врач этой больницы не имел таких условий. Шаламов и я... сторонились ее. Лагерную судьбу Жени мы знали. Она была более чем благополучной на фоне вопиющей трагедии ее союзниц по женскому лагерю», – тоже некоторое время претендует на шаламовскую аудиторию, и, не появившись Солженицын, мы могли бы с отвращением наблюдать колебания образованной публики, кому отдать предпочтение. Шрихи к этой скандальной гипотетической ситуации дает свидетельство бывшего лагерника Марлена Кораллова: «Именно рукопись Е. С. [Гинзбург] явилась пиком мемуарно-гулаговского самиздата... Не хотелось бы принизить таланты других колымчан, в их числе – Варлама Шаламова... И все же упрямо настаиваю: в оттепельную пору успех «Крутого...[маршрута]» не шел в сравнение с успехом документальной прозы других летописцев тюрьмы и ссылки – до появления солженицынского «Архипелага». Речь, естественно, идет о «документальной прозе летописцев тюрьмы и ссылки» – проза Шаламова у глухонемых москов-

ских ценителей машинописного слова проходит по разряду мемуаристики.

Я уже говорил о попытках Шаламова наладить человеческий и эпистолярный контакт с семейством Андреевых, дружба которых со Столяровой делает этот канал на Запад, во всяком случае для Солженицына, наиболее надежным и эффективным. Прошлым летом Шаламов уже писал Андреевым, а теперь отсылает им свежий поэтический сборник, благодарность за который Ольга Викторовна сопровождает такими объяснениями годового молчания:

«Простите, простите, что я не ответила Вам на Ваше письмо, полученное, кажется, прошлым летом...

Я тогда досадно потеряла Ваш адрес – Ваше письмо попало в бездонный омут писем, которые я сохраняю. Вместо того, чтобы попросить Наталью Ивановну [Столярову] прислать Ваш адрес, я продолжила бесконечные поиски среди бумаг».

Дальше не переводя дыхания она рассказывает о жизни швейцарских «старосветских помещиков в самом лучшем гоголевском плане», очевидно, совершенно не отдавая себе отчет, с каким чувством должен читать это московский узник комнаты-гроба на обочине грохочущего шоссе, из всех океанов знакомый лишь с тем, который оmyвает «планету Колыма» и в который вдается «причал ада» для пароходов с человеческим грузом на борту, иногда в состоянии, повергающем в оторопь бывалого фронтового хирурга.

«В начале лета, в мае-июне мы с Вадимом поехали на океан, на остров Олерон, где прошло несколько очень значительных лет нашей жизни. Там было прекрасно!..

В Женеве в этом году необыкновенно жаркое, чудесное лето, и мы пользуемся им. Вадим много работает по утрам. Затем на машине мы уезжаем в горы, в лес, или купаемся в бассейне.

Мы думаем поехать в Москву будущим летом или весной и тогда, надеюсь, будем встречаться с Вами».

Андреевы, при всем их швейцарском гражданстве, все-таки – русская интеллигенция и волею судеб представляют в судьбе Шаламова эту русскую интеллигенцию, которая «не в изгнании, а в послании». Люди, причастные судьбе гения, получают в дар некоторую долю его бессмертия, но большинству из них лучше было бы отказаться от этого дара – в свете бессмертия все обретает безжалостные масштабы подлинности. Может быть, роль Андреевых в жизни Шаламова большая, чем представляется, я об этом потом скажу, но важен итог. Андреевы – хорошие люди, но итог подбивать нечему. В бессмертии Шаламова

они останутся адресатами нескольких его писем, если не забывающих ответить, то отвечающих с учтивостью и симпатией. Это максимум, который может дать ему старая эмиграция, причем отборная – наследующая одновременно и русскому освободительному движению, и модернизму в русской литературе. Ольга Карлайль, дочь Вадима Андреева, своя в Москве у Столяровой и Копелевых, рассказывает:

«Мой брат вывез «Архипелаг ГУЛАГ» из СССР с большим риском для Солженицына и для себя...

Тогда была инструкция переводить книгу как можно скорее, и мы все бросили и стали переводить... мой муж решил, что я появилась на свет с целью издать Солженицына». «Осуществить этот план [речь здесь идет об издании романа Солженицына «В круге первом»] нам помогли наши профессиональные знакомства... двое наших близких друзей – Томас Уитни [дипломат, журналист, богач, спонсор «Нового журнала»] и переводчик Солженицына] и Гаррисон Солсбери» – тот, что впоследствии назовет переведенные энтузиастом Джоном Глэдом КР «пригоршней алмазов».

Муж-американец, полагающий, что цель жизни русской интеллигентки «в послании» перевести великую, на взгляд обоих, русскую книгу – горчайший упрек русским интеллигентам, оказавшимся не способными поставить перед собой целью просто публикацию другой великой книги на русском. Либо «Колымские рассказы» не были для них этой великой книгой, либо при превращении русской интеллигенции в западных старосветских помещиков происходит какая-то невозможная утрата сущности их интеллигентности и их русскости. Так или иначе, этот частный случай с частным семейством вписывается в общее нежелание эмиграции допустить Шаламова до советского и западного читателя, и эта линия хорошо согласуется с той же установкой советских полицейских инстанций и равнодушием просвещенной московской публики.

Характеризуя СССР шестидесятых-семидесятых годов и соглашаясь с оппонентом, что это упрощение, но тем не менее, поэт и литературный критик Валерий Шубинский утверждает: «...для той эпохи и того круга Шаламова, в сущности, не было. Был Солженицын». Имеются в виду круги читателей Юрия Трифонова, в контексте разговора о котором и всплывает имя создателя «Колымских рассказов». Круги читателей Трифонова – это и есть, по существу, советская либеральная интеллигенция. В сектор ее обзора Шаламов не попадает.



Шаламов тоже отдыхает в меру возможностей, какие предоставляет пенсионеру Москва. Сиротинская пишет, что летом он ездит на пляж в Серебряный бор, где купается и неосторожно, дочерна, загорает. Иногда они ездят вместе. Шаламов хорошо плавает, «упивается своей ловкостью в воде», это навык, вынесенный из жизни на берегах больших рек, а к морю, так вдохновляющему подругу и знакомому по Сухуми, где живут родственники, он равнодушен. Сиротинская приобщает его к театру, прежде и после малодоступному из-за проблем со слухом, они вместе ходят в Театр Пушкина, в Театр сатиры, на Таганку, во МХАТ. Театр – детская страсть Шаламова, его мираж «живого и громкого успеха... – здесь, сейчас – партер, ярусы, обвал оаций» (Сиротинская), мираж признания и жизненного благополучия, тяга к которому едва ли абсолютно чужда старому колымчанину. Сиротинская вносит в его жизнь толику конвенциональности, это животворно для его физического и психического здоровья, но вся репутация Шаламова в среде тех, кто позирует Биргеру, и их бесчисленных адептов и подражателей держится на его неконвенциональности, уникальности не то святого мученика, не то юродивого. Для очень немногих Шаламов – прежде всего уникальный талант: «Я всегда говорила Варламу Тихоновичу, что он нашел адекватную жизненному материалу художественную форму, что это – его большой вклад в русскую литературу... Тогда немного было людей, которые ему это говорили. И даже моя малая поддержка была ему важна». Трудно поверить, но свидетельство Сиротинской – не единственное. Относительно основ его общественной репутации Шаламов с величайшим раздражением заметит в Записных книжках: «Даже инвалидность и то, что я живу на пенсию, в их глазах приобретает доблесть святости, героизма». Репутация закабаляет, а освобождение от репутации влечет общественное неудовольствие, ужесточающее блокаду. Выход из оков локальной московской репутации возможен для Шаламова только на пространстве мирового признания, которое в глазах московских рабов искупает все. Парадокс и загвоздка в том, что на первом этапе судьба этого признания – полностью в руках москвичей, в силу языка и тиранического характера государства, граница которого для подданных «на замке», обремененных ролью незаменимых посредников, а исполнение или неисполнение этой роли зависит от их каприза – собственно говоря, это единственная роль, которую они играют по своей воле, все остальные предписаны. Посягая на толику конвенциональности, Шаламов роняет репутацию среди тех, чей слегка декорированный оппозиционностью конформизм вообще лишает их права судить этого человека, но здесь обнаруживает себя тот же механизм ложного самоочищения

общества посредством праведника (он же козел отпущения), пребывающего в лоне этого общества, но не затронутого его разложением и потому искупающего его грехи без жертв со стороны общества, – механизм, который так привлекательно функционирует в бестселлерах Солженицына и который общество зоологических конформистов породило вовсе не для того, чтобы предпочесть ему какие-то истины. От Шаламова ждут соответствия шаблонам солженицынской проповеди. Шаламов вырвется из этого порочного круга – но тяжелой ценой союза с государством, с врагом, и в конечном счете – жизни, проведенной в безвестности и угасшей в богадельне и сумасшедшем доме. Иначе говоря, он вырвется только в другой круг той же концентрационной вселенной, столь же порочный и безотрадный. Поэтому я считаю, что его послелагерную жизнь нужно рассматривать как продолжение лагерной, переместившейся с «малой командировки» на «большую». «Лагерь мироподобен».

Когда и через кого Шаламов сходится с кругом Пинского, мне в точности неизвестно – конспирация замела все следы, а обмолвки мемуаристов касаются почти исключительно самого факта отношений, но не деталей. С Леонидом Пинским Шаламов мог познакомиться через вездесущую Столярову, через Копелевых, через Вячеслава Вс. Иванова, которому тем летом дарит самолично переплетенный сборник «пол-пуда» рифмованного, своих колымских стихов, но вероятнее всего – через ту же Надежду Мандельштам, младшая подруга которой, переводчица с болгарского Юлия Живова, в прошлом – способная ученица Пинского, впоследствии – редактор, занимавшийся, в частности, вместе с Лилианой Лунгиной работой над переводом виановской «Пены дней» – уже фактическая жена Ивана Рожанского, номинального супруга Натальи Кинд, в доме которых Шаламов читает и записывает на магнитофон свои стихи и рассказы.

Леонид Пинский – ровесник Шаламова, философ, литературовед, блестящий лектор и полиглот, «космополит», осужденный в начале пятидесятых на десять лет лагерей и часть из них проведенный в Унжлаге в Горьковской области, диссидент и даже, согласно биобиблиографической справке, автор самого этого термина, активный «подписант» различных писем протеста, в том числе против суда над Синявским и Даниэлем, исследователь Эразма Роттердамского, Сервантеса, Шекспира, Рабле, предложивший для реализма эпохи Возрождения определения «фантастический» и «антропологический», «человек страстный и пристрастный», по словам Григория Померанца, а по

словам Льва Копелева, «самозабвенный собиратель, изготовитель и распространитель всяческого самиздата», мучимый острыми депрессивными состояниями. Кроме работ, публикуемых в подцензурной печати, среди них – послесловие к морозовскому изданию «Разговора о Данте» Осипа Мандельштама, Пинский на протяжении многих лет, начиная со своего пребывания в лагерях – при некотором послаблении режима в 1953-54 годах и получении инвалидности, избавившей его от тяжелой работы на кирпичном заводе (тексты того периода так и называются – «Лагерные тетради») – ведет своеобразный философский дневник, часть которого в 1979 году, за год до смерти, будет передана им на Запад и под названием «Парафразы и памятования» заполнит целый номер издаваемого Синявским в Париже журнала «Синтаксис» – того самого, в редактировании первых, подпольных, номеров которого Пинский помогал составителю «Белой книги» о процессе Синявского и Даниэля Александру Гинзбургу. Полностью книга Пинского под названием «Минимы» и с приложением шаламовского стихотворения «Стланик», посвященного автору, увидит свет только в следующем тысячелетии – таковы разрывы в культурной ткани замордованного и одичавшего российского общества.

Все эти круги тесно связаны – будучи участником одного, неизбежно попадаешь на периферию или даже в ядро соседнего, это среда плотной, даже чрезмерно плотной коммуникации, поэтому одиночество Шаламова второй половины шестидесятых годов – хочу это подчеркнуть – вовсе не лубочное одиночество монаха-пустынника, но нормальное одиночество художника, самого определяющего меру необходимого для работы уединения.

Пинский проводит по четвергам и пятницам домашние семинары и поэтические чтения, которые собирают людей науки и авторов-маргиналов, таких как прозаик Юз Алешковский, поэт Борис Чичибабин или барды Александр Галич и Фред Солянов. В квартире у него целая библиотека самиздатской литературы, более того, по словам родственницы Людмилы Мазур, он организует на дому «переплетное дело и помогает передавать рукописи за границу». С Шаламовым у него теплые, доверительные отношения – доверительные настолько, что именно Пинский помогает Шаламову «сгруппировать отдельные колымские рассказы в циклы, что придало им характер истинной эпопеи». Это свидетельство его жены, известной переводчицы Евгении Лысенко, и оно подтверждается показаниями друга дома искусствоведа Игоря Голомштока, проведшего детство на Колыме, где начальствовал его отчим, и буквально опознававшего при чтении КР места действия и персонажей или их прототипы: «...в 60-х годах известный

литературовед Леонид Ефимович Пинский, сам бывший лагерник, дал мне прочитать четыре машинописных тома «Колымских рассказов» Варлама Шаламова, составленных Пинским вместе с их автором, я читал их, почти не отрываясь, целые сутки. Те же места,... те же пейзажи, даже имена лагерных начальников,... некоторых из них я даже имел честь лицезреть воочию». Четыре машинописных тома наводят на мысль, что они хотя бы частично включает и цикл «Воскрешение лиственницы», законченный как раз в 67 году, то есть эпос в его целостности, потому что уже со следующего года Шаламов работает в основном над «Четвертой Вологдой».

Теперь я остановлюсь на свидетельствах еще одной или нескольких успешных попыток передачи рукописи за рубеж, в которых, помимо Пинского, участвуют люди, без сомнения, делавшие это если не по прямой просьбе Шаламова, то с его ведома – Наталья Столярова и Наталья Кинд.

Вот что рассказывает – в разных контекстах – друг Лысенко и Пинского переводчица Лилиана Лунгина, автор мемуаров «Подстрочник»:

«...именно она [«Наташа Столярова», как называет ее Лунгина], не без моей подсказки, организовала переправку рукописей Шаламова с помощью своих французских друзей».

«Знакомые французские врачи вывезли рукописи [«Колымских рассказов»] на себе, приклеив страницы под одежду. И они были опубликованы во Франции».

Евгения Лысенко:

«...он [Пинский] помог, кстати, и передать их за рубеж, где они впервые начали появляться в печати».

Лысенко ошибается: на русском КР впервые появляются в печати со списка-66, а на одном из европейских языков – в кельнском сборнике со списка, имевшегося у Григорьянца.

Наталья Кинд, в коротком интервью для телепередачи незадолго до смерти:

«Он принес мне рукописи... И честно говоря, не без моего участия, они туда, фьють... через барьер попали».

С. Сальникова, подруга Натальи Кинд:

«Она как-то с печальным видом рассказала: «Рукописи Варлама Шаламова я помогала переправить через границу, чтобы их там отпечатали. А он потом от всех нас отрекся».

К судьбе этих рукописей я вернусь позже, когда попытаюсь сделать общий обзор авторских редакций КР, переданных на Запад. Оста-

ется добавить, что Наталья Кинд не преувеличивает. Шаламов действительно «от всех нас отрекся», и не только на публике, в письме в «Литературную газету» 1972 года, до такой степени шокировавшем мыслящий шаблонами либеральный люд, что его авторство до сих пор пытаются приписать кому-то другому. О степени близости Шаламова с Пинским и надеждах, возлагавшихся на двоих нижеупомянутых, говорит запись в его дневнике, совершенно необъяснимая вне знания подоплеки его послелагерной биографии: «Знакомство с Н.Я. и Пинским было только рабством, шантажом почти классического образца». Вблизи, в масштабе психологии повседневных человеческих отношений, справедливость этого заявления разглядеть невозможно, оно кажется возмутительным, но на отдалении, на дистанции итогов, рассеивающих иллюзии, оно звучит горькой правдой.

В июле, параллельно с судебной тяжбой, решающей в Ленинграде судьбу архива Ахматовой, на которой Надежда Мандельштам «с напором и быстротой», сопровождающимися чувствами «омерзения и отвращения до боли», как она пишет Шаламову, свидетельствует на стороне ее сына Льва Гумилева против уже продавшей архив Публичной библиотеке Ирины Пуниной, – трудами Александра Морозова отдельной книгой выходит, наконец, первое советское посмертное издание Осипа Мандельштама – большое поэтическое эссе «Разговор о Данте». Шаламов посылает по экземпляру Лесняку («...вряд ли до Магадана дойдет. Здесь она продавалась час») и Георгию Демидову (уточнит: «два часа»), с приветом от Надежды Яковлевны, которая «вместе со всеми москвичами ждет окончания твоей работы... и твоего жизнеописания». В ответном, весьма трогательном и откровенном письме, Демидов, насколько я понимаю, не слишком осведомленный о ранах, уже нанесенных Шаламову бешеной активностью «дельца» и «авантюриста», без всякой задней мысли, имея в виду неизбежный в будущем выход не теоретических, а главных, поэтических трудов Мандельштама, замечает: «Солженицын прав. От веления времени не уйти. В то время как истина вечна, ложь, даже организованная в грандиознейшем масштабе, имеет свой исторический предел», – и просит передать Мандельштам низкий поклон и записку, по-видимому, близкого содержания. Ответ Шаламова не сохранился, но прежде я приведу свидетельство дочери Демидова, Валентины, запомнившей в один из приездов отца в Москву спор между лагерными товарищами: «Они оба были высокие. Встали из-за стола. И уперлись, что называется, лбами. Спор шел о том, как по-новому писать о новом опыте. Уже на улице отец сказал: «Да, это был ужас. Да, предавали, убивали, но и любили,

дружили. Мы ведь жили. Это была жизнь». Совсем незадолго до злополучного демидовского письма Шаламов создает уже упоминавшийся мной рассказ «Житие инженера Кипреева», житие, следуя логике рассказа, одного из немногих встреченных на Колыме настоящих русских интеллигентов – настоящих, то есть вопреки всему сохранивших свое человеческое достоинство. По-человечески Шаламов отдает товарищу должное, но писательская правда Демидова кажется ему слепком с глубоко вторичных, поощряющих душевное и интеллектуальное малодушие массового читателя идей Солженицына. Кто из них прав? Чтобы ответить на этот вопрос, надо определить природу шаламовской «новой прозы» как инструмента постижения и созидания бытия и сопоставить его действенность с действенностью других подобных инструментов, даже не ограничиваясь сферой художественного творчества. Это отдельный разговор, которому здесь не место. Скажу только, что конфликт Шаламова с Демидовым – это единственный конфликт, где я не на стороне первого. Писательская правда Демидова – это правда непосредственного свидетельства человека, издевавшего то же дно преисподней, что и Шаламов, и претендует она именно на эту, неотчуждаемую от человека и его опыта долю подлинности – быть свидетельством лично пережитого, а подлинность мира допускают разные приближения. Правда, провозглашаемая Солженицыным, универсальна, и именно потому она ложь, тогда как правда Шаламова тоже универсальна, и именно потому она истина. Правда Демидова персональна, а его вера в конечное торжество добра – это скорее экстраполяция отчаяния в область туманных надежд, где человек обретает ту кроху власти над обстоятельствами, без которой в настоящем жить невозможно. «Мне трудно судить, насколько имеет смысл моя писательская работа... Надо удивляться не тому, что у меня получается так посредственно и стереотипно, а тому, что вообще что-то еще получается. И это «что-то», быть может, немного переживет меня и послужит сырьем для тех, кто будет счастливее и талантливее меня». Шаламов не захотел этого понять. Усиливающийся «комплекс Масады» все ужесточает его требования к возможным единомышленникам, «резкие оценки и безапелляционность суждений – присущие Шаламову черты – к середине шестидесятих годов резко обострились» (Лесняк). Видимо, в таком тоне и выдержано его последнее – но не первое такое – письмо Демидову, глубоко того уязвившее. В ответ он пишет:

«... снова менторские вздохи по поводу плохой усвояемости подопечного сюсюкалы и невежды...

Вряд ли я хуже тебя представляю, что к чему и что почем...

Не хочу быть глупее, чем я есть... Угодно со мной разговаривать на равных – извольте. Не угодно – вольному воля.

...не люблю ни назиданий, ни оценок с высоты абсолютного превосходства.

Желаю здоровья».

Больше они не увидятся, хотя великодушный Демидов до конца сохранит уважение к Шаламову, сознание его человеческого и писательского масштаба и даже сочувствие, ничего не теряющее от неверного истолкования фактов, внутренняя связь и подоплека которых от него скрыта. «Когда в присутствии Демидова смели заглазно попрекать Шаламова отречением от «Колымских рассказов», тот взрывался: «Да что вы вообще о жизни знаете, о том, как ломают?..» (Е. Якович, несомненно, со слов Валентины Демидовой, с которой беседует об отце).

Поздней осенью Сиротинская напоминает Мандельштам об ее обещании передать архив мужа в ЦГАЛИ. Трудно сказать, насколько это обещание вообще давалось серьезно и подразумевало исполнение – полгода назад Сиротинская как представитель государственного хранилища пришлось весьма кстати в конфликте Мандельштам с Харджиевым, – в любом случае, с тех пор ситуация изменилась: за это время в Америке под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова вышел второй том собрания сочинений Мандельштама и комплектуется третий (этот второй зарубежный том – прекрасный повод для невменяемого официоза в очередной раз затормозить выход книги Мандельштама на родине: «...обидевшись на второй том, опять откладывают издание сборника стихов», Мандельштам – Шаламову), «Воспоминания» Надежды Мандельштам с легкой руки Пинского распространяются в самиздате и попадают за границу, где те же Струве и Филиппов, по видимому, ждут только согласия автора на сенсационную публикацию (ждать этого согласия от запуганной десятилетиями преследований вдовы придется еще два года), в голове самой Мандельштам зреет замысел ее «Второй книги», столь же неподцензурной как первая и все более утверждающей для нее в качестве адресата не советского, а западного читателя, соответственно, и архиву Мандельштама место там, где его печатают, а не там, где продолжают выкорчевывать из памяти как «врага народа», – словом, напоминание Сиротинской пробуждает в и без того недоверчивой и своенравной старухе самые резкую неприязнь, и хотя на ее слова: «Какое юридическое право Вы имеете требовать у меня архив? Я отдам его туда, где занимаются Оськой», – Сиротинская миролюбиво отвечает: «Это Ваше право, Н.Я., и, сохрани

Бог, я ничего не требую, я просто спросила, помня Ваше обещание», – совершенно ясно, что когда в ход идут слова «юридический» и «Ваше право», ситуация из плоскости дружеских переходит в плоскость деловых отношений, которые Мандельштам ни с Сиротинской, ни с ЦГА-ЛИ категорически не нужны. «Это был наш последний разговор с Н.Я. Больше она не приглашала меня к себе», – пишет в мемуарах Сиротинская. Сиротинская лукавит. В одном из писем этого года Шаламов приобщает Мандельштам к незаживающей ране своих отношений с Пастернаком, которого как поэта по-прежнему ценит исключительно высоко, и в сотый раз возвращается к губительной роли в них Ольги Ивинской: «Пастернак был ее ставкой, и она ставку использовала, как могла. В самых низких своих интересах». В ослеплении любящего он не понимает, что то же самое непредвзятый наблюдатель (прежде всего сама «Н.Я.») скажет о роли Сиротинской в его отношениях с Мандельштам: человеку выпала сказочная возможность быть скрепой между двумя титанами, и она эту возможность «использовала, как могла», как только и может использовать безmozглая близорукая эгоистка – «в самых низких своих интересах», выражаясь точнее, в карьерных целях, ибо ЦГАЛИ – это место, где она делает – и сделает, в том числе ценой бессрочного заключения архива Шаламова в застенки, откуда его вызволит «перестройка» – бесславную карьеру ничтожной советской служащей. Отношения женщин значительно более многослойны и глубоки, чем отношения мужчин, и напрасно Шаламов так уверен в своем «неумении ошибаться в людях» – здесь он ошибется в обеих. В женщинах Шаламов, откровенно говоря, ничего не смыслит – в реальных женщинах, а не в их космическом архетипе, возвращающем мужчину из смерти, как ужасающая и всемогущая колымская «черная мама» одной из его гениальных притч. Сиротинская, напротив того, прекрасно ориентируется в действительности, именно поэтому она описывает эволюцию его отношений с Мандельштам так, что совершенно сбивает читателя с толку. Вот как это подано в ее мемуаре. Сразу после разговора о юрисдикции и правах идет следующий абзац:

«Вскоре В.Т. спросил меня, обещала ли передать Н.Я. архив к нам. Я ответила, что обещала. Видимо, Н.Я. говорила с Варламом Тихоновичем на эту тему и говорила с раздражением.

А некоторое время спустя В.Т. спросил меня, что я думаю о Н.Я. Я сказала, что она умна, на редкость умна, но ей немножко не хватает благородства. И В.Т. вдруг стремительно заходил по комнате:

– Много, много благородства там не хватает. Я сказал ей, что не смогу больше у нее бывать».



Между отказом Сиротинской от дома (конец 67-го) и разрывом Шаламова с Мандельштам (конец 68-го) проходит год, который у Сиротинской умещается в словах «вскоре» и «спустя некоторое время».

«Конечно, – тут же добавляет она, – были и глубокие причины у него для охлаждения дружбы с Н.Я. Как-то еще в начале 1967 года обмолвился о своих визитах к Н.Я. «Это нужно для моей работы». Думаю, что «нужность для работы» была в 1968 году исчерпана».

Последнее предложение похода охватывает уже двухлетний период отношений Шаламова с Мандельштам логикой исчерпанности некоей прагматической «нужности» этих отношений Шаламову. Иначе говоря, при полном отсутствии объяснений объяснение разрыву как бы находится в счастливо найденном нелепом словце. На такой намеренной дезориентации читателя построен весь мемуар. Но что за «нужность»? Зачем нужно изобретать уродливое словцо, если есть нормальные слова: нужда для работы, рабочая необходимость? В чем эта «нужность», характер которой, без сомнения, прекрасно известны и Шаламову, и Сиротинской, на живую нитку и потому не утруждая себя поиском внятных объяснений – непогрешимая убедительность в самом свидетельстве хозяйки шаламовского архива – сметывающей свою убогую версию «моего друга Варлама Шаламова»? Фраза, видимо, прозвучала в таком контексте:

« – Зачем ты тогда туда ходишь? – в ответ на проявление неудовольствия или жалобу. – Не ходи туда.

– Мне это нужно для работы».

Так в чем нужда для работы, рабочая необходимость, стыдливо спрятанная под полупризнанной «нужностью»? В качестве информаторов Мандельштам и ее гости Шаламову не нужны, это не Солженицын, собирающий показания для своего «опыта художественного исследования». Просто пообщаться, поговорить ходят не по рабочей необходимости, а по душевному влечению. Естественно, Шаламову хочется и просто поговорить, но речь о «нужности», характер которой Сиротинская уточнять не желает. Тогда уточнять придется мне. Под «нужностью», нуждой для работы, рабочей необходимостью скрывается следующее: либо присутствие Шаламова – кроме желания пообщаться – это постоянное напоминание о себе как об авторе, ожидающемся издания за рубежом книги, переданной через связного Надежды Яковлевны, либо это – ко всему прочему – поддержание контакта для новой возможности передачи рукописи за границу, уже по другому, лучшему адресу. Так или иначе, «нужность для работы» связана с изданием «Колымских рассказов» книгой, чего Шаламов с нетерпением ждет по меньшей мере с осени 1966 года, и почти против воли за-

путавшейся в собственной лжи Сиротинской свидетельствует о твердо намеченном Шаламовым пути к мировому признанию, на котором его бесчестно обойдет Солженицын. Не надо противопоставлять Шаламова Солженицыну на почве советского социалистического патриотизма. Шаламов – узник советской социалистической родины, кочующий из одного ее круга в другой, а для узника не только естественно, но и почетно держать путь наружу, пусть этот путь для него закрыт и воспользуется им более изворотливый. Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

За время двух-двух с половиной лет их дружбы, взрастившей «Сентенцию» и «Воскрешение лиственницы», меняется и Мандельштам. Выход двухтомника «Оськи» за границей, циркуляция книги «Воспоминаний» в самиздате и вызванный ею резонанс, примером которого служат письма Шаламова Наталье Столяровой и автору, бесконечное внимание – и знаки внимания – со стороны американских славистов и респектабельных филологов и культурных деятелей эмиграции, собственная квартирка, где она может, наконец, жить, как хочет, считаясь только со своими капризами, поток поклонников от таких дюжинных как Сиротинская до таких незаурядных как Сергей Аверинцев или Лев Гумилев, а главное, при всех ее побочных пародийных эффектах, живая любящая человеческая среда, которой она была лишена полжизни, – все это естественно меняет ее характер и дополняет природную непримиримость, которую Шаламов призывал сохранить во что бы то ни стало, желанием сохранить и преимущества этого нового статуса, в первую очередь независимость, и комфортность нового окружения. Эмма Герштейн, знающая ее с двадцатых годов, рассказывает об изменении повадок и характера Мандельштам в эти годы – рассказывает в манере сплетни, и я намеренно пересказываю эти бабские сплетни, поскольку жизнь даже великого человека протекает как в сфере его величия, так и в сфере его ничтожества, оскорбительной приземленности, слишком человеческого, где он улаживает свои земные дела с такими же оскорбительно приземленными, слишком человеческими людьми.

Но сначала другое свидетельство – недружелюбного к Мандельштам поэта и прозаика Анатолия Наймана, лет за пять до того.

«У нее была действительно очень тяжелая судьба... В шестьдесят втором году у меня опубликовали какой-то рассказец и заплатили за него двойной гонорар... Я с женой и Бродский с невестой поехали в Псков. Я и он пошли навестить Надежду Мандельштам – собственно говоря, мы тогда ее видели в первый раз. Она лежала поверх застелен-

ной постели и курила. Худая, желтая, неразговорчивая, и видно было, что это состояние у нее постоянное. Это были годы, годы и годы, и всегда во Пскове, всегда в Чебоксарах, в Ульяновске».

А вот болтовня Герштейн: спустя несколько лет.

«И вот все это [отношения с Харджиевым] стало разрушаться... она не знала, что ее так повысит в ранге диссидентское общество. А с этим не шутят...

Ссоры начались, когда приехал... из Америки Кларенс Браун, .. ученик Якобсона, славист... Они [иностранцы] соблазняли ее всем тем, чем соблазнял Запад нашу деревню в те глухие времена. Причем все это было мило и даже трогательно... все балуют...

...началось дело о наследстве Ахматовой... Когда я к ней пришла, мы расцеловались,.. вдруг раздается стук в дверь, входит академик Гельфанд,.. у нее... был круг математиков, физиков... Они ничего не понимали, зато внимали каждому ее слову. Он приводит с собой 5-7 студентов, они боятся войти – тут такое божество! Я сижу с ней, обсуждаю с ней важнейшие вопросы, я специально приехала – она должна была сказать им, что она занята. Ну, она не может сделать этого, что такое я и что такое дело Ахматовой, когда пришли ее поклонники, которые приседают в реверансах – как им войти, куда уползти...

...в Америке вышло три тома Мандельштама,.. Надя счастлива: ... имя стало известно на Западе,.. получила денежки. Тогда она стала писать свою вторую книгу... Она говорила: «Да, я хочу денег и вообще считаю, что за услуги надо платить»...

Она стала подкупать людей, которые охотно на это шли. Самые близкие мои друзья меня предавали, говоря: «Смотри, какая добрая барыня Надежда Яковлевна». Такая психология... Моя ближайшая подруга,.. Осьмеркина... тоже сразу замолкла. Что она могла сделать, если Надя водила ее дочек все время в «Березку» и всячески задаривала их?».

«Она заманивала людей. Мне же говорил Дадашидзе, что он десять лет к ней ходил... ее острые разговоры, ее шуточки. Она себе уже позволяла все, что она хотела».

Еще несколько рассказов людей из близкого окружения Мандельштам.

Лазарь Лазарев:

«Когда ей внушали, что поток посетителей хорошо бы сократить – они утомляют ее, она сердилась, говорила, что так долго ей не с кем было разговаривать – теперь она рада появившейся возможности послушать разных людей».

Николай Панченко:

«Тогда у каждого была своя «кухня». У Надежды Яковлевны Мандельштам – тоже, и туда входили такие, например, люди, как отец Александр Мень, Андрей Синявский, Вяч. Вс. Иванов, владыка Иона, Варлам Шаламов, Александр Любищев, знаменитый биолог,.. Варя Шкловская, Женя Пастернак, Нина Бялосинская, Сергей Аверинцев. Бывали в этом кругу Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина, Лев Гумилев, художник Володя Вейсберг – его лучшие полотна сейчас находятся в Лувре. И многие другие прошли через маленькую кухоньку сначала в Лаврушинском переулке, в доме Шкловских, потом на Большой Черемушкинской улице».

Юрий Фрейдин:

«Для того чтобы с ней дружить, не нужно было хвалить ее книги, не нужно было даже, в сущности, их читать, – ничего этого не требовалось,.. было простое человеческое общение с чрезвычайно незаурядным человеком, с человеком очень расположенным к людям, очень соскучившимся по ним. Потому что она же десятилетия жила, отказывая себе в этом общении, к которому в принципе имела склонность».

Майя Каганская:

«Мы едем в магазин «Березка»: по случаю начала весенне-летнего сезона Н.Я. решила меня принарядить. Ее каприз».

Елена Толстая:

«Надежда Яковлевна была человек потрясающий, сгусток энергии, вроде шаровой молнии, резкая и лаконичная полемистка, властная и нетерпеливая в общении. В 1966 или 1967 году, когда я попала к ней в Черемушки, я уже знала, что она писательница...

Христианство... казалось... каким-то выходом и... кроме всего прочего, еще и способом светской жизни. Все это окружение Надежды Яковлевны, эти жены-мироносицы, все это смахивало на Островского».

Анатолий Найман:

«Она почти к семидесяти годам стала говорить о половом, о постели так, как в России тогда не говорили. На Западе произошла сексуальная революция, у нас она какие-то свои формы принимала, но так никто не говорил».

Варвара Шкловская:

«Для нее никаких иерархий не существовало. Она разговаривала с профессором Любищевым, разговаривала с иностранцами, с Полюшкой Степиной, у которой снимала жилье в Тарусе, – все это был один уровень отношений...

Однажды, в середине 60-х годов, на кухне Надежды Яковлевны суетились девочки, а возле нее сидела иностранка, оказалось, что это была жена Хемингуэя, Марта Гильгорн, смотрела на нас с большим интересом, и говорила, – какие вы счастливые... у вас такие теплые отношения... Я понимаю, что это потому, что вы в клетке, и вы разбежитесь, когда вас отпустят, но как нам без этого плохо. У нас этого нет».

Анастасия Баранович-Поливанова:

«В ее собственной квартире на Черемушкинской я бывала не часто, – в последние годы мама плохо себя чувствовала... да и атмосфера у Н.Я. была уже не та. Народ валил валом... Особенно многолюдно бывало 27 декабря – условная дата смерти Мандельштама».

И для контраста – опять свидетельство всего лишь трех-четырёхлетней давности, из письма Мандельштам Ахматовой, декабрь 1963 года, двадцать пятая годовщина гибели мужа:

«Три человека [Вячеслав Иванов, Виктор Хинкис и Шимон Маркиш], которые ко мне приехали на эту годовщину, – это очень много и очень хорошо»...

При всей сохраняющейся заботе и любви Мандельштам к Шаламову («Целую», – заканчиваются ее письма), в этой людной суете, мало-помалу катящейся к настоящей вальпургиевой ночи второй половины семидесятых годов, хозяйка упускает из виду, вернее, пропускает мимо внимания – что и говорит о происходящих в ней переменах – то обстоятельство, что, отказывая от дома женщине Шаламова, в перспективе она почти неизбежно отваживает от него самого Шаламова. Такая умница как Мандельштам не может не понимать такой простой вещи. Считаясь с чувствами и достоинством гения, можно было справиться с неприязнью и не выставлять его любимую за порог, и то, что это все-таки произошло, служит для меня дополнительным доказательством глубокого подспудного равнодушия к Шаламову различного московского света – в лице самого лучшего, самого свободного, самого утонченного человека, который этот свет украшает. Что же говорить о толпах, занятых только собой и демонстрирующих обычные для толпы стадность, скудоумие и бесчувственность.

Если у Мандельштам наконец-то появилась своя квартирка, то Шаламов все эти годы теснится с кошками в комнатке, где умещаются постель, стол («маленький письменный столик» – Сиротинская) и шкаф, а хозяину и гостям остается помимо облезлых стульев пара тесных проходов. Но по-настоящему мучительно для Шаламова не его

аскетическое жилище, а жизнь на глазах человека, с которым уже ничто не связывает, но которому общность коммунального жилого пространства и знание самых интимных житейских привычек оставляет если не тень права, то физическую возможность контролировать любой шаг, сделанный за пределами четырех стен. Между тем, в законе существует зазор, теоретически позволяющий Шаламову как незаконно репрессированному улучшить свои бытовые условия, и Моисей Авербах с его мертвой хваткой закаленного лагерями хозяйственника настойчиво, «всеми правдами и неправдами» добивается предоставления Шаламову новой, тоже коммунальной, но уже неоспоримо его жилплощади. Процесс, вернее, война на истощение, длится не первый год и требует от Шаламова хотя бы минимальной посвященности в кошмарные бюрократические коллизии, возникающие по ходу дела, о которых Авербах добросовестно его информирует. В длинейшем, сугубо деловом декабрьском послании он подбивает итоги годичных кафкианских мытарств и заклинает небожителя с Хорошевой, 10 попытаться вникнуть в суть преткновений, чтобы не пасть духом и не «отказываться проглотить уже разжеванное», как выражается Авербах, на одном фронте ведущий нешуточную войну с исполкомом, а на другом – с подрывной деятельностью самого Шаламова, «из непонятных соображений ложного самолюбия» способного вдруг похерить плоды долгих усилий «просьбой прекратить рассмотрение поданных документов», «оставить хлопоты» и т.д. Просто для удовольствия приведу пример того, как негибемый «физик» (в гностическом смысле) Авербах распекает подопечного «лирика»: «В наши дни «лирику» и «физику» можно совмещать лишь в газетах... За осуществление Вашего законного права надо иногда и побороться. Ведь даже за зарплатой и то надо пойти в кассу. Никто на тарелочке не принесет. А у Вас иногда получается так, что высшая власть дает Вам какое-то право, но на пути к его осуществлению встает какой-то бюрократ и прохвост, или бюрократы и прохвосты, а Вы, ударяясь в амбиции, отказываетесь от предоставленного Вам права, потому что не хотите «просить», хотя в данном случае речь идет не о «просить», а о – требовать, а Ваш отказ от своего права «льет воду на мельницы» тех же прохвостов и бюрократов». Самое удивительное, что благодаря «терпеливому общению» неукротимого общественника из жилищной комиссии Моссовета «с таким психом, как я» через несколько месяцев Шаламов въедет в «тихую комнату» «этажом выше», где будет избавлен от «ада шпионства» и насладится причитающимся ему кусочком личного счастья. Небезвозмездное участие дошлого и энергичного Авербаха может подсказать тип гипотетических взаимоотношений строптивца-

Шаламова с миром, будь этот мир нормален: житейскими делами поэта заправляет надежный менеджер, а поэт творит, живя как считает нужным, получает деньги и оплачивает его услуги. Освободись Шаламов не из советского, а из нацистского концентрационного лагеря, проживай он в Европе и твори на одном из ее языков, так бы и было.

Из событий года, касающихся Шаламова, стоит еще упомянуть публикацию рассказов «Калигула» и «Почерк» в январском номере франкфуртского журнала «Посев», на который он по прошествии пяти лет совершенно напрасно обрушится в официальном письме протеста, смерть Ильи Эренбурга, которого после личной аудиенции и долгого разговора Шаламов назвал «свободным человеком», не простив, однако, ни ему, ни Твардовскому их преуспевания при Сталине и ненависти к Хрущеву, и поездку Шаламова на могилу Ахматовой в Ленинград, единственное свидетельство о которой (кроме упоминания в письме Шаламова Сиротинской зрелища Балтийского моря) я встретил у Лесняка – в ближайшие годы взгляд Шаламова на Ахматову очистится от влияния либеральных кругов, и его отзывы о ней будут насыщены неприятием и брезгливостью.

Но главным событием года остается, конечно, невыход «Колымских рассказов» книгой. До сих пор это не фатально, но сам факт заставляет крепко задуматься.



# 1968

В январе 68-го происходит суд над составителями «Белой книги по делу Синявского и Даниэля», на котором должны бы судить и Шаламова, однако, едва ли власть пошла бы на такой шаг. Срок за Шаламова, отсидевшего свое на Колыме, но не на «большой командировке», получает Александр Гинзбург – пять лет. Не срок для Шаламова, постоянно соразмеряющего нынешние сроки и условия заключения со сталинскими, с «геноцидом моего времени». Когда весной из проклятого «социалистического лагеря» удастся бежать Аркадию Белинкову – а случайным совпадением обстоятельств Олег Чухонцев опубликует в это время стихи, оправдывающие измену князя Курбского тирании, и по доносу газетного критика на десять лет будет отлучен от печатного станка – Шаламов запишет в дневнике: «Двадцать лет назад Чухонцева бы расстреляли по такому доносу – статья Новицкого».

Когда именно происходит «оргия обысков» у Шаламова, связанная с его «Письмом старому другу», я не знаю, и вообще ничего об этом не знаю, кроме двух-трех фраз, проброшенных в выступлении на телевидении летом 2011 года Сергеем Соловьевым. Прежде я только предполагал, что тайная полиция догадывалась об авторстве «Письма». Оказывается, она знала и предприняла соответствующие меры. Ну что ж, это пример того, как спустя десятилетия в белом пятне шаламовской биографии проступает шрих, подсказывающий детали картины, которые это пятно скрывает. Заполнить его фактами – дело шаламоведов. Во всяком случае, обыски можно датировать концом 66 – началом 67 годов. Сиротинская, прекрасно обо всем осведомленная, ни словом их не касается – такое же обычное дело, как мытье пола. О мытье пола у Шаламова она, кстати, упоминает, должно быть, мытье пола случается реже, чем обыски.

Шаламов решает окончательно урегулировать рабочую сторону отношений с Солженицыным, спешно дописывающим «Архипелаг ГУЛАГ», и через Аркадия Храбровицкого передает тому запрет пользоваться любыми содержащимися у него фактами для своих работ. Имеются в виду не только «Колымские рассказы», но и письма, написанные в середине шестидесятых годов. Солженицын – «неподходящий для этого человек». Впоследствии он яростно уточнит: «...человек, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма». У извещения Шаламова два получателя. Поскольку кто такой Храбровицкий, зять и биограф Короленко, через десять лет истол-



ковавший крест, нарисованный в ответ на вопрос, помнит ли его уже помещенный в богадельню и не способный выразиться членораздельно Шаламов, как то, что он, Храбровицкий – «плюс в его жизни»? Храбровицкий – сексот, осведомитель тайной полиции. Вот что рассказывает об этом «зловещем следопыте и архивисте» французский славист Рене Герра, прибывший в СССР по культурному обмену и через несколько месяцев выдворенный как нежелательный элемент: «...в начале декабря 1968 года, у выхода из рукописного отдела Ленинки ко мне подошел Варлам Шаламов и сказал, что не надо было общаться с АВХ, а теперь остается только поскорее уехать в Париж, пока еще не поздно... Прекрасно зная, кто Варлам Шаламов, чьи «Колымские рассказы» до этого читал во Франции в нью-йоркском «Новом журнале», я был очень тронут... его откровенностью». Что ж, стукач, как известно, тоже может быть плюсом, один такой полезный стукач из рассказа «Богданов» уничтожил выдранную из лагерного дела Шаламова вкладку с литером КРТД, предписывавшую использование заключенного только на тяжелых физических работах. Запрещая Солженицыну через Храбровицкого пользоваться его материалами, Шаламов извещает госбезопасность об отсутствии у него каких бы то ни было связей с человеком, которого он считает авантюристом и провокатором, и тем, вероятно, пытается ослабить к себе внимание с этого фланга. А в ближайшее время это ему очень важно. Понятно, что злопамятный Солженицын (который, по собственному признанию, действительно «почти исключил Колыму из охвата своей книги», что, впрочем, не исключает других форм прикармливания) и его круги прекрасно запомнят этот запрет и сделают все, чтобы Шаламову, в свою очередь, было отказано в зарубежных издательствах, где эта компания хозяйничает или пользуется влиянием.

«Солженицын не может его простить до сих пор, что он ему не дал «Колымских рассказов». Солженицын хотел их включить в «Архипелаг ГУЛАГ». Шаламов отказался... кровью, жизнью заплатил за то, чтобы это написать, – и вдруг отдать. У них были очень плохие отношения» (Сиротинская, 2007). Сиротинская, заряженная неутолимой ненавистью Шаламова, так и не поняла, что «великий стратег и тактик» на то и великий стратег и тактик, чтобы достигать своей цели любой ценой. Последнее слово в последнем колымском рассказе должно остаться за Солженицыным.

«...несчастье русской прозы. Каждый мудака начинает изображать из себя учителя жизни», – записывает Шаламов в дневнике и почти дословно повторит в мартовском письме Юлию Шрейдеру: «Бе-

да русской литературы в том, что в ней каждый мудак выступает в роли учителя жизни, а чисто литературные открытия и находки... считаются делом второстепенным».

Шрейдер – человек вдумчивый и, кроме того, один из редких современников Шаламова, сознающий, что имеет дело не просто с героической личностью и талантливым писателем, но гением, наследующим традиции Пушкина и стоящим в двадцатом веке рядом с Зощенко и Платоновым. В стремлении понять резкий отказ Шаламова от «апостольского ремесла» и его утверждение, что «учить людей – оскорбление», он пытается вовлечь собеседника в диалог, который, собственно говоря, и нужен Шаламову, но не в частной переписке, а в формах острой публичной полемики, где общественные вопросы решаются на глазах живо реагирующего общества и в которой категоричные утверждения получают аргументированный отпор, вынуждающий – в силу общественной значимости обсуждаемого – к поискам менее жестких, не столь отталкивающих потенциальных единомышленников формулировок, к поискам компромисса, к учету чужого опыта и чужого взгляда на вещи, если эти опыт и взгляд на вещи обоснованы серьезностью пережитого и глубиной его осмысления. Непримиимость позиции Шаламова во многом объясняется этим отсутствием публичного диалога, общественного резонанса, подвергающего высказывание суду, который человек волен принять или не принять, но игнорировать который нельзя. Правда Шаламова добыта не только в недрах души, она вынесена из самого существа общества, «превращающего человека в нечеловека», и имеет адресатом не частного слушателя, а это пропитанное злом общество в целом. В насильственной изоляции от этой массовой, представляющей естественный адресат шаламовского послания аудитории оно принимает характер ряда частных высказываний, в которых психологическое состояние говорящего (угнетенное, а какое еще?) приобретает непропорционально большой вес и ту свободу от публичной ответственности, которая низводит его до крика измученной души, обращенного в пустоту космоса. Абсолютно неуместно строить на частных высказываниях Шаламова какую-то его законченную художественную, социальную или антропологическую концепцию. Общество, лишившее Шаламова возможности публичного высказывания, навсегда потеряло право говорить о какой-либо достоверности приписываемых им Шаламову концепций человека и общества. За Шаламовым всегда остается живое право отмахнуться от этих суждений как от бесстыдных подтасовок и фальсификации. «Человек – существо бесконечно ничтожное, унижительно подлое, трусливое» – не антропологическая характеристика человека, а плевок в лицо общест-

ву, которое отказалось обсуждать с Шаламовым вопросы антропологии. В сущности, это персональная характеристика читателя переписки как наследника и плоти от плоти этого «бесконечно ничтожного, уничижительно подлого» советского общества.

Тем не менее, Шрейдер все-таки пытается вовлечь Шаламова в диалог и разобраться, что есть наставническая миссия, апостольски отвергаемая этой ярко выраженной апостольской, миссионерской натурой. Он возражает мягко, но пронизательно, прежде всего противопоставляя «литературу как чудо» (выражение Шаламова), «литературе протезов», т.е. литературе моделей, нацеленной на «обработку сознания» читателя, иначе говоря, промывку мозгов и насаживание лживых стереотипов. «Искусство протеза несовместимо с трагедией. В модели нет понятия безысходности, крушения мира. Модель всегда можно подправить, улучшить». И дальше об «учительстве». «Учат жить не апостола, а фарисеи. Апостол открывает людям мир во всем его трагическом противоречии. Научить жить исходя из имеющихся моделей – стереотипов может всякий. Осознать недостаточность любой модели – этому я учился у Вас. Готовы ли Вы отказаться от такого «учительства» – прямо противоположного учительству жизни? Мне кажется, что где-то здесь лежит причина несъедобности Ваших вещей для многих. Люди готовы даже менять стереотипы – модели. Но очень трудно отказаться от доверия к каким бы то ни было моделям. Остаться лицом к лицу со сложным и трагическим миром».

Сформулировано немного вяло, но совершенно по сути. «Отказаться от доверия к каким бы то ни было моделям» – вот сердцевина отношения Шаламова к бытию, которое он пытается донести до штампованного советского человека. Можно назвать это нигилизмом, но вернее назвать экзистенциальной свободой – понятие нигилизма упускает положительную составляющую шаламовского послания: слово должно быть неотделимо от дела и порождать непреложный в своей невербальности, в своей личностной цельности поступок, подобный написанию «Колымских рассказов». Искусство не учит, литература «не может избавить от повторения», но она способна дать образец поступка, который может быть повторен любым, кто, по выражению Шаламова, «читая моя рассказы», будет поощрен в желании «что-то доброе сделать». «Человек должен что-то сделать». Переводя же суждения Шрейдера в плоскость литературной борьбы, Шаламов отвергает не только старый литературный канон, но и схемы, которые можно извлечь из его собственной «новой прозы», и дает узнаваемый портрет

борзописца, занятого оскорбительной для Шаламова как художника обработкой читательского сознания. «...чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагерь, видевшего пламя Аламогордо... тратить время на... сочиненные судьбы для иллюстрации толстовских идей – просто грешно. Тут все ложь, фальшь. Как только я слышу слово «добро» – я беру шапку и ухожу... я думаю, что каждый, кто читает мои рассказы, поймет всю тщету литературных усилий старых литературных людей и схем... Я учил когда-то ОПОЯЗовские статьи наизусть. Сейчас я этого не делаю, потому что, мне кажется, я добился каких-то важных для литературы результатов... не с тем, чтобы превратить их в очередной канон или схему. Рассказы мои насквозь документальны, но, мне кажется, в них вмещается столько событий самого драматического и трагического рода, чего не выдержит ни один документ... Писатель, даже способный, может рассуждать так: я работаю по модели, по толстовской модели. Учю, стало быть добру, приношу пользу общественную. Мне известно, что читательский успех достигается банальными идеями, выраженными в самой примитивной литературной форме (вроде «чем люди живы» и т.п.). Я так и работаю и имею читательский успех и нравственное удовлетворение... Это – рассуждения эпигона в лучшем случае».

«Все, что пишет С., по своей литературной природе совершенно реакционно» (Записные книжки).

Ремарка «чем люди живы» отсылает к повести «Раковый корпус», главы из которой «Новый мир» чуть было не опубликовал в прошлом году и твердо рассчитывает опубликовать в нынешнем, а их автор тем временем завоевывает гостиные самого избранного московского общества, доказывая, что перед «банальными идеями, выраженными в самой примитивной литературной форме» нет ни Запада, ни Востока, иначе говоря, не усматривается никакой разницы между академиком Капицей, Мстиславом Ростроповичем и имиреком с кругозором гуманитария из заштатного педагогического училища, которому посчастливилось заполучить на ночь слепую самиздатскую копию захватывающего бестселлера. 1968 год будет для Солженицына годом триумфа, окончательно закрепляющего за ним международную медиароль «писателя как совести России» – только карикатурные безмозглые янки из романа Набокова могут придумать такой ублюдочный заголовок для статьи в «Тайм» и только вконец выродившаяся Московия может создать такую репутацию круглолицему жизнерадостному литературному коммивояжеру, расторопно и прибыльно сбывающему

бусы из стеклояруса со склада другой ее «совести» дикарям Старого и Нового Света.

Несколько слов о Юлии Шрейдере, тем более, что с Шаламовым они знакомы уже два года, с того солнечного летнего дня, когда Шрейдер увидел его в гостях у Надежды Мандельштам в только что полученной ею квартире в Черемушках: «...первое впечатление: как он прекрасен! Красивое, очень русское, чисто выбритое лицо северного типа с твердыми чертами,.. статная фигура, значимость каждого слова». Шрейдер, пожалуй, единственный, кто останется у Шаламова от обширного круга либеральных знакомств, разрыв с которым не за горами. Некоторое время ему придется буквально навязывать себя исполненному отворачиванию к людям затворнику, но это окупится – с середины семидесятых до помещения Шаламова в дом престарелых только Шрейдер и Людмила Зайвая будут принимать в нем хоть какое-то регулярное человеческое участие и скрашивать его одиночество. Шрейдер первым скажет что-то значительное о Шаламове в период «гласности», а его лишенный сантиментов, но полный понимания и сдержанного преклонения психологический портрет автора «Колымских рассказов» дает образец того должного отношения к гению, на весах которого в девяностых был взвешен и рассеян легковесный мир московских интеллигентских салонов.

«...литературный процесс и был его подлинной жизнью, а все остальное лишь необходимым жизнеобеспечением, к которому он предъявлял самые минимальные требования... Даже человеческие привязанности были, как мне кажется, для него непозволительной роскошью, дополнительной данью земной суете. Он редко привязывался к людям, но допускал к себе тех, кто не нарушал его жизненного (или, что то же, творческого) ритма. Это был акт величайшего доверия с его стороны. Его, по моим наблюдениям, мало интересовали чужие мнения, жизненные концепции и тому подобные ненужности ...рассказчик и чтец он был великолепный.

У меня и мысли не было о том, что я имею право его судить».

Будь у Шаламова десятка два подобных оруженосцев и имейся у них хоть какие-то рычаги воздействия на русский издательский и книготорговый процесс за границей, судьба Шаламова и его творений была бы совершенно другой. Мощи созданного Шаламовым недоставало этой горстки людей.

В одном из писем Шаламов упоминает, что Шрейдер отрекомендовался как специалист в области радаров. Очевидно, это приклад-

ная сторона его научных интересов, которые значительно шире. Шрейдер – вундеркинд, в четырнадцать лет окончивший школу, в двадцать – университет и вопреки клейму сына «врага народа» и разгулу послевоенного антисемитизма принятый в аспирантуру как блестящий начинающий математик. Отец его был репрессирован и расстрелян в 1938 году, ребенком он запомнил ночной арест и обыск и впоследствии хорошо отрефлектировал состояние искусственной слепоты к реальности, в которой живет человек, не допускающий ее до сознания и совести, чтобы, как он выражается, не нашли «по запаху» и не уничтожили. В период хрущевской антисталинской кампании Шрейдер прозревает, вступает в партию и много лет работает заведующим отделом семиотики Всесоюзного института научной и технической информации, занимаясь, по словам Сергея Чебанова, «архитектурой информационных потоков», иначе говоря, информатикой как способами донесения знания – область научной деятельности, покрывающая пространство множества дисциплин, от палеонтологии и стратиграфии, задачи которых решает один из исследователей «Берингии», коллега Натальи Кинд Сергей Мейен, и археологии, где подобные познавательные стратегии разрабатывает либертен и будущий лагерник Лев Кляйн, до лингвистики, этологии и этики, по которой Шрейдером написан курс лекций. Этика тут не случайна, поскольку при всей рациональности мышления мироощущение Шрейдера религиозно, и точку примирения он находит в восхитительной структуре католических орденов. В семидесятом году, если не раньше, он тайно принимает католичество, и под именем брата Фомы становится терциарием ордена доминиканцев – доминиканцем-миряннином, которые объединены в общины или братства и под духовным наставничеством Ордена проповедают в миру Слово Божье. Как это сочетается с членством в коммунистической партии, необходимым для успешной научной карьеры, понять трудно, но такое раздвоение личности – вообще диагностический признак советской интеллигенции, среди которой Шаламов ищет единомышленников, а в плоскости идеологической толерантности выявляет преимущество папизма над коммунизмом – именно по причине вскрытой и разоблаченной конфессиональной принадлежности Шрейдер в 1984 (характерная дата) будет исключен из партии и лишен должности заведующего отделом, хотя и оставлен на научной работе. Женат Шрейдер на математике Татьяне Вентцель, дочери генерала, начальника кафедры баллистики Военно-воздушной академии артиллериста Дмитрия Вентцеля и математика профессора Елены Вентцель (Долгинцевой), более известной по псевдониму Ирина Грекова, И. Грекова, Игрекова – автора популярной в то время но-

вомирской повести «На испытаниях», где под именем генерала Сиверса выведен ее муж, нескольких рассказов и ненапечатанного в СССР романа «Свежо предание» об антисемитизме в сталинском Советском Союзе, который патриотка И. Грекова категорически отказывалась публиковать за границей, пока в годы, последовавшие за «перестройкой», никому не нужный в постсоветской России роман не напечатали в США, с согласия автора и на свои деньги, Александра Раскина с мужем и диссиденты супруги Файнберги. Раскина, жена брата Юлия Александра Шрейдера – дочь Фриды Вигдоровой, журналистки, обогатившей самиздат жанром стенограммы судебного процесса (над Иосифом Бродским), и благодарной читательницы «Колымских рассказов». Другими словами, круг Юлия Шрейдера – еще один из московских интеллигентских салонов, который открыт Шаламову и через Вигдорову, и через Шрейдера, а занятия семиотикой связывают Шрейдера с тартуской школой Юрия Лотмана, чей соратник Вячеслав Вс. Иванов с собственным необъятным кругом общения хорошо знаком Шаламову по кухне Надежды Мандельштам, в свою очередь, хорошо знакомой с И. Грековой еще по Тарусе. Симпатии Шаламова к семиотике коренятся в его давней увлеченности формализмом и ОПОЯЗом и в мрачных семидесятых найдут выход в углубленных занятиях ритмикой русского стиха, плод которых, статью «Звуковой повтор – поиск смысла (Заметки о стиховой гармонии)», Шрейдеру удастся издать в редактируемом им сборнике «Семиотика и информатика».

Блокада Шаламова в СССР не усиливается и не ослабевает – хватка ее регулируется издательской машиной почти рефлекторно: в журнале «Москва», сообщает он Грозденскому, идут два старых стихотворения, в «Знамени» печатают не чаще, «договоров у меня сейчас нет. В пятом номере «Юности» будут мои стихи. Тоже очень немного... Что касается «Нового мира» – то это журнал, в котором не существует стихов.

... Конечно, лучше два стихотворения, чем ничего», – замечает Шаламов, удивительным образом способный одновременно идти ва-банк и с упорством закаленного колымчанина отвоевывать крошечное жизненное пространство на страницах советских журналов. Только исключительные обстоятельства в союзе с возрастом и болезнью могут сокрушить эту исключительную природную жизнестойкость.

В марте благодаря столь же исключительному упорству Авербаха, «без которого я бы не одолел ни одного барьера», Шаламов перебирается из крохотной комнатки-пенала на первом этаже дома в более

просторную на втором и отчитывается своему рязанскому другу: «...уже переехал и живу впервые за шестьдесят лет моей жизни – в самостоятельной, отдельной комнате. Просыпаюсь каждое утро с чувством глубочайшего облегчения, покоя, физического и нравственного удовольствия. В ней полная тишина. По какой-то счастливой случайности комната оказалась в каком-то звуковом вакууме, хотя недалеко от шоссе...». Ирина Полянская в рассказе «Тихая комната» раскрывает несложный секрет этого звукового вакуума: Шаламова одолевает глухота, на которую он через несколько лет будет жаловаться в дневнике как на решающее обстоятельство, закрывшее ему массу возможностей – к примеру, в его возрасте Борис Полевой редактирует журнал «Юность», а де Голль, можно добавить, вписывает славные страницы в новейшую историю Франции. Так или иначе, у Шаламова теперь почти собственное жильё (19 квадратных метров плюс общая кухня, службы и коридор, «лучшая форма воплощения нашего жилищного права»), на которое, правда, «претендовала теща Асмуса и жена Асмуса – Ариадна Борисовна, чемпион квартирных драк – в том же стиле, как и десять лет назад, когда... профессор интуитивной философии собственноручно отдирали линолеум с пола... Вывертывал все задвижки из дверей, все вешалки». Да и сейчас «...было заготовлено от этого же семейства мерзостей не меньше, но быстро удалось ввести все разговоры в рамки официальных отношений».

«У меня не было чувства гостеприимства, потому что дома своего не было».

Ну вот, наконец-то, дом.

Сиротинская пишет, что с 1968 года Шаламов заводит речь о замужестве. «Сначала хотел, чтоб я просто ушла к нему, но я решительно не хотела оставить детей, а он говорил, что «трое – это ад». А уж пятеро!.. Потом был согласен и на троих детей, но это было невозможно – трое шумных ребятишек в комнате поэта». Сиротинская, как всегда, хитрит: советское жилищное законодательство совсем не обязывает ютиться впятером в одной комнате – у нее собственная квартира, у Шаламова – комната, при разводе вполне можно разменять две эти жилплощади на комнату для бывшего мужа и квартиру для новой семьи Шаламова, условия в которой для Сиротинской с детьми будут не хуже нынешних. Дело, разумеется, не в жилплощади, и я не осуждаю Сиротинскую – она живет своей жизнью, пытается примирить повседневность обычной советской женщины с параллельным существованием «Беатриче» в какой-то чуждой, но бесконечно притягательной и бесконечно щедрой вселенной, распахнувшейся для нее по воле



абсурдных обстоятельств Москвы середины шестидесятых годов. В любом случае, она успела очень привязаться к Шаламову и помогает ему обустроиться на новом месте. «Помню, с каким удовольствием он вил гнездо... Как обсуждал со мной и покупал скатерть на стол, шторы на окна, мебель – в комиссионке, раскладывал просторнее книги». Я уже говорил, что Сиротинская возродила для него театр («много был в театре в этот год»), но с ней он охотно посещает и выставки, и музеи. У меня нет возможности установить, когда именно в Москве экспонировались «Матисс, Роден, Петров-Водкин, Пироманишвили, Фальк, Пикассо, Ван Гог, Врубель», однако упоминания о них и отсылки к этим художникам рассыпаны в письмах, дневнике и стихах Шаламова приблизительно этого времени. На выставке Матисса с ним случился приступ стенокардии, о Пиромани он высказывается в летнем письме Сиротинской, Фалька поминает в записных книжках, перед полотном Петрова-Водкина критикует сюжетные картины, – общее впечатление Сиротинской от его восприятия живописи сводится к утверждению, что «портретное сходство с оригиналом не нужно. Важно передать душу, ощущение художника от природы». Словом, не «история лагерей», а «летопись души», хотя любимая картина Шаламова все-таки «Прогулка заключенных» Ван Гога – к тюрьме у Шаламова совершенно другое отношение, чем к лагерю, тюрьма – высшая школа русской интеллигенции, это усвоено еще с Вологды.

Вологда еще напомнит о себе Шаламову после поездки туда Сиротинской, а пока этот високосный год приносит одно событие за другим, и значение событий, которые не случились, ничуть не менее важно, чем значение происшедших – жизнь Шаламова будет выворачиваться наизнанку прямо пропорционально утратам, происходящим на ее лицевой стороне, а утраты тем тяжелее, чем более разрушительны для внутренней обусловленности событий. Обусловленность выхода «Колымских рассказов» книгой вытекает из факта завершенности замысла, и Шаламов тверд в намерении довести дело до конца.

Дальше я вступаю в область домыслов, где реперами будут служить неопровержимые, но количественно ничтожные факты, позволяющие, тем не менее, как-то сориентироваться. Скверно то, что к отсутствию информации, в значительной степени сознательно утаиваемой, добавляется намеренная ложь умолчанием Сиротинской, прекрасно во все посвященной и знающей, что именно и как из оставшегося преподнести, чтобы за неимением чего бы то ни было заставить принять ее колченогую клеветническую версию «моего друга Варлама

Шаламова», рисующую его добровольным работником советских условностей и казенного лагерного патриотизма. Версию Сиротинской я оставляю Сиротинской.

Где-то в конце весны – начале лета Шаламов передает на Запад многотомную машинопись «Колымских рассказов», список-68 – можно предположить, в окончательном на тот момент виде, поскольку написаны все циклы, кроме позднейшего «Перчатка или КР-2». У меня нет доступа к статье Каневской, поэтому пользуюсь ее кратчайшим изложением у Леоны Токер. «В 1982 году эмигрантский журнал «Посев» печатает статью Ирины Каневской, где отмечается,.. что в 1968 году она заехала с мужем к Шаламову и получила от него саквояж с рукописями, который они благополучно доставили в Прагу, и уже оттуда собрание было переправлено в Париж. К сожалению, дальнейшая судьба произведений оказалась совсем не такой, как ожидала Каневская (и, как можно догадаться по ее намеку, сам Шаламов). Вместо того, чтобы выпустить рассказы одним толстым сборником (это случится лишь в 1978 году), их опубликовали небольшими разрозненными сериями в эмигрантских изданиях – нью-йоркском «Новом журнале» и франкфуртском «Посеве».

Токер крайне небрежна в передаче событий либо со слов Каневской, либо в собственных комментариях. Есть факт: Хенкины (Каневская – жена переводчика и журналиста-международника Кирилла Хенкина) получили от Шаламова саквояж с рукописью КР, который доставили в Прагу и оттуда передали в Париж. Все остальное наводит тень на плетень. Никакой связи между списком-68 и публикацией подборок в «Новом журнале» и «Посеве» (1967) нет – Токер прекрасно известно, что публикации Гулем делаются со списка-66, чего, например, не скажешь в отношении германского журнала солидаристов «Грани», где, в отличие от «Посева», опубликовавшего только два текста, а не «серию», в 1970 году появятся две подборки, включающие 15 рассказов. Но о «Гранях» Токер вообще не упоминает. Никакой связи между списком-68 и томом «Колымских рассказов», выпущенных лондонским издательством Оверсиз Пабликэйшнз, тоже явным образом не прослеживается – авторские права Стипульковский, директор издательства, получил все от того же Романа Гуля, о чем тот говорит в интервью Джону Глэду 1982 года. Все это – свидетельство того наплевательского отношения к реальной судьбе шаламовского труда, какое процветает в кругах филологов, почему-то специализирующихся именно на Шаламове, а это наплевательское отношение – инерция

общего и уже традиционного наплевательского отношения к судьбе и творениям Шаламова в России и эмиграции.

Итак, Хенкины доставили список-68 в Прагу и передали в Париж. Судьба рукописи, однако, оказалась не такой, как они рассчитывали и как, по намеку Каневской – непонятно, какие тут нужны намеки, если еще в интервью Глэду 1992 года Сиротинская проговаривается, что список-66 был передан Шаламовым для издания книгой – ожидал автор. Разумеется, для той же цели передан и список-68. Но судьба его, как увидим, оказалась еще горше.

Прежде всего, кто такие Хенкины? Хенкин – парижанин и репатриант 1941 года, в бытность во Франции тесно связанный с агентом НКВД мужем Цветаевой Сергеем Эфроном и другими советскими шпионами и наемными убийцами из числа завербованных русских беженцев. Короткое время воевал в Испании, оттуда эмигрировал в США и, наконец, переехал в СССР, где попал не в лагерь и не в расстрельную камеру – что он объясняет непосвященностью в самые зловещие секреты деятельности НКВД в предвоенной Европе – а в курьерскую службу фронтовой тайной полиции, так называемого «особого отдела», учился на разведчика, но – видимо, уже после смерти Сталина – исхитрился порвать с «органами» и переключиться на переводы, журналистику и «связи с общественностью». К советской госбезопасности, отравившей ему жизнь, приобрел, как представляется, искреннюю и глубочайшую ненависть. Работал диктором на московском радио, а с середины шестидесятых – во французском отделе журнала «Проблемы мира и социализма» в Праге и стал свидетелем быстро выходящей из-под советского контроля «пражской весны». Летом 68 года, когда Хенкины увезли шаламовский саквояж в Прагу, передать рукопись во Францию через чешскую брешь в «железном занавесе» было нетрудно, следовательно, в Париже она оказалась не позже июля, поскольку уже в августе, после ввода советских войск в Чехословакию, Хенкины были высланы из Праги обратно в Москву за «неправильное отношение» к акту пролетарского интернационализма, точнее, за участие в демонстрации протеста против вторжения.

Когда и через кого Шаламов познакомился с Хенкиными, я не знаю, это могло произойти в любом из кругов, куда он вхож, во всяком случае, рекомендовал их Шаламову человек, пользующийся его полным доверием, по всей видимости, Надежда Мандельштам, которую через пять лет насидевшийся «в отказе» Хенкин будет уламывать эмигрировать вместе с ним на Запад, где книги вдовы поэта давно

изданы, переведены на многие языки и ценимы наравне с книгами мужа. Итак, список-68 передан в Париж. Кому? Разумеется, издателю, адресатом рукописи может быть только издатель. В Париже масса русских издательств, вот неполный перечень (для характеристики, так сказать, «русского присутствия»), который я составил, пролистав одну библиографию:

ИМКА-Пресс  
Издание журнала Ковчег  
Военно-ист. изд-во Танаис  
Третья волна  
Editions de la Seine  
Лев  
La presse libre  
Синтаксис  
Поиски  
Les Editeurs reunis  
Изд-во Грассе и Фаскель  
Изд. Комитета Н.Махно  
Editions "La Renaissance"  
Изд. Русского Научного Института  
журнал Выбор  
Instytut literacki  
Издание литературного фонда

Перечень впечатляет, но по времени существования, профилю и возможностям я категорически ставлю на первое место ИМКА-Пресс, издательство Русского христианского движения, которое, по словам интервьюера его руководителя Никиты Струве, «пропустило через себя три волны русской эмиграции». В «Православной энциклопедии» сказано, что Никита Струве возглавляет издательство с середины пятидесятых годов, точнее (в шестидесятых) на пару с Иваном Морозовым, которого Солженицын после высылки из СССР отстранит от руководства как профессионально несостоятельного. Напомню, что список-66 был передан в Америку куратору мандельштамоведа Кларенса Брауна Глебу Струве, дяде Никиты Струве. Почему я говорю, передан Глебу Струве? Потому что Глеб Струве связан с издательствами – и с «Международным литературным сообществом», в котором выпускает собрания сочинений Мандельштама, Гумилева, Ахматовой, и с ИМКА-Пресс, возглавляемым в Париже его племянником. Список-66 не должен был попадать к Гулю, он должен был попасть в изда-

тельство, с тем и был передан за границу. Сейчас рукопись КР тоже передана в издательство, на сей раз в Париж – полагаю, в то самое, которое вот-вот выпустит роман Солженицына «В круге первом», а вскорости вообще монополизирует издание его опусов, пока, наконец, окончательно не перейдет в совместное владение Никиты Струве и Солженицына. Эта же ИМКА-Пресс сразу после смерти Шаламова и потом снова в 1985 перепечатает лондонский сборник (1978), права на издания которого получены Стипульковским от Гуля, завладевшего рукописью, адресованной через Глеба Струве книгоиздателю, и теперь возвращены Стипульковским другому Струве, Никите, добавившему к переизданию лондонского сборника второй том с остатками «Колымских рассказов» и «Четвертой Вологодой», оказавшейся в его распоряжении уже значительно позже и к делу не относящейся. Эволюции авторских редакций КР на Западе покрыты таким густым мраком, что что-либо понять можно опираясь только на неоспоримые и бьющие в глаза факты. Факт первый: ранний список КР попадает от Кларенса Брауна к Гулю, полагаю, с ведома Глеба Струве, возможно, совладельца списка-66. Факт второй: в 1982 году Стипульковский передает права на издание недопечатанных «Новым журналом» КР Никите Струве, который дважды переиздаст сборник, дополнив его в 1985 году вторым томом под названием «Воскрешение лиственницы» с рассказами из списка-68. Возникает впечатление, что оба списка как бы «отмываются» через издательство Оверсиз Пабликэйшнз (и газету «Русская мысль») и отмывыми возвращаются к тем, кто завладел авторской волей и определяет, где, что и когда уместно публиковать. Я вижу слегка искривленную через Лондон линию от Гуля и Глеба Струве в Америке к Никите Струве во Франции. Ничего более определенного я утверждать не могу. Определенно можно сказать одно: список-68, включающий практически весь корпус КР без позднего цикла «Перчатка или КР-2», был получен издателем и бесследно исчез. В буквальном смысле оказался обречен на бессрочное заключение в ящике чьего-то письменного стола. Сначала я думал, что рассказы, включенные в лондонское издание и не входившие в список-66, взяты из списка-68, следовательно, Стипульковский и составитель сборника Михаил Геллер тоже посвящены в тайну, однако, по словам той же Леоны Токер, Геллер пополнял корпус «списка-66» рассказами, полученными в основном от поэта Геннадия Айги, стало быть, оба свободны от подозрений, тем более, что в предисловии к парижскому изданию 1985 года Геллер с негодованием говорит о трагической участи, постигшей «Колымские рассказы» в воистину «зловонном», пользуясь языком шаламовского письма в ЛГ, «Новом журнале». Определенно можно

утверждать и следующее: если издатель получил список-68 и на годы предаёт его забвению в ящике письменного стола – у него должны иметься на то веские основания. Веские основания я вижу только в одном случае – в случае ИМКА-Пресс и возглавляющего его Никиты Струве, который «очень любит секреты». Историк Александр Островский, на которого я уже ссылался, пишет: «В. Вейдле [директор русских программ Радио Свобода, человек знающий (Ольга Кузнецова)] охарактеризовал период с 1968 г. как «солженицынскую эру» в истории издательства ИМКА-Пресс.

Тогда же РСХД [Русское христианское студенческое движение, возглавляемое среди прочих Никитой Струве] через семинар, возглавляемый о. А. Менем устанавливает связи с некоторыми другими советскими авторами и, как отмечает А. И. Солженицын, с 1969 г. Н. А. Струве «сумел преобразовать прежний эмигрантский тоненький «Вестник РСХД» в толстющий от номера к номеру мост между эмиграцией и метрополией». О том же свидетельствует физик, философ и богослов Сергей Хоружий: «...с середины 60-х годов устанавливаются контакты журнала (редактором которого был тогда, как и ныне, Н.А.Струве) с представителями свободной христианской мысли в России, в первую очередь, из окружения о. Александра Меня... в 70-е годы «Вестник» стал в качестве мест своего выпуска указывать: Париж – Нью-Йорк – Москва».

Имя отца Александра Меня тут не случайно, это культовый духовный пастырь не только «племени [советских] интеллигентов» (Сергей Аверинцев) в общем, но Надежды Мандельштам и Солженицына в частности, а с последним его отношения настолько доверительны, что в том же году он приобщит начинающего харизматика к своему «каналу» на Запад, ослабляя его зависимость от единственной имеющейся связной, Натальи Столяровой. Тем временем, Столярова – оператор синхронно происходящему с Шаламовым и безотказно работающей машины взаимодействия Востока и Запада, которую собрали для Солженицына его московские почитатели. Слово Людмиле Сараскиной, биографу «совести России» в глазах американского «Тайм»: «...2 июня 1968 года,.. когда «Архипелаг» был отснят и плёнка свернута в капсулу, приехали в Рождество друзья: Н. И. Столярова и А. А. Угримов. Вызвав А. И. в лес, Ева сообщила, что на Западе вышел по-русски «Круг» и что плёнку через неделю можно переправить в Париж с Сашей Андреевым (сыном Вадима Андреева), приехавшим с группой ЮНЕСКО в командировку. Через день обозначились контуры операции: киномеханик будет отправлять контейнер с киноматериалами

группы, туда и засунут капсулу... Трое суток удушливого ожидания закончились ликующим известием: и Сашу выпустили, и капсула перепорвалась через границу!». Содержание капсулы будут готовить к изданию сразу в двух местах – в Америке Ольга Карлайль, сестра Александра Андреева, а в Париже – Никита Струве, который в интервью 2011 года поделится своими тогдашними, да наверное, и всегдашними, чувствами к Солженицыну: «Я всегда чувствовал его трансцендентность... Я готов был стоять на коленях перед этим человеком в свое время». Для Шаламова человек, перед которым Никита Струве готов был стоять на коленях – в лучшем случае эпитон, «писатель уровня Писаржевского», с чем на другом конце света охотно согласился бы Владимир Набоков, писавший в 1971 Эдмунду Уилсону: «Солженицын, по существу, третьеразрядный писатель». Проблема, во-первых, в том, что Шаламов этого не скрывает и в буферном слое между ним и эмиграцией – а значит, и в эмиграции – это хорошо знают, а во-вторых, что третьеразрядный писатель, прекрасно владеющий литературными и идеологическими клише адаптированной к сталинизму толстовской традиции – как раз то, что нужно советскому массовому читателю категории «образованщина», справедливо заслужившему от вознесшегося кумира эту собачью кличку. Энтузиазм команды Солженицына в СССР и людей, подобных Никите Струве на Западе – лишь сконцентрированное в действии выражение общего умонастроения, обеспечивающего действию общественную санкцию и крепкий моральный тыл. У Шаламова в Москве нет ни этой санкции, ни этого тыла, но Шаламову и не нужен массовый потребитель нравоучений, ему нужны читатели и единомышленники, готовые к трагической неопределенности своего положения в бытии, ведь в конце концов на то и русская интеллигенция, чтобы ставить последние вопросы и жертвенно пытаться их разрешить. «Не взрыв, но всхлип» русского культурного слоя проявил себя не в отсутствии у Шаламова толп приверженцев, а в отсутствии буквально считанных единиц, которых этот слой обязан был выделить для осуществления миссии издания «Колымских рассказов» книгой – это издание могло состояться вопреки всему, просто благодаря счастливому стечению обстоятельств – если бы этому счастливому стечению обстоятельств выпал шанс. То, что шанса не выпало, наводит на мысль о Содоме, для спасения которого не нашлось десяти праведников.

Вернусь ненадолго к Меню, чье имя всплыло в соседстве сразу с несколькими ключевыми для понимания происходящего именами. Александр Мень, по рекомендации которого Шаламов будет отпевать

в Никольской церкви на Новокузнецкой, – либеральный православный священник, еврей, крещеный матерью, еврейкой и христианкой, тоже харизматик, только начавший практиковать задолго до Солженицына, по меркам поощряющей мракобесие, коррупцию и сотрудничество с тайной полицией РПЦ – вольномыслящий, разносчик различных еретических мерзостей, вроде тейярдизма, экуменизма и идеологии демократического движения, эрудит, популяризатор Библии, осанистый обаятельный проповедник, духовник и неутомимый «миссионер для племени интеллигентов», – словом, воплощение того, что ненавистно попovichу Шаламову в «прогрессивном человечестве» и что он отверг в рассказе «Необращенный». Как и Солженицын, Мень претендует на ту же аудиторию, что Шаламов, и делает это крайне успешно, поскольку потребность в готовых рецептах осмысления жизни у одичавшей, разочарованной и растленной московской интеллигенции тем выше, чем карикатурнее после отставки Хрущева звучит новая господствующая идеология, пережившей в период «оттепели» краткий и отвратительный ренессанс с обещаниями построения коммунизма при нынешнем поколении, свистопляской вокруг научно-технического прогресса, восстановлением ленинских норм в партии, эксгумацией «пламенных революционеров»-большевиков, полетами в космос, Фиделем Кастро, освоением целины и прочими нескоординированными движениями вздуваемого гнилостными газами трупа. Протоиерей Мень предлагает рецепты, прельщающие даже такую «озорницу» как Мандельштам, у которой он частый гость и которая «с ним очень дружила» (Варвара Шкловская-Корди).

«Надежда Яковлевна Мандельштам у нас несколько сезонов жила в Семхозе [район Загорска], как на даче» (Михаил Мень).

«...к церкви она приобщилась в последние десятилетия своей жизни, главным образом под влиянием отца Александра Меня, ставшего ее духовником» (Юрий Табак).

«И отец Мень,.. и Надежда Яковлевна своим громадным авторитетом, безусловно способствовавшим маркетингу идеи обретения благодати,.. обслуживали эту тенденцию [речь идет об обращении советской еврейской молодежи в православие]» (Михаил Генделев).

Какого же рода «идеи обретения благодати» торгует просвещенный честолюбивый батюшка?

Сергей Лёзов, правозащитник и общественный деятель второй половины восьмидесятых-первой половины девяностых годов, затем библиист-новозаветник и преподаватель древних языков Междуречья, был прихожанином Меня и на редкость проникательно пишет о его мессидже и общине неофитов:



«...речь шла о поисках укрытия, пазухи, в которую можно было бы «выпадать» из большого мира, из главной реальности...

Осенью 1983 г. о. Александр был у меня на новоселье... Гости – мои друзья, в свое время вместе со мной пришедшие к о. Александру в Новую Деревню, – с энтузиазмом стали обсуждать тему «свободной России». Кто-то спросил мнение о. Александра. Его ответ сразу повернул разговор в другое измерение: «А мы – мы уже живем в свободной России!»...

И правда, – комментирует Лёзов, – «...«органы» выполняли план, добирая всё, что хоть как-то давало о себе знать...

...в высшем смысле прихожанам предлагалась жизнь в свободной России, предлагалась неуловимая, как Джо, христианская духовная свобода, предлагалась обаятельная личность *батюшки*, предлагались те формы общения, которые еще не были запрещены начальством. Предлагалась альтернативная реальность. Конечно, игрушечная, но очень уютная – прежде всего для тех, кому не хватало сил утверждать себя в главной и единственно подлинной реальности, кому для самореализации и сохранения себя была нужна «альтернативная идентичность» и карьера в альтернативном сообществе.

...о. Александр не хотел (или был не в состоянии) говорить своим поклонникам правду о нашей общей социальной ситуации христиан, живущих после победы коммунизма. Правда разрушает альтернативную реальность, так как предполагает ее описание и понимание ее функций. Правда предполагает, что прихожане-«активисты» должны были бы осознать свою вторичную и несамостоятельную роль «профессиональных духовных детей».

Конечно, играть можно в любые игры – если их правила известны всем участникам. Но этого не было. Игровой контрмир предлагался людям, которые приходили к о. Александру в поисках способа сохранить себя в большом мире... Иначе говоря, многие люди – особенно молодежь – приходили к А.В.Меню в поисках смысла; далеко не все искали иллюзорную «альтернативную реальность». Однако правила игры им не объяснялись, люди не понимали, что именно они делают и что делается с ними. Те из них, кто обнаруживал обман, оказывались травмированными.

...политический аспект созданного о. Александром в 60-е – начале 80-х годов сообщества составляла иллюзия духовного самостояния и даже противостояния (христианского, конечно) власти – иллюзия, вступающая в ироническое соотношение с настоящей (профанной, нехристианской) жизнью, где о. Александру приходилось «крутиться» и выкручиваться [уступая госбезопасности].

...его делом оказался он сам: альтернативная реальность была возможна лишь в силовом поле его знаменитой «харизматической мощи».

«Очень любила Н.В. [Наталья Владимировна Кинд] и о. Александра Меня, не упускала возможности (обычно с Н. И. Столяровой) съездить у нему в гости» (Феликс Светов).

Весь этот пазл приходится собирать, чтобы уразуметь, почему, при всей настойчивости Шаламова, потребуется еще десять лет, чтобы «Колымские рассказы» вышли книгой на родном языке в мире, неподконтрольном советской тайной полиции. Почему готовая к изданию рукопись была присвоена адресатом даже не для публикаций в виде издательских журнальных подборок, как делал Гуль, а для того, чтобы скрыть сам факт ее существования, изъять из реальности, сделать недоступной, лишить читателя, критики, переводов, политического резонанса, участия в литературном процессе, заморить в карцере. Почему и в какой обстановке – при живейших контактах и взаимной зависимости культурного слоя столицы и эмиграции – это скотство было позволено и сошло с рук, тогда как естественная роль метрополии в отношениях с диаспорой – определять, что для связывающей их культуры является ценностями высшего ранга и должно немедленно попадать в центр внимания.

Точных ответов я не найду, у меня недостаточно материала – Шаламов не дал его, потому что в СССР это был бы материал для обвинения против себя, Сиротинская не дала, потому что он мешал ее лживой версии Шаламова, не желающего участвовать в «холодной войне» против Родины, которая, как говорится, дала ему все, эмиграция не дала, потому что подлецы стремились замести следы своей подлости, граждане СССР, хотя бы краем посвященные в обстоятельства дела – а таких в условиях строгой конспирации наверняка были единицы – умерли, как Столярова, прежде, чем сама тематика сделалась безопасной, другие – просто потому, что их не спрашивали, а не спрашивали от равнодушия, от полнейшего безразличия к тому, как было на самом деле (это и сейчас никого не интересует) – например, никто так и не поинтересовался у Хенкиных, а оба опочили совсем недавно, к кому же все-таки попал в конечном счете список-68; материала недостаточно потому, что никто из исследователей не заглядывал в архивы редакций «Нового журнала», «Граней», «Вестника РСХД», газеты «Русская мысль», издательств Оверсиз Пабликэйшнз и ИМКА-Пресс, не искал в архивах нотариальных контор и налоговых

служб, в фондах университетов, учреждений культуры и частных собраниях, не расспрашивал никого, кто был свидетелем хоть чему-то или мог знать из вторых рук, – словом, потому что всем и в первую очередь профессиональным шаламоведам, для которых это просто служба, рутинная конвейерная, освоённая кормушка, на все наплевать и никому не хочется портить ни с кем отношений в этом мире круговой политической и профессиональной поруки. Ведь «Колымские рассказы» давно изданы, стало быть, поле деятельности никуда не денется, а что еще может интересовать благополучных офисных короедов. Таким образом, мои ответы заведомо будут недостаточны, но как минимум это будут вопросы, на которые необходимо ответить.

К слову, коли уж вылез «жупел» «холодной войны», скажу по поводу возможного участия или неучастия Шаламова в этом одиозном армагеддоне конца второго тысячелетия. Шаламов не только готов был участвовать в «холодной войне» с советским режимом – он несколько десятилетий *уже* сражался против него без всяких народно-трудовых союзов, русских христианских движений, ЦРУ и подрывных радиоголосов, и «холодной» эта его война была только в смысле климата, в котором он отбывал свои ужасные арктические сроки как ее бессрочный военнопленный. Разумеется, передавая уничтожающую для «социализма, социалистической структуры», где только «смерть и убийство считаются делом чести» и «отличительная черта» которых – «массовое убийство кошек и людей», книгу на Запад, он автоматически присоединился к этой «холодной войне» – но с одной решающей оговоркой: он готов был участвовать в ней только волонтером, партизаном, траппером Фенимора Купера, и ни в коем случае не офицером, а тем более солдатом регулярной армии, куда на соответствующем этапе своей деятельности не раздумывая вступил Солженицын. Шаламов был свободным человеком, свободным художником и так же не ужился бы ни в какой идеологической казарме «свободного мира», как не ужился ни в какой из них в «социалистическом лагере». Шаламов по классификации Алена Безансона – тип бунтаря вроде Оруэлла и Кестлера, и представить его в униформе нельзя, хотя участие в «холодной войне» в качестве вольного стрелка это ничуть не мешает. Шаламов и был убит как участник этой войны, но убит тайно, удушен в подворотне, и удавку на нем совместными усилиями затягивали заклятые враги, заключившие по такому случаю перемирие. К чести Запада, он в этом удушении не участвовал, все было проделано в кругу родной культуры, родного языка и родных представлений о достоинстве и предназначении человека. Список-68 был похоронен не в под-

валах ЦРУ, а в письменном столе русского эмигранта, людоеда в парижских модах, имя которого непременно должно быть названо, и рано или поздно это случится – все убийцы, считал Шаламов, должны быть названы их настоящими именами.

Но покамест Шаламов не просто жив, но переживает «лучший месяц своей жизни» (Сиротинская). В июне она с оказией посещает Вологду и привозит Шаламову фотографии Вологодского кремля, кусочек Софийского собора, вблизи которого прошло его детство, и пищу для воспоминаний о родном городе, где он не был со дня похорон матери и внутреннюю связь с которым обрисует в письме к любимой в таких стилистически изысканных и несентиментальных строках: «Я же, если и воложанин, то в той части, степени и форме, в какой Вологда связана с Западом, с большим миром, со столичной борьбой. Ибо есть Вологда Севера и есть Вологда высококультурной русской интеллигенции, эти культурные слои переплетаются с освободительной борьбой до русской революции очень тесно. Но ни Лопатин, ни Бердяев, ни Ремизов, ни Савинков не являются представителями Вологды иконнопровинциальной, северных косторезов и кружевниц-мастериц. Это – душа Вологды, ее традиции в течение многих столетий... Как ни наивна эта вологодская гордость – исток ее в душе города», – города, заметим, который всем населением травит забежавшую белку и где отец Шаламова, почтенный и прекраснородушный священник-интеллигент, был оставлен земляками без куска хлеба.

Семья Сиротинской отдыхает в Крыму, она свободна и может временно предаться счастливому «викингу»-новоселу душой и телом. «Июнь 1968 г. был высшим пиком нашей близости, мы встречались ежедневно, В.Т. готовил ужин, по воскресеньям и субботам ходили купаться в Серебряный Бор. Как-то очень привыкли друг к другу». Я хотел бы пожелать этим людям счастья, счастья мучительного, счастья неординарного, потому что не может быть ординарным и безоблачным счастье писателя и его подруги, кинувших вызов «перемалывающим человека зубьям государственного механизма». Кто знает, может быть, в Сиротинской были задатки настоящей непреклонной идеалистки, для которой на миру и смерть красна, хотя верится – и не без оснований – в лучшее, и стервы-жены Нобелевского лауреата, устраивающей приемы и оберегающей покой нелюдима-мужа от назойливых посетителей? А, может быть, наоборот, ее домашность и мягкий характер сглаживали бы жесткость и необщительность знаменитости, и о ней бы вспоминали с любовью – и имена воспоминателей были бы у всех

на слуху. Ведь не рвет же она с Шаламовым как раз в годы, когда буря может разразиться в любой момент – и в 1966, и в 1968, а я ни на секунду не поверю, что такой человек как Шаламов, предлагая любимой женщине руку и сердце, стал бы скрывать от нее важнейшие обстоятельства предлагаемого союза. Да и зачем скрывать то, чему как раз предназначено разразиться громом и засверкать молниями? Разумеется, Сиротинская во все посвящена и, храня Шаламову верность, подвергает себя опасности. Именно эта посвященность пропитает ее такой живой ненавистью к Солженицыну и «прогрессивному человечеству» (которого она плоть от плоти, если бы не любовь Шаламова), лишивших Сиротинскую ее гламурной альтернативной судьбы, судьбы спутницы и вдовы добившегося мирового признания гения и героя.

Хотя в июне Шаламов последний раз, соблюдая хороший тон, передаст через Гродзенского, «если увидишь», привет Солженицыну, после него на свои материалы для «Архипелага ГУЛАГ» его отношение к рязанцу бесповоротно враждебно.

«На чем держится такой авантюрист?

На переводе!

На полной невозможности оценить... тонкости художественной ткани (Гоголь, Зошенко) – навсегда потерянной для зарубежных читателей.

Для заграничного издателя... важно нечто совсем примитивное».

Оттого, что это святая правда, легче не становится. «Нечто весьма примитивное» под названием «Раковый корпус» еще в апреле идет в литературном приложении к «Тайм» целыми главами, почти параллельно «В круге первом» выходит на русском в Цюрихе, западные «радиоголоса», вещающие на СССР, забиты обширными отрывками из его сочинений, а торжествующий автор, родной в этой стихии паблисити и скандала, дерзко распространяет среди коллег письмо, предающее гласности факты его преследований верхушкой совписа. Одновременно он публикует в газетах «Монд» и «Унита» лукавое – но все такие подневольные письма протеста, кроме будущего шаламовского, лукавы по умолчанию – заявление о том, что заграничные публикации незаконны, а инсценировки и экранизации он решительно порицает. Это такая советская игра, в которой нужно суметь сыграть на грани фола, преуспеть и сорвать овалы. Шум день ото дня усиливается, пока осенью не накроет Европу и не перелетит через океан. При этом Солженицын как ни в чем ни бывало сохраняет членство в Союзе советских писателей и пользуется неисчерпаемым расположе-

нием пьянчуги Твардовского («У вас в Европе уже большая слава, чем у меня»), слишком тесно связавшего «Новый мир» со своим протезе, чтобы в конечном счете не вылететь из игры, правила которой все-таки определяют компания Сулова и госбезопасность.

Шаламов болен – и тяжелее, чем думает. В Боткинской больнице в конце пятидесятых ему диагностировали болезнь Меньера – воспаление внутреннего уха, недуг обременительный, но не смертельный. Первый припадок он датирует ноябрем 1957 года. С тех пор он частенько поминает эту болезнь для объяснения приступов головокружения, тошноты и прочих болезненных состояний, мешающих ему писать и даже кончающихся падениями, хотя в прошлогоднем письме Гродзенскому оговаривает: «Меньер (синдром) ведь следствие, а не причина. У меня не болезнь Меньера, а то, что вызывает эти же признаки». Очевидно, Шаламов яснее видит положение вещей, чем хочет себе признаться, но имеющийся диагноз как бы снимает необходимость сосредотачиваться на этом сверх меры. Болезнь причиняет еще и специфические неудобства, связанные с повальным российским алкоголизмом – непьющего Шаламова постоянно принимают за пьяного и, по сообщению Лесняка, пару раз даже отвозят в медвытрезвитель. Жена Гродзенского, врач, из года в год выписывает ему справки (Ирина Полянская преувеличивает, рассказывая, что «печать на справку поставил он сам лично, помогая нерасторопной медсестре»), объясняющие для милиции и прохожих истинные причины состояния, похожего на алкогольное опьянение. Шаламов носит эти справки в кармане. Помогают они не всегда, и только через два года друг Гродзенского профессор патофизиолог Лев Карлик, ценитель шаламовской прозы, пославший ему в качестве знака признательности свою монографию о Клоде Бернаре, удостоенную, кстати, золотой медали Французской академии наук, по черновику Шаламова делает ему за своей подписью справку, отвечающую всем требованиям. Но справки не печат. В 1978 году Шаламову поставят совсем другой диагноз. Насколько компетентна советская неврология, сказать трудно, однако после четырехмесячного обследования врачи приходят к заключению, что речь идет о болезни под названием хорей Гентингтона (Хантингтона), прогрессирующем наследственном заболевании, поражающем мозг, лишаящем способности внятно выражаться и заставляющем больного непроизвольно дергаться и гримасничать. В словарной статье электронной энциклопедии о хорее Гентингтона сказано, что распространенность ее у людей европейского происхождения приблизительно 3-7:100000, лечение возможно только симптоматическое и следст-

вием развития является слабоумие и потеря памяти. Средняя продолжительность жизни после появления первых симптомов составляет 15-20 лет. Начинаться может как в детстве (реже), так и в возрасте тридцати-пятидесяти. Некоторые особенности протекания этой болезни у Шаламова противоречат описанной симптоматике. Прежде всего, слабые нарушения работы вестибулярного аппарата он, по собственному признанию, испытывал еще в детстве, подвергаясь насмешкам сверстников из-за боязни карабкаться на высоту по крутым лестницам. Память его оставалась отменной и в семидесятих годах, однажды он специально «проверил в памяти фамилии всех тридцати человек, штат кожевенного завода в Кунцево, где я работал дубильщиком в 1924 и 1925 годах, и выяснил, что помню все, а также лица, фигуры, слова» (Записные книжки, 1972). Говорить о слабоумии в отношении человека, осенью 1980 года надиктовавшего Александру Морозову цикл стихов, некоторые из которых превосходны, нелепо. Тем не менее, по всему, что рассказывает Людмила Зайвая, уже к семидесяти ему требовалась сиделка. Если интеллект его держится до конца, а психика только дает сбой, причем совершенно естественные в его положении, то физическое здоровье во второй половине семидесятих совершенно разрушено. Как говорит Солженицын, доживший со своим патентованным раком до мафусаилова возраста, «здоровье обрывчиво». Иначе говоря, для того, что называется активной творческой деятельностью, с 1966-68 годов, когда «Колымские рассказы» должны были выйти книгами, Шаламову остается восемь-десять лет. Опоздание здесь фатально. Выражаясь без недомолвок, люди, воспрепятствовавшие своевременному изданию «Колымских рассказов» книгой, лишили нас не только диалога Шаламова с миром, диалога, которого он жаждал всю жизнь – они лишили нас плодов его творческого роста, требовавшего стимулов, каких исчерпавшее себя подневольное московское существование дать уже не могло. Выражаясь еще яснее, эти люди – преступники, заслуживающие презрения и самой черной памяти в потомках. Имя одного из них известно – Роман Гуль. Имена остальных требуется установить, и я верю, что рано или поздно они будут установлены. Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

В июле Сиротинская возвращается в лоно семьи, точнее, уезжает к семье, которая отдыхает на юге и с нетерпением ее ждет. «...он говорил: «Я умру, не проживу месяц без тебя». «...я уехала в Крым, меня с восторгом встретили муж и дети, настоящая реальность, настоящая семья. А с В.Т. — не выдумка ли моя?» Нужно понять эту женщину. «... муж меня тоже очень любил, вот в чем дело. И между

двумя людьми существовать очень трудно». Да ведь не просто «между двумя людьми». Совмещать в душе и наяву столь разные, ничего общего между собой не имеющие реальности чревато шизофренией, и иначе как любовью – уж что там намешалось, не знаю – упорство сбегать для себя «выдумку» объяснить трудно. Чувство Шаламова намного более цельно, но Шаламов и значительно более, по-мужски, прост, Сиротинская – воплощение женской, текучей, обтекающей, пластичной, приспособляющейся стихии, для которой нет «да» и «нет», а есть вечное «да», всегда готовое обернуться «нет», потому что «да» или «нет» содержатся не внутри, а сложным образом порождаются обстоятельствами. Говоря «да» семье – сугубой, настоящей реальности, она не отказывается и от высшей реальности поэзии, мощно притягивающей и на таких расстояниях. В Крым она увозит память о посвящении, сделанном Шаламовым на машинописном сборнике недавно законченного цикла «Воскрешение лиственницы»: «Без нее не было бы этой книги». Книга, несомненно, была бы. Шаламов сам ответил на этот вопрос в одном из писем Надежде Мандельштам: «Для Ивинской написаны, говорят, хорошие стихи, говорят так люди, не понимающие природы творчества. Стихи все равно были бы написаны». Однако, щедрость дара способна покорить сердце любой женщины, хоть как-то способной этот дар оценить. Шаламов обещал писать ежедневно, Сиротинская думает, что это сказано для красного словца, каково же ее удивление, когда письма пишутся действительно ежедневно, хотя получает она их в ритме работы почты, иногда по три сразу. «Письма я писал каждый день, просто не в одно и то же время дня их отправлял». Приведу обширные цитаты из этой переписки, в которой личности Шаламова и Сиротинской сообщаются на контрасте, но по-своему органично. Кое-какие фрагменты буду сопровождать комментариями.

В первом сохранившемся письме (8 июля) (слово «сохранившемся» важно, потом скажу, почему) Шаламов пишет о Вологде, воспоминания о которой – или «анти-воспоминания», пользуясь его языком – послужат ему материалом для работы в гнетущем промежутке между КР-1 и КР-2, подменившими инерцией следующий, несостоявшийся этап его прозы. «Я думал, город давно забыт и встречи со старыми знакомыми – вологодскими энтузиастами, проживающими на Беговой улице – никаких эмоций – ни подспудных, ни открытых – у меня не вызывали,.. крест был поставлен на городе... А вот теперь... какие-то теплые течения где-то глубоко внутри. Я Вологду помню, но не очень люблю». «Вологодские энтузиасты» – это, по-видимому, земляк Шаламова, серийный советский художник Василий Сигорский,



малюющий с натуры московские городские пейзажи. Лето 1968 года можно считать началом работы Шаламова над «Четвертой Вологдой». Вологда всплывает и в другом письме (12 июля), в связи со смертью столичного литератора и тоже вологжанина Яшина. «Умер Яшин, – холодно сообщает Шаламов. – Он числился по ведомству генерала Епанчина-Твардовского в министерстве социального призрения, но вошел в историю литературы послесталинского общества – знаменитым рассказом «Рычаги», опубликованным «Литературной Москвой» – и представлявшем Знамя Дудинцевской школы. «Рычагов» Яшину никогда черносотенцы не простили, а для самого Яшина этот рассказ послужил рычагом, который сдвинул его в прогрессисты и дал ему возможность дожить, чувствуя себя порядочным человеком, хотя Яшинов о Сталине Яшиным написано немало. «Рычаги» же – лубок самой чистой пробы, даже более чем лубок». Казенный местный патриотизм Шаламову так же чужд, как «народ», о котором каждый на свой манер радеют «Новый мир» и его экзальтированные образованные подписчики с московской пропиской и противостоящие им на литературной арене имперско-почвеннические «Октябрь» и «Наш современник». На Вологду он смотрит глазами Запада, глазами уничтоженного русского культурного слоя, на уничтожении которого «народ» хорошо погрел руки, а потом ушел в дворники Спиридоны и «вологодский конвой» лагерных присказок. Шаламов – европеец и горожанин, ничуть этого не стесняющийся, что для одержимой комплексами и идеологическим ханжеством интеллигентской Москвы – моветон «самой чистой пробы».

10 июля: «О Пиросманишвили. Конечно, это искусственная репутация – особенно если помнить, что мы с тобой посмотрели большую, тщательно продуманную выставку, организованную покровителями художника. Одна-две картины из этой коллекции внушили бы наверняка мысли о том, что где-то рядом находится значительное и надо искать, смотреть, а когда собрали все вместе, видно, что искать большое искусство нечего, что этот примитивист такого рода, который может дать толчок большому искусству (вроде Шагала)...

Поиск художественной истины тут слишком неглубок.

Его открыватели – Зданевич, Ильин – это один из «вещистов» – русский соратник Эренбурга (кажется), футурист первого призыва (вроде Петникова)... Но я могу ошибаться».

Зданевич – это Ильязд, русский, точнее, парижский, стало быть, законченный космополит польско-грузинских кровей, футурист, дадаист, а позже сюрреалист, которого Борис Поплавский, возлюбленный

Столяровой, считал своим учителем, соратник Алексея Крученых и друг Пикассо, автор текстов, жанровую принадлежность которых до сих пор определяют с сомнением (например, «Парижачьи», роман «опись», по определению самого Ильязда, причем это уже «капитуляция» заумника перед чем-то осмысленным, или «Восхищение», тоже «роман», включенный таким знатоком русской литературы как Александр Гольдштейн в список лучших русских книг двадцатого века наравне с «Колымскими рассказами»). В Париже Шаламов не был бы чужим. С Парижем его связывает славная традиция русского модернизма и авангарда, с Парижем он бы нашел общий язык лучше, чем с Вологдой и Москвой, в Париже ему сделали бы слуховой аппарат. И уж на месте он бы добился издания «Колымских рассказов» книгой – при всех тайных и явных каверзах это как лагерь Ивана Денисовича рядом с приисками Дальстроя.

13 июля: «В письме есть неожиданная тревожная нотка: «Слишком резко все переменялось, я словно проснулась. Вообще, в нашем счастье, в нашей любви слишком много от воображения». Я этого вовсе не считаю, но сердце даже засосало, и я объяснил себе твое состояние тем, что ты еще не получила ни одного моего письма, хотя пора бы почте вести себя с большим сочувствием к нам... твои письма с дороги – это все облегчает, и много раз радовался твоей любви. Мне совсем не кажется, что она – от воображения...

Я бы хотел быть с тобой в Крыму, подниматься по той горе, что ты нарисовала». Здесь цитата из уничтоженного письма Сиротинской, почти в точности повторяющая позднейшую формулировку: «не выдумка ли моя?»

Что ж, честность высказанного сомнения говорит о глубине и честности отношений.

Шаламов считает дни. 15 июля: «Прошло уже десять дней после твоего ответа...

Паустовский не та фигура, которая может быть включена в исследование психологии творчества, но искать другие имена не хочу. Паустовский хвалит Блока – «Сотри случайные черты. И ты увидишь жизнь прекрасна». У Блока таких слов нет. У Блока: «Сотри случайные черты / И ты увидишь – мир прекрасен». Прекрасен, т. е. может быть предметом прекрасного, т. е. искусства. О жизни тут и речи нет, тут смысл совсем другой. Но уровень Паустовского не позволяет поднять-ся далее «жизни»...

Ты не сердисься, что я увлекся литературными примерами, как Флобер. Это потому, что я ждал твоего письма сегодня утром, а письмо не пришло.

Крепко целую, желаю, желаю...».

Итак, прекрасен мир как объект поэзии, но не жизнь сама по себе.

Милые ответы Сиротинской. «Мой дорогой, милый, любимый!

Предвкушаю, как я пойду сегодня на почту и получу твое письмо. Признаюсь, что я считала твое обещание писать каждый день просто милым преувеличением.

...ходили купаться и ловить рыбу на камни... мои дети мне внушили чувство гордости – такое редкое, за них: три прелестных шоколадных Маугли, так ловко они скачут по камням, с таким азартом ловят крабов, так красиво плавают. Я подумала, что эти красивые существа я произвела на свет, я показала им и камни, и море, и крабов... И они так гармонично выглядели среди камней, как ящерицы – тонкие, юркие, смуглые, голые...

Как ты живешь, мой дорогой? Как здоровье? Как пишешь? Я уже думаю, когда я увижу тебя: приеду 4-го вечером... наверное 6-го – к тебе. Но, может быть, 5-го встретиться хоть на полчаса у аптеки?».

21 июля: «Спасибо тебе за твои милые письма, за все, что ты внесла в мою жизнь...

О стихах ты пишешь хорошо... То, что ты называешь музыкальностью, – это ритменная организация, звуковой строй стиха. Музыкальность, благозвучность не совсем то. Эта звуковая организация не зависит прямо от мысли, не от нее возникает. Звучание должно быть проверено на слух, без этого звучания нет стиха. Но это звучание – не главное в стихе. У Пушкина все рифмы – глазные, рассчитанные на чтение глазами, потому-то Крученых смог написать свою «Сдвигологию» и «500 острот и каламбуров Пушкина», где отметил с пристрастием огрехи пушкинского стиха со звуковой стороны. Но «Люблю тебя, Петра творенье», весь «Медный всадник». «Полтава» – такой высоты чисто звукового музыкального орнамента, что о глазной рифме просто забываешь. Стихи это механика очень тонкая, очень...

Вокруг «Юности» есть большой круг людей, которые осуждают Твардовского за то, что он не сделал попытки связаться со мной, отчето его журнал много бы выиграл – и стараются это зафиксировать, где можно.

Крепко целую».

Небольшое отступление в качестве комментария. Об упомянутой «шахматной партии» в текущем литературном процессе он накануне уже обмолвился. Интрига закручена несколькими симпатизантами Шаламова – или недоброжелателями Твардовского – вокруг анкеты в ЛГ, оппонирующей хвалебным рецензиям на стихи редактора «Нового мира» парочки его собутыльников и внятно для посвященных противопоставляющей им как лучшие в первом полугодии стихи Шаламова, опубликованные в журналах «Знамя», «Москва» и «Юность». Автор ответа на анкету – специализирующейся на ЛЕФе и Маяковском критик Станислав Лесневский (в своих пасторальных воспоминаниях об этом эпизоде он назовет Шаламова «сухоньким, как былинка, по-этом» – несколько ошеломляющая характеристика человека, который для всех знавших и видевших его – «камень», «шкаф», «викинг», «черное дерево», «авангардистская скульптура из железа», все, что угодно, кроме «былинки»), ответ на анкету – «один из ходов этой партии по газетно-журнальной шахматной доске», «начатой несколько лет назад – ...улиткоподобные движения в газетно-журнальном и издательском мире растягивают» ее на долгие годы (Гродзенскому). Все это было бы смешно, не будь так грустно. В следующем письме Гродзенскому Шаламов мельком говорит о «своем редакторе Фогельсоне», которому принес стихи для готовящегося сборника. Виктор Фогельсон – работник издательства «Советский писатель», а названный сборник получит название «Московские облака», и эта «шахматная партия» уже отнюдь не смешна, хотя и столь же продолжительна, вернее, не смешна как раз в силу ее тягостной продолжительности – «Московские облака», изрезанные, исполосованные, чуть живые, выйдут только через четыре с лишним года, доставив Шаламову массу горечи, расчетливых ударов в самые уязвимые места и новых доказательств того, насколько «унизительная вещь – жизнь». Но пока все выглядит как раз наилучшим образом – у Шаламова вокруг «Юности» сложился круг почитателей (среди них, по-видимому, поэты Олег Чухонцев, Сергей Дрофенко, Давид Самойлов и Константин Ваншенкин, ничего собой по шаламовскому «гамбургскому счету» как поэты не представляющие: «Сейчас ведь нет стихов. Окуджава, может быть, кое-что»), рукопись КР отправлена западному издателю, любимая близка и желанна как никогда. Что же, в сущности, заставляет уже сыгравшего ва-банк передачей списка-68 на Запад Шаламова участвовать в сеансе одновременной игры на «газетно-журнальной доске» подцензурной советской периодики? Я думаю, вот что, точнее, не исключаю и такой мотивации. Издание книги на Западе с последующей пропагандистской кампанией в советской печати откроет массовому советскому

читателю само имя Шаламова – и важно, чтобы в распоряжении этого читателя были хоть какие-то тексты, пусть стихов, пусть даже в журнальных подборках, пусть даже изуродованных прогрессивно мыслящими редакторами. Кроме того, Шаламов ведь не только прозаик, он высокопрофессиональный и своеобразный поэт, создавших сотни стихотворений, и хотя, как нетрудно заметить, его поэзия, плод «увлечения каноническим русским стихом» и уверенности в «безграничных возможностях этого стиха», мне в основном не близка и я ее обхожу, сам Шаламов, по свидетельству Лесняка, хотя и считал, что «славу и бессмертие,.. принесет ему проза, его «Колымские рассказы» в первую очередь», однако, «порой отдавал приоритет своей лире».

17 июля: «Не знаю, ближе ли я к истинным ценностям, чем другие. Вряд ли. На свете тысячи правд, и главный вывод моей жизни – для себя и для других – что никто никого не имеет права учить. Всякий моральный совет порочен. Поэтому мнение мое – это только мое мнение, не обязательное для кого-либо другого, тем более для такого характера, как твой – глубокого, самоотверженного, сильного самой важной в жизни силой, не различающей деяния и слова, и всегда готовой подтвердить их единство. Где добро, которому может служить такой характер, как твой? Я горжусь тобой, горжусь нашей любовью. Что касается плена и то, что утрачено ожидание благ от внешнего мира, думаю, что все — внутри тебя самой...»

Последняя надежда утрачена».

Небольшой комментарий. Это слова из уничтоженного Сиротинской ее «меланхолического послания». На что она утратила последнюю надежду? Судя по ответу Шаламова – на обретение смысла жизни в качестве опоры для него и в любви к нему. Он, разумеется, не согласен:

«Последняя надежда вдруг оказывается вовсе не последней, крепость, мужество, оказываются безграничны. Мне нужна и твоя верность, и твоя любовь – еще бы? Хотя я и не разделяю твоего мнения насчет честолюбия, гордости, развлечения и привычек. Меня огорчает лишь то, что я могу тебе дать безгранично меньше, чем даешь ты – в жизни моей осталось немного того, что ты называла истинными ценностями...»

Год активного солнца. Чем он грозит нам?»

Сиротинская не уточняет, что именно они нагадали по Тютчеву, когда месяц назад праздновали день рождения Шаламова – седьмой десяток, нешуточный возраст для человека, у которого лучшие годы съедены концлагерями и которого подтачивает неизлечимая наследст-

венная болезнь, – а то можно было бы сравнить пророчества стихов с тем, что случилось. «Суеверен», – пишет она. Трудно не сделаться суеверным автору новелл «Почерк» и «Кусок мяса». Такого рода жалобы со стороны женщины в свою очередь служат как бы заговором на отвод несчастья и в подоснове их – как раз неизжитая надежда на лучшее. Я думаю, для принятия решения Сиротинской нужен мощный внешний толчок, и весь разговор ведется в предвидении этого надвигающегося толчка.

Сиротинская, около 20 июля: «...мы сегодня слазили на Сокол. О, милый, я чуть не умерла от страха!..»

Мне все время казалось, что ты со мной. Ты шел и подавал мне руку, где круто. Я очень хорошо представила тебя мальчиком – в Вологде. А теперь ты был лет 25–26, а мне и совсем было 17 лет. Ах, милый, какой ты был сегодня красивый! Загорелый, голубоглазый, бесстрашный! Мне кажется, что я всегда была с тобой. Неужели ты прожил без меня 58 лет? Посылаю тебе иголку от сосны с Сокола, где мы с тобой были».

22 июля. Опять ответ Шаламова на уничтоженное ею письмо от первой декады месяца, изложение философии одиночества с частным случаем парности: «Продолжаю нашу грустную переписку. Если уж в мире укрепилась такая омерзительная общественная формула, такой социальный организм, как семья (а советская семья – самая фальшивая из всех подобных формаций), то единственный рецепт семейного счастья – это жить врозь по всем мыслям, по всем признакам. Все должно быть разным: профессия, знакомые, квартиры. Даже интересы не должны сходиться...

Другой способ – это жертва кого-либо одного, жертва на всю жизнь, единственную жизнь – это одно из самых страшных преступлений получающего...

...об одиночестве. Видишь ли, это качество – оптимальное состояние человека. Одиночество – это состояние Бога, который думал, сотворить ли ему людей или нет. Адаму уже нужна Ева. Создается лучший человеческий коллектив, идеальная магическая цифра 2, которая показала даже в кибернетике, в вычислительной машине свою мистическую природу. Двое – это живые люди, которые могут перевернуть мир и которые не будут ссориться из-за взаимной выгоды, необходимость иметь помощь, совет, удесятеряющий силу. Удовлетворение полового желания. Лучший коллектив – двое, трое – это ад. Это совсем не двое. Это другой моральный мир, рождение зла, завис-

ти, вражды, предательства, насилия. Трое, даже если третий ребенок, это блоки, интриги, союзы, антисоюзы. В коллективе более трех – человек перестает быть человеком, приближаясь к биологическим законам стадности, в которых любой неандерталец гораздо моральнее какого-нибудь Оппенгеймера или Курчатова.

Вот тебе философия особенного одиночества.

Конечно, когда человек живет один – он не совсем одинок – и с ним книги, а одиночество с книгами, – полное ли это одиночество? Думаю все ж, что полное. Только общение с живыми людьми причиняет боль, а я не помню, чтоб какая-нибудь книга при всей моей впечатлительности в детстве и юности причиняла бы боль.

Итак, я не знаю, как решать наш вопрос. Ты могла бы сказать, что в самом отказе от решения уже есть решение, но это не так. Решения действительно нет.

Я не успел еще ответить на твое желание «защищенности», выказанное два письма назад.

Жизнь моя сложилась так, что мне мало пришлось быть защищающим. Больше защищаемым, но я всегда стремился выгородить себе такой мир, личный мир, где нет ни защищающих и тех, кто нуждается в защите. Мне кажется, что защищенность должна быть в ладу с общественным строем, с властью. Только тогда он может чем-то кому-то помочь».

Как понять последнюю фразу? Похоже, она сформулирована в контексте не дошедших до нас бесед, а главное, факта «оргии обысков», которые Сиротинская уже застала. Общественный строй может помочь только тогда, когда он в ладу с защищенностью человека. Иначе говоря, если от Шаламова требуется обеспечить Сиротинской «защищенность», то это едва ли возможно, поскольку с общественным строем он явно не в ладу, большую часть жизни ему приходилось быть защищаемым, защищенность, которую может обеспечить его личный мир, выгороженный из общественного строя, свободный от власти, которая и превращает людей в «защищающих и тех, кто нуждается в защите» – это очень хрупкая защищенность, нельзя требовать от него большего, чем он может дать. «Грустная переписка». Сиротинская с ее «настоящей реальностью», обеспечивающей максимальную бытовую защищенность стадного советского человека – и Шаламов с его реальностью, за отсутствием трансцендентной венчающей иерархию бытия, но зато не защищающей от угроз первой.

23 июля: «Спасибо за сердечные твои письма, обнимаю... Нагорная проповедь твоя, разумеется, ничем не уступает канонической.

При чтении Евангелия – особенно первых трех апостолов у меня всегда было впечатление – что это беседа в каком-то очень узком, почти семейном кругу, на примерах родной или соседней деревни, что все случается здесь же, в Судаче, в Новом Свете, на Большой Песчаной, что это – разбор утренней газеты или комментариев к объявлению сельского стражника. И нагорная проповедь – это просто разговор с друзьями, с детьми, с близкими знакомыми, а не мистический транс полугипнотизера-провидца...

Как это здорово, что ты там в горах учишь добру. Не шучу, я знаю твое мнение о своем долге, о том немногом и огромном, что надо принести людям».

Сиротинская, 25 июля: «...сегодня получила сразу три твоих письма...

Смотрю на море – вода, много воды – ничто не успокаивает больше... море так несуетливо в своем движении, так постоянно и так переменчиво...

А ты мне иногда кажешься, как ни странно, суетным. Вернее, озабоченным пустяками – это понятно, что ты не любишь моря. И что тебе чужда религия и музыка – это все одно».

26 июля: «...боязнь высоты у меня точно такая же, как и у тебя, – на Колыме я никогда не мог перейти по бревну, достаточно толстому и устойчивому через пропасть, ущелье, распадок – садился и перебирал руками. Я в Вологде, в детстве, юности не ходил на колокольню и не смотрел город с высоты, боялся подойти к перилам – а мне кричали:

«Трус, не может». И я лез к перилам – и опять пугался, терял равновесие – в те времена таких тонкостей, как вестибулярный аппарат, не принимали во внимание».

Сиротинская, 27-28 июля: «30-го я напишу тебе последнее письмо. Скоро уезжать, а мне грустно расставаться с морем, скалами. Все это – как осуществившаяся мечта моего детства. Тогда я писала стихи о море и скалах, не видел их ни разу. А мои заевшиеся дети ноют – надоело море... Странно как-то! А их я стараюсь напичкать всем, чего была лишена, а им это не надо...

Можно ли сделать другому человеку что-то доброе? Или просто надо предоставить его своей судьбе?».

28 июля: «...последняя моя корреспонденция – в Крым... Я могу, конечно, писать для тебя письма в июле – в сущности так же и для



себя, наверное... но не всегда это живая переписка, новое общение. Я, например, когда пишу и если перечитываю, всегда думаю, какую ты сделала рожицу при этой вот фразе, а при этой? ...живость общения. В случае сочинения писем в стол требуется подняться еще на один этаж воображенья, чтобы сделать все живым. На лишний этаж. Очень близко к такого рода лишнему этажу в личной переписке стоит писание рассказов, ибо в самой своей важной сути рассказ – это письмо. Честное письмо. И общественных начал у рассказа нет».

Небольшой комментарий к «лишнему этажу», пример того, как создается «новая проза».

«Море под Магаданом – часть берега, часть береговой жизни, больше похожее на северное болото, чем на море. В тридцать седьмом году Крист проработал с лопатой около моря несколько дней – все время было ощущение чего-то недоброго, недружелюбного, чуждого людям, а в пятьдесят первом в бухте Веселой и на Ольском рейде – Крист в несколько дней обернулся у Магадана – его не взяли на фельдшерскую работу на о. Сиглан в Эвенском национальном округе из-за анкетных данных и ему пришлось возвращаться в Магадан – прыгать в море с борта «Кавасаки», ибо пьяный механик вышел из Олы позже расчетного времени, отлив уже кончался, и все пассажиры, не смущаясь надвигавшимися волнами, прыгали прямо в темное море и вплавь достигали берега. Он тоже плыл со своим чемоданом, сушился после в бухте Веселой у своего знакомого Яроцкого, который сейчас живет в Кишиневе. Вот это-то море Охотское – мутное, злое, гремящее где-то за спиной, издали – ему и разонравилось навеки. К тому же была осень, хотя и не холодно, но он знал, что мороз может ударить вот-вот – и все потемнеет, закончит надолго какую-то главу из его жизни. Ведь главы жизни на севере пишутся по метеорологическим, климатическим законам внешней силой, управляющей любой человеческой повестью – зима, лето, весна, очень короткая осень (порог)».

Это не рассказ. Рассказ «Путешествие на Олу» будет написан намного позже и не с такой плотностью. Я просто заменил в одном из писем Шаламова Сиротинской первое лицо на третье и дал этому третьему лицу имя персонажа, за которым в некоторых из КР угадывается автор. Рассказ – это беседа с воображаемым читателем, сумевшим подняться за поэтом на уровень слышимости. Нижняя граница уровня слышимости отмежевывает область обыденного сообщения от художественного, описательную литературу с выдуманным сюжетом – от поэзии, отвергающей и то, и другое, документ – от «прозы, пережитой как документ». Письмо, печатавшееся Сиротинской как литературный

манифест [О новой прозе], написано уже в тот период, когда Шаламов обращается к ней «Ирина Павловна», в 1971 году. Но существует более ранний манифест, подаренный Шаламовым Юлию Шрейдеру, который Шрейдер датирует как раз шестьдесят восьмым годом. Там тоже проскальзывает это слово: «Эффект присутствия... Письма – выше надуманной прозы». Эти содержательные составляющие письма – наравне с формальной, ритмической и звуковой, стороной текста – и определяют характер «новой прозы» во всех будущих попытках Шаламова сказать о ней что-нибудь внутреннее непротиворечивое: информация, которую нужно передать (подчеркивается решающее значение ее новизны), и личная интонация. Шаламовская теория «новой прозы» внутренне противоречива, поскольку противоречива задача: «документ» отсылает как раз к «истории лагерей», тогда как «летопись души» – к воображению, насыщающему документ значением, соизмеримым с душой, иначе говоря, всеобъемлющим, какого документ как принадлежность места и времени не имеет. Шаламов постоянно подчеркивает, что все его рассказы документальны в буквальном смысле. Это сбивает с толку. Исследователи не раз отмечали использование в КР разных вариантов одной и той же фабулы или несостыковки в судьбах героев. Ничего удивительного. Судьба Шаламова – типовая судьба советского лагерника-«литерки», а лагерь, место заключения, сводит количество ситуаций, предоставляемых такому человеку, к минимуму. Лагерь живет законами больших чисел – что-то новое выпадает единицам, уцелевшим на выходе из смертоносных типовых ситуаций, а типовая ситуация колымского лагеря – это общие работы, быстро превращающие заключенного в доходягу и лишаящие индивидуального опыта вместе с «индивидуализацией», «характером» и цветом глаз, которого, по словам Шаламова, у заключенных на Колыме нет. Единственная возможность уцелеть – найти место, позволяющее избежать и без того скудного разнообразия лагерных ситуаций, закрепиться на должности, которая позволяет физически выжить. Типовые лагерные ситуации не дают душе возможности обрести историю, «летопись», отключают воображение. Художественное воображение, связанное отпущенными человеку типовыми лагерными ситуациями, включиться бессильно, для него нет пищи. Лагерь упраздняет воображение вместе с душой, цветом глаз и возможностью выбора, сводя существование человека до простейших бихевиористских схем поведения. Чтобы душа обрела историю, ей нужно силой воображения овладеть некоторым разнообразием лагерных ситуаций, которое складывается из спасительного однообразия судеб немногих уцелевших из тысяч. «Летопись души», которую пишет Шаламов, не может быть в

буквальном смысле документальной, тело ее не переживет. Информационная составляющая глав этой летописи, поднятых воображением на этаж выше письма, недостоверна как документ в точном смысле – что больно задевало бесталанного Лесняка, – она достоверна как свидетельство души поэта, постигающей в жалком разнообразии этого мира его сущность.

Задача Шаламова внутренне противоречива, потому что это задача гения. Гений не перестает быть человеком. По-человечески гения возмущает то же, что возмущает обычного человека. Гений, пройдя концентрационные лагеря, жаждет донести правду о них не в меньшей степени, чем обычный пострадавший человек. Правда о лагерях, доступная изложению мемуариста, смешивается с правдой о бытии, доступной изложению только гения. Когда Солженицын предлагает Шаламову писать «Архипелаг ГУЛАГ», он обращается к себе подобному, правда которого сводима к правде об истории лагерей, и «тяжело поражен» мгновенным отказом. Причина недоразумения – путаница в понимании правды гением и обычным способным литератором и историографом. «Архипелаг ГУЛАГ» – актуальный набросок истории советской концентрационной вселенной, раскрывающий правду через свидетельства очевидцев в условиях невозможности пользоваться архивами. Этот набросок можно и нужно править до бесконечности. Солженицынская правда о лагерях – это правда убийственной статистики и массива фактов, делегитимирующих режим. Правда Шаламова включает и эту правду, но не исчерпывается ни ею, ни следующими из нее политическими или идеологическими выводами. Ее документальность не подтверждается или опровергается архивами, а подтверждает или опровергает архивы. От «Архипелага ГУЛАГ» не осталось ничего, кроме названия, усилиями всей пропагандистской машины мира ставшего брендом. Того, что под обложкой, никто не читает и не прочтет. «Колымские рассказы» будут читать всегда. Статистика уточняется и пересматривается. Летопись души неопровержима.

Я хочу сказать совершенно недвусмысленно: реальная Колыма существует лишь в той мере, в какой существуют «Колымские рассказы». Как мощный узел европейского культурного кода она существует ровно в той мере, в какой не существуют, к примеру, Воркута и Норильск, хотя творившееся там не менее апокалиптично. Реальная Троя раскапывается и изучается потому, что существует гомеровский эпос. Через миф она обретает реальность. Следы Атлантиды ищут и находят потому, что существует миф об Атлантиде, переживший тысячелетия. Дублин существует и останется в памяти человечества, потому что по нему странствовал Леопольд Блум. То, чего не существует в культуре,

не существует в реальности. Высшее существование в культуре дает поэзия. Парадоксальность теории «новой прозы» и самой этой прозы в том, что гений попал на Колыму и сумел там выжить. Колыма – место, активно отрицающее культуру. Культура – венец цивилизованной человечности, а Колыма оставляет от человечности тот особенный племенной уклад сообщества недочеловеков – низведенных до таких либо уродившихся таковыми, воров – который использует остатки культуры для окончательного растрепания того, чему они служили в здоровом обществе. Никакое общество, ни в каком самом остром конфликте с поэтом не отнимает у него культуры вместе с возможностью осваивать этот мир средствами ее высших достижений – поэзии. Золотой забой Колымы отнимает у поэта культуру вместе с человеческим обликом. Мир Колымы не может быть освоен поэзией, это та абсолютная новизна ситуации, которую дает опыт Шаламова. И одновременно этот опыт приносит новое знание: культура, а вместе с ней и поэзия, умирает вместе с телом, но вместе с телом и возрождается, до конца оставаясь в его составе – угнетенная, нераспознанная, но при возвращении к жизни так же способная к восстановлению, как клетки мышц или кожи. «... вот тут – я это ясно помню – под правой теменной костью – родилось слово, вовсе непригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:

– Сентенция! Сентенция!»

Гений не может пережить Колыму, но если он ее пережил, он открывает, что эта изнанка мира тоже может быть освоена поэзией, а значит, обрести бессмертие и в нем меру существования, позволяющую говорить о реальности. Спротивляемость поэзии миру, вывернувшему себя наизнанку ради того, чтобы покончить с поэзией, такова, что она не только выживает, но, следуя своему предназначению, вводит эту адскую пропасть в синклит высших миров.

Здесь я вижу объяснение многочисленным противоречиям Шаламова в попытках объяснить, что и для чего он пишет. Он пишет не «литературу» и даже не «рассказы», тем более не «воспоминания». Он пишет то, что не было бы литературой, на худой конец письмо, «честное письмо» – эпистолярный жанр так далек от традиционной описательной литературы, что, пожалуй, не компрометирует его «новую прозу». В то же время он пишет именно рассказы, притчи, медитации, стихотворения в прозе и очерки, очень своеобразные, но наследующие традиции короткого повествования – он часто упоминает, что десятилетиями думал над тем, как делается рассказ, экспериментировал с техниками и испытал влияние таких писателей как Амброз Бирс, Джек

Лондон и Сент-Экзюпери. Его позднейшее стремление отделаться от любых условностей, налагаемых на повествователя литературной традицией и самим языком, не ведет никуда, ведет к молчанию, ибо это известное стремление максималиста дать точный поэтический образ действительности, в данном случае осложняющееся тем, что действительность абсолютно нова именно полной опустошенностью от поэзии с ее способами освоения мира, предполагает единство природы действительности и поэзии, тогда как эти миры давно не столько являют в разных формах свое внутреннее единство, сколько противостоят друг другу как порождения низших и высших этапов становления человечности. Шаламов не нуждается в гипотезе бога, поскольку для него все содержится в человеке – и высшее, и низшее, и высшее обнаруживает себя не только в величайшей сопротивляемости низшему, но и в способности дать его поэтический образ, иначе говоря, облагородить до состояния, которое роднит царственные миры Данте и подлейшую, тлетворную лагерную вселенную Шаламова. «Новая проза» не может быть документальной потому же, почему существуют «Колымские рассказы» о том, чего человек знать не должен. «Колымские рассказы» – вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно» (манифест [О новой прозе]). Повествуя о том, зная чего, по его же собственному утверждению, только растлевает читателя, Шаламов намеренно обходит разгадку этого парадокса, поскольку разгадка опровергает его заявление о документальной достоверности «Колымских рассказов». Мир «Колымских рассказов» – это не мир Колымско-Индигирского лагерного управления, УСВИТЛа или Дальстроя. Это мир души, постигшей Колыму, и гения, облагородившего ее до состояния, приобщаясь к которому, облагораживается и читатель. Приобщение к поэзии не растлевает, а восполняет, не повергает в скотство, а облагораживает и наделяет достоинствами. Сожаления Шаламова о том, что слова искажают данные его опыта и тем самым лишают драгоценной аутентичности – это сожаления о том, что поэзия и действительность – не одно и то же, словно будь они одно и то же, жизнь не была бы волшебной сказкой. В «Колымских рассказах» Шаламов до конца использовал возможности формы, какие на его время давала поэзия, остановившись на границе, за которой авангард как искусство превращается в авангард как перформанс, социальное действие, обезьяну действительности, капитулирующую перед миром данного в ощущениях. Даже гений не может обогнать естественный темп наращивания поэзией средств и способов выражения, он может только выпрыгнуть за ее пределы и стать объектом скандала, что и ведет к успеху у обывателя и части так называемых

экспертов – идеологов всесмешения, ничем, по существу, не отличающегося от проказы «социального заказа» и «направления». Есть, правда, еще один, особый, случай, случай Шаламова, редчайший случай преобразования действительности в поэзию наяву, но об этом позже. Проза Шаламова до конца оставалась фронтиром искусства повествования, а фронтир не может обогнать самое себя, он может оторваться от цивилизации, которую представляет, и кануть в расстилающемся перед ним безграничном варварстве. Шаламов хорошо усвоил урок двадцатых годов, урок традиции и ее разрушения, и «новая проза» – ответ не в меньшей мере доктринерской «литературе факта», чем Льву Толстому. Дести «честных писем» преобразуются в миф, дарующий Колыме реальность, которой та не заслуживает. В этом нет никакой справедливости. Справедливость в том, чтобы Колымы не существовало. В этом явление гения и самоутверждение поэзии как высшей инстанции бытия.

Из всего сказанного с очевидностью следует, что ни к «лагерной литературе», ни к «разработке темы Колымы», как неуклюже выразился Демидов, проза Шаламова отношения не имеет и что модная сейчас проблематика «свидетельства» задевает ее лишь косвенно, хотя и задевает. Художественная задача Шаламова самым парадоксальным образом вырастает одновременно из двух взаимоисключающих установок, сведенных воедино парадоксальным фактом случайного выживания гения в лагере смерти и вообще встречи гения с концентрационной вселенной, поднявшейся со дна человечности, – из установки на протокол, поступающий в распоряжение обвинения на земном, не потустороннем суде («Документ становится во главу угла»), и установки на «чистое искусство», искусство ради искусства. «...общественных начал у рассказа нет».

Сиротинская, конец июля: «Дорогой мой, пишу тебе последнее письмо!»

Сегодня опять ходили в горы! Великолепно! Новый Свет – райский уголок. Всюду ветер, волны...

Милый, как хорошо у моря! Я хотела бы всегда жить у моря, всю жизнь...

Наверное, своя страна – это потребность каждого человека – Бимини, Дельфиния и что-то еще.

Я бы хотела всегда жить в Бимини, но это слишком много...

Приглашаю тебя в гости в Бимини. У меня есть флигель для гостей, маленький домик. А когда гость мне надоест, я посылаю ему ут-

ром цветов, и он исчезает в море. А потом моя яхта снова качается у причала – пустая. Когда же мне становится скучно одной, я вступаю на яхту и отправляюсь в плавание. Ты хочешь погостить на Бимини?..

Значит, 5-го в 6.30!..

Целую. До 5-го!»

Сиротинская, Расторгуево на подъезде к Москве, 29 июля: «Мой дорогой, мой любимый, милый, сокровище мое!

Сегодня проснулась и подумала – когда нас любят – мы существуем, а когда нет – нет и нашего существования...

Потому что я живу в заботах о детях, о каких-то делах и забываю о том, что я тоже есть – я не чувствую своего отдельного ценного существования, даже физического – я просто не чувствую – ты понимаешь? – как живет мое тело, только в голове – какие-то отдельные от жизни представления живут в своем замкнутом мире. А когда я чувствую себя любимой, я вдруг замечаю, что я и сама по себе живу на земле.

...что еще, кроме любви, дает такую материальность жизни? Не представляю – что. Политика? Точнее – честолюбие? Для меня – нет. Все-таки в любви соединяется очевиднее всего два начала мира – материальное и духовное. Словно материализуется то, что называется душа...

Целую тебя тысячу раз. Я думаю еще – как совершенно необъятен наш внутренний мир, какие там пропасти, моря, вершины, джунгли. Каждый человек – целая планета! И живешь в каждый момент в каком-то одном ее уголке.

Целую, целую, целую».

В сохранившейся и опубликованной летней переписке 13 писем Шаламова и 5 Сиротинской. Памятуя, что Шаламов писал ежедневно, если не чаще («письма я писал каждый день», «я только успела привыкнуть к твоим каждодневным письмам»), это означает, что по меньшей мере половину его писем возлюбленная «твердой рукой архивиста» уничтожила. Уничтожила она и не менее половины своих писем, поскольку Шаламов определяет «приемлемый срок» перерыва между ее посланиями в «два-три дня», стало быть, посланий этих должна быть как минимум дюжина. Уничтожение писем Сиротинская объясняет их интимным характером. Не знаю, что вкладывает в слово «интимный» советская женщина, член «такого омерзительного социального организма, как семья», наверняка это и близко не стояло к чему-либо из новеллы «Черная мама». Но для меня важно другое. В

этих уничтоженных письмах должны были скрываться намеки на последствия скорой публикации КР книгой в эмигрантском издательстве, возможно, понятные только им двоим, но в контексте известного на сегодняшний день способные быть расшифрованными и кем-то со стороны, например, мной. Как оба представляли эти последствия? Какие строили планы? В чем находили согласие, а в чем – нет? Как далеко простиралась решимость Сиротинской сохранить отношения – ведь выход книги должен был буквально взорвать жизнь обоих? Такая ситуация не могла не быть предметом упорных раздумий и – пусть зашифрованного – живого обмена мнениями. Сожжение писем, «аутодафе» (Сиротинская) – всю жизнь Шаламова преследуют сожжения и самосожжения – лишило нас возможности ознакомиться с ними, но само уничтожение писем говорит, что действительное положение дел было прямо противоположным излагаемому Сиротинской в позднейших версиях.

«Насколько я знаю, это [список-66] была единственная попытка публикации, предпринятая с его ведома.

...все последующие публикации были взяты из «самиздата».

...он об этом и не знал» (интервью Джону Глэду, 1992).

Это тщательно скрывавшееся Сиротинской интервью – единственное, где вообще упомянут список-66, в дальнейшем версия благонамеренного «моего друга Варлама Шаламова» окончательно очищается от упоминаний подобных инициатив. Глэду, американскому переводчику Шаламова, интервьюировавшему в 1982 Романа Гуля и кое во что посвященному, врать было трудно, кроме того, в то время Сиротинская еще нетвердо знала, что следует говорить, а чего нет, и общая неопределенность допускала такие обмолвки. Но о списке-68 Глэд мог не знать, во всяком случае, не спросил.

«...я не вру, но я умалчиваю о многом».

Если такого рода умолчание не есть сознательная ложь, то не вижу разницы между правдой и ложью. Мотивы Сиротинской незамысловаты и нечисты: угодить всем за счет Шаламова. Ничто не мешало ей в последние двадцать лет говорить правду, но правда эта была неудобна в первую очередь ей самой, продолжавшей оставаться ортодоксальной лагерной патриоткой на должности заместителя директора РГАЛИ – солиднейшей охранительной институции, служившей одновременно местом заключения шаламовского архива. У меня нет и не может быть никаких претензий к поведению Сиротинской при жизни Шаламова – двое людей сами разберутся в своих отношениях, а он ее любил и долгие годы питал к ней глубокую благодарность. Мои претензии – к тому, как она распоряжалась памятью о Шаламове и его



архивом после его смерти. «Пастернак был ее ставкой, и она ставку использовала, как могла. В самых низких своих интересах» (Шаламов об Ольге Ивинской, но имена легко заменимы).

Немного о достатке Шаламова, поскольку его известное стремление к независимости должно быть хоть как-то обоснованно материально. Бытовая неприхотливость – простейший лагерный навык, но Шаламов – не нищий, как часто рисует его лубок. «Легенда о крайней его бедности спустилась с парадной лестницы штампов» (Ирина Полянская). Во второй половине шестидесятых его пенсия составляет 72 рубля. Изданный поэтический сборник приносит 3000 – деля на четыре-пять лет – примерная регулярность выхода книжек – это еще рублей пятьдесят в месяц. Небольшие гонорары за журнальные публикации дают, скажем, червонец-два. Кроме того, Шаламов подрабатывает переводами с подстрочника – нельзя ставить медленно удушаемого в ситуацию, грозящую близкой голодной смертью, это может спровоцировать бунт (на то, что бунт уже поднят, совпис и тайная полиция закрывают глаза – подборки в малотиражном нью-йоркском ежеквартальнике и халтурное издание лагерных записок некоего Шаланова на немецком, возмущившее самого Шаламова – во-первых, не того масштаба, чтобы всерьез инкриминировать это человеку, наперед отсидевшему все возможные сроки, а во-вторых, род клапана, через который стравливается накопившийся пар). Шаламова не лишают возможности зарабатывать переводами, а «переводы стихов – дело хорошее и не трудное, хотя и очень неприметное. Строк 300–400 в день я переводил, а Евтушенко уверял, что может переводить до 1000 строк за шестичасовой рабочий день... Главный минус этой работы в том, что по нашей издательской практике материальный эффект наступает только через три года (как и с изданием обычных стихов)». «Это ведь очень легкое дело (по подстрочнику). Когда-то я переводил до 300 строк в день». Шаламов даже может позволить себе выбирать. Например, он охотно берется переводить еврейского поэта-самоучку Хаима Мальтийского, потерявшего в Катастрофе всех близких, искалеченного на фронте, отсидевшего десять лет в советском концлагере, обещая «сделать все, что в моих литературных силах, чтобы эти стихи не утратили тех качеств, которые всякий стих всегда теряет при... переводе», но при этом готов был решительно отказаться от работы, «если хоть строчка будет в этих стихах о благодарности за судьбу и науку, хотя бы в самой завуалированной форме». В целом колеблющийся от месяца к месяцу и даже от года к году заработок Шаламова составляет, по видимому, 150 и больше рублей в месяц, у меня нет возможности за-

глянуть в налоговые ведомости, и это совсем не мало, учитывая, что средняя заработная плата по стране в середине шестидесятых составляла около ста рублей – от восьмидесяти в сфере образования до ста десяти в строительстве, к концу шестидесятых она несколько увеличилась. По словам Сиротинской, она, научный сотрудник, зарабатывала 110 рублей. Она справедливо не приемлет лубочный образ Шаламова-бедняка, однако, в годы гласности-перестройки создавала его сама: «...ему дали пенсию 72 рубля. На эту «большую сумму» он и прожил до конца своих дней», – говорит она в большом интервью 1988 года. Бросающиеся в глаза скудость и аскетизм жизни Шаламова (можно добавить пронизательное наблюдение Шрейдера: «Предельно аскетичный образ жизни был вызван не только отсутствием материальных средств (в конце концов, есть роскошь бедняков), но и внутренней установкой на полную независимость от жизненных обстоятельств») вызваны, скорее всего, отсутствием постоянной женской руки в доме и нерациональностью трат, упорядочить которые Шаламов едва ли в состоянии и как мужчина, и как поэт. Сиротинская приводит его трогательную жалобу: «– Прихожу в парикмахерскую, говорю, как меня подстричь. А парикмахер отвечает: смотрите, это будет стоить два рубля. Я не понимаю, по-моему, у меня вполне обеспеченный вид... Я его успокоила: конечно, вполне обеспеченный».

В глазах парикмахера двухрублевая стрижка для пенсионера с видом Шаламова может быть непозволительной роскошью, тем не менее, Шаламов вполне способен себя обеспечить. Непонятно, правда, как он собирается обеспечивать семью из пятерых человек, поскольку, по рассказам Сиротинской, при всех его декларациях о паре как единственно возможном человеческом коллективе в составе фурьеристской фаланги («Трое – это ад. Все равно, что тысяча»), «потом [он] был согласен и на троих» (пасынков). Однако, все это его прожектерство, на мой взгляд, вообще неразрывно связано с надеждой на радикальную перемену жизни после выхода КР книгой. Выход книги, вернее, книг на русском – а следом переводов – на Западе неизбежно вызовет эффект домино, последствия которого просчитать невозможно, но в любом случае это будет уже совершенно другая жизнь, которая вместе со славой должна принести гонорары за самоотверженный труд пятнадцати лет. Собственно говоря, вполне здравые рассуждения. У меня нет точных цифр, но в ходе и после распада СССР общий тираж приблизительно шестидесяти только российских изданий поэзии и прозы Шаламова составил едва ли не миллион экземпляров – не считая публикаций в периодике, тиражи которой в свою очередь исчислялись сотнями тысяч и миллионами экземпляров, и деньги эти достались

тем, кому и предназначались, за вычетом того, кто их заработал. Что мои реконструкции – не праздные домыслы, свидетельствуют гордые слова Шаламова, записанные Сиротинской: «Если слава придет ко мне без денег, я выставлю ее за порог». Оговорка «если» здесь риторическая, и вся конструкция риторическая: слава придет и придет с деньгами. Так оно и случилось, но «жизнь – отмерена, а здоровье обрывчиво», как мудро говорит Солженицын.

(Напрашивающее отступление в сторону презренной товарной цены плодов творческого труда. Действительно, интересно было бы посчитать суммарный тираж всех – российских и зарубежных – изданий Шаламова, а также суммарный тираж журнальных публикаций – например, номер «Нового мира», так долго брезговавшего «очерковой» прозой Шаламова, а в 1988 году напечатавшего здоровенную подборку КР объемом в сорок с лишним страниц убористого журнального шрифта, имел тираж один миллион сто пятьдесят тысяч экземпляров, и это не что-то из ряда вон выходящее – журнал «Юность», тоже печатавший в это время «Колымские рассказы», выходил тиражом 3 100 000, а «Огонек» – 3 350 000 экземпляров, – и хотя бы приблизительную сумму выплаченных гонораров в переводе на твердую валюту или в золотом эквиваленте, поскольку рубль – понятие растяжимое. Интересно также было бы прикинуть, какое количество людей – рабочих леспромхозов и целлюлозно-бумажных комбинатов, редакторов, машинисток, корректоров, наборщиков, переплетчиков, переводчиков, критиков и литературоведов, работников складов и транспорта, почты, магазинов и библиотечных коллекторов, программистов и администраторов сайтов, теле- и кинооператоров и проч. – Шаламов обеспечил работой и заработком).

Обрывчиво не обрывчиво, а тело ветшает. «Все снашивается», пишет Шаламов Гродзенскому, отчитываясь о посещении стоматолога. «Было девять, пять удалили... никакого движения по собственно протезному пути еще нет». Где-нибудь в архивах поликлиники Литфонда – Шаламов, как некогда Пастернак, состоит в Литфонде, не являясь членом Союза писателей – должна находиться его «история болезни», по которой можно проследить умножение с годами изъянов в здоровье, но, по-видимому, дело до сих пор засекречено, ибо никто в него не заглядывал.

Все, связанное с Шаламовым, покрыто мраком какой-то мутной, дурной таинственности – не тайны – тайна личности и труда гения в обычном смысле и не может быть постигнута до конца – а досадной

неясности, невразумительности, проистекающей из отсутствия в широком доступе даже тех свидетельств, какие давно имеются, но не введены в так называемый научный оборот или, попросту говоря, рассеяны в океане нерассортированной и непроработанной информации. Вот пример. В 2007 году, к столетию со дня рождения Шаламова и почему-то к 25-летию выхода в свет «Колымских рассказов», как сказано в аннотации, американский эмигрантский журнал «Побережье» печатает воспоминания лечащего врача Шаламова Михаила Левина, пользовавшего его в 1978 году в одной из московских больниц, где он работал невропатологом. Сетевая версия журнала недоработана и проходящему по ссылке на статью открывает пустую страницу. Тем не менее, по запросу о Шаламове Гугл эту статью находит, следовательно, узнать о ее существовании не так трудно. По данному на сайте журнала электронному адресу я послал в редакцию е-мэйл с просьбой либо сделать статью пригодной для чтения, либо быть настолько любезными, чтобы выслать мне электронную копию. Ответа не получил. И только весной 2011 года на сайте «Варлам Шаламов», созданном для объединения усилий мирового шаламоведения, появляется сетевая версия этих уже несколько лет как существующих, но по малотиражности издающегося в Филадельфии русского журнала практически недоступных воспоминаний, из которых узнаешь, что страдал Шаламов вовсе не от болезни Меньера, как считалось все эти годы, а от хореи Гентингтона, недуга куда более тяжелого и к тому же наследственного. «К сожалению, – смущенно комментирует публикацию сайт, – о последних годах жизни Шаламова известно очень мало. Уточнение обстоятельств его болезни и трагической гибели должно стать задачей дальнейших исследований». Во-первых, известно куда больше, чем «очень мало», а во-вторых, и того не будет известно, если не пытаться найти – даже не в архивах, что действительно может представлять сложность, а на худой конец в уже напечатанном и даже оцифрованном, стало быть, доступном поисковым машинам, если не брезговать прибегать к их помощи. Таких примеров я могу привести десятки, если не сотни. Материалов для биографии Шаламова действительно удручающе мало, но то, что есть, должно добросовестно отслеживаться и появляться в широком доступе, иначе истинная тайна создателя «Колымских рассказов» так и не выйдет из окутывающего ее тумана дурной таинственности. Одна из целей данного жизнеописания – в меру возможности разогнать этот осточертевший туман.

21 августа Советы оккупируют Чехословакию, покончив с призраком «еврокоммунизма» в Восточной Европе, и отныне режим будет

только коченеть, пока здоровая страсть к наживе не произрастит в нем нового монстра. Ничего хорошего наступающие времена Шаламову не сулят, но и без того понятно, что никаких шансов на издание «Колымских рассказов» в СССР давно нет. Теперь участь КР решается в Париже, и Шаламов наверняка знает, кем. 26 августа Хенкиных за участие в акции протеста против вторжения высылают в Москву, и невозможно представить, чтобы дотошный Шаламов тотчас же с ними не встретился и не вызнал все, что касается судьбы его саквояжа. Насколько я понимаю, это последняя попытка Шаламова опубликовать книгу на Западе, и пора подвести итог его начинаниям в этом деле. Сначала я скажу о рукописях КР, попавших за колючку независимо от его воли, что не значит, против его воли – отношение Шаламова к этому просто неизвестно, не считая его громов и молний в адрес сам-издата в уже полностью изменившейся обстановке семидесятых годов.

1 Список Григорьянца, по его сообщению, оказавшийся в распоряжении немецких студентов, увезенный в Германию и в 1967 году выпущенный в халтурном переводе сборником под названием «Статья 58. Записки заключенного Шаланова» небольшим кельнским издательством. Григорьянец рассказывает, что Шаламов был возмущен тем, что его рассказы вышли книжкой сначала на немецком, но, скорее всего, возмутило его главным образом отношение издателей, умудрившихся перевернуть даже имя автора – понятно, какого качества должны были быть и переводы, вернее, пересказы «записок». Пропагандистский характер этой поделки выдает тот факт, что книжка почти сразу же была переведена (перевод с перевода) на африкаанс, язык страны, яростно и традиционно охаиваемой советским режимом и платившей той же монетой. Позже она была еще раз издана на французском под названием «Колыма. Остров в Архипелаге», тупо и оскорбительно подчинявшим символику эпической «летописи души» Шаламова символике актуальной «истории лагерей» Солженицына. Я еще вернусь к этой книге.

2 Список славистики Сирены Витале, в будущем переводчицы (плохой) на итальянский «Второй книги» воспоминаний Надежды Мандельштам, а также список, вывезенный другой итальянкой, фамилии которой Григорьянец не помнит. Куда они попали и были ли использованы для позднейших изданий КР в Италии, мне неизвестно.

Теперь о списках, переданных самим Шаламовым, а также, несомненно, с его ведома.

3 Список-66, попавший в «Новый журнал». Интересно, что короткий рассказ негодяя Гуля о многолетних публикациях подборок КР без всякой «помпы» рисует картину почти буколического сотрудничества некоего респектабельного, по-американски благополучного, чужающегося шумихи писателя с журналом, регулярно на договорной основе получающим от него тексты и соответственно выплачивающим гонорары, полагающиеся «большому писателю», как могло бы происходить, например, с Набоковым. Самую бессовестную формулировку нашел в конце девяностых один из наследовавших Гулю редакторов ежеквартальника Вадим Крейд (Крейденков): «...я сравнил бы [Георгия Демидова] с Шаламовым,.. много печатавшемся в «Новом Журнале». Не «Новый журнал» много печатал Шаламова, а «Шаламов много печатался в «Новом журнале». Заходит Шаламов, приносит новый рассказ. «Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журнальчиков... имеет целью создать у читателя впечатление, что я – их постоянный сотрудник». Бесстыдство и порочность этих людей безграничны. Это люди, которым принадлежит ночь после битвы и которых при поимке справедливо расстреливают на месте. Интересно также, что Джону Глэду, воспитанному, кажется, на американских стандартах взаимоотношений автора и издателя, не приходит в голову спросить у Гуля о моральных аспектах его культурно-просветительской деятельности.

4 Список-68, судьба которого на момент повествования неизвестна и так и не прояснится. Известно лишь, что он добрался до Парижа и попал к издателю. Кто этот человек или эти люди, предстоит выяснить.

5 Список, назову его: Лунгиной, – хотя правильнее назвать: Пинского. Лунгина упоминает о нем в своих мемуарах. Время передачи – 67-68 годы, время сотрудничества Шаламова с учителем Лунгиной, в доме которого она и видит этого «абсолютно раздавленного системой» человека со «страшным взглядом», Леонидом Пинским, помогавшим Шаламову составить окончательный корпус КР («машинописный четырехтомник», по словам Игоря Голомштока). Список этот попал во Францию и вышел на французском небольшом сборнике избранного под аутентичным названием. К этой книге я тоже еще вернусь. Уверен, что передача была сделана если не при участии, то с ведома и благословения Шаламова – Пинскому Шаламов в то время посвятил стихотворение «Стланик», и их близкие отношения позволяют предположить полную осведомленность автора, тем более, что Лунгина прямо свидетельствует: «с его разрешения», – и говорит о его ужасном разочаровании отсутствием во Франции резонанса – разоча-

рование может постигнуть только ожидающего обратного, стало быть, посвященного.

Наконец, список, которому я дам номер

6 Существование этого списка под вопросом, но многое говорит в его пользу. Прямые свидетельства могут подтверждать, но отсутствие их не опровергает. Слишком мало свидетельств. Речь идет о темных веках. О списке-66 известно только со слов Гуля и из проговорки Сиротинской в интервью Глэду. О списке-68 – только из статьи Каневской, о которой человеку со стороны еще нужно дознаться, что это жена Хенкина, а потом дознаться, кто такой Хенкин – таков уровень комментариев к послелагерной биографии создателя «Колымских рассказов». О списке Лунгиной известно только из ее мемуаров. О списке Григорьянца – только из его частного письма ко мне. От него же известно о списках двух итальянок. Свидетельства единичны в буквальном смысле слова, поэтому их отсутствие ничего не опровергает, тогда как косвенные данные дают пищу предположениям.

В том же частном письме Григорьянц пишет, что КР на Запад передавали Столярова и Кинд. Кинд дважды это подтвердила: в видеозаписи, сделанной для постсоветского телефильма, и в словах, сказанных подруге-журналистке: «Рукописи Варлама Шаламова я помогала переправить через границу, чтобы их там отпечатали». Столярова, передававшая на Запад рукописи Солженицына, Шафаревича и бог знает кого еще, не могла упустить из виду Шаламова, во всяком случае, охотно откликнулась бы на его просьбу. Лунгина прямо говорит: «*Помимо рассказов Шаламова*, она передала на Запад еще много рукописей». Столярова – близкая подруга Андреевых, всей семьи, всей семьей вывозивших на Запад рукописи и микрофильмы архива Солженицына. Именно она и дает Шаламову адрес американки Ольги Карлайль, которой тот посылает сборник стихов «Дорога и судьба» – как и ее родителям в Женеву, где незадолго до того гостит у сестры Столярова. Я привожу Андреевых не только как пример звена в этой ризоме контактов – я обещал вернуться к ним как к возможным, гипотетическим посредникам между Шаламовым и зарубежным издателем. Андреевы – свои в доме Рожанских-Кинд. «...квартира ее [Кинд] – чистая... у нее встречи можно устраивать с иностранцами (русскими – то со стариками Андреевыми, с которыми она была дружна еще по жизни в Женеве, при командировках мужа, то со злополучной Карлайль, то с посланным ею Степаном Татищевым)» (Солженицын). Степан Татищев – дипломат, культурный атташе французского посольства в Москве, сын близкого друга и душеприказчика Бориса Поплавского Николая Татищева и Дины Шрайбман, которую Столярова сменила в каче-

стве возлюбленной поэта перед отъездом в СССР. Один из тех французских дипломатов, служивших каналом связи подпольщицы Столяровой с Западом, кто «...регулярно встречались со Столяровой в ее квартире в Даевом переулке возле Сретенки» (из оперативной справки-ориентировки ГБ). Впоследствии Татищев со Столяровой переправят на Запад в дипломатическом багаже архив Мандельштама. «...еще и с Евой Царевна была очень дружна, что уж и вовсе замыкало наш круг, упрощало общения. От Царевны – не было у меня закрытых книг, конечно, она была из первочитателей машинописного «Августа», еще раньше – она из немногих читала рано «Архипелаг», еще пока он не кончен был, помогала нам сделать карту Архипелага» (Солженицын). До какой степени дружны солженицынские Ева (Столярова) и Царевна (Кинд), показывают воспоминания общих знакомых. «Мне уже не вспомнить, где и у кого мы познакомились. Может быть, у Домбровского, может, у Натальи Ивановны Столяровой, близкой ее [Кинд] подруги..., они были неразлучны – веселые, азартные, появлявшиеся в самых неожиданных местах» (Феликс Светов). «Иногда, приходя к нам, Н.В. [Кинд] с порога бросала: «Есть шикарный анекдот», и мы выходили курить на лестничную площадку. Н.В. преспокойно усаживалась на ступеньку и начинала, дымя сигаретой и громко смеясь, рассказывать свой анекдот, порой с «матерком»... Подобная раскованность служила предметом постоянной иронии ближайшей подруги Н.В. – Натальи Ивановны Столяровой. Окончившая Сорбонну,... Наталья Ивановна не упускала возможности съязвить: «О, Господи, и это ученый, Академия наук...». Наталье Ивановне тут же поддакивал их общий друг А.А.Угримов (его отец, председатель Московского сельскохозяйственного общества, был выбран старостой на пароходе, увозившем в 1922 году из России цвет русской интеллигенции; сам А.А.Угримов также окончил Сорбонну, приехал в 30-х годах в Россию и на десять лет загремел в лагерь): «Точно, академия наук...». Вообще, эта тройка неразлучных друзей производила весьма забавное впечатление: строгие, по-европейски сдержанные Н.И. и А.А.... и бесшабашная, с сигаретой в зубах Н.В. Все трое при этом картавили – «трое картавых», по определению А.А. ... Изъяснялась она [Кинд] на всех основных европейских языках – хотя одинаково плохо, но зато бесстрашно, будучи абсолютно лишенной всяких комплексов. Последний факт также служил предметом постоянной иронии Н. И. Столяровой, как-то заметившей: «Будет говорить хоть с китайцами, если знает два слова»... Очень любила Н.В. и о. Александра Меня, не упускала возможности (обычно с Н. И. Столяровой) съездить у нему в гости» (Юрий Табак). «Наталья Ивановна Столярова помога-



ла мне доставать из-за границы некоторые нужные для работы книги и пересылать туда рукописи для издания... Такого же характера содействии оказывала мне Наталья Владимировна Кинд» (Игорь Шафаревич). «Н.В. [Кинд] пришла ко мне через Наталию Ивановну, через Александра Александровича [Угримова]. Это был такой триумвират... Были Наталия Ивановна, Александр Александрович и Наталия Владимировна. Вот... И все трое для меня были людьми совершенно особыми» (Вера Лашкова). В этом триумвирате меня интересуют двое – Кинд и Столярова, поскольку Угримов – человек очень религиозный и едва ли нашел бы общий язык с Шаламовым, во всяком случае, в связи с Шаламовым он нигде не упоминается. Итак, Столярова и Кинд по свидетельству Григорьянца и Лунгиной и признанию самой Кинд передавали списки КР на Запад. Что это были за списки или для простоты – список? Список-66 был вручен лично Шаламовым рекомендованному Н. Мандельштам Кларенсу Брауну. Столярова тут ни при чем. Список-68 был отдан Шаламовым Хенкиным, видимо, тоже рекомендованным Н. Мандельштам – о том, что они хорошо знакомы, мне известно из факта письма Хенкиных Мандельштам 1967 года с припиской Столяровой, находящемся поэтому в фонде последней в РГА-ЛИ, а также из воспоминаний нескольких человек, рассказывавших о настойчивых попытках Кирилла Хенкина склонить Надежду Мандельштам к эмиграции с ними на Запад в начале семидесятых. Хенкины знакомы со Столяровой, но для передачи рукописи в Париж Столярова Хенкину не нужна – Столярова рассталась с Францией в конце 1934 года, тогда как Хенкин покинул ее в 1937, с отъездом в Испанию, и связей в Париже у него не меньше, если не больше, чем у подруги Поплавского, не говоря уж о том, что в журнале «Проблемы мира и социализма» он работает во французской редакции. Список Лунгиной, который я связываю с Леонидом Пинским, передан через каких-то французских врачей. Лунгина тоже приехала в СССР из Франции и является профессиональным переводчиком с французского языка, так что связей у нее должно быть достаточно и без Столяровой, хотя в воспоминаниях она роняет, что рукописи КР Столярова передала на Запад «не без ее подсказки». Не знаю, как истолковать эту фразу – не на что опереться. Во всяком случае, Кинд в контексте списка Лунгиной никак не фигурирует, а Столярова привыкла работать с Кинд. Таким образом, я предполагаю, что Шаламов передал в Париж еще один список КР, назову его списком Столяровой-Кинд, и судьба этого списка тоже неизвестна, поскольку Столярова, умершая в 1983 году, ничего рассказать не могла – это значило бы выдать и себя, и других людей, замешанных в дело. Косвенное подтверждение этого очередно-

го подвига Столяровой я вижу в том, что именно она попросила Юлию Шрейдера передать попавшее к ней из-за границы лондонское издание КР 1978 года Шаламову – после того, как в 1972 Шаламов не пустил ее с Федотом Сучковым в дом, разорвав тем самым отношения окончательно, явиться и вручить книгу лично она, по-видимому, робела. Мне видится в этой передаче книги через Шрейдера некий жест сожаления и просьба о прощении за обещание, исполненное непоправимо поздно, но все же исполненное. Наконец, возможен и еще один вариант (я пытаюсь реконструировать череп австралопитека по редкими минерализованным осколкам и в поисках верного сочетания пробую самые разные комбинации). Предположим, что список Лунгиной и есть список Столяровой-Кинд, хотя это весьма маловероятно. Но и в этом случае, у списка Лунгиной естественным образом должно было быть два адреса: русское издательство и французское. Французское перевело рассказы и выпустило, в русском они бесследно исчезли.

Из этого обзора рукописей КР, переданных на Запад лично Шаламовым либо по его просьбе и с его ведома, вытекают две вещи. Первое. Попыток Шаламова опубликовать КР книгой в русском эмигрантском издательстве было самое малое три, а скорее всего, четыре, иначе говоря, раз приняв решение обрести имя и читателя через «тамиздат», он так же шел до конца, как во всем прочем. Его упорство и последовательность исключительны. Образ этого человека не имеет ничего общего с образом схимника, в тиши кельи летописующего для потомков события ужасной средневековой истории. История была средневековой, но Шаламов был человеком двадцатого века, человеком с горячей кровью бунтаря, воспаленным гражданским чувством и честолюбием гениального художника-новатора, взыскующего мирового признания. Второе. Для того, чтобы нейтрализовать эти исключительные упорство и целеустремленность, погасить их, смирить и предать забвению, потребовалась исключительная же мощь противостояния. В СССР Шаламову противостояла вся государственная машина подавления свободной мысли и свободного слова. На Западе, где действие разворачивалось втайне, эту мощь вырабатывал механизм культурных институций эмиграции, работавший в режиме безжалостного замалчивания всего, что не отвечало его программе. Шаламов был побежден, но одновременно на двух в согласии действовавших фронтах. С востока эту блокаду осилить было нельзя, но с запада ее прорвать было возможно, однако, не с той помощью, какую он получал от своего ничтожного московского окружения. Если в 66-ом посылка была вручена довольно случайному и ни за что не ответственному Кларенсу

Брауну, но кому она вручена в 68-ом? Что собой представляет Хенкин, в будущем пресс-секретарь «демократического движения», правая рука академика Сахарова, добросовестно исполнивший роль связного между Москвой и Парижем?

Из того, что мне удалось найти в интернете, можно набросать следующий портрет.

«Кирилл был не очень многословен, производил впечатление немножко русского барина... Он жил на Котельнической набережной, в высотном доме, квартира его была тоже необычна, тоже, в некоторым смысле, барственна, была хорошо обставлена, был массивный письменный стол, библиотека.

...заново я его встретил то ли в 69-м, то ли в 70-м году в каком-то диссидентском салоне. Оказалось, что Кирилл вернулся из Праги, он уже был к этому времени без работы, каким-то образом активничал в диссидентском движении.

Кирилл всегда оставался верен себе, он был такой вальяжный господин, барин,.. и он всегда был интересен» (Эйтан Финкельштейн).

«Я в нем очень ценил, во-первых, острый ум, а во вторых, несколько саркастический взгляд на мир, который мне всегда очень импонировал, ясный, такой ничего не прощающий взгляд на мир, но на все смотрящий с некоторым благодушием... Он очень ценил элегантность одежды. И когда это стало возможным, он через каких-то знакомых заказывал себе какие-то костюмы то ли в Берлине, то ли еще где-то. Мне очень нравился его скепсис и способность утихомирить всяческий энтузиазм» (Дмитрий Сеземан)

«Было известно, что связан он был как-то со всемогущей организацией, но вроде бы вполне легально обучал изящным манерам и языкам, которых в совершенстве знал 4 или 5. Находился он в странном «отказе» [1972-73гг.] – вначале выдали визу, а потом отбрали. Жил вдвоем с молодой женой Ириной Каневской в совершенно пустой и от этого кажущейся непомерно огромной квартире (она и была метров 100 кв.) с чудо собакой чаучау Али-Пашой... Кирилл был сплошное обаяние. Западные журналисты вертелись вокруг него, как и постоянно дежурящая у подъезда черная «Волга» с бывшими коллегами. Иногда они подбрасывали его на пресс-конференцию» (Яков Ладыженский).

«Кирилл был самым несоветским русским стариком, которого я встречал в своей жизни. Мы познакомились в 89-м году, мне было 25 лет, ему – за 70; его ровесники в Советском Союзе хмуро стояли в очередях с талонами на сахар и водку, а Кирилл в кремовом пиджаке

ездил по Мюнхену на Мерседесе-кабриолете. Таких людей я никогда не видел. Кирилл и его жена Ира были гедонистами и либертенами. В них совершенно не было эмигрантской скукоженности, они жили весело и вкусно... он знал Цветаеву и Сергея Эфрона! – это казалось совсем невероятным» (Дмитрий Волчек).

Стоит добавить, что основания для скепсиса у Хенкина были, и скепсис этот носил характер тотальный, не выделяющий поэзию из действительности. Вот как он отзывался, например, о Цветаевой: «У нее было чувство жеста, это она понимала. Эффектного жеста, эффектной концовки стиха – все это некая такая театральность. Одной беспринципностью прожить нельзя, надо ее еще с толком использовать... В отношении возможности полного беспринципного обмана она не делала различий». В сущности, доведенное до логического конца отношение трезвомыслящих московских либералов к Шаламову, имевшее для поэта такие же трагические последствия. *Он такой же, как мы, только не в меру капризен.* Но дело не во мнении Хенкина о Цветаевой, дело все в том же: передача КР на Запад доверена валььяжному гедонисту, либертену и благодушному скептику, который либо из симпатии к странному летописцу лагерных ужасов, либо из соображений приобретения репутации (у обеих сторон) человека с возможностями, либо с каким-то дальним прицелом добросовестно исполняет роль связного – но и только. Под дальним прицелом я имею в виду случай с Н. Мандельштам. «Уговаривал ее уехать вместе с ним во Францию журналист Кирилл Хенкин, внушая Надежде Яковлевне, что в эмиграции ее ждет благоденствие, внимание, спокойная жизнь. Все это происходило вскоре после выхода за рубежом книг (значит, где-то 72 год) Надежды Яковлевны, они имели большой успех... Видно, этот успех... показался Хенкину заманчивым и многообещающим не только ей, но и ему. Я видел его у Надежды Яковлевны – он мне не понравился, не понравились мне и те рекламно-застывшие и явно не бескорыстные песни, которые он пел.

А теперь кончу историю с Хенкиным... финальную точку на ней поставила Наталья Столярова... Наташа резко сказала Надежде Яковлевне: «Не поддавайтесь на посулы Хенкина, здесь ваша настоящая жизнь» (Лазарь Лебедев). По другим показаниям, «финальную точку» поставила «харбинка» Наталья Ильина – двор (в смысле «при дворе») Мандельштам широк и расширяется год от году. «Хенкину пришло на ум вывезти и Надежду Яковлевну. Он, помнится, озабочен был, как вывезти свой антиквариат. И наверно, решил, что вывезет заодно и такую диковину... Надежда Яковлевна тогда недели две горела энтузиазмом – уезжала. Пока не услышала об этом Наталья Ильина и не

примчалась в ярости и не объяснила ей, почему этого делать не надо. Тогда Надежда Яковлевна дала полный назад» (Елена Толстая). Кстати, то, что казалось губительным для Мандельштам, стало бы спасительным для Шаламова, но по еврейской визе он уехать не мог.

Кто бы ни сосватал Хенкина списку-68, связь эта была случайна и не предполагала никаких обязательств. Можно привести пример диаметрально противоположного отношения – к «боготворимому» просвещенной московской публикой Солженицыну, и уже в сфере не публичной, а приватной. В августе того же 68 года Столярова сватает Солженицыну в качестве помощницы двадцатидевятилетней Натальи Светлову (с которой знакома опять же по дому Надежды Яковлевны), образец всех мыслимых столичных достоинств – идеалистку, аспирантку МГУ, спортсменку, альпинистку, машинистку, распространительницу самиздата, да еще и с «душевной прирожденностью к русским корням, русской сути» (Солженицын), да еще, разумеется, с московским жильем и пропиской. «Нас познакомила наша общая подруга Наталья Ивановна Столярова. Замечательная женщина. Она умерла 25 лет назад, но я и по сей день с ней сверяюсь: что бы она подумала или сказала в той или иной ситуации» (Наталья Солженицына). Женщина, что и говорить, замечательная, почти такая же замечательная, как Мандельштам, и лишь ненамного замечательнее Натальи Кинд, вопрос в том, почему живительной прозе Шаламова все они предпочитают отбросы, и даже не в этом, а – почему именно отбросы ставят себе на службу весь их энтузиазм и всю энергию?

Плоды бурной деятельности солженицынской клаки в точном соответствии с календарными сроками наливаются спелостью и призывают сборщиков урожая. «...осень 1968-го выдалась для него вызывающе плодотворной. Переводы «Круга» и «Корпуса» на главные языки мира большими тиражами идут по Европе и добираются до Америки. «Голоса» читают отрывки и целые главы его сочинений. Лучшие критики Запада пишут о них как о главных литературных достижениях, констатируя, что в СССР теперь есть не только соцреализм, но и Солженицын» (Людмила Сараскина). Праздник не кончается. «6 октября 68, воскресенье. У меня в руках последний № Time'a с портретом А. Солженицына на обложке» (Лидия Чуковская). Это тот самый номер, где Солженицын титулован как «совесть России» в статье, сделанной при участии недавно бежавшего Белинкова. В декабре новая медиа-звезда получит Гонкуровскую премию в категории «За лучший иностранный роман» и будет засыпана поздравительными письмами и телеграммами к пятидесятилетию, в частности, от Генриха

Белля, разговор с которым в ЦДЛ так польстил недотепе Шаламову. В лести и раболепии всех превзойдет Лидия Чуковская: «Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя, более долгожданного и необходимого, чем Вы... Вы вернули русской литературе ее громовое могущество». Возможно, это только расширенный комментарий к ахматовскому: «Он светозарен», – Чуковская – фрейлина, биограф и комментатор опочившей Ахматовой.

Вернусь к колченогому немецкому изданию «записок заключенного Шаланова». Возмущение Шаламова этой поделкой, по словам Григорьянца, несколько «нарочито». Без сомнения, Шаламов действительно возмущен, что, однако, не исключает некоторого чувства удовлетворения и контактов с издательством на предмет получения гонорара. Этим по его просьбе занимается Авербах, отчитывающийся в ноябрьском письме, каковы перспективы. Дело заведомо гиблое, поскольку частная инициатива не может идти дальше попытки получить пропуск в высотное здание, где наравне с министерствами располагается таинственная «Международная книга». Авербах не пускают даже для изложения дела. По телефону, с которого он звонит из будки, секретарша извещает его, что «СССР не имеет никаких договоров с зарубежными странами об охране авторских прав» и что их организация не может даже сделать запрос в издательство, не то что предъявлять какие-то требования или вчинить иск. Это не жилищная комиссия Моссовета, где возможны маневры. Апеллируя к какой-то легенде (это Кафка) Авербах предлагает Шаламову узнать имя некоего писателя, все-таки получающего гонорары из-за границы, и написать в издательство письмо с уведомлением о вручении вроде того, что «...надо было бы получить у меня разрешение, но раз уж Вы обошлись без него, то не будете ли Вы любезны выслать мне полагающийся в подобных случаях гонорар. Мой адрес такой-то. Примите и пр.». «Может, и пришлют», – добавляет неунывающий Авербах, обещая еще связаться с какой-то тоже полумифической «Минюрколлегией» или «Кредит бюро», якобы берущейся за защиту прав частного советского человека перед промышленными пиратством буржуями. Все это выглядит трогательно-беспомощно и ребячески и ни к чему, естественно, привести не может, но интересна позиция Шаламова, выказывающего все большую независимость от морального кодекса «прогрессивного человечества», с которым его связывает все меньше. Вот как ведет себя, например, Солженицын. «Твардовский сиял, узнав от А. И., что за изданные на Западе романы тот не взял от издателей ни копейки, по советской заповеди: если свои не платят, умри, как патриот, а у чужих не бери»

(Людмила Сараскина). Это не в осуждение члена СП Солженицына. Твардовский, о котором тот «говорил зло, называя его пьяницей и трусом» (Ольга Карлайль), весь год надсаживается и продолжит надсаживаться в усилиях добиться публикации его «Ракового корпуса» в «Новом мире». Это во славу Шаламова, лишённого спасительной «хитрожопости», а вместе с ней и союзников.

Шаламов продолжает поддерживать отношения с Мандельштам, появляясь у нее, по словам Виктории Швейцер, дважды в неделю, у него в доме даже свои тапочки. Здесь я опять вступаю в область догадок, поскольку свидетельства противоречивы и, в сущности, их вообще нет, а разрыв с Мандельштам и ее кругом – важнейший из узлов этого тягостного сюжета. От 68 года в переписке сохранилось лишь одно летнее письмо Шаламова, в котором на вопрос Мандельштам, что собой представляет Сучков, желающий делать скульптурный портрет «О.Э.», Шаламов без всякой симпатии характеризует его как человека малоталантливого и болтуна, когда-то «наобещавшего с три короба и ничего не сделавшего», впрочем, Сучков не один такой, по крайней мере, «не шпион, не доносчик, не бахвал, что немало». В приписке он выражает готовность прийти в любое время, но просит хозяйку одновременно «не приглашать одиноких дам, кроме, разумеется, Натальи Ивановны Столяровой». Ясно, что под «одинокими дамами» по-своему деликатный Шаламов подразумевают кого-то определенно, но строить предположения неуместно. Последний задокументированный визит Шаламова к Мандельштам приходится на конец осени. В письме Шрейдеру от 14 ноября он предлагает встретиться в пятницу у «Н.Я». Однако, этот визит, видимо, не последний, поскольку свидетелями последнего визита Шаламова был не Шрейдер, а филолог Виктория Швейцер с мужем, они же и присутствовали при последнем разговоре гостя с хозяйкой, который имел «принципиальный» характер. «...мы были знакомы с Варламом Тихоновичем и очень его любили. Мы встречались у Надежды Яковлевны Мандельштам, – говорит Швейцер интервьюеру. – Варлам Тихонович был человек совершенно замечательный, необыкновенный, странный... Одна из его странностей – они очень были дружны с Надеждой Яковлевной,.. но в один прекрасный день они принципиально поссорились.

– Почему?

– Я не хочу об этом рассказывать. Между ними возникло принципиальное расхождение. И уходя он сказал: «Надежда Яковлевна, я к вам больше не приду». Она абсолютно не восприняла это всерьез. А он действительно больше ни разу не пришел. И я считаю, что если бы

этого не случилось, многое в его жизни пошло бы совершенно по-другому».

«Странности» в данном случае демонстрирует сама Швейцер, отмечающая как «одну из странностей» Шаламова его разрыв с Мандельштам после лет тесной дружбы, но при этом отказывающаяся уточнить, в чем же именно заключалась «странность» позиции Шаламова в разговоре, при котором она присутствовала. Тем более, что имеет место «принципиальное расхождение», которое никак не может объясняться «странностями» натуры. По-видимому, Швейцер вообще мало что поняла, если утверждает, что Мандельштам «абсолютно не восприняла всерьез» разрыва со стороны Шаламова и что не случилось этой размолвки, судьба его была бы совершенно другой. Судьба Шаламова миновала точку бифуркации. Двух с половиной лет бесплодного ожидания реальной помощи от тех, кого лукавая Сиротинская назвала туземными «представителями» некоего западного «прогрессивного человечества», т.е. «внутренними эмигрантами», представляющими эмиграцию внешнюю, оказалось более чем достаточно. Швейцер посвятила жизнь кропотливому поиску и сбору материалов о полузапрещенных в СССР поэтах и, казалось бы, должна знать цену свидетельству, но ведет она себя в точности как работники советских архивов, которые, владея тайнами «спецхрана», никого к ним не подпускают. Что ж, придется взламывать этот сейф самому и да не посетуют хранители тайн на коварство отмычек.

Григорьянц утверждает, что «Надежда Яковлевна была человеком довольно высокомерным» и, скажем так, относилась к Шаламову свысока: пока он был только почитателем Мандельштама, все шло хорошо, но когда оказалось, что это самостоятельный поэт и прозаик, требующий признания, отношение изменилось. Сиротинская резко возражает ему и приводит уже приводившийся мной отрывок из письма Мандельштам, где та пишет, что «всегда будет стоять на задних лапах» перед Шаламовым и что достичь достигнутых им глубин она может только при свете его фонарика. Я думаю, правы оба, просто 1968 год – не 1965, когда написаны процитированные строчки. 1965 – это год неведомого и многообещающего для Шаламова будущего. Это год, когда он в своем крайнем, незамутненном нонконформизме – легенда гниlostных московских салонов, жаждущих необычайного и возвышенного, но за чужой счет. Это год, когда «Воспоминания» Мандельштам еще не только не ходят по рукам, тем паче не переводятся за границу, – они еще не написаны, во всяком случае, не завершены. Это год, когда ее списков архива мужа еще не домогаются аме-



риканские мандельштамведы и книгоиздатели. Это год, когда она еще ютится по чужим углам. Словом, это год, когда «...диссидентские круги, – по выражению Жоржа Нива, – [еще не] сделали из нее, как и из Лидии Чуковской, оракула, всякое слово которого было священным и всякое суждение непререкаемым». Тремя годами позже культ еще не оформился, но к тому все идет. Положение Шаламова три года спустя тоже совершенно другое. Во-первых, к нему привыкли, а привычка притупляет непосредственное чувство, даже к Шаламову и даже у такого человека, как Мандельштам, которая при всей ее сердечности к избранным, отнюдь «...не была теплым человеком, если не ощутимо холодным, то суховатым – несомненно» (Майя Каганская), что миф уже подзабыл. Я не хочу сказать, что Мандельштам «ощутимо холодна» или даже «суховата» с автором «Шерри-бренди». Как кажется, нет. Наоборот, Вита Гельштейн, встречавшая у нее Шаламова в эти годы, отмечает ее заботливость и старание «так корректно помочь», выражающиеся, например, в том, что хозяйка приурочивала визиты четы Гельштейн к визитам Шаламова для того, чтобы те на обратном пути завозили его на такси домой. Я хочу сказать, что Мандельштам, как принято говорить, человек непростой, и линейно одно из другого у нее не выводится. Безусловно, даже спустя три года она продолжает выделять этого обладателя собственных тапок из остальных, коих становится все больше и больше – это какой-то нездоровый жор на людей, втискивающих себя в крохотную квартирку и ведущих – по причине разнородности всякий раз новой компании – разговоры, больше смахивающие на треп, перемежающийся возлияниями и импровизированными трапезами. Та же Вита Гельштейн говорит, что «ежедневно у нее бывало человек 10-15» – не обязательно одновременно, но и посменно достаточно для того, чтобы нормальный человек спятил. Шаламов, отмечает она, «вообще был молчалив и неразговорчив. С нами он, по моему, никогда никаких слов не произносил», – налицо явный дискомфорт, учитывая, что среди подходящих людей в Шаламове «всегда бурлила жажда высказаться» и даже «высказаться «до дна» (Сиротинская), «возможность высказаться самому» (Шрейдер). Так забота Надежды Яковлевны оборачивается изнанкой, к которой она слепа. Шаламов уже другой. Три года назад «Колымские рассказы» ходили по рукам и не прошли серьезного испытания спросом – не в Москве, здесь это простительно, хотя Солженицын обошел и это препятствие, а в свободном мире, где квалифицированный читатель свободен и диктует книгоиздателю свою волю. С тех пор КР были трижды или четырежды предложены Западу и оказались никому не нужны. Предел спроса на них – нью-йоркский русский ежеквартальник, публикующий

их без всякой «помпы», не делающий из них никакой «сенсации». К тому же Шаламов серьезно влюблен в Сиротинскую, мало того что персону нон грата у Мандельштам, это еще не «литерная статья», – «литерная статья» – сама серьезность этой связи, матримониальное направление, какое задает ей Шаламов, и здесь, кстати, отвергнутый, не пользующийся спросом даже у такого заурядного существа как Сиротинская. Но будь это даже не Сиротинская – Шаламов нарушает конвенцию. Конвенция устанавливает, что этот человек во всем незаурядной судьбы и должен оставаться незаурядным во всем, ему не позволено человеческих слабостей, а стремление как-то укорениться в жизни, создать настоящую, не символическую, «народовольческую», семью, в глазах обывателя – слабость, уравнивающая героя с массовой, которая ценит в герое именно нечеловеческое, сверхчеловеческое, отвечающее массовой жажде культа. Шаламов обязан быть воплощением – со всеми утрированными чертами символа – жертв, принесенных советским образованным слоем на алтарь сталинизма, у него для этого все данные, этого от него ждут, и сам он до поры до времени сознательно и бессознательно потакает этим ожиданиям – в том и состоит конвенция, которую он сейчас нарушает. Чисто психологические причины разрыва с Мандельштам и ее кругом недостаточны и тем самым ущербны – здесь господствует массовая тенденция, воздействующая на психологию даже такого человека как Мандельштам. Я исхожу из того, что Надежда Мандельштам – редчайший в этой среде человек калибра Шаламова, человек, которому «прославленные характеры Возрождения [добавлю, поистине] много уступают... в духовной силе, крупномасштабности, нравственном величии», как пишет в шестидесят пятом Шаламов, глубоко задетый фактом существования современника, которого готов поставить даже выше себя. Эти двое высятся, как титаны среди низкорослых смертных. Но даже титаны обнаруживают слабости смертных. Слабость Шаламова по-человечески в высшей степени достойна, это попытка даже не «примирения с жизнью» – примирения быть не может, но «сближения, пересечения каких-то важных путей и дорог», попытка найти себя не только как инструмент поэзии или бессловесного государственного раба, а участника чего-то земного и добродетельного, предшествовавшего Колыме и как-то вопреки ее постоянному присутствию в жизни преодолевающего ее. По существу, это отвечает высшей нормальности Шаламова, проявляющейся в концентрационной вселенной как естественная невротическая реакция – или даже психическая болезнь – на ее тотальную ненормальность. Иное дело – слабость Надежды Мандельштам, которую три года назад Шаламов заклинал оставаться неприми-

римой и которая обещает оставаться непримиримой, но обещание забывает. Или даже не так. Во «Второй книге», которую она сейчас пишет или готовится написать, в этих «застольных разговорах», учивших, по выражению Михаила Поливанова, «прямыми мысли и прямому и откровенному ее выражению», от чего «в то время все отучились», она по-прежнему честна и непримирима, («она... рубила сплеча, не останавливаясь даже перед риском запятнать честь того или иного человека») (Жорж Нива), что вызовет у либерального крыла сописав зубовный скрежет и остервенелые нападки в духе тени Ахматовой, наследницы «Мойдодыра» Лидии Чуковской. Но период гонений позади, теперь это история. В настоящем за границей издадут собрание сочинений Осипа Мандельштама, а пестующий «совесть России» могущественный Твардовский по прочтении первой книги воспоминаний его вдовы пишет ей: «Правда, это – привилегия таланта, – бог Вас наградил им... Я ни на минуту не сомневаюсь, что книга Ваша должна увидеть и увидит свет». Увидит довольно скоро, в семидесятом – в возрожденном или, вернее, основанном заново американском «Издательстве имени Чехова», главный редактор которого, выпускник Оксфорда, знаток русского языка и переводчик Солженицына лингвист Макс Хейуорд как раз переводит рукопись первой книги воспоминаний Мандельштам на английский. Мандельштам становится повсеместно востребованной, тогда как Шаламову отведена роль символа («признанная репутация Шаламова как негибавшего героя» – Юлий Шрейдер), декорирующего фасад столичного света.

В Мандельштам много цинизма, прикрытого эпатажем. В ее цинизме много презрения к человеку – оправданного, поскольку ее собственное поколение потерпело крах, а нынешнее обретаётся в щадящих, избавляющих от испытаний условиях и едва ли лучше обанкротившихся отцов. Исключение, кроме «домашних» вроде семьи Шкловских, она делает для немногих, таких, как Шаламов. «Авангардистская скульптура из железа» вне досягаемости цинизма, циничный взгляд приковывают не предметы искусства, а пошлые ситуации. Пошлая ситуация или то, что можно интерпретировать как таковую, возникает с появлением Сиротинской. «Авангардистская скульптура из железа» оказывается податливой зову плоти и пошлomu стремлению свить на обломках жизни гнездо семейного счастья. Все это как-то увязывается с общим неуспехом Шаламова и лишает его вызывающую позицию того незыблемого авторитета, на какой по праву претендует – и получает его – автор «Сентенции». Мандельштам и Шаламова роднит неконвенциональность, но у Шаламова она круговая – он чужд как режиму, так и советской оппозиции к нему, очищенной десятилетиями

сталинизма и концлагерей от всего аутентичного, первосортного. Мандельштам тоже чужда и тому, и другому, но если под трансцендентного, витающего в северных небесах Шаламова подстроиться невозможно, то под Мандельштам подстроиться можно – для обретения комфортной среды ее богемной натуре не хватает чуточку безопасности и материальных возможностей, позволивших бы предаваться бесконечному упоительному расточительству. Сейчас у нее есть крохотная отвоеванная территория безопасности и толпы жаждущих участвовать в фестивале. Толпы эти вполне советские, но на территории Мандельштам они принимают условия, которые ставит хозяйка – или «пошли вон!». Однако, тут палка о двух концах. Кумир впадает в не меньшую зависимость от поклонников, чем поклонники от кумира. Кумир и его поклонники начинают отражаться в глазах друг друга, на пересечении взглядов происходит нивелировка. Кумир оказывается в плену поклонников, которыми начинает дорожить в ущерб своей независимости и непримиримости. Обнаруживаются связующие общие места, места конвенциональности, пусть «оппозиционной» режиму, но в границах традиционно соперничающих с ним мировоззренческих и идеологических клише. В «озорнице» Мандельштам, как это часто бывает у старых грешниц, бродит какое-то смутное – и мутное – влечение к христианству, по духу совершенно ей, ненавистнице, чуждому, но привлекательному как готовый ответ на нетерпимую, бесчеловечную русскую ситуацию двадцатого века. Те же готовые ответы формируют систему взглядов либеральной интеллигенции, одновременно сотрудничающей с режимом и дистанцирующейся от него на расстояние, при котором, однако, механизмы взаимодействия функционируют как положено. Возникают удивительные химеры, сочетающие членство в коммунистической партии или службу в органах идеологического контроля (а все государственные культурные институты – это параллельно специализации органы идеологического контроля) с вольномыслием или практикой религиозного обращения, как правило, в православие, изыскавшее и отработавшее формы сосуществования и прямого сотрудничества с кровожадным атеистическим государством. Эта изуродованная общественная среда пытается воспроизвести нормальное общество, но воспроизводит его в карикатурно сниженном, пародийном, донельзя убогом виде. Здесь все заимствовано, второсортно, бездарно, лишено непосредственности мысли и действия, существует в режиме коллаборации и плодит конформистов, тем более зажатых и агрессивных, что, связанные уставом «прогрессивного человечества», они одновременно должны беспрекословно отвечать требованиям кормящего государственного ландшафта. Клас-

сический тип такого законченно вторичного общественника – Солженицын, вывернувший наизнанку соцреализм, пролетарский интернационализм и атеизм, чтобы преподнести миру отвечающую всем бытательским клише «совесть России» в упаковке штампованного реалистического романа с «направлением» и «характерами». Вот среда, преображающаяся на пороге дома Мандельштам в суррогат богемы, жадная до ее щедрот и развращающая ее неумеренным почитанием. Мандельштам поставила на счастливую старость и признание и добилась того и другого ценой взаимопонимания с конформистами, которые будут опекать ее всем приходом отца Александра Меня, «мыслящего конгениально» (Сергей Бычков) издателю и восторженному поклоннику Солженицына Никите Струве. Через четыре года «Вторая книга» Надежды Мандельштам выйдет в его издательстве.

Если отвлечься от того, что Шаламов – великий, гениальный писатель, автор *«лучшей прозы в России за многие и многие годы... а может, и вообще лучшей прозы двадцатого века»*, и кинуть на него холодный житейский взгляд, то увидишь угрюмого, неопрятного, вздорного старика, пенсионера по возрасту и инвалидности, искалеченного судьбой неудачника, одинокого, непривлекательного холостяка с комнатой в коммуналке, тщетно пытающегося наверстать упущенное, нелюдима, обуреваемого фантазиями и нелепым комплексом исключительности, но, в сущности, заслуживающего талон на место у колонн в этом прекрасном, со знаменитостями на сцене и в передних рядах и беспокойной многообещающей молодежи на галерке концертном зале. Этот холодный взгляд входит неприметной, но органичной составляющей в отношении к Шаламову либерального и прочего бомонда столицы. Я думаю, к концу шестидесятых не чужд он и Мандельштам, умевшей сказать о себе: чокнутая старуха, – и посмотреть на вещи с кинической трезвостью свидетельницы всего, что она видела. Такой взгляд тоже оправдан, но он ложен. И не потому, что речь о великом поэте-эпике, а потому, что мера его – успех. Успех в самом наглядном, непровержимо-скотском обличье, тиражируемый молвой и средствами массовой информации. Ирония судьбы или, вернее, ее презрительная усмешка состоит, однако, в том, что зачарованная зрелищем успеха публика по пролетарски отчуждена от плодов собственного труда, и ей невдомек, что на начальных стадиях успех – дело ее собственных рук, что машина изготовления имени поглощает не сырье, а уже полуфабрикат, вложенный в нее кустарями-энтузиастами, что успех любимца публики тем дороже сидящим в зале, чем больше вложено в него самим зрителем. Шаламов с детства мечтал блистать

на сцене, как свидетельствует Сиротинская, и путь на сцену ему преградила публика. Его успех был в руках людей, не желавших ему успеха или желавших, но недостаточно. Публика обманула сама себя, получив вместо трагического героя суетливого проходимца в роли трагического героя. Публика получила все, что заслужила.

Здесь я заканчиваю с психологией, пусть и обоснованной массовой тенденцией. Для понимания происходящего этого недостаточно. Шаламов отвергает «характер» и его «индивидуализацию». На моем месте он изложил бы последовательность событий и этим бы удовлетворялся. Событие должно говорить само за себя. К сожалению, в той цепи событий, какую я пытаюсь восстановить, слишком много недостающих, оборванных, украденных звеньев, которые приходится восполнять индивидуальной и массовой психологией. Тем не менее, в основе всего – событие. Событие очевидно – это невыход «Колымских рассказов» книгой. По меньшей мере дважды «Колымские рассказы» передаются на Запад через Надежду Мандельштам и ее круг, а книгу не издают. Позже, а именно через четыре года – параллельно выходу «Второй книги» в издательстве ИМКА-Пресс – Шаламов делает в записной книжке необъяснимую запись, что «знакомство [не дружба!] с Н.Я. и Пинским были только рабством, шантажом почти классического образца». Я пытаюсь понять смысл этой записи. На чем основывалось суждение Шаламова о «рабстве» и «шантаже»? По всей вероятности, на видимых результатах. Рабство – это беззастенчивая эксплуатация чужого труда с целью извлечения прибыли. О какой прибыли может идти речь в отношении Мандельштам? По-видимому, о прибыли в репутации, которая в конечном счете конвертируется в признание располагающей печатным станком эмиграции и культ на родине. Я не говорю, что это имело место. Я говорю, что Шаламов мог интерпретировать происходящее именно таким образом, других объяснений этой записи я не вижу. Что же такое «шантаж»? Слово «шантаж» в этом контексте может увести далеко. Меня оно уводит к догадке, что контакты с эмигрантским издательством у Шаламова были, и в контактах этих издание «Колымских рассказов» книгой могло быть обусловлено его недвусмысленной, публичной солидаризацией с Солженицыным, которого христианско-демократическая эмиграция превращала в небитую карту в игре «двух разведок». Посредником в этом контакте могла быть Надежда Мандельштам или кто-то из ее круга, и посредник этот считал требования эмиграции оправданными – из стратегических или каких уж там соображений, не знаю. По логике Шаламова, это и называется «шантажом». «Впервые [в новой комнате на рубеже шестидеся-

тых-семидесятых, в период разрыва со всем прежним кругом знакомств] я не был объектом купли и продажи, перестал быть вишерским, колымским рабом» (Записные книжки). Есть другое косвенное доказательство контактов Шаламова с европейским издателем, имя которого он вынужден был скрывать. Сиротинская, которая заражена шаламовской ненавистью и спустя долгие годы служит как бы искаженным эхом голоса давно умершего возлюбленного, варьирует в воспоминаниях и интервью следующее утверждение. «Он [Шаламов] презирал компромиссы и помощь «прогрессивного человечества» в России и на Западе, ибо ведь и за такую помощь надо платить – облегчить жестокую лагерную правду, не говорить правду вообще о людской природе». (Кстати сказать, иноязычный Запад тут почти не при чем, Запад почти ничего не знал, а когда узнал, начал переводить и популяризовать Шаламова, как Джон Глэд. «Западом» у Сиротинской называется русская эмиграция.). Кто мог выдвигать требования такой платы? Только тот, кто владеет предметом торга. Предмет торга – типографский станок, следовательно, требования может предъявлять только тот, кто в состоянии его запустить. «Прогрессивное человечество» в СССР лишь оглашает в таком случае требования «прогрессивного человечества» на Западе, являющегося хозяином положения. Что значит, «облегчить жестокую лагерную правду, не говорить правду вообще»? Я вижу в этом заведомо невыполнимое, лишаящее издание смысла требование, которое оправдывало бы отказ выпустить КР книгой. Требования могли меняться, предоставляя Шаламову иллюзорную возможность маневра, но решение не издавать «Колымские рассказы» в конце шестидесятых, я думаю, было твердым и окончательным. Объясню, почему я так думаю. Во-первых, от кого исходили требования? Это область догадок, но основанных на внутренней логике происходящего. Я уже говорил об ИМКА-Пресс, самом уважаемом и финансово состоятельном русском издательстве в Европе, которым руководят Иван Морозов и Никита Струве. Иван Морозов будет потом вышвырнут Солженицыным, думаю, это человек инертный, и роль его в деле невелика. Это единственное западное издательство, которое упоминает, без сомнения, во все посвященная Сиротинская. Вот что она говорит в 1992 году в интервью Джону Глэду: «Из «Записок аутсайдера» Владимира Аллоя мы узнали, что А. И. Солженицын даже устраивал дотации «УМСА-press» от некоего секретного ведомства США». Один камень в огород Солженицына, другой – в огород ИМКА-Пресс. Но ведь именно ИМКА-Пресс вслед за издательством Стипульковского выпустило в восьмидесятых три увесистых тома Шаламова, начало извлекать его из забвения. Очевидно, что-то здесь не так,

и что не так, я потом скажу. Другое упоминание содержится в ее комментарии к статье Льва Тимофеева (2007). «Авторская композиция сборников в издательстве ИМКА-пресс нарушена... О погрешностях текста и неточности предисловия не говорю. Это не в укор парижским издателям. Они действовали, понятно, не в контакте с автором, отсюда и погрешности издания». Последняя фраза – внятный намек, в рамках версии «моего друга Варлама Шаламова», на отсутствие у него контактов с эмиграцией, стоит только уточнить, что речь идет о 80-х годах, когда никаких контактов, кроме как с сиделками, у Шаламова быть не могло, а вскоре он умер. Заметное снижение тона, объясняется, надо думать, тем, что за пятнадцать лет все быльем поросло, и при худо-бедно установившемся имидже советского – а, стало быть и российского, что куда актуальнее – патриота Шаламова, незачем, да и рискованно, выяснять отношения с компанией Струве, учитывая к тому же, что Сиротинская уже не гнушается совместным участием с ним в международных мероприятиях.

Имелись ли в то время у Никиты Струве какие-то связи с Мандельштам? Если в феврале 68-го Твардовский читает рукопись первой книги воспоминаний, то логично предположить, что в эмиграции ее давно прочли и оценили. Хэйуорд, в 68 году переводящий ее на английский, получил рукопись от кого-то из русских, а по свидетельству Юрия Фрейдина, за рубеж, с легкой руки Леонида Пинского, она уплыла уже в шестьдесят шестом, что вначале очень испугало Надежду Яковлевну, добавляет Варвара Шкловская. Но все обошлось. В одном из интервью Струве рассказывает: «С Надеждой Яковлевной я не был лично знаком,... Но у нас было знакомство, я бы даже сказал, дружба и полное доверие по почте,... а во-вторых, через общих знакомых, в частности, такого замечательного человека, как Наталья Столярова. ...я бы сказал, она была вровень своему гениальному мужу», собрание сочинений которого выпускает в Америке его дядя и работу о котором на соискание докторской степени будет защищать в Парижском университете сам Струве (1979). Мне кажется, одного этого свидетельства достаточно. Западный адресат переправляемых и Мандельштам, и Столяровой списков – издательство ИМКА-Пресс. Почему же ИМКА-Пресс во главе со Струве не желает опубликовать Шаламова книгой? Напомню, что с 68 года, по утверждению директора русских программ Радио Свобода критика и литературоведа Владимира Вейдле, в истории ИМКА-Пресс начинается «солженицынская» эра. Упомянувшийся мной историк Александр Островский делится следующими наблюдениями: «Если посмотреть на обложки изданных А. И. Солженицыным в эмиграции произведений на русском языке, нетрудно заметить, что



всем им дорогу в свет дало издательство ИМКА-пресс, а теми периодическими изданиями, с которыми он сотрудничал наиболее тесно, были журнал «Вестник русского христианского движения» [редактируемый Н. Струве] и газета «Русская мысль». Знакомство с трехтомником «Публицистики» А. И. Солженицына показывает, что на страницах этих изданий было опубликовано примерно две трети всех его статей, интервью, писем и заявлений». Струве и издательство ИМКА-Пресс ставят на чрезвычайно близкого им Солженицына и начинают продвигать его в нобелевские лауреаты. Присуждения Нобелевской премии Солженицыну ждут уже в следующем году, а получит он ее после бешеной рекламной кампании в семидесятом. Выпускать сейчас на сцену Шаламова – губительный для кандидатуры Солженицына ход. Добросовестное издание КР, сопровождаемое переводами, критикой, интервью с автором, покажет истинный масштаб и «новомировских» рассказов, и шарашки-НИИЧАВО, в которой списанные с натуры советские «характеры» ведут многословные кухонные разговоры о судьбах России. Шаламов не нужен. Шаламов – нежелательный элемент. В семьдесят первом Солженицына начинает травить советская и западная советизанская пресса, давать голос еще и непредсказуемому Шаламову, наотрез отказывающемуся признать «совесть России» достойным явлением – это нанести удар себе в спину. А в 72-ом Шаламов пишет письмо в «Литературную газету», которое вообще снимает «проблематику «Колымских рассказов» с повестки дня эмигрантских издательств. Шаламов принесен в жертву большой политической игре, разворачивающейся на идеологическом фронте «холодной войны». О поэзии здесь никто не думает. Слово «поэзия» здесь неуместно, непристойно. Шаламов подло отеснен от участия не в игре, а в сражении, которое он начал задолго до Струве и Солженицына. «...наши аресты – какая война: холодная или горячая?». Сиротинская пишет: «В. Т. был ставкой в политических и амбициозных играх». Чушь! В играх со ставкой существует партнер. Чьей ставкой был Шаламов в играх и чьих амбиций? Новояз «холодной войны», призванный отбить у читателя способность к логическому мышлению, отбивают эту способность у самой Сиротинской. Может быть, Шаламов был ставкой в амбициозных играх Мандельштам или, скажем, Пинского, которые делали на его имени репутацию? Возможно. Но это второстепенно. Главная игра велась вокруг Солженицына – действительно широко-масштабная политическая игра, вовлекающая в себя сонмы неутолимых личных амбиций. Но Шаламов в этой игре не был ставкой, он не участвовал в ней даже в качестве ставки, ставкой в этой игре и ее самым отчаянным и горластым участником был другой. В игре Солже-

нищина Шаламов не желал быть ни ставкой, ни участником, кто бы ни принимал в ней участия. «...не появиться в тени дельца». Именно на это Сиротинская, по-видимому, и намекает: от политических и амбициозных игр Солженицына и всех, кто за ним стоял, с органами советского идеологического контроля и госбезопасностью Шаламов устранялся самым решительным образом. Играй он сам, ни о каком самоустранении не было бы и речи. Именно такой игры он и добивался – но по своим правилам. Гению не пристало играть по чужим правилам. С гением пришлось бы считаться, игра была бы совсем другой. Однако, нашелся человек, готовый играть по любым правилам, и от Шаламова отвернулись, оставили его, как пишет простодушная Людмила Зайвая, «дохнуть» в коммуналке под надзором Бориса Полевого и тайной полиции. Насколько нужно запутаться в собственной лжи и бояться случайно обронить правдивое слово, чтобы вместо такой очевидной вещи сказать то, что сказала Сиротинская. «Пешкой в игре двух разведок я быть не хочу», – передает она его слова в другом месте. Шаламов не хочет быть пешкой. Что тут может быть непонятного? Он не говорит: в игре двух разведок я участвовать не хочу – ни пешкой, ни королем. Нет – он не хочет участвовать пешкой! Гений – и пешка. Гений – и «вишерский, колымский раб». Гений – и мелкотравчатое «прогрессивное человечество». Вопиющее нарушение космического порядка.

Суть разрыва Шаламова с Мандельштам, а далее со всем либеральным московским светом – в понимании им того, что книга на Западе выпущена не будет.

«Разрыв произошел по инициативе Шаламова» (Сиротинская).

Теперь я мог бы ответить на шуточный, но скорее, горько-шуточный вопрос Мандельштам, которым она озадачивала гостей: «За что Шаламов отлучил меня от ложа и стола?». За измену, Надежда Яковлевна.

Есть великие поступки великих людей. Один из таких поступков – вся жизнь Надежды Мандельштам. «...она сделала все для того, чтобы наследие Осипа Эмильевича не ждало счастливых времен, а было бы опубликовано еще при ее жизни» (Юрий Фрейдin). В эту жизнь не вписан другой великий поступок – она сделала очень мало для того, чтобы «Колымские рассказы» были опубликованы вовремя. Мне кажется, для успеха здесь хватило бы решительности и непреклонности одного человека. В свое время Надежда Мандельштам написала отчаянно смелое письмо Лаврентию Берия с требованием судить ее вместе

с мужем. Здесь не требовалось такой самоубийственной смелости. Требовалось просто не предавать поэзию, которая жива такими людьми. Требовалось просто поставить условием, что ее воспоминания могут выйти на Западе только одновременно со сборниками КР. И они бы нашли издателя, они бы вышли – и первая, и вторая книги, и одновременно был бы издан колымский эпос. И этот поступок был бы сам вписан в эпос, стал бы его алмазным венцом. Вместо этого в анналы вписана кухня.

Не думаю, что Виктория Швейцер вынесла что-нибудь вразумительное из последнего разговора Шаламова с Мандельштам. Осторожный Шаламов не стал бы говорить при посторонних людях о вещах, подпадающих под статью 58 Уголовного кодекса, для этого он слишком тертый калач. Думаю, собеседники понимали друг друга с полуслова, и разговор велся о предметах, касающихся фактической стороны дела лишь косвенно, такой символический разговор, понятный посвященным, но темный для случайного слушателя. Поэтому бог с ней, со Швейцер с ее ключом от сейфа с секретами. Пирит на секунду выдал себя за золото. Ключ не подходил, а сейф был не заперт.

«...не желаю принимать участия в разговорах о победе добра, ограниченности зла и так далее. Человек – существо бесконечно ничтожное, унижительно подлое, трусливое... Пределы подлости в человеке безграничны. Кошка может изменить мир, но не человек. Особенно моя кошка, Муха... имела все данные для того, чтобы изменить мир. Но ее убили» (Шаламов, август 1968).

К хронике блокады. Шаламов просит Шрейдера поделиться с ним дополнительным машинописным экземпляром «Очерков преступного мира» – какую-то часть их, кажется, собирается публиковать журнал «Советская милиция». Никаких очерков журнал, конечно, не поместит, кроме того, они уже забракованы журналом «Наш современник», куда их пытался пристроить критик Олег Михайлов.

В декабре Шаламов благодарит Эдварду Кучерову за «сердечный» отклик на подборку его стихов в альманахе «День поэзии 1968» и несколькими прекрасными скупыми штрихами обрисовывает «очень тонкую механику» стихосложения, замечая, впрочем: «Но кому это все нужно». К слову, о Кучеровой. В комментариях к изданной переписке о ней говорится: неустановленное лицо, – но частично установить можно: на сайте российских социалистов и анархистов в списке жертв

сталинского террора Эдварда Кучерова (? – не ранее 1966; можно поправить: не ранее 1968) проходит как социал-демократ.

Еще одно письмо Шаламов адресует Станиславу Лесневскому – тому самому специалисту по ЛЕФу и Маяковскому, который в воспоминаниях назовет его «сухоньким старичком». Написано оно в канун Нового года. Шаламов пишет: «...радуюсь, что прошел этот проклятый високосный год, год активного солнца, никакие талисманы, никакие алые ленточки на шее не удержат и не могли удержать ни событий, ни судеб». Год действительно проклятый, хотя и подарил Шаламову лучший месяц в его жизни. «Новый журнал» продолжает печатать «Колымские рассказы» скупыми издевательскими подборками. «...он [Шаламов] был просто в бешенстве» (Сиротинская). Михаил Геллер пишет об этом так: «И судьба наносит писателю, быть может, самый страшный удар. «Колымские рассказы», попав на Запад, не выходят книгой, а печатаются на протяжении многих лет, по одному-два, вразброс, бессистемно, нередко «исправленные». Как если бы картина Рембрандта, обнаруженная на чердаке, была разрезана на мелкие куски, а потом демонстрировалась как куча обрезков. Возможно и по отдельным кускам – вот глаз, вот рука – удалось бы понять, что перед нами великое произведение искусства. Но картины – не было бы». Слово «судьба», однако, слишком расплывчато – у «судьбы» есть лицо, точнее, лица, вернее, рожи, а у обладателей этих рож есть все вплоть до счета в банке и репутации достойного члена общества, которая до сих пор не подмочена. Но Геллер не знает худшего. Он, видимо, не знает о списке-68 и гипотетическом списке Столяровой-Кинд. Он не знает, что происшедшее – не единичный несчастный казус, а серия ударов, преднамеренное умерщвление, что Шаламов в блокаде, которую не удалось прорвать всем напряжением сил. «Судьба» наносит не удар, а целую серию страшных ударов. Шаламов выдержит их, как выдержит «кровопускающие удары немецкой волны» в год после присуждения Солженицыну Нобелевской премии, но «жизнь – отмерена, а здоровье обрывчиво». Последствия «проклятого» 1968 года можно сравнить для Шаламова с тяжелым увечьем или арестом и дальнейшей жизнью в неволе без надежды освободиться. Невыход КР книгой так же ломает жизнь Шаламову, как сломал бы арест. Его дальнейшая жизнь – это жизнь бессрочного арестанта или жизнь «жалкого, злого калеки,.. непоправимо раздавленного» (Сиротинская). Россия. Расея. Страна-выродок, целенаправленно и последовательно убивающая гениев, которых природа дарует через нее человечеству.

Мандельштам, Платонов, Цветаева, Шаламов... Больше в этом списке имен не будет.

Зализывать раны и взвешивать оставшиеся возможности поэзия в лице Шаламова уползает в свою «тихую комнату».



# 1969

Вся его переписка шестьдесят девятого года состоит из пяти писем.

В апреле он благодарит Лесняка за книгу В. Яновского «Человек и Север», которую Шаламов заказал как справочную литературу по Колымскому краю и которую «написал подлец». «Автор видит решение Колымского вопроса в навечном прикреплении людей к Северу... – до концлагерей тут один шаг. Автор не в силах отменить географию. Он не в силах отменить и историю, как бы ни хотел замолчать, исказить, отрицать все, что было, оболгать мертвецов и прославить убийц». (В комментариях к публикации писем Лесняк замечает, что «суждения [Шаламова] стали категоричными, возражения раздражали, тон стал менторским, вещательным»). Впрочем, эти перемены в характере он относит ко всему периоду шестидесяти-семидесятих годов, что лишает наблюдение ценности). Современная Колыма Шаламову безразлична, но «любую кроху сведений» о периоде ее сталинской колонизации он с «жадностью ловит». Летопись его души поставлена на твердый фундамент виденного собственными глазами и информации, ускользнувшей от зондеркоманд Министерства правды. Я сравнил две карты места действия «Колымских рассказов»: 1930 года и более позднюю, отражающую положение дел после освоения, если это слово уместно, края трестом Дальстрой и золотодобывающей промышленностью. На территории приблизительно 200x200 км в районе излучины Колымы при впадении в нее реки Дебин, где располагалась Центральная лагерная больница для заключенных, в 1930 году, согласно легенде к карте, всего несколько «постоянных населенных пунктов», включая зимовья и юрты, а дорогами служат редкие зимники и вьючные тропы. В послевоенное время эта территория усеяна лагерями и поселками, связанными двухтысячекилометровым, проложенным без преувеличения на костях Колымским трактом и его ответвлениями. Хищническая колонизация проходила практически молниеносно с самыми губительными последствиями для экологии края и населения метрополии, поставившей рабскую силу. Ни в испанских Индиях, ни в колониальной Африке не было ничего подобного. Настоящее «сердце тьмы» – здесь.

В августе и октябре он отвечает на письма Шрейдера, но лишь затем, чтобы сообщить о нежелании никого видеть. «Работа моя этим летом шла очень хорошо. Держится она только на одиночестве. Не сердитесь,.. но – отложим встречу до осени». «Дорогой Юлий Анатольевич. Труд мой организован плохо. Я не различаю собственно

работы и отдыха, и никогда не различал... видеться ни с кем не хочу... Прошу меня простить, понять и так далее». И лишь третье письмо содержит большее, чем простая отписка. Шаламова раздражают мудрствования Шрейдера в пространной статье, опубликованной «Новым миром». «...что приводит ученого на костер. Я защищал тогда [в 1937 в Бутырской тюрьме] ту точку зрения, что в глубине, где-то на дне души обязательно должен быть какой-то нравственный стимул, какой-то мираж добра, ради которого Джордано Бруно идет на костер. Арон Коган, мой университетский (по двадцатым годам) приятель, оканчивает физмат и работает в 1937 году доцентом по кафедре математики в Высшей воздушной академии им. Жуковского, резко опровергал мои доводы и говорил, что для ученого – истина, которую он нашел – дороже добра и зла – только ради этой научной истины Джордано Бруно идет на костер. Коган давно расстрелян... Зачем я так расширил это воспоминание? Я не убежден ни в доброте, ни в ложности мира, и Ваша изящная работа, развенчивающая мифы – тоже своего рода миф... Мне кажется, что человеку требуется однозначное решение – «черное» и «белое», «да» и «нет».

«...лишний миф,.. никому не нужный» (Записные книжки).

Наконец, последнее письмо направлено Фогельсону, редактору поэтического сборника, многолетняя подготовка которого издательством «Советский писатель» демонстрирует беспощадную механику перемалывания поэта «зубьями государственного механизма». Выпущена несчастная книжка будет только в 72 году, после письма Шаламова в «Литературную газету», которое либеральная фронда и власть сочтут верноподданническим.

Эпистолярная коммуникация во многом заменяет гложущему Шаламову обычную, и ее отсутствие говорит о том, что круг его общения сужен до минимума. Иступленной легкой переписки с Сиротинской уже нет – должно быть, та проводит отпуск в байдарочном походе, о которых упоминает, и писать Шаламову некуда.

Здесь нужно опять вернуться к списку Лунгиной, поскольку именно в 1969 году сборник из 27 текстов, отобранных, по словам Ульриха Шмида, троцкистами Морисом Надо и Жан-Жаком Мари, выходит в Париже на французском. Это уже второе французское издание – первым был перевод немецкой книжки «Статья 58» авторства неведомого Шаланова (или, скорее, наоборот – сборник под аутентичным названием «Колымские рассказы» вышел в начале года, французский журнал «Библиографи де ла Франс» анонсирует его уже в марте).

Я полагаю, переводы для этой двухсотпятидесятистраничной книги сделаны с рукописи, которая вывезена «французскими врачами», знаковыми Лунгиной и Пинского. Лунгина каким-то образом знает о разочаровании Шаламова отсутствием на нее сколько-нибудь заметной реакции во Франции («вызвала незначительный интерес», – цитирует Шмид Мориса Надо). Правда, этим разочарованием она объясняет письмо Шаламова в «Литературную газету», написанное спустя три года, это, как обычно, вносит хаос в картину, но не исключено, что какие-то точечные контакты Шаламов с кругом Пинского еще подерживал. Относительно разочарования хочу повторить, что, по моему глубокому убеждению, рукопись эта, кем бы она ни была вывезена, имела адресатами два издательства – русское и французское. Русскому предназначались оригиналы, с которых должны были делаться переводы. Список на русском исчез, оставив след в виде случайной французской книжки, интереса не пробудившей. Никакой другой реакции на Западе, собственно говоря, и не могло быть. Солженицын, член уже двух американских академий, затоварил своим чтивом европейско-американский рынок на много лет вперед, внимание публики приковано к борьбе за присуждение ему Нобелевской премии. Сам он с осени живет на даче Растроповича и Вишневской, еще одних беспредельно амбициозных и тщеславных своих поклонников, утопающих в старорежимной роскоши. «На стол подавались тарелки с изображением английских дворцов, бокалы с коронами были привезены из Венгрии, а облицовочная плитка с раками – из Греции... «Мерседес» с престижным номером «10-00», домработница, рояль «Ямаха», ньюфаундленд Кузька, приобретенный в Канаде. Они заказали в Финляндии венецианские окна с витражами и добились разрешения на ввоз у министра культуры Фурцевой» (Игорь Стомахин). Между «тихой комнатой» Шаламова и этим миром – непроходимая пропасть, мостом через которую небольшой сборник на французском служить не может. Я не хочу сказать, что Шаламов желал бы приобщиться к этому миру. Это побочный эффект успеха. Как использовать этот эффект – дело личное. В данном случае это показатель отрыва «авантюриста» на беговой дорожке к мировому признанию, сократить который нельзя, пожалуй, даже теоретически. Время упущено.

Спасают чудовищно работоспособного Шаламова стихи и «Четвертая Вологда», которую летом прошлого года вынесли из неохватной памяти какие-то «теплые течения», разбуженные посещением его родного города Сиротинской. Возможно, работает он и над воспоминаниями [О Колыме], текстуально близкие к которым записи сохранил



дневник, но следующего года – дневника за 69 год нет вообще либо он утерян. Анализируя «Четвертую Вологду», исследователи, занимающиеся Шаламовым, должны помнить, в каких действительных и душевных обстоятельствах она писалась. Мне кажется, портрет отца в книге несет сильнейший отпечаток отношения Шаламова к «прогрессивному человечеству», в этом семейном деспоте ничего от героя рассказа «Крест», написанного десятилетием раньше. Тщеславный, живоотно-витаальный, себялюбивый, душевно глухой, но чуткий ко всем «передовому», что носится в воздухе, верующий на публику и скорее в обряд, чем в бога, священник очень напоминает обобщенный портрет московского салонного либерала-шестидесятника, помещенного в декорации шестидесятнического пустотелого либерального православия. По-видимому, реальный Тихон Шаламов несколько отличается от этого персонажа «летописи души» его сына или ретроспективный взгляд автора прослеживает до их логического конца линии развития некоторых особенностей этой натуры и социального типа, в полной мере воплотившихся в «полых людях» уже пореволюционного поколения. Психолог Александр Боровский пишет об «абсолютной немотивированности этой неприязни, неспособности писателя раскрыть ее причины». Мне кажется, причины как раз очевидны. Шаламов смотрит на отца из 1969 года. Фрейд здесь не нужен.

Маем этого года помечен набросок «Бесстрашие», сюжетно относящийся к началу колымской эпопеи Шаламова, но через упоминание о зверствах нацистов далеко выводящий за его хронологические границы. Вот как обобщает Шаламов свой опыт жизни среди людей: «Дно человеческой души не имеет дна, всегда случается что-то еще страшнее, еще подлее, чем ты знал, видел и понял. Наверное, и способность человека к добру тоже имеет бесконечное количество ступеней. Беда только в том, что человек не бывает поставлен в условия... наивысшего испытания на добро».

Тем же годом датированы его размышления о принципах своей прозы, в более развернутом виде повторяющиеся в литературном манифесте два года спустя.

«Суть работы над прозой заключается в ритмизации сообщаемого, полного доверия к самому себе, к своему собственному вкусу в строении фразы – в удалении до всякой правки, до всякого контроля всего лишнего.

...при самом отборе в мозгу впечатлений, которые ищут выхода на бумагу, должен возникать первый, единственный, совершенный вариант.

Ничто не может быть улучшено. Угадать можно только один раз».

Дальновидная Сиротинская нотариально заверяет право на пользование рукописями Шаламова. Интересно, что точной формулировки этого распоряжения она нигде не приводит.

Словом, 1969 года в биографии Шаламова нет.



## 70-е годы, первая половина



Писать о Шаламове семидесятых годов намного труднее. В семидесятые он живет не совсем своей жизнью, это жизнь с насильственно смещенным вектором, род «превращения», описанного Тыняновым: «Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут». К тому же Шаламова неуклонно подтачивает тяжелый наследственный недуг, давший ему отсрочку, которой он не воспользовался. Болезни все равно, по какой причине, она не станет входить в обстоятельства. «...судьба, предупреждая мои интересы, лишила меня слуха, выбила зубы и повредила вестибулярный аппарат» (Записные книжки). Судьбе, кроме того, помогли.

Вместе с тем, это годы, когда поэтический гений в лице Шаламова, опять поставленный в жесточайшие из условий концентрационной вселенной и постепенно лишаясь уже самих основ того, чем он жив: от реального адресата, который отвергнут, и средств выражения, с одной стороны исчерпанных, с другой – не приобретенных, и до глубочайшего сознания своей высшей природы относительно безоговорочно возгосподствовавшей «жизненной скверны» и шансов у своего носителя восстановиться физически, – когда этот вконец обнищавший и, кажется, уже дееспособный гений, а недееспособный гений – это оксюморон – обживает в обстоятельствах поражения, собирается силами, зачеркивает всю предысторию и переходит к «прямому действию», подчиня поэтическому принципу саму область крушения со всеми его обломками вокруг судьбы и тела поэта.



# 1970

Для начала сухая справка, но не та, о которой речь ниже.

В хронике культурной жизни СССР семидесятых годов (составители И. Уварова и К. Рогов), выложенной на сайте Рутения и охватывающей как официальную, так и неподцензурную культуру, имя Шаламова встречается 9 раз, причем однажды ошибочно – к семидесятому году отнесено начало публикаций КР в «Новом журнале». Для сравнения: имя Фазиля Искандера упоминается 22 раза, Андрея Битова – 20 раз.

Каждый год Шаламову требуется новая справка на случай настаивающих на улице приступов, все более понятная и авторитетная для милиции, водителей общественного транспорта и прохожих. Москва борется с пьянством, и Шаламов то и дело попадает под ее горячую руку. «...меня задерживают на улице чуть не ежедневно – в метро, троллейбусах, около магазинов, – жалуется он Гродзенскому. – Я ведь не могу разъяснить справку спокойно... Я начинаю волноваться, горячиться – и впечатление алкогольного опьянения усиливается... Вчера милиционер... сказал: «Справка справкой, а сейчас вы пьяны, и в метро Вам не место. Идите домой». К письму Шаламов прилагает собственный проект справки, которую ему заверит профессор Лев Карлик. Рекомендации прохожим, оказавшимся свидетелями припадка:

«Больной может внезапно упасть... просьба к гражданам оказать больному первую помощь: помочь лечь в горизонтальное положение, положить в тень, облить голову холодной водой, ноги согреть...

Вынести на свежий уличный воздух из душного помещения, только не на солнце.

Не усаживать и не поднимать головы.

Вызвать «Скорую помощь!»»

Проявляется приступ, разъясняет Шаламов, в «шаткой походке, заикании, потере слуха, головокружении, тошноте, заплетающейся речи». Вот как это видится постороннему. «Человек конвульсивно размахивал руками, ноги его заплетались, голова дёргалась, скособоченная к левому плечу. Казалось, он вот-вот упадёт и я держался поближе, чтобы успеть его подхватить... В вестибюле надо подняться по ступенькам, я хотел помочь, он гневно обернулся, едва не оттолкнув меня. Тут я узнал его» (Александр Зорин). Зорин, сталкивавшийся с Шаламовым у Мандельштам, поясняет, что тот нес в ЦДЛ стихи для альманаха «День поэзии». В «Днях поэзии» Шаламов печатался в 67, 69 и 72 годах. Судя по состоянию, в каком его видит Зорин, вернее две

последние даты. Трудно сказать, каков тут вклад пережитой душевной травмы, но очевидно, что он весом. По логике вещей, болезнь Шаламова должна прогрессировать намного быстрее, ведь все эти годы его не лечат – поставленный диагноз неверен, а давление обстоятельств только усиливается, нагромождая один гнет на другой.

Во втором письме Гродзенскому (на весь год – три письма! адресная книжка, по-видимому, выброшена в мусорное ведро) Шаламов благодарит Карлика «за изменения в тексте справки, в высшей степени улучшившие проект», и рассказывает о хлопотах по пересчету пенсии, называя суммы своего заработка, дающие с учетом инфляции и общего роста заработной платы те самые среднемесячные сто пятьдесят плюс, какие я насчитал для середины шестидесятых. «...заработка у меня нет, ибо за стихи платят гроши и из многочисленных моих публикаций на пенсию не скопилось. 1970 год выходит... на 2400 рублей».

В эти солидные 2400 входит тысяча аванса за готовящийся сборник от издательства «Советский писатель». Остальное складывается из гонораров от «Казахстана, журнала и Гослита». В прошлом, шестьдесят девятом, аванса за книжку не было, и годовой заработок слишком мал для пересчета пенсии. Общий доход Шаламова за два года можно, таким образом, исчислить в 4000 с лишним рублей – 160-180 ежемесячно. Вполне приличная сумма, если уметь ею распорядиться, но Шаламов не умеет, кроме того, расходы одинокого человека всегда больше, чем расходы семейного. Позволить себе визит на дому специалиста-отоларинголога Шаламов, во всяком случае, не может: «...триста рублей (старыми деньгами) [«новыми», стало быть, тридцать] за визит... Черт с ними, с ушами, если их надо спасти такой ценой».

Шаламов огорчен известием о болезни Гродзенского и желает ему поправки, но поправиться Гродзенскому не суждено. У него инфаркт. Вскоре Шаламов потеряет «очень хорошего друга» (Сиротинская) – вообще, по складывающемуся из переписки впечатлению, единственного товарища, в отношениях с которым у него нет той не исключаящей уважения, но и не предполагающей теплоты дистанции, какая, по словам Сиротинской, принята у Шаламова в отношениях с мужчинами.

Через месяц, уже в январе семьдесят первого, он безответно допытывается: «Яков, как твои дела? За твои добрые дела тебя следовало наградить бессмертием... Ответь в двух словах».

«...была у него [у Гродзенского (1906-23.1.1971)] страсть объясняться с подтекстом. Дескать, я понимаю, сказать можно не все, но я понимаю. В.Т. жутко раздражался, хотя «Яшку» любил.

Однажды я пришла и застала В.Т. в глубокой молчаливой грусти... «Яшка умер», – сказал В.Т. Было это, кажется, году в 1970-м» (Сиротинская).

«В Яшке не было хитрожопости, этой проклятой хитрости, которая столь обильно украшает... всех прочих». «Хитрожопость как образ жизни» (Записные книжки).

«Варлам Тихонович закончил жизнь в одиночестве в доме призрания, оттолкнув от себя друзей и близких» (Лесняк). Это неправда. Оттолкнул, но не всех. Не отталкивал ни Пантюхова, ни Гродзенского, ни Сиротинскую, ни Шрейдера. Каждый ушел по своей причине.

Возможно, декабрьское известие о тяжелом состоянии сверстника наводит Шаламова на мысль, что пора писать завещание. Близких у него, кроме Сиротинской, действительно нет, ей он и оставляет все свое «имущество, наследство, в чем бы это ни выразалось, в том числе авторское право». Кроме адреса, по которому проживает душеприказчица, он дает ее служебный адрес и телефон – ЦГАЛИ. По существу, Шаламов убивает двух зайцев – дарит возлюбленной свое драгоценное общечеловеческое «наследство» и помещает его на хранение в единственное место, где в ситуации Шаламова ему можно обеспечить сохранность. Напомню предысторию взаимоотношений Шаламова с ЦГАЛИ. Шесть лет назад Сиротинская приходит как его официальный представитель («Я как сотрудник архива решила предложить ему передать рукописи на государственное хранение») и сразу уносит некоторое число текстов и согласие на сотрудничество. У ЦГАЛИ – вопреки репутации его работников, основывающейся, правда, на слухах (Сиротинская, заместитель директора – «главная гэпэушница» (Александр Морозов), хотя «главная и не скрывала этого» – ее начальница, Волкова (Эмма Герштейн) – репутация заведения либерального, он выпускает альманах «Встречи с прошлым», конкурирующий с другим либеральным альманахом под названием «Прометей», «доставать» и читать которые – хороший тон у прогрессивной интеллигенции. Поскольку отношения Шаламова с Сиротинской далеки от формальных, ей всякий раз удается чем-нибудь поживиться. «Я прежде всего рассказы отобрала у него, прямо такие, сборники подготовленные машинописные. А потом уж, в общем, я каждый раз с чем-то уходила. Потому что я же ходила в рабочее время, надо было отчитываться о своей работе». Наконец, «перед тем, как отправиться в интернет..., он попро-

сил меня взять все, буквально все. Мы действительно с подружкой приехали, собрали, я взяла такси, и мы все привезли». Что взяли и привезли действительно все, не прибранное до того на случай внезапной смерти Шаламова и отчуждения всего его имущества государством Людмилой Зайвой и Юлием Шрейдером (о завещании они, вероятно, не знали), свидетельствуют черновики письма Шаламова в «Литературную газету» 72 года, тоже имеющиеся в архиве. Правозащитник Сергей Григорьянц считает, что это и была единственная цель Сиротинской: «У Сиротинской было задание получить архив Шаламова, она его получила, после чего Шаламова, конечно, бросила. Архив был помещен на секретное хранение и к нему никто не имел доступа». Григорьянц ошибается – задание заданием, в конце концов, это работа, Сиротинская этого не скрывала – а отношения ее с Шаламовым развивались совсем в другом и частично непредсказуемом направлении и лишь на позднем этапе вернулись к утилитарной начальной стадии – стадии передачи архива в ЦГАЛИ, чего желал, кстати, и сам Шаламов. О засекреченности или, скорее, степени доступности «фонда Шаламова» в ЦГАЛИ я скажу позже, а пока просто представлю место, куда он в конце концов перекочевал полностью.

Сохранность архива Шаламов, возможно, и обеспечил, но обеспечивали эту сохранность цепные псы сталинистского государства. Вот каким рисует Центральный государственный архив литературы и искусства занимавшаяся там литературовед Виктория Швейцер в статье, опубликованной в семидесятых в эмигрантском журнале «Синтаксис». Называется мемуар «Братская могила». Швейцер понадобились дневники Михаила Кузмина за 1916 год. «Получаю отказ: дневники Кузмина не выдаются, они на «спецхране»... Почему закрыты дневники Кузмина?... Один из самых безобидных для советской власти поэтов... никогда ни в чем антисоветском не был замешан, даже умер естественной смертью... После доверительных разговоров с сотрудниками выяснилось, что дневники «закрыты» не за политику, а за «неприличие»: Кузмин был гомосексуалистом... И все же секс – не политика... Мне предложили указать примерное время, когда Кузмин мог упоминать Цветаеву, а «наши хранители сами поищут»... нашли упоминание... К моему столу... подходит милая молоденькая сотрудница с толстенной книгой... «Вам разрешили посмотреть только на странице 685, там упомянута Цветаева»...

Государственной тайной пронизана в нашей стране вся жизнь,.. И государственные архивы призваны эту тайну – охранять... На советском языке это называется «принадлежит народу»... от имени «наро-



да» с вами будет говорить директор ЦГАЛИ Н. Б. Волкова... Волкова... не разрешит вам читать ничего, что «закрыто».

Я ничего не имею против работников архива лично, однако... какая-то брезгливость к их явно полицейским функциям... Это та же цензура... еще не очень давно Главное Архивное Управление было в ведении Министерства внутренних дел, теперь же... «при Совете Министров»... дела это не меняет, и архивы продолжают осуществлять функции охранителей...

Архив – это еще одна «братская могила! [к той, в которую брошен труп Мандельштама]».

Дальше Швейцер приводит примеры вопиющих фальсификаций в опубликованных ЦГАЛИ письмах Цветаевой, которые извращают смысл посланий на противоположный, и заклиная доверчивых эмигрантов, которых обхаживает муж Волковой «жулик» (Эмма Герштейн) и «советский коммивояжер» Зильберштейн, ни в коем случае не отдавать свои собрания зарешеченным советским хранилищам. «Опомнитесь! Знайте, что вы бросаете бумаги дорогих вам людей в братскую могилу, где погребена уже не одна сотня жизней».

Швейцер не зря бьет в набат. «Сколько русских стариков со слезами на глазах бескорыстно отдавали свои памятные сокровища! Тогда я отправил через наше посольство в Москву 12 тысяч драгоценных архивных и литературных документов! А за три поездки: в 1966, -75, -78 годах я привез ... 17 тысяч!... первоклассных литературных автографов, рукописей, книг, писем и архивов» (Илья Зильберштейн).

Следует учесть, что Швейцер – типичное «прогрессивное человечество», сама до эмиграции в 1977 году «грешившая» фальсификацией истинного отношения Цветаевой к СССР, в чем считает нужным «покаяться».

Вот этому заведению в лице архивиста с «твердой рукой» Сиротинской, уничтожившей часть важнейших писем Шаламова, создатель «Колымских рассказов» отписывает свое «имущество». Можно теперь представить, в каком величайшем одиночестве находится человек, завещающий свой труд братской могиле.

К завещанию он делает две приписки. В одной Шаламов выражает «особенное желание, чтоб к моим бумагам и вещам не прикасались О. С. Неклюдова и С. Ю. Неклюдов, мои бывшие родственники», – вероятно, горечь от пережитого в комнате «этажом ниже» слишком свежа, либо «бывшие родственники» как-то отождествляются с предательскими салонами, где Шаламов на прощание «хлопнул дверь» (что он не раз и с удовольствием себе позволял, по словам Сиротинской).

Другая обращена к подруге. «Ира! Спасибо тебе за эти шесть лет, лучших в моей жизни». Лучших, очевидно, относительно лагеря – точки отсчета в концентрационной вселенной. («Шесть» – потому что приписка сделана год спустя). Интонация некоей завершенности говорит о том, что о семейной жизни Шаламов больше не помышляет.

О том же, правда, крайне невнятно, свидетельствует сама Сиротинская. «Настало время, и где-то в семидесятом году я показала ему тоже «со значением» Блока:

Суров ты был, друзей ты не искал  
И не искал единоверцев,  
Ты острый нож безжалостно вонзал  
В открытое для счастья сердце».

Блок и Сиротинская изъясняются на редкость туманно. Общий смысл ясен, но детали темны. Как то есть «не искал друзей и единоверцев»? А чем же он занимался? Писатель ищет читателя. В чье «открытое для счастья сердце» «безжалостно вонзал нож»? В сердце Сиротинской? Наоборот, предлагал ей собственную руку и сердце, а вонзала как раз она. Воспоминания Людмилы Зайвой чуть менее литературны, зато намного свободнее и честнее. Честно говоря, иногда трудно понять, чем могла приворожить Шаламова такая законченная мещанка и посредственность как Сиротинская, но во-первых, особого выбора у него не было, а во-вторых, ему, как говорится, виднее. Я расшифровываю это четверостишие так. «Не искал друзей» = не сделал карьеры, не добился обещанного успеха = поразил ножом любящее, верившее в тебя сердце. Что-то в этом домысле, мне кажется, есть. Он как-то объясняет сквозящую в поздних письмах Шаламова Сиротинской ноту неискупимой вины, которая делает их такими беспомощными и трогательными. В сущности, Шаламов действительно не добился обещанного успеха и действительно виноват. Нельзя винить Сиротинскую, что она не ушла к нему в «тихую комнату». Для жизни с Шаламовым в «тихой комнате» нужна вторая Галина Бениславская, которой Шаламов посвящает не одну страницу записных книжек этого года. «...то, что Бениславская написала воспоминания и покончила с собой на могиле Есенина, – это возносит ее на новые высшие небеса по сравнению с Анной Григорьевной [Сниткиной-Достоевской], простой душеприказчицей.

Это роль не только в жизни Есенина, но и в истории литературы. Ни Дункан, ни Миклашевская, ни Толстая не могли бы претендовать на признательность истории».

К месту тут и «простая душеприказчица», и претензии «на признательность истории». Хотя – по аналогии – Анна Григорьевна пусть

и «душеприказчица», но все-таки Достоевская, в отличие от душеприказчицы-«Беатриче». «Когда я была в Италии, итальянцы падали передо мной на колени и кричали «Беатриче! Беатриче!». И рыдали...» (из интервью Сиротинской 2007 года, к столетию со дня рождения русского Данте).

Третье письмо адресовано подруге Кинд Елене Лопатиной – в благодарность за присланную ею книгу Юрия Давыдова «Бестселлер», повествующую о ее деде, знаменитом народовольце Германе Лопатине. Шаламов причисляет себя к «русским революционерам» (Сиротинская), а из русских революционеров ему ближе всего, как кажется, правые эсеры с их идеализмом и радикальными методами борьбы с тиранией. «...партия трагической судьбы. Люди, которые за нее погибли, – и террористы, и пропагандисты – это были лучшие люди России, цвет русской интеллигенции». «Лучшие люди русской революции принесли величайшие жертвы... – такие жертвы, что в момент революции у партии эсеров не осталось сил, чтобы повести Россию за собой». По некоторым сведениям, он собирает материал для книги на эту тему, и из старых знакомств дольше всего сохраняет связь с прямыми потомками героев движения – Столяровой, дочерью Климовой, и Лопатиной. В «Бестселлере» он находит «литературную искусность» и «изящную вязь», стоят которые, однако, немногого. Шаламов опять деликатно, но убедительно просит его не тревожить:

«Что же касается свидания, то лучше его пока отложить, и вот почему. В течение последних двух лет я работаю непрерывно, в высшей степени результативно... Я дорожу своим трудовым режимом... Режим мой очень хрупок. Тем более, что показались контуры моей главной работы, о которой я и думать не осмеливался. Может быть, год подождем?»

Прошу меня понять, Елена Бруновна, – пишу: «прошу меня понять», нарушая дурную традицию модной современной фразы: «прошу меня правильно понять» – ораторской, писательской, литературной... наречие «правильно» вовсе лишнее в этой фразе.

Что за «главная работа», мне невдомек, «главная работа», кажется, сделана и никому не нужна. В дневнике за этот год крупным шрифтом записано: «Вишерский антироман», – может быть, речь о нем. Слово «антироман» хорошо увязывается с нарастающей ненавистью Шаламова к этому заезженному, но по-прежнему уважаемому и популярному жанру, который он соотносит с реалистическим методом. «Доктор Мертваго»... мертвый роман, мертвый жанр». «Инъекция Нобелевской премией... не воскресит реализма – мертве-

ца». «...хорошая биография Энрико Ферми – это будет учить лучше, чем тысячи «Войны и мира». А может быть, речь идет о новом цикле КР – «Перчатка или КР-2», начало которому уже положил рассказ «Вечная мерзлота». Сюжеты Вишеры будут вливаться через этот цикл в корпус сюжетов Северо-Восточной Сибири и делать «планету Колыма», эту точку на окраине карты, все более всеохватывающей, каким и должно быть место действия мифа о бытии.

В Нью-Йорке, где четыре года назад должен был выйти том «Колымских рассказов», на языке оригинала выходит первая книга воспоминаний Надежды Мандельштам.

По эту сторону океана франкфуртский «журнал литературы, искусства и общественной мысли» «Грани», издание Народно-трудового союза, идеологически Шаламову абсолютно чуждого, в двух номерах помещает подборки из пятнадцати рассказов и очерков колымского цикла. С какого списка они печатались, не знаю и не могу даже предположить. В среде либералов, где вращался Шаламов, мало приверженцев одиозных солидаристов, Александр Гинзбург на процессе 1967 года благодарит суд за то, что его не обвиняют в сотрудничестве с теми, кто сотрудничал с гитлеровцами и причастен к геноциду евреев. Напрямую из кругов Мандельштам, Пинского, Гринов, Столяровой, Рожанских-Кинд рукопись едва ли могла попасть на стол редактора «Граней» Натальи Тарасовой, тоже, кстати, запятнавшей себя мародерством. Кроме того, с прошлого года Шаламов ничего в самиздат и за рубеж не дает. Эти новые журнальные публикации ничего для Шаламова не меняют, кроме того, что соответствующий Комитет администрации Большой зоны все берет на карандаш и вскоре устами Бориса Полевого или другого подобного холоуя уведомит лишнего всяких тылов Шаламова, что «время неясностей прошло» (Сергей Григорьянц) и пора от этого срама публично отмежеваться, иначе в СССР его больше печатать не будут. Сейчас машине советского идеологического контроля не до того – ее внимание приковано к шумному и двусмысленному нобелевскому сюжету, развязка которого последует в октябре. В начале октября, раньше обычного срока, Шведская академия объявляет лауреатом года Солженицына, кандидатура которого выдвинута французским католическим писателем Франсуа Мориакком и поддержана в свободном мире настроениями и институтами «холодной войны», резко усилившимися после Чехословакии.

Имелись у Шаламова шансы на получение Нобелевской премии или нет, присуждена она была, как обычно, второсортному сочините-

лю («за нравственную силу произведений, возрождающих лучшие традиции русской литературы»), поставившему соперника в положение «вне игры» и взявшему нахрапом и валом. «Нобелевский комитет ведет арьергардные бои, защищая русскую прозу Бунина, Пастернака, Шолохова, Солженицына» (Шаламов – Александру Кременскому). К тому времени у Солженицына складывается надежная заграничная инфраструктура, включающая издательство ИМКА-Пресс и швейцарского адвоката, связь с которыми осуществляют, в частности, друзья Столяровой Ольга Карлайль и Степан Татищев.

Советские власти реагируют на стокгольмский провал безотлагательно и предсказуемо. 28 октября у Шаламова происходит разговор с сотрудником журнала «Юность» поэтом Натаном Злотниковым, содержания которого он не приводит, но строчкой ниже записывает: «Бдительность могли усилить только запретами, вычеркиванием, а не сложением, не прибавлением». И в тот же день: «Я просто болен. Болен тяжело душевно. Что-то изменилось во мне 28 октября. Важный минус остался». Что произошло 28 октября? «Важный минус» означает какой-то большой, может быть, непоправимый ущерб.

Незадолго до того он подписывает обложку к сборнику «Московские облака» – в название он вкладывает символический смысл: застилают солнце, – но мазила-иллюстратор истолковывает его метеорологически. «Лучшие стихи сняты,.. – отмечает Шаламов, – контроль усилился многократно. Из опубликованного ранее вошло только дерьмо двадцатилетней давности... Отсев – листов тридцать [весь сборник – два листа]... чего нет в журнале, само по себе отсеивается десятикратно в редакции».

«...сон в сочельник. Будто все, что со мной было, вся моя жизнь – всего этого не было – был лишь новогодний сон».



# 1971

Эпистолярно наступивший год тоже удручающе скуден. Шаламовских писем – пять. Одно из них – просьба смертельно больному и уже не способному ответить Гродзенскому дать знать о себе хотя бы в двух словах. Второе – обязательный из соображений простой вежливости ответ Елене Ореховой, жене колымского товарища киевлянина Аркадия Добровольского, сообщающей о полной недееспособности мужа и передаче его в дом престарелых. Это то странное шаламовское послание, которое содержит пророческие и загадочные слова: «...не ясен был только конец, эпилог, который дописали Вы. В отличие от Вашего собственного мнения я не считаю ошибкой передачу в инвалидный дом человека в таком состоянии, как Добровольский. Вы поступили вполне правильно и достойно, и не только потому, что «жизнь есть жизнь», а потому, что Колыма – это более сложная штука». Вот здесь мне страшно хотелось бы понять, что имеет в виду Шаламов, связывая помещение в богадельню, причем, по его мнению, правильное и достойное, бывшего узника концентрационного лагеря со сложностью такого явления как Колыма. Но никаких зацепок он не дает. Третье его письмо – запоздалые, и сильно («Прошу простить за задержку ответа»), разъяснения Елене Лопатиной своего видения фигур и положений в партии Народная воля, где упомянутая прежде Ошанина занимала одно из ключевых мест. Четвертое – собственно, не письмо, а адресованный Сиротинской литературный манифест в форме письма, который она в дальнейшем опубликовала под условным названием [О «новой прозе»]. Пятое я приведу позже.

Писать некому.

Писем Шаламову еще меньше – четыре. От Ореховой-Добровольской о судьбе мужа (не опубликовано или утрачено), два смущенно-деловых отчета сотрудницы «Литературной газеты» Татьяны Глушковой, сожалеющей об отказе газеты поместить подборку стихов Шаламова и подробно излагающей позицию секретариата, требующего непременно «гражданского» дописка к лирике («Про луноход, про самолет – про любой созидательный труд народа – все равно!» (Это его [завотделом русских публикаций Гулиа] слова)), и, наконец, жеманная и немногословная летняя открытка Сиротинской из Крыма: «Я блаженствую телом, забыв (наверное, впервые) о душе. Ну ее совсем! Одно беспокойство».

Писать некому.

Посторонних свидетельств о жизни Шаламова в эти годы нет совсем, исключая мемуары Сиротинской, в которых все скомкано и тенденциозно искажено. По скупым, отрывочным и учитывающим всевидящее око тайной полиции дневниковым записям прослеживается нарастающая фрустрация, чувство человека, смысл участия которого в происходящем потерян, но присутствие сохраняется и требует каких-то суждений, оценок, действий. Разрыв с либеральной средой (она, кстати, не вся либеральная – в дневнике есть запись о Владимире Осипове, диссиденте и русском националисте, охарактеризованном Шаламовым: шантажист) не сделал его ближе к власти. В последних главах «Четвертой Вологды», датируемых семьдесят первым годом, рассказывается о большевике и головорезе чекисте Кедрове, идеологические наследники которого по-прежнему определяют меру дозволенного и никогда не позволяют правде Шаламова прозвучать публично. Другое действующее лицо этих глав – мародеры-крестьяне из вологодской глубинки, тот самый «народ», по которому печалются просвещенные почитатели Солженицына. Однако если власть – это машина, «государственный механизм», зубья которого слегка сточились и перемалывают уже не всех подряд, но с разбором, то оппозиция институционально не оформлена и представлена живыми людьми, чья ответственность персональна и отношения с которыми носят живой, личный характер. Если от власти заведомо ничего не ждешь, то людям свойственно обнадеживать, а потом жестоко разочаровывать, и так раз за разом. С «механизмом» не может сложиться человеческих отношений, это своего рода агрегатное состояние мира, непреложное, в силу объективных законов, в этой части вселенной, тогда как с людьми они складываются, чтобы вскоре выявить всю свою ущербность и фальшь. На поверхности «механизму» противостоит не нечто полнокровное и достойное, а «мыльные пузыри». «Кружки эти – мыльные пузыри, где надо выдувать себе пузырь по вкусу, наслаждаясь отражением в нем, пока тот не лопнет». В этом фальшивом мире истину Шаламова постигать некому. Но у этого фальшивого мира вполне реальное основание – зиждется он на взаимовыручке своих, объединенных в клики по принципу преступного мира: неписанный закон клики, охраняющий ее членов, на чужих не распространяется, чужие – ее кормовая база, отношение к которой сугубо утилитарно. С чужим считаются только тогда, когда за ним стоят сила и коварство другой клики. Если за ним стоит только его человеческое достоинство, с ним можно безнаказанно делать что угодно. Он средство, раб. «Колымский, вишерский раб». У раба не может быть человеческого достоинства. Большой «государственный механизм» порождает из родственного материала маленькие

подобия, грызущиеся за долю в общей кормовой базе, но для обоснования претензий на большую долю, чем им готово выделить общество тотального хищничества, заимствующие язык более авторитетной культурной традиции и внешние признаки полностью утраченной подлинной человеческой солидарности. Насилие государства – насилие неприкрытое, не нуждающееся в обмане, своего рода закон природы. Насилие либеральных клик отягощено человечностью, выражающейся в способности лгать – персонально и коллективно. Провокация человечности будит и человеческое отношение, которое, конечно, нелепо, но объяснимо. Отношение Шаламова к либеральным кругам – это отношение человека к людям, достаточно хорошо прикидываемымся людьми, чтобы спровоцировать неукротимое бешенство, от которого «государственный механизм» защищен обезличенностью и вездесущностью. «Государственный механизм» – не более чем смертоносная среда обитания, в ней можно выживать или погибать, если повезет, можно ее сменить, уничтожить, наконец, но не сводить с ней личные счеты. Шаламов попадает в ловушку, расставленную концентрационной вселенной. Особенность концентрационной вселенной в том, что она тотальна, она не дает уединиться в «тихой комнате» даже потерпевшему поражение. Она найдет его на краю света и заставит взять свою сторону.

Теперь о «тихой комнате», вернее, образе Шаламова как убежденного пустынножителя, чуждого мирской суете, озабоченного только своей лагерной летописью, которая неисповедимыми путями Господними дойдет до благодарных потомков. Откуда он взялся, этот лживый, лубочный образ, не имеющий ничего общего с образом «русского революционера», как определял себя, по словам Сиротинской и в полном противоречии с ее версией «моего друга Варлама Шаламова», сам Шаламов? Он взялся из вот этих семидесятых годов, годов поражения, годов норной жизни в одиночестве и забвении. Именно таким рисует создателя колымского эпоса Ирина Полянская, весьма тщательно воплотившая впечатление, которое вынесла из разговоров с Сиротинской. Полянская сделала, что могла, пытаясь выстроить нечто цельное из того ничтожного количества данных, каким располагала в середине девяностых годов. Для написания рассказа «Тихая комната» у Полянской был личный стимул: она родилась на Урале в начале пятидесятых в «закрытом городе» при «шарашке», где ее отец, химик по специальности, вместе с другими учеными-заключенными работал над атомной бомбой для «шигалевицы, принявшей резкие формы» (Шаламов). Именно здесь в 1957 году произошла Кыштымская атом-



ная авария и выброс в атмосферу облака зараженных радиоактивными частицами пыли и пара, рассеявшегося на трехсоткилометровом пути над уральской тайгой и поселками. Полянская (цитата из интервью) «нашла и опросила нескольких людей, близко знавших Шаламова, и в результате этих изысканий собрала кое-какой материал. В итоге родился рассказ об этой комнате, построенный на свидетельствах очевидцев, воссоздающий бытовые подробности и детали жизни этого писателя, нигде в рассказе прямо не называемого... Дом этот, к сожалению, давно снесен». Дом был снесен после выселения жильцов в 1972 году. Полянская создает своего рода «виртуальный музей», где нелюдимый чудаковатый Шаламов предстает таким, каким его рисует Сиротинская, основной информант Полянской.

«Создавая свои рассказы, в которых каждое слово несло печать мучительной, испепеляющей душу правды, *он, конечно, не думал ни о своей прижизненной, ни даже о посмертной славе* и, как выяснилось впоследствии, оказался прав, ибо вся его жизнь, его душа, все в нем было отмечено особой тишиной сумерек, как будто кровь, текущая в его жилах, впадала в глубокую, сосредоточенную на себе подземную реку, струящую воды сквозь ровный, на одной ноте пейзаж, и *ничего громогласного с его именем взяться не могло*. Невозможно себе было представить, что он способен на какие-то публичные обвинения, яростные высказывания, размахистые жесты, о которых могли бы судачить люди, восхищаясь им или возмущаясь, он не оставил за собою ни малейшего плацдарма, на котором могло бы закрепиться досужее любопытство».

«Фигура его иногда возникает на периферии биографии такого-то творца, или, вернее, тот появляется где-то с краю его судьбы как эпизодическое лицо, но героев, каких-то ключевых фигур, в его жизни не видно».

Сейчас видно, что видны очень хорошо. В послелагерной биографии Шаламова как минимум две масштабные ключевые фигуры, «герои»: Солженицын и Надежда Мандельштам (Пастернак в мой сюжет не входит). Из не столь громких имен можно назвать Столярову и саму Сиротинскую. Но прежде всего, разумеется, Романа Гуля и того негодяя или негодяев из богобоязненной эмиграции, кто крал и прятал список за списком, не давая им выйти книгой. Имени его (их) я не знаю, но оно есть и, подозреваю, достаточно громкое.

Полянская представляет читателю Шаламова вскоре после переезда в комнату «этажом выше», т.е. весной 1968 года, когда до само-

изоляции еще далеко – судьба книги не решена, во Франции у издателя на столе или вот-вот появятся по крайней мере две рукописи завершеного корпуса «Колымских рассказов». Герой «совсем не старик, на вид лет пятидесяти семи» (гипотетическая подсказка Сиротинской: «выглядел моложе своего возраста», – на самом деле ему шестьдесят один). «Он рассматривал стены первого в своей жизни жилища, в которых всходило его прекрасное одинокое будущее». Нет, об одиноком будущем он тогда думал меньше всего, он думал о семье, о событиях, которые перевернут его жизнь, о славе, об аршинных заголовках в иностранных газетах, о злобных подвалах в советских официозах, о растерянности, страхе и нечистых магических обрядах совписа, который он презирал и племенем которого брезговал, о рецензиях вроде будущей рецензии Гаррисона Солсбери на сборник КР в переводе Джона Глэда 1980 года: «Литературный талант Шаламова подобен бриллианту. Даже если бы эта небольшая подборка рассказов оказалась всем, под чем Шаламов поставил свою подпись, то и этого было бы достаточно, чтобы его имя осталось в памяти людей еще многие десятилетия... Эти рассказы – пригоршня алмазов».

«Он обошел несколько магазинов в поисках штапеля для штор»; «...помойное ведро, которое он раз в три дня выносит во двор»; «...витая тесемочка, на которой он остановил свой выбор... Тесемочка понадобилась ему для связки ключей»; «...топчаь на самодельном, сплетенном из цветных тряпичных лоскутов половичке перед дверью, он извлекал их из нагрудного кармана пиджака». Это, вполне возможно, добросовестно запечатленные памятью домохозяйки-Сиротинской мелкие приметы быта Шаламова.

«Культ личности – самая отвратительная ложь, которую он когда-либо слышал. Не было ни культа, ни личности, был ветер очередных перемен, принесший обильный урожай лицемеров и ласковых садистов». Внутренний монолог Шаламова точен, его подтверждают записи в дневнике, а ветер перемен действительно принес новые политические процессы, на одном из которых должны были судить и его.

«...он не мизантроп. Ему недостает общения, простого разговора, иногда он ощущает почти физическую потребность в слушателе». В шестьдесят восьмом такая потребность могла быть свободна утолена. А после общение было ему уже, пожалуй, физически непереносимо, полутонов психологии флегматичного домоседа, не чуждого, однако, желания время от времени перекинуться словом, Шаламов лишен – здесь черное и белое, «да» и «нет». Хочу еще раз напомнить: до 69 года никакого одиночества не было, было уединение художника, защищающего свою мастерскую от неконтролируемого наплыва пус-

тобрехов, каких плодит сытая столичная жизнь. В смысле склонности к одиночеству Шаламов абсолютно нормален – ненормален хлыщ, двадцать четыре часа в сутки живущий на людях и не оставляющий по себе ничего, кроме вороха сплетен.

«Он умел быть яростным... любил «спускаться с лестницы» досужих посетителей, явившихся выразить ему какое-то свое невразумительное чувство вроде сострадания, любил распахнуть окно и свирепо прокричать им вслед что-то ехидное, любил «дать пинка»; покидая какую-то компанию, обожал «хлопнуть дверью», после чего хозяева и гости еще долго недоумевали, гадая, чем могли обидеть его. Необузданные поступки действовали на него освежающе». Не совсем так. Это поступки капризного чудака, примадонны, а ярость и разрывы Шаламова обоснованы. «Досужих посетителей», пришедших выразить «невразумительное чувство вроде сострадания» можно даже назвать по именам. Это Наталья Столярова и Федот Сучков, явившиеся к Шаламову в 72 году после публикации им письма в «Литературной газете», ситуация не имеет никакого отношения ни к чему досужему, она трагична и с трагической предысторией. «Хлопок дверью» у Мандельштам вызвал недоумение, пожалуй что, у ничего не понявшей Швейцер, но никак не у хозяйки, видевшей «человека и под ним еще метра на два» (Варвара Шкловская).

Наконец, элегическая развязка рассказа. «Только одно прилагательное освещает эту комнату, как голая лампочка... Оно накатывает на бумагу, как волна: «тихая»... «тихая»... «тихая»... «Я получил тихую комнату» – этим тихим словам, как погребальному эху, и суждено было улететь в так называемую вечность... тихая комната в те времена уже имела тайную дверь в стене, за которой существовал переход в еще более тихую, тихую, как снег, как облако, как внутри себя камень, комнату, куда вскоре и отбыл жилец тихой комнаты, покинув ее благословенные стены». Не вскоре, с пересадкой на этапе и куда менее элегично, наоборот, грязно, шумно, скандально, с острыми приступами мании преследования, с простынями, вымазанными соплями, использовавшимися как носовые платки, с припадками буйства, до смерти пугавшими Людмилу Зайву, о которой Сиротинская умалчивает, – словом, ничего от лубка, рисующего мудрого умиротворенного схимника.

Полная неосведомленность о реальной жизни Шаламова движет и пером его польского, вернее, итальянского или даже европейского почитателя, тоже лагерника и тоже бунтаря, Густава Герлинга-Грудзинского, одного из основателей польского эмигрантского журна-

ла «Культура», автора жестоких лагерных мемуаров «Иной мир. Советские записки» и новеллы «Клеймо. Последний колымский рассказ» – попытки повторить сделанное Шаламовым в «Шерри-бренди». Для Герлинга, который в случае реализации шаламовского сценария 66-68 годов мог бы, без сомнения, служить ему опорой на Западе, Шаламов – «Великий писатель», «величайший писатель советского концентрационного мира», который «вызывает восхищение» и чьи рассказы «еще более значительны нежели произведения Солженицына». Но и Герлинг в плену того же ложного впечатления о скрытом «железным занавесом» Шаламове как экзотическом русском «нестяжателе», почти бессознательно вещающим из глубин своей таинственной, чуть ли не религиозной миссии. «Он писал свои рассказы, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Писал, чтобы «они остались в природе», существовали, все равно для кого, все равно где, все равно как; ведь земля не заботится о том, кто, где и как берет ее плоды; море не обращает внимания, что после прилива выбросило оно из своих глубин на прибрежные скалы».

Земля не заботится и море не обращает, но Шаламов хоть и титан, однако, не земля и не море, ему вовсе не все равно, для кого, где и в каком виде существуют его рассказы. Тем более, что это заботит еще и массу других людей, сделавших все, чтобы они «оставались в природе», не мешая согласованной работе «государственного механизма» и «русской идеи».

В то время как Шаламов все дальше отходит от «демократического движения», режим продолжает видеть в нем смутьяна и диссидента. В летней справке для ЦК правящей коммунистической партии лидерами оппозиции Главлит (цензура) называет Солженицына, Сахарова, Жореса Медведева, Петра Григоренко, Анатолия Марченко, а в «литературном подполье», «самиздате», среди подрывных элементов выделяются Наталья Горбаневская, Шаламов и Владимир Буковский (Татьяна Горяева; дословно в справке сказано так: «Буржуазные обозреватели всячески раздувают вопрос о так называемом «литературном подполье» в СССР, пытаясь внушить читателям мысль о «подлинной талантливости» таких его представителей, как Н. Горбаневская, В. Шаламов, В. Буковский и ряд других антисоветски настроенных лиц»). Главлит говорит дело – Шаламов действительно настроен антисоветски, причем его антисоветизм обращен не просто против «шигалевщины», а против некоторых врожденных качеств русского народа, получивших в этой «шигалевщине» выход. Большевики и их преемники воплощают, в глазах Шаламова, русский народ, обрекший его родите-

лей на скитания по чужим углам, а потом поставлявший в лагерь «вохру» и бригадиров из «быговиков». «Никакой стукач, никакой сексот не убьет столько людей, сколько любой бригадир забойной бригады». Этим его презрением к народу, точнее, к крестьянству, окрашено даже отношение к Твардовскому, давно уже не крестьянину, а номенклатурному надзирателю при литературных плантаторах. «Рильке переводил Дрожжин... Дрожжин – плохой поэт, вполне достаточно высекать искры из кремня, поэтического кремня Рильке... крестьянский поэт, пишущий стихи, носил медаль волостного старшины и жил безбедно. Был дважды или трижды лауреатом нивской премии, по своей судьбе и размеру дарования очень напоминает современного Твардовского... Во всяком случае из своих стихов выжал не меньше, чем Твардовский, материальных благ». «Государственная (б. Сталинская) премия присуждена Твардовскому. Ссора друзей закончилась миром. Твардовский реабилитирован. Ничего другого от него и не просили, как только слушаться старших, что он и сделал». «Народу» у Шаламова по-прежнему противостоит «интеллигенция», образованный слой, цену которому он, казалось бы, узнал на собственной шкуре, но который, тем не менее, остается для него неустрашимым носителем высших, нравственных, ценностей, как-то связанных с высокой культурой. Такие говоруны как Солженицын компрометируют интеллигенцию в собственных глазах, внушая ей ложное чувство вины перед лубочным, выдуманным «народом» («... пусть мне не «поют» о народе, не «поют» о крестьянстве... Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата»), а Запад «не понимает проблем» России, «мы ей [Америке] совсем не нужны», «мы нужны только в качестве горящих факелов, отсечь путь русской истории в их понимании. Отсюда и толки о традиционном долге русской интеллигенции перед русским народом». Долг же заключается в расчетливо спровоцированном акте самосожжения, подобном самосожжению Яна Палаха: «...горел Палах – все кричали: «Он сам хотел, не трогайте его, не нарушайте его волю». Остатки русской интеллигенции, по Шаламову, оседланы режимом низкого плебса, размыты «прогрессивным человечеством» – ее «худшей, людской прослойкой», соглашателями и шкурниками, введены в заблуждение корыстными демагогами и брошены на произвол судьбы обеспокоенным только своей безопасностью равнодушным «западным миром». В то время как государственная цензура отождествляет Шаламова с советским инакомыслием, сам он в записных книжках с отвращением от него отмежевывается; этот неинтересный власти и едва ли различаемый ею конфликт сыграет ей на

руку и сделает Шаламова еще более одиноким, одиноким уже окончательно.

Отношение Шаламова к актуальной политической ситуации выражено в небольшом отступлении в его письме-манифесте [О «новой прозе»]. «Я думаю, что изучение русской, «славянской» души по Достоевскому для западного человека, над чем смеялись многие наши журналы и политики, привело как раз ко всеобщей мобилизации против нас после Второй мировой войны. Запад изучил Россию именно по Достоевскому, готов был встретить всякие сюрпризы,.. И когда шигалевщина приняла резкие формы, Запад поторопился отгородиться от нас барьером из атомных бомб, обрекая нас на неравную борьбу в плоскости всевозможной конвергенции. Эта конвергенция... и есть плата за страх, который испытывает Запад перед нами. Говорить, что конвергенции сработались, могут только авантюристы. Мы давно брошены Западом на произвол судьбы. Все действующие аппараты пропаганды – шептуны, и ничего больше. Атомная бомба стоит на пути войны». Шаламов на стороне рассудительного Запада, а «Сахаров – минус».

С Солженицыным, вторым лидером советской антисоветской оппозиции, еще определеннее и грубее. В июне в издательстве ИМКА-Пресс выходит роман «Август Четырнадцатого», на который с озверением набросится советская пропаганда и «в котором ярко выражены православно-патриотические взгляды автора» (Википедия). Шаламов, вероятно, читал роман в самиздате задолго до его публикации, но выход в свет побуждает высказаться о нем в дневнике.

«Всем было объявлено, что он работает над важной темой: Антоновским мятежом.

Мне кажется, главных заказчиков Солженицына не удовлетворила фигура... Антонова... кулак-то кулак, но и бывший народоволец, бывший шлиссельбуржец.

Безопаснее было отступить в стоходские болота...

Невозможно и предположить, чтобы продукцию такого качества, как «Август 1914»... примут к печати. За два века такого слабого произведения не было, наверное, в мировой литературе...

Все, что пишет Солженицын, по своей литературной природе совершенно реакционно».

Стоит проследить за логикой Шаламова в реплике о «главных заказчиках» Солженицына, перу которого он отказывает в спонтанности. Наемное перо работает по заказу. «Главный заказчик» – не какие-

нибудь «западные спецслужбы», которые едва ли слышали об Антонове и соотносят его с Народной волей и Шлиссельбургом, а, например, РСХД и ИМКА-Пресс, которые обо всем наслышаны и хорошо соотносят. Иначе говоря, в борьбе двух спецслужб, представляющих две сверхдержавы, есть уровень подрядчиков, на котором находится «главный заказчик» Солженицына, и у этого «главного заказчика» собственный интерес, не тождественный интересу «спецслужбы», мыслящей категориями геополитики. При уяснении этой логики легче понять, кто говорил с Шаламовым от лица Запада, поскольку «спецслужба», представляющая правительство сверхдержавы – вещь слишком отвлеченная, чтобы распределять заказы русским писателям. Другое дело – русская эмигрантская политическая организация и издательство. Шаламов хорошо осведомлен, кто и по каким правилам играет в игре, из которой он добровольно-принудительно выбыл. «... деятельность дельца, направленная узко на личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности. Москва двадцатых, но без меня, без моей фамилии». Насколько я понимаю, фамилия Шаламова в этом контексте должна была бы служить какой-то гарантией причастности происходящего к искусству и истине, без которых все исчерпывается политической провокацией и скандалом. Москва двадцатых совмещала и то, и другое – в отличие от второсортной, карликовой Москвы шестидесятых-семидесятых, откуда имя Шаламова вымарано. «... для той эпохи и того круга Шаламова, в сущности, не было. Был Солженицын» (Валерий Шубинский).

Можно предположить, что как-то дает о себе знать дочь Елена. Иногда Шаламов делает в дневнике записи, позже повторяющиеся в письмах. Одна из похожих на такие записей напрямую обращена к дочери: «...отец твой был передовой человек, но очень обыкновенный, тогда как мать была гораздо выше и по нравственным качествам, по единству слова и дела, но искала во всем ложное.

Ты ищешь идеи и не ищешь тех дел, которые стоят за идеями».

Какие именно идеи, не уточняется, следовательно, Шаламову они известны, возможно, какой-то контакт уже был. В любом случае, понимание и даже чувство кровного родства давно утрачены, и эта бесплодная попытка объясниться – если она была – ни к чему не ведет. Перед отправкой Шаламова в дом престарелых дочь дважды отречется от него разным людям.

Другая близкая по времени запись рисует Галину Гудзь, мать Елены, напротив – беспринципным прагматиком с хищническими наклонностями. Может быть, в письме дочери Шаламов писал не то,

что думал, а то, что могло навести мосты в отношениях, все-таки у него ни одного близкого человека, исключая Сиротинскую, но и с той отношения вместе с перспективами теряют теплоту и доверие. За вычетом литературного манифеста он отправляет ей за год единственное письмо, я приведу его полностью.

«Грязь, темень, мы идем по дороге, и ты твердишь о своей любви, и дорога мне кажется легкой, шлепать по глинистым лужам лесом. Но навстречу машина, фары ослепили нас. Ты успеваешь отскочить в сторону, оставив меня под ударом. И машина бьет в меня, наступает полная темнота, я ползаю в грязи, живой, что порвалось, ноги ушиблись, локоть, плечо плаща разорвано – все в грязи, все болит – и еще не узнать, все ли цело.

И ты поднимаешь меня из грязи – ты успела отскочить в сторону, но я не упрекаю тебя, что ты оставила меня перед машиной, я понимаю, что это случай, что в мозгу, в самой глубине твоей души нет ничего, что говорило бы о трусости или о чем-либо подобном. Все только случайно. И мы идем дальше, и тебе даже не надо оправдываться – хотя ты идешь здоровой, а я почти разбит. Вот весь сон».

Ключевая фраза здесь: ты успела отскочить в сторону. В дальнейшем это действие будет варьироваться в разных формах, но побуждение и результат будут прежними. Прежними остаются и чувства Шаламова:

«Я видел тебя во сне, что я тебя жду и засыпаю».

«Я знал, что ты уже была, а в пятницу угадал, что ты будешь в понедельник».

Вот один из наиболее поэтичных портретов Шаламова того времени, вернее, автопортрет:

«...у меня, как у старшей сестры Наташи, было... астеническое сложение... Мама угадала мои мучения в лагерях – маленькую пайку и большую норму».

«Пятирусный Иконостас.

Астеническое сложение святых.

Тощая свеча...

Если бы я умер – причислили б к лику святых».

А вот портрет, данный поэтом Михаилом Позднеевым:

«И вспомнил Варлама Шаламова я,  
Как враскачку он шел по Тверской,  
руки за спину круто заламывая,  
макинтош то и дело запахивая



и авоськой плетеной помахивая  
с замороженной насмерть треской...

На винтах, на шарнирах, на слове честном,  
на пределе, на грани сознания и тьмы,  
и мычит, и клекочет орлом, и хрустит,  
и хрустит, как кустарник в костре...

Что я видел, скажите? Что видели мы?  
Воскрешение Лазаря? Дантову тень?...»

Еще один портрет сделан со слов неназванной сотрудницы редакции, опрошенной Полянской для рассказа «Тихая комната». Он не датирован, но облик Шаламова вписывается в семидесятые:

«Он был страшен, страшен, как огромный паук или краб, загребавший конечностями при ходьбе. Руки – как клешни, стригущие воздух, ступни огромные и косопалые. И под стать его телу был голос – сорванный, хриплый, изломанный. Одет он был во что-то темное, большое, точно с чужого плеча, в какую-то хламиду, как Христос у Крамского. Он вызывал страх и желание немедленно отвести глаза».

Это драгоценные годы, сглаживаемые болезнью, когда он еще может работать в полную силу, но лишен жизненных перспектив, надежды на признание, новых стимулов. Физически он достаточно крепок для того, чтобы по обыкновению купаться и загорать в Серебряном Боре, память его по-прежнему превосходна: «Вчера поймал себя на том, что могу припомнить лицо кассира в столовой, где я был раза два десять лет тому назад... могу припомнить каждый свой день, все, что я видел. И вовремя останавливаюсь».

Параллельно с работой над антироманом «Вишера», брошенным на стадии между черновым и беловым вариантами, он пишет дополнительный цикл к завершеному корпусу «Колымских рассказов», «Перчатка или КР-2». В цикле 21 рассказ. Четыре из них – шестидесятых годов. «Новую прозу», представленную прекрасными, но затянутыми медитациями – «Перчатка», «Тачка I», «Тачка II» – размывает стихия очерка, пропадает сжатость поэзии, символическая деталь, неповторимый шаламовский подбор и порядок слов. Наглядно это видно при сравнении отрывка из письма Сиротинской 66 года с описанием нештатной высадки с катера в Магадане и рассказа «Путешествие на Олу» (1973). Во многом существование этого дополнительного цикла

объясняется работой памяти, над которой поэзия утрачивает контроль. Отработан не материал, отработан способ работы с материалом. Пора подводить итоги. Лишенный возможности публичного изложения своих эстетических взглядов, профессионального диалога, критики, наблюдения за эволюцией читательских ожиданий и не надеясь когда-нибудь все это приобрести, Шаламов обобщает своей новаторский опыт в частном письме, адресованном в прямом смысле слова потомкам и не рассчитанном на ответ.

Пытаясь систематизировать взгляды Шаламова на искусство, политику, человеческую природу и прочее, нужно помнить, что этому мешают два разных в своем существе обстоятельства. Одно связано с фундаментальным отношением Шаламова к миру, которое исходит из несостоятельности догм и прописей, из значения индивидуальности человека, подвергающегося испытаниям, его интуиции и опыта, роли случая и свободного выбора, когда тот возможен, – словом, великой неопределенности, в которой человек теряет и находит себя без всякого вмешательства провидения. «Любое человеческое свойство имеет бесконечное число ступеней – и что положительно, а что отрицательно, сказать заранее нельзя». Второе куда обыденнее и заключается в том, что в условиях блокады и неприятия Шаламов никогда не нес публичной ответственности за свои декларации. Все его суждения высказаны частным образом частным людям, а суждения такого рода как правило не нуждаются в основательной системе аргументации и пересмотре, каких потребовали бы заявления, сделанные на публику и немедленно получающиеся широкий отклик, с которым нужно считаться. Поэтому слова Шаламова сплошь и рядом противоречат и друг другу, и очевидным фактам. Часть этих противоречий заведомо неразрешима, поскольку входит составляющей в его мир великой неопределенности. Но часть только кажется противоречиями, неразрешимыми или искусственно разрешенными в силу равнодушия слушателя к услышанному, нежелания уточнить, выяснить, что же все-таки имеет в виду изъясняющийся парадоксами собеседник. Пример такого слушателя я нахожу в Вячеславе Вс. Иванове. «...я задавал себе и ему вопрос: не служит ли он сам, его человеческая и литературная судьба опровержением его тезиса о том, что лагерь лишает прошедшего через него всего человеческого, что в лагерном опыте есть только отрицательный смысл. Отвечая на мои сомнения, Шаламов настаивал на своем. Он боялся ложного утверждения очистительной роли этого полностью негативного испытания». Иванову недосуг по-настоящему озадачить Шаламова вопросом: не служит ли тогда что-то другое опровер-

жением его тезиса о том, что опыт лагеря – полностью отрицательный? Вместо этого он находит объяснение парадокса в каких-то скрытых дидактических соображениях гуру и преподносит это фиктивное объяснение как реальное. А ведь реальное на поверхности: нет, сам он не служит. Человек Шаламов не служит. Служит его труд, преобразующий мертвенный материал лагерей в бессмертное вещество поэзии, – только гуманистической традиции здесь не место, а Шаламов, отвергающий эту традицию, все-таки не настолько свободен от ее уз, чтобы сформулировать принцип искусства ради искусства на материале, отжатом от последней капли гуманности. Вот одно из поприщ возможного диалога Шаламова с критикой и благодарным читателем, которого он лишен. Однако, у Шаламова-то ответ есть, пусть интуитивный и данный не в суждении, а в работе, а у вопрошающего Иванова его нет или хуже того – есть, но ложный. В сущности, ему все равно, что ответит Шаламов. Вопрос не жизненный, не насущный. К семидесятым любопытство насыщено, и его никто уже не задаст. Даже сейчас никому не кажется странным, что такой злободневный текст как литературный манифест Шаламов обращает не к современникам, а к потомкам, невесть к кому. Хотя это странно. Точнее, было бы странно, имейся у Шаламова достойные современники.

Десятилетия размышлений Шаламова над коротким рассказом, на которые он часто ссылается, не слишком помогают читателю разобраться с его поэтикой. Одно положение в пятнадцатистраничном теоретическом тексте тут же опровергается другим, термины уточняются, пока не начинают наливаться противоположным значением. Я отмечу несколько существенных, на мой взгляд, моментов, не вдаваясь в проблемы собственно литературоведческие.

Процесс возникновения рассказа (или притчи, или медитации, или стихотворения в прозе, или новеллы, возможно, даже очерка, Шаламов не выделяет очерки в отдельный жанр, сам жанр его «новой прозы» не имеет аналогов в литературе прошлого, как не имеют аналогов двадцатое столетие и его человек, прошедший концентрационные лагеря и «видевший пламя Аламагордо») выглядит так. В прозе «...правка остается – за языком, за гортанью, за мыслью даже. Откуда-то изнутри проталкиваются на бумагу законченные фразы. Рассказы имеют свой ритм... Рассказ может быть импровизацией. Мой рассказ – документ – тоже импровизация». «Все... как бы томится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг... – и рассказ написан». «...одно из основных правил: лаконизм. Фраза рассказа лаконична, проста, все лишнее устраняется еще до бумаги, до того, как взял перо». «...в отдел

мозга – творчества не поступает ничего лишнего... берутся тысячи начал. И пока первая фраза не найдена, рассказ не может двигаться». «Из мозга все это выталкивается само – на манер толчка сердечной мышцы, – все это формируется внутри само, а всякое препятствие – причиняет боль». «Наиболее удачные рассказы – написанные набело, вернее, переписанные с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы». «Черновики – если они есть – глубоко в мозгу, и сознание не перебирает там варианты, вроде цвета глаз Катюши Маслово́й,.. на Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз». «...я придаю чрезвычайное значение первой и последней фразе. Пока в мозгу не найдены, не сформулированы эти две фразы – первая и последняя – рассказа нет».

Минимальные условия для работы и психосоматическая подготовка. «...людей со мной не должно быть. Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате – я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить». «...когда-то был табак с утра – папироса за папиросой, пока я не доводил мозг до нужной кондиции. Эта нужная кондиция и есть вдохновение, а скорей настройка аппаратуры, отрыв от повседневности, прыжок головой в рабочее настроение».

Рассказы имеют градацию: «неотделанные, шероховатые» свидетельства чего-то исключительного, и такие же свидетельства, но эстетически безупречные. Во втором случае задача осложняется необходимостью «выдать совершенный текст» сразу – «тут ничего нельзя выклеить, вымарать, поправить». «Вдохновение как чудо, как озарение приходит не каждый день, и тут уж ты полностью бессилён остановиться в письме, останавливаешься при чисто мускульной усталости мускулов пальцев от карандаша». Эта работа, в отличие от работы над текстами первого рода «потребует колоссального напряжения в работе над формой».

Форма – наравне с потребностью поведать об абсолютной новизне пережитого – первоимпульс к поэтическому высказыванию. «...в основе у всякого художника ясный поиск чистой формы. Неопределенное чувство ищет выхода в стихи... или в рассказ. Дело художника – именно форма, ибо в остальном читатель, да и сам художник может обратиться к экономисту, к историку, к философу». «Первоначальный творческий толчок исходит именно от формы, когда нет еще ничего ясного, определенного». «...содержание – дело вторичное, дело удачи, улова, вот его место». «Колымские рассказы» – это поиски нового выражения, а тем самым и нового содержания. Новая, необычная форма для фиксации исключительного состояния... и в истории, и в

человеческой душе». «Колымские рассказы» – рассказы на звуковой основе, прежде чем вырвется первая фраза, прежде чем она определится, в мозгу бушует звуковой поток метафор, сравнений, примеров, чувство заставляет вытолкнуть этот поток на решетку мысли, где что-то будет отсеяно, что-то загнано внутрь до удобного случая, а что-то поведет за собой новые, соседние слова».

Что именно требует для себя особой чистоты формы, чтобы быть донесенным в его подлинности? «...здесь изображены люди в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности. Проза моя – фиксация того немногого, что в человеке сохранилось. Каково же это немногое? И существует ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть – духовная и физическая?». «В моих рассказах нет сюжета, нет так называемых характеров. На чем они держатся? На информации о редко наблюдаемом состоянии души, на крике этой души или еще на чем-то другом, чисто техническом». «Колымские рассказы» – фиксация исключительного в состоянии исключительности».

Каково соотношение нарратива с послужившей ему материалом действительностью и рассказчиком? «Каждый мой рассказ – это абсолютная достоверность. Это достоверность документа. Рассказ «Шерри-бренди» не является рассказом о Манделъштаме. Он просто написан ради Манделъштама, это рассказ о самом себе. При абсолютно достоверной документальности каждого моего рассказа я всегда имел в виду, что для художника, для автора самое главное – это возможность высказаться – дать свободный мозг тому потоку. Сам автор-свидетель, любым словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор... Если рассказ доведен до конца, написан – такое суждение появляется».

Что такое «документ», который и есть, собственно говоря, жанр «Колымских рассказов»? «Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть, в сущности, последняя, единственная цитадель реализма. Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом. А в документе... течет живая кровь времени. Я ставил себе задачей создать документальное свидетельство времени, обладающее всей убедительностью эмоциональности. Все, что переходит документ, уже не имеет право поставить себя выше любой туманной сказки». «Не документальная проза, а проза, пережитая как документ... Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности, – так я сам понимаю свою работу. В «Колымских рассказах» нет ничего от реализма, романтизма, модернизма. «Колымские рассказы» – вне искусства, и все

же они обладают художественной и документальной силой одновременно». «Я летописец собственной души. Не более». «...мои рассказы – своеобразные очерки... с очерченным авторским лицом – объективизм тут намеренный, кажущийся, да и вообще – не существует художника без лица, души, точки зрения. Рассказы – это моя душа, моя точка зрения, сугубо личная, то есть единственная». «...не просто документ, а документ, эмоционально окрашенный, как «Колымские рассказы». Литература факта – это не литература документа. Это только частный случай большой документальной доктрины... Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации. Документальная проза будущего и есть эмоционально окрашенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ, где все – документ и в то же время представляет эмоциональную прозу». Такого рода документ нельзя отнести к литературным направлениям или жанрам прошлого. «Рассказы мои представляют успешную, сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа». Это авангард, выходящий за пределы традиционно понимаемого искусства. «Бог умер. Почему же искусство должно жить? Искусство умерло тоже». По существу, это прямое действие, прямое физическое воздействие на действительность, «пощечина по сталинизму», некий магический акт. «...писатель отражает время, но не путем изображения виденного на пути, а познанием с помощью самого чувствительного в мире инструмента – собственной души, собственной личности. Отношение, ощущение дает в руки писателя безошибочный ориентир... это – не иллюстративный отклик на события, а живое участие в живой жизни – не важно, с помощью писательского пера или в какой-либо другой форме». «...художник судья, а не подручный». Право быть этим художником имеют не все. «Право на фиксацию этого исключительного опыта, этого исключительного нравственного состояния могут иметь лишь люди, имеющие личный опыт». Иначе говоря, круг художников резко ограничен – во-первых, личным опытом пережитого, во-вторых, способностью передать пережитое в его подлинности, в такой новизне формы, которая выводила бы нарратив, имеющий «мускульную природу», нарратив как живое участие в жизни, за пределы «умершего искусства». Доводя эту мысль до логического конца – гений Шаламова единичен и никакого начала «прозе будущего» положить не может.

Язык теоретизирования бессилён обрисовать это явление. Эмоционально окрашенный документ, летопись души художника, абсолютно достоверен как свидетельство гения, находящееся в парадоксальных отношениях с информацией, на которой оно основано: свидетельство гения в глазах будущего – абсолютно достоверная информа-

ция о его эпохе и человеке, а через эпоху и человека – о бытии в целом, которая и верифицирует всю прочую информацию, иначе говоря, наделяет ее смыслом и ценностью. Свидетельство поэзии неуязвимо для времени, тогда как отсутствие такого свидетельства оставляет мир его тленности. Мир доносит весть о себе в той мере, в какой его подчинило искусство. «Колымские рассказы» не вне искусства, они его авангард, претендующий на прямое, едва ли не «мускульное», вмешательство в жизнь, воссоздание и оформление в ней того ада наяву, через который прошла, который постигла душа художника. Ад Данте считается с земной реальностью и прячется на ее недостижимой для смертных изнанке. Ад Шаламова считается только с этой реальностью, поскольку другой нет. «Бог умер». Гений заставил преисподнюю всплыть из-под литосферы и утвердиться на сталинской Колыме.

Написан манифест, по-видимому, во втором полугодии, поскольку Шаламов взвешивает: «Что начать в 64 года?», – а день рождения он празднует 18 июня, по старому стилю. Возможностей он видит немало: «Лишний том или два добавить вслед «Артисту лопаты» или воскресить «Вологду»? Или закончить «Вишерский антироман» – существенную главу и в моем творческом методе, и в моем понимании жизни? Или написать пять пьес, которые вот-вот должны написаться? Или подготовить большой сборник стихов? Или гнать мемуарный том: Пастернак и так далее». Определенно он покамест занят «лишним томом», циклом «Перчатка или КР-2». «Четвертая Вологда» – прекрасное, но детище промежутка, к ней он не вернется. Из пьес он оставит одну, наброски другой не опубликованы до сих пор. Очерк «Пастернак» написан в первой половине шестидесятых, тогда же воспоминания «Двадцатые годы». «Гнать» Шаламов, по-видимому, будет весь корпус мемуаров по хронологии – «Москва 20-х годов» и «30-х годов», «Бутырская тюрьма» и воспоминания [О Колыме], но позже, после 73-го (помечены они «70-е годы», то есть в период уже настолько редких встреч с Сиротинской, что датировать точнее та не могла).

Параллельно он думает об еще более радикальном сдвиге своей поэтики в направлении свободы от слова или, точнее, в направлении утраты слова как средства поэзии. «Неописанная, невыполненная часть моей работы огромна. Это описание состояния, процесса – как легко человеку забыть о том, что он человек... без какого-либо (вступления) в борьбу сил. Все не описано – да и самые лучшие колымские рассказы – все это лишь поверхность, именно потому, что доступно описано». Под «доступностью» он, видимо, подразумевает доступ-

ность читателю, выросшему на традиционной литературе. Намечается еще один радикальный – теперь уже эстетически-коммуникативный – разрыв с реакционной литературной средой. Но год неудачный – в шаламовской терминологии, в терминологии лагерника, верующего в силу слепого случая, который насылает невезение или удачу. Первый и ранний признак – материальное неблагополучие. Напомню, что за вычетом 1000 аванса в прошлом году, которого в этом никто не даст, доход Шаламова – около полутора тысяч рублей, 120 ежемесячно. «У Пушкина были те же чувства унижения, неблагополучия материально-го». «Унизительная вещь – жизнь». К осени очертания нависшей беды проясняются. «Надежда все напечатать – прекрасный повод вытереть пыль, не более». «В «Юности» при окончательном наборе сняли целую полосу лучших стихов... Все это – уже без всякой цензуры, по собственнй инициативе (чьей?). Именно общение с «Юностью» и диктует стихотворения вроде: «Надо смыть с себя позор...». Похоже, Шаламов ошибается – инициатива здесь как раз тайной полиции, решившей положить конец существованию диссидента, имя которого фигурирует в справке цензуры на самый верх рядом с именем сторонника вооруженной борьбы с режимом Владимира Буковского. Метла кампании, направленной против Солженицына, намерена заодно вымести и «тихую комнату».

«Фогельсон [редактор и вивисектор поэтических сборников Шаламова в издательстве «Советский писатель», «лицемер и ласковый садист»] прилагал [предлагал, видимо] мне «опровергнуть слух не более, не менее». Его «старое, но грозное оружие». Которое, добавлю, по совету Маяковского, следует уважать.

«Задержан при попытке опубликовать стихи».

Удары настигают с самых разных сторон. «Лесняк [от которого Шаламов очень отдалился во второй половине шестидесятых], представитель «прогрессивного человечества», худшей, людской прослойки нашей интеллигенции, принес весть, что его допрашивали в Магадане 15 мая 1971 года,.. отобрали мои рассказы... трус и провокатор, целое лето жил рядом со мной, и только перед отлетом назад в Магадан... посетил меня с рассказом о майском эпизоде. ...человек, растленный Колымой». Вероятно, на свежезаточенной карандаш особистов Шаламов взят благодаря франкфуртскому журналу «Грани» еще в прошлом году, весной карандаш обнаруживает себя в Магадане, летом вписывает фамилию поднадзорного в справку Главлита в Москве, осенью появляется в непосредственной близости в образах Фогельсона и Лесняка, сообщение которого Шаламов воспринимает как предупреждение госбезопасности, что его не забыли, напротив того, хорошо



помнят, а помнить есть что. Материальное положение Шаламова трудно, а сборник стихов не выходит четвертый год – еще год назад Шаламов писал Шрейдеру: «Я сдаю книжку стихов в издательство... Сдача книжки намечена на конец декабря». Конец не конец, но миновал уже год, а дело ни с места.

Тревога и гнев на выставленное за порог, но продолжающее компрометировать его перед лагерной администрацией «прогрессивное человечество» растет. Сразу после записи о визите Лесняка подряд:

«Я шантажеустойчивая личность.

Самиздат, этот призрак, опаснейший среди призраков, отравленное оружие борьбы двух разведок, где человеческая жизнь стоит не больше, чем в битве за Берлин.

Солженицын – это провокатор, который получает заработанное, свое.

Оптимальное состояние человека – одиночество.

Америку не интересуют наши проблемы,.. мы ей совсем не нужны.

... нужны только в качестве горящих факелов.

Конституционный опыт, который я провожу на самом себе, заключается в том, что я никуда не хожу, не выступаю, не читаю, даже в гости не хожу, ко мне не ходит ни один человек, я не переписываюсь ни с кем, все равно подвергаюсь дискриминации. Не печатают стихи, снимают книгу с плана,.. не печатают ни один рассказ, ни стихи – каждая (точка) проверена чуть не на зуб. В «Литературной газете» год пролежали,.. в «Знамени» и «Юности» – то же самое.

Когда кто-нибудь падает в воду, все друзья, привлеченные всплеском, разбегаются в стороны, пока круги на воде не затихнут».

Душевное состояние человека, который чувствует, что его обложили со всех сторон.

Почва для скандального письма в «Литературную газету» уже подготовлена.



# 1972

Письмо в ЛГ 1972 года не таит никакой загадки. Загадочным его делает лубочный миф о Шаламове, не знающий фактов и не желающий их знать. Удивительно, но и сорок лет спустя мнения о письме полярно расходятся, причем высказывают их как будто свидетели происшедшего, во всяком случае, современники, располагающие всеми возможностями связать причины и следствия. Все, что для этого нужно – безразличие к реальному Шаламову, который в глазах его равнодушных друзей и недругов полностью замещен либеральным мифом и никак не учитывается.

Единственный смысл подобных «открытых писем» – заверить власть в лояльности, никакого другого значения, кроме обрядового, они не имеют. Никто не ждет от них проявления индивидуальности или живого чувства – это соответствие «позе покорности» у животных, которую страх заставляет принимать машинально и в строгом соответствии с формами ритуального поведения. Чем меньше тут личного – тем лучше и тем действеннее, поскольку типовая реакция в типовой ситуации содействует работе «государственного механизма», а нетиповая служит помехой, которая только усугубляет конфликтную ситуацию.

Предыстория письма выглядит так.

«Книжку «Московские облака» никак не сдавали в печать. Варлам Тихонович бегал и советовался в «Юность» – к Б. Полевому и Н. Злотникову, в «Литгазету» к Н. Мармерштейну, в «Советский писатель» – к В. Фогельсону. Приходил издерганный, злой и отчаявшийся.

«Я в списках. Надо писать письмо» (Сиротинская).

«Сведений о том, кто мог настаивать, чтобы Шаламов написал это письмо, не сохранилось: либо кто-то из самой газеты, по наущению КГБ, либо из редакторов издательства «Советский писатель», либо журнала «Юность», – пишет Леона Токер. Попробую все-таки отыскать эти сведения. Во-первых, «опровергнуть слух» предлагал Шаламову еще осенью редактор его поэтических сборников Виктор Фогельсон. Ульрих Шмид утверждает, что «сделать этот шаг ему посоветовал главный редактор журнала «Юность» Борис Полевой». Эту информацию он, очевидно, заимствовал из биографии Шаламова, написанной Евгением Шкловским: «Есть сведения, что у истоков этой шаламовской «акции» стоял Борис Полевой, в то время главный редактор «Юности», где чаще всего выступал со стихами Шаламов. По-

левой хорошо к нему относился и вполне мог из лучших побуждений подвигнуть его написать такое письмо». Кто источник этой версии? Источник – Олег Чухонцев: «...насколько я знаю, Шаламова пригласил к себе Полевой, сказал, что время неясностей прошло, что если он не напишет письма в «Литературную газету» о том, что это сделано без его ведома... в антисоветских целях,.. что он возмущен публикацией и т.д. и что если он не вступит в Союз писателей, «Юность» печатать его не будет, да и книги его не будут издаваться», «...о том, что это письмо написано Полевым, мне рассказывал Олег Чухонцев, которого Варлам Тихонович очень любил и ценил как поэта... я вполне верю рассказу Олега Чухонцева и думаю, что Варлам Тихонович сказал ему сам» (Сергей Григорьянц). Чухонцев, которому Шаламов подарил список «Четвертой Вологды», наверняка движим лучшими побуждениями, и эти лучшие побуждения заставляют его обелять Шаламова в глазах либеральной публики, сваливая вину на очередное ничтожество, известное в литературе «Повестью о настоящем человеке», о герое которой, кроме как из анекдотов, никто ничего не слышал. Если так, то Чухонцев работает в жанре агиографии. В этом контексте появляется фамилия еще одного сотрудника журнала «Юность», Наташа Злотникова, на которого, возражая Григорьянцу, ссылается Сиротинская: «Разговор Б. Полевого и В. Шаламова, по словам Н. Злотникова, происходил наедине, и откуда сведения у Григорьянца о его содержании, неясно». Сведения от Чухонцева. Во всяком случае, разговор с Полевым был, Полевой определенно подключен к делу. Но шантажируют Шаламова главным образом не журнальными подборками стихов, а поэтическим сборником, издания которого он ждет три с лишним года. Сборник находится в заложниках у издательства «Советский писатель», которым управляет агент тайной полиции Лесючевский, а в подручных у него – «издательской психологии практик» (Шаламов) и «ласковый садист» Фогельсон. За две недели до разговора Шаламова с Сиротинской о злосчастном письме Фогельсон говорит с Шаламовым о его содержании: «К сожалению, я поздно узнал о всем этом зловещем «Посеве» – только 25 января 1972 года от редактора своей книги в «Советском писателе» (Шаламов, записные книжки). Вместе с туманным, но недвусмысленным предложением «опровергнуть слух» имя антисоветского эмигрантского журнала «Посев» и составляет краткое содержание шаламовского письма. Итак, давление оказывалось в течение нескольких месяцев со стороны Полевого, но главным образом со стороны издательства «Советский писатель» в лице Фогельсона, этого знатока издательской психологии, ухитрившего произвести на Шаламова впечатление благодетеля, который от-

крывает глаза на препятствие, стоящее на пути книги. «...он метался по издательству, пытаясь выяснить, в чем дело, в конце концов, нашлась добрая душа, которая сообщила, что надо писать письмо, без этого публиковать не будут» (Сиротинская). В комментариях к Записным книжкам Шаламова она говорит напрямую: «В конце концов Фогельсон сказал Шаламову, что он в «черном списке» из-за публикаций за границей и «надо писать письмо», иначе книга не выйдет». Синхронно происходящему Шаламов записывает в дневнике: «Черный список». Реалистическая и даже натуралистическая современная повесть, далекая от модернизма и фантастики». Я слышу здесь отсылку если не к «Процессу» Кафки, который Шаламов считал шедевром, то к некоей обобщенной кафкианской ситуации, оборачивающей в СССР реалистической и даже натуралистической повседневностью. Советская повседневность снижает модернистскую притчу до скотской обыденности. Напомню, что процесс прохождения сборника невинных стихов через кабинеты издательства длится четвертый год, а для отбора двух печатных листов профильтровано и забраковано («отсеяно») тридцать. Страшно то, что «государственный механизм» никуда не торопится, и его зубья могут перемалывать человека столько времени, сколько понадобится для превращения мяса в фарш. Именно за это им и платят зарплату. Именно за выполнение этой палаческой функции и получают деньги Фогельсон, Лесючевский, Полевой и прочая сволочь, остальное – орнамент, в который могут вписываться извращенная симпатия к жертве или желание выглядеть в ее глазах благодетелем. В течение нескольких месяцев давление на Шаламова возрастает, требуя действия, которое нуждается в самооправдании, а самооправдание подсказывает не имеющая возможности свободно излиться ненависть к мародерам по обе стороны «железного занавеса», слишком долго прикидывавшимся честнягами и союзниками. О режиме, который держит его в клещах, Шаламов достаточно сказал в «Колымских рассказах», а высказаться об оппонирующей ему эмиграции, внешней и «внутренней», ему в условиях подпольной борьбы негде и невозможно. Теперь режим как бы предоставляет ему трибуну, и Шаламов может метать с нее громы и молнии. «Единственная защита – враг» (Записные книжки). Страшно также и то, что такого прямого, бесхитростного человека унижительная подневольная жизнь втягивает в интриги, где говорят и действуют обиняками и где он заведомо в проигрыше.

Сиротинская сообщает, что Шаламов писал письмо «в состоянии аффекта».

«Я советовала не писать его». «Я сказала: – Не надо. Это – потерять лицо. Не надо. Я чувствую всей душой – не надо.

– Ты... этот мир волков не знаешь. Я спасаю свою книжку. Эти сволочи там, на Западе, пускают по рассказику в передачу. Я никаким «Посевам» и «Голосам» своих рассказов не давал.

Он был почти в истерике».

Кстати, Шаламов говорит очевидные для Сиротинской вещи – ни «голосам», ни журналам он своих рассказов не давал, он давал издательствам. Но об издательствах Сиротинская не упоминает – это не вяжется с ее версией «моего друга Варлама Шаламова».

«Вы не представляете, в какой ярости он был... хорошо, что публикаторы были далеко, а то бы он поколотил Романа Гуля».

«Я ушла. А через два-три дня [разговор, стало быть, происходил десятого] В.Т. позвонил и попросил прийти. Я пришла и увидела на столе листы с черновиками письма... Стала читать, вычеркивая совсем немислимые пассажи: «меня пытаются представить резидентом...». Опять сказала: «Не надо посылать это письмо». Но не стала решительно настаивать... повернулась и ушла».

В интервью Джону Глэду немного подробнее:

«И.С. Письмо он написал сам. Говорят, что его принудили к этому, но на него насилеием невозможно было воздействовать. Это были его собственные слова, я видела черновик письма, он пригласил меня и показал черновик. Я ему, правда, сказала, что это не надо посылать, я чувствовала, что этого не надо делать. Шаламов мне сказал: «Ты – Красная Шапочка и в мире волков ничего не понимаешь». Я обиделась и ушла, а надо было остаться. Я стала уже вычеркивать отдельные фразы, и он их не оставил. Надо было бы еще немножко вычеркнуть...

Д.Г. И черновик остался?

И.С. Да, остался.

Д.Г. И он был еще резче?

И.С. Да, еще резче. Черновик был даже не один. К тому же он написал историю своего письма в «Литературную газету»... Он написал его в крайнем раздражении...

Д.Г. ...он пошел дальше, чем обязан был?

И.С. Да, безусловно. Я вот за это себя и корю, что мне надо было остаться и вычеркнуть побольше».

В истории письма, о которой упоминает Сиротинская – она опубликована значительно позже интервью – Шаламов говорит: «Смешно думать, что от меня можно добиться какой-то подписи. Под

пистолетом. Заявление мое, его язык, стиль принадлежат мне самому», – и находит «сто причин» тому, что власти не пойдут по отношению к нему на какие-то «санкции», а требование покаянного письма должно рассматриваться как «санкция», карательная мера. Среди «ста причин» следующие: Шаламов – больной человек; много лет сидел, заслуживает «скидки»; связываться с ним государству в его 65 лет не стоит; он слишком ничтожная величина, чтобы государство стало им заниматься. Заявление, по словам Шаламова, сделано потому, что ему надоело причисление его к «человечеству» (по-видимому, «прогрессивному человечеству»), либерально-клерикальной оппозиции, которую возглавляют Солженицын и Сахаров; в другом месте он уточняет: «прогрессивное человечество» и их заграничная агентура»). Дальше он пишет откровенную ложь, показывающую, в каком смятении чувств сделана запись: «Я никогда не давал своих рассказов за границу по тысяче причин». Теперь причин уже тысяча. На самом деле их три: «другая история», «полное равнодушие к судьбе» и «безнадежность перевода». Все это звучит предельно неубедительно, потому что не сказана правда. Больше всего ситуация напоминает описанную Шаламовым в письме Шрейдеру: «...симулянт [лагерник-доходяга, «полумертвец-симулянт»], как правило, – болен (только не этой болезнью), голоден, избит и устал от холода и голода, измучен до предела. Но лагерный врач не видит ничего, кроме «мостырки» – фальшивой раны. И рана-то не фальшивая, но нанесена с членовредительскими целями». Сто и тысяча перечисленных причин – «мостырка», необходимая в атмосфере тотальной лжи для того, чтобы добиться оправдания в своих и чужих глазах. В чем же оправдываться и перед кем? Вот цитаты из скандального шаламовского письма:

«Я – честный советский писатель. Инвалидность моя не дает мне возможности принимать активное участие в общественной деятельности.

Я – честный советский гражданин...

Я отдаю себе полный отчет в том, какие грязные цели преследуют... господа из «Посева» и их так же хорошо известные хозяева...

Эти господа, пышущие ненавистью к нашей великой стране, ее народу, ее литературе, идут на любую провокацию... чтобы опорочить, запятнать любое имя...

Ни один уважающий себя советский писатель не уронит своего достоинства, не запятнает чести публикацией в этом зловонном антисоветском листке своих произведений.

Все сказанное относится к любым белогвардейским изданиям за границей...

Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью, и представлять меня миру в роли подпольного антисоветчика... не удастся!».

Полуправда не спасает Шаламова, как ему может казаться:

«...я никогда не вступал в сотрудничество с антисоветскими журналами «Посев» или «Новый журнал».

Никаких рукописей я им не предоставлял, ни в какие контакты не вступал и, разумеется, вступать не собираюсь...

Подлый способ публикации, применяемый редакцией этих зловонных журналчиков – по рассказу-два в номере – имеет целью создать у читателя впечатление, что я – их постоянный сотрудник.

Эта омерзительная змеиная практика господ из «Посева» и «Нового журнала» требует бича, клейма».

Кстати говоря, «Посев» здесь почти не при чем – пять лет назад этот журнал опубликовал два рассказа, что за давностью срока и проходным характером публикации всерьез инкриминироваться Шаламову не может, «Посев» вовсе не пытается создать впечатления постоянного сотрудничества с автором. «Новый журнал» – другое дело, но упор именно на «Посеве» вызывает ощущение, что Шаламов намеренно мутит воду, отводя сыск от действительного источника опасности – адресата списков, переданных на Запад в конце шестидесятых годов. Кроме того, он почему-то не упоминает «Грани», а те действительно поместили в семидесятом две больших подборки КР, и не зная об этом Шаламов не может – через машинистку Елену Кавельмахер он до сих пор связан с кругом Гринов, а одна из его участниц, «бывшая воркутинская лагерница, немка Зельма Федоровна Руофф, получала через посольство ФРГ ворохи «Гамиздата» (Сергей Заграевский). Ясных объяснений тому, почему «змеиная практика» «Граней» обойдена вниманием, я не вижу, «Грани» – такое же неприемлемое для «честного советского писателя» издание НТС, как и злополучный «Посев».

Обычная «змеиная практика» фрондирующих советских писателей, вроде Солженицына и Искандера, заключается в том, что каждый нашкодив принимает обрядовую «позу покорности», и хищное, но уже далекое от прежней кровожадности государство хмуро засчитывает себе очко, на время оставляя хулигана в покое. Таковы правила игры. Шаламов честно пытается их соблюсти, но у него не выходит. «Он пошел значительно дальше, чем обязан», потому что в данном случае действие теряет ритуальный характер и сочит живую муку, живую кровь. Ненависть к эмиграции, в которой «хитрожопая» либеральная оппозиция («хитрожопость как образ жизни») с полным на то основа-

нием видит тыл и запасной выход, настолько неподдельна и велика, что штампы советской политической пропаганды ничего в ней не убавляют, и это должно по-настоящему пугать и отталкивать. «Вчера в «Литгазете»... две статейки против Солженицына – Мартти Ларни и какой-то гедезеровской дуры. И ко всему – страшное письмо Варлама Шаламова, проклинающего Запад и наших «отщепенцев», и Солженицына» (Лев Копелев). Копелев напугал – ни Солженицына, ни «отщепенцев» Шаламов в письме не проклинал. Проклятье вычитывается между строк. Настоящее свободное выражение оно найдет через год в стихотворении «Славянская клятва», которую Шаламов приносит уже только себе, без казенных подсказок Полевого и Фогельсона. Сиротинская не напрасно пыталась выправить письмо, чтобы оно хоть как-то отвечало игровому характеру происходящего на поверхности литературной среды – «не всерьез», как выразился Фазиль Искандер, объясняя через несколько лет свое собственное подобное отречение от заграничных публикаций и отказываясь «участвовать в деле спасения Шаламова на том основании, что, якобы, сам Шаламов отказался от своих рассказов и предал дело своей жизни» (Татьяна Леонова). Солженицын комментирует письмо такими словами: «23 февраля 1972 г. в «Лит. Газете» отрекся... Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что – умер Шаламов». Изворотливость персонажа «Бесов» и какое-то общее угрюмое недружелюбие стиля не покидает Солженицына и здесь: не просто «Шаламов умер» и не просто «мы поняли, что Шаламов умер» – в обоих случаях ответственность за констатацию смерти ложится на «нас», – а «в траурной рамке», которая перекладывает эту ответственность на режим, оставляя факт неизменным: «умер Шаламов». Действительно, не Шаламову тягаться с таким стилистом, вот только «умер» не Шаламов, а нравоучительный толстовский роман и его никчемные эпигоны.

«Мы все» Солженицына широковещательно, но оправдано. Микропандемия возмущения охватывает все либеральное столичное общественное мнение, без различия пола и возраста, в чем некоторые будут потом раскаиваться. Наконец-то Шаламов в центре внимания. «Мне нужно сжечь себя, чтобы привлечь внимание».

(Через шесть-семь лет, когда страсти улягутся и обе стороны давно потеряют друг к другу интерес, а, стало быть, потеряет актуальность и былая вражда, на вопрос об этой истории Шаламов будет коротко отвечать: «Ну это надо было сделать» (Людмила Зайвая).

«Говорят сейчас об «остракизме», которому он был подвергнут. Это, конечно, сплетни» (Сиротинская). Посмотрим, что за сплетни.



«После этой публикации многие от него отшатнулись, вокруг него создалась почти пустота...», «...около В. Шаламова практически не осталось людей, способных уберечь его от дома престарелых... Сложилось впечатление, что несколько лет я был почти единственным, кто его посещал. (Соседи тогда утверждали, что к нему никто не ходит)» (Юлий Шрейдер). «...я знаю человека, у которого висел портрет Шаламова в его квартире, а после этого он портрет снял» (Джон Глэд). «В 1972 году, когда Варлам Шаламов опубликовал в «Литгазете» свое покаянное письмо (или подписал текст, написанный закосневшей гэбистской рукой), помню, я ужасно огорчилась... сказала что-то, Шаламова осуждающее... как мог человек, пройдя через долгий кошмар лагеря, сломаться в ту пору, когда ничего серьезного ему уже не грозило... И как это ужасно выглядит на фоне поведения Солженицына» (Алла Латынина). Латынина, не отдавая себе отчет, повторяет слова образчика поведения: «...отрекся (зачем-то, когда уже все миновали угрозы)». Или это анахронизм, или тогдашнее общее место. «Второе... очень короткое и ругательное письмо могло быть в 68 [описка, в 72] году после публикации письма Шаламова в «Литературной газете». Я первоначально отнесся к нему очень плохо и помню, что тоже написал ему,.. что не хочу продолжать с ним знакомство... просто перестал ему звонить» (Сергей Григорьянц). «Я не принадлежу к тем быстроногим, кто в темпе и со злорадством выкрикнул, что имя Шаламова зловонно, как кошачий кал, и толкнул старика под откос за его письмецо в Литгазету. Елки-палки, сколько раз я одергивал злые языки... Не судите» (Евгений Федоров). «Но многие присвоили себе такое право» (Шрейдер). «О накале страстей... говорит такой факт: ...ему, «отступнику», было немедленно отказано от дома Моисея Наумовича [Авербаха] и, насколько я понимаю, от других «приличных» мест» (Сергей Заграевский). От большинства «приличных мест» Шаламов давно отказался сам, но первое – настоящий удар: он лишается опеки единственного человека, который помогает ему улаживать трудноразрешимые бытовые проблемы, и вдобавок – «прекрасной и преданной машинистки» (Сиротинская) Елены Кавельмахер, жены Моисея Наумовича. Как письмо Шаламова могло быть расценено противоположной стороной, свидетельствует один сталинистский сайт: «А ведь как старались, как славно разворачивалась кампания клеветы на Сталина, особенно в восьмидесятые годы... Немного подвел, правда, Варлам Шаламов, отказавшись к концу жизни от своих «Колымских рассказов» в знаменитой статье в «Литературной газете»... Но поскольку мужественный поступок убежденного троцкиста В. Шаламова СМИ дружно

проигнорировали,.. то можно сказать, что в целом антисталинская кампания прошла успешно».

Есть, конечно, люди – хотя их мало – которые не осуждают Шаламова, и не только по причине того, что: «Что вы вообще... знаете о том, как ломают?» (Георгий Демидов), «Девочка, что ты знаешь о лагерях?» (бывший лагерник Лев Малкин), «я понял, что над Варламом учинено еще одно насилие, грубое и жестокое. Старого, больного, измученного человека нетрудно было вынудить к этому» (Лесняк), «Сломали? ...несомненно. Но как ломали?.. Не подпишет, пусть подыкает с голоду» (Геннадий Красухин), «Ничто нас так не радует, как падение праведника и позор его» (Евгений Федоров), – а потому что интуиция не позволяет им усомниться в словах Шаламова: «Меня никто не заставлял, никто не насиловал!», – а значит, мотивы «отступника» не исчерпываются приписываемыми. Старая добрая коллизия, которая известна еще учителю Шаламова Пушкину: «Он так же низок, как мы, так же подл и мерзок. Врете, каналы! Да, подл и низок, но не так, как вы, а по-другому». «Необходимость осудить публикацию и оправдываться в том, что, по всем человеческим законам, должно было радовать и вдохновлять писателя [Волков по неосведомленности думает, что публикации в «Новом журнале» должны радовать и вдохновлять Шаламова], болезненно им переживалась. Последняя моя с ним встреча пришлось как раз на время, когда разыгралась эта плачевная история, истерзавшая сознание автора. Необычная горячность его высказываний... лишь подчеркивала несправедливость меры, лишившей писателя права на обнародование правды!», – пишет не знающий подоплеку трагедии, но доброжелательный и мудрый Олег Волков, тем не менее, больше с Шаламовым не встречавшийся. Исключительно благородную позицию занял католик-неофит Юлий Шрейдер: «... я даже внутри себя не могу давать никаких оценок поведению Шаламова. Его нравственное чутье несравненно выше моего».

Кое-кто пытается выразить понимание и сочувствие – по словам Сиротинской, к нему приходят Столярова с Сучковым и Евгений Пастернак, – но гордый Шаламов, ничего не забывший, не пускает этих людей на порог. «Борис Полевой прислал ободряющее письмо» (интересно было бы взглянуть на это письмо). Первые дни Шаламов в ужасном состоянии. Сиротинская уходит и совсем не будучи плаксою «ревет целую неделю». Потом он звонит, и она возвращается. «... когда я пришла, он буквально рыдал... плакал и говорил, что он не такой, каким я его считала, что он свалился в яму, написав письмо... В общем, тяжелая и грустная была встреча... Для меня это было крушени-

ем героя». В сущности, в их отношениях поставлена точка. Одно дело – быть подругой, возлюбленной пусть бирюка и неудачника, но героического, и совсем другое – продолжать быть любовницей презренного ренегата, которому отказано от всех приличных домов. Письмо освобождает Сиротинскую от душевного бремени, которое ей давно в тягость. «Я с трудом преодолела, а в полной мере уже никогда не преодолела какое-то отчуждение в себе. Не мне, конечно, было его судить». Смысл и само построение последней фразы выдают осуждение. В таких случаях не рассуждают, судить или не судить. В таких случаях без размышлений принимают сторону близкого человека, особенно если ты осведомлен об истинных обстоятельствах драмы. Положение Сиротинской ложно во всех отношениях: рассказать об этих обстоятельствах она не может, а любое ее решение в свою очередь будет осуждено – ренегат есть ренегат, однако бросить ренегата в беде не то чтобы плохо, но прекрасный повод для злорадства и ханжеского злословия людей, подобных Искандеру, а таких миллион. Повторяю, Сиротинская – сама законченное «прогрессивное человечество», выделяет ее из сонма пигмеев только любовь гиганта. Теперь гигант стремительно теряет в масштабах. «Самое страшное, – пишет Сиротинская, – собственное о себе мнение». Шаламов доведен до состояния, в котором под взглядами беспощадного окружения сам видит только собственную «мостырку», уподобляясь лагерному врачу-разоблачителю доходяг-симулянтов. Конечно, из этого состояния должен быть выход, но любой выход выводит в стены той ловушки.

«Он должен был сделать усилие и осознать себя правым». «Реабилитация в собственных глазах проходила быстрыми темпами. Уже недели через две он говорил мне: «Для такого поступка мужества надо поболее, чем для интервью западному журналисту».

– Ну, – ответила я жестоко, – не надо увлекаться. Этак и стукачей можно наделить мужеством.

И сейчас вспоминаю, как он смешался и замолк».

Горько представлять эту сцену. Одно дело, когда тебя осуждают Солженицын и Искандер, и совсем другое – когда это делает любимая, во все посвященная женщина, которая спустя двадцать лет будет рассказывать Джону Глэду: «Он говорил, что письмо следует расценить, как пощечину всем тем, кто спекулирует на чужой крови». Впоследствии она, правда, будет раскаиваться в своем бессердечии, но дела это не меняет. «...это... было началом спада наших отношений». «Ему снился сон, что его сбила машина, а я отскочила». Сон в руку, как говорится. На самом деле реабилитация Шаламова в собственных глазах очень условна. Он прекрасно отдаст отчет в том, что произош-

ло, об этом свидетельствуют записи в его дневнике, датируемые примерно февралем-мартом 72 года. «Это клеймо сойдет само собой, это не блатная татуировка». «Он продал свою душу дьяволу, но дьявол не выполнил условия и не сделал его бессмертным. Что остается простому смертному – бить дьявола в рожу, плевать ему в лицо». Вот здесь все ясно. Письмо – клеймо, но не воровская наколка, когда-нибудь сойдет. Дьявол – туземное и закордонное «прогрессивное человечество», которому пишущий продал душу, но которое не выполнило условий сделки, теперь остается только плевать ему в рожу. Литературовед Елена Михайлик назвала одно из своих эссе о прозе Шаламова «В присутствии дьявола». Биографию Шаламова можно было бы назвать «В окружении дьявола». Остается выбирать дьявола, который хотя бы выполняет условия сделки, душа все равно пропала. «Я спасаю свою книжку» (Сиротинская).

Швейцарец Ульрих Шмид пишет: «Обе стороны надеялись получить от него [письма] выгоду: как советские функционеры от литературы, так и Шаламов полагали, что существует политическая линия, на которой все еще остающийся в силе «социалистический реализм» может согласиться с «новой прозой». Подобной линии, конечно, не существовало. То, что обе стороны тем не менее предавались этой иллюзии, свидетельствует об их чуть ли не безграничной наивности». Чепуха! Никаких иллюзий ни у Шаламова, ни у режима не было. «В литературной картине 1973 года «Колымских рассказов»... просто не могло быть, и через десять лет их не могло быть – само их существование опровергало советскую жизнь как проект» (Владислав Толстов). Шаламов «спасал» свой конкретный поэтический сборник и выгадывал возможность печатать хоть что-то, хотя бы подборки стихов в «Юности» – «последняя отдушина, которая у него была» (Сиротинская), о публикации «Колымских рассказов» в СССР семидесятых годов никто и не помышляет. Режим тоже ничуть не обманывается «отречением» Шаламова от КР – неуступчивого вздорного старика, перессорившегося со всем светом, просто загнали в угол. Но советский дьявол – человек слова. «Сдача «Московских облаков» мне обещана самая быстрая. Поэтому прошу известить меня о дне сдачи рукописи, типографии и немедленно вызывайте при малейшей задержке» (март, Фогельсону). Еще немного помотав Шаламову для острастки нервы («13 апреля 1972. Я: Те же самые люди говорят: все в порядке, книга выйдет в срок, к которому обещана. П(олевой): (продолжая фразу): можете продолжать писать стихи»), осенью книгу все-таки издадут. «Израненная книга» израненного поэта, экземпляры которой нужно

держат не в библиотеках, а в музеях памяти жертв сталинизма в его позднейшем изводе.

На гребне всей этой истории, в феврале-марте, Шаламов пишет еще одно, почему-то не привлекающее должного внимания завещание, возможности обнародовать которое при жизни он, к сожалению, был лишен, но которое от этого не перестает быть его авторской волей. Это завещание очень важно, потом я покажу, почему. «Ни одна сука из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и всем, имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом» (Записные книжки). Речь идет практически обо всей прозе и большей части поэтического наследия Шаламова, поскольку пиратские, без уведомления автора и без согласования с ним, коммерческие издания с точки зрения закона учитываться не могут и до законной публикации составляют личный архив. От краж он не застрахован, но кража есть кража.

Уже через два дня после написания письма (оно еще не опубликовано) Шаламов, сжигая мосты, пишет литературному функционеру версификатору Сергею Наровчатову записку с просьбой дать ему рекомендацию в Союз советских писателей. Шаламова вынудили играть по правилам мошеннической игры, в которой он обречен на проигрыш при любых ходах. Это игра для людей определенного склада, антропологически бесконечно чуждых Шаламову, но других в этом секторе его концентрационной вселенной нет. Вторую просьбу о рекомендации он посылает Арсению Тарковскому, настоящему поэту и вполне приличному человеку, на глазах которого, правда, уже угробили одного «не приглашенного к столу» гения, так что чувствительность к потерям притуплена. После смерти Тарковского дочь поэта, Марина, обнаружив среди книг отца несчастные «Московские облака» с дарственной надписью и запиской Шаламова, будет со стыдом и укором задаваться вопросом: «...почему он умер один, в приюте?... где же была я. Почему не пришла к нему, не наклонилась, чтобы помочь обуться, не подала попить в его смертный час?».

Процедура принятия Шаламова в ССП продлится год.

Третье письмо, написанное в помрачении чувств, иначе не скажешь, Шаламов отправляет литературному начальнику, члену-корреспонденту Академии наук по имени Леонид Тимофеев. Стоит привести его полностью.

«Дорогой Леонид Иванович.

Я благодарю еще раз за дружескую помощь. В письме в «Литературную газету», написанном по срочному и острому поводу, я говорил – чуть ли не впервые – собственным языком, не искаженным радиопомехами кружковщины, взаимовыручки «испорченного телефона» – и прочих орудий шантажа, а значит, преувеличенных мифов. Москва – это город слухов. Пигмея там выдают за Геркулеса, приписывают человеку чужие мысли, поступки, которых он не совершал. Главный смысл моего письма в «Литературную газету» в том, что я не желаю сотрудничать с эмигрантами и зарубежными благодетелями ни за какие коврижки, не желаю искать зарубежной популярности, не желаю, чтобы иностранцы ставили мне баллы за поведение. Для писателя, особенно поэта, чья работа вся в языке, внутри языка, этот вопрос не может решаться иначе. Я в жизни не говорил ни с одним иностранным корреспондентом и не имел приемника, чтоб собирать информацию Би-Би-Си и «Голоса Америки». Я живу на свою маленькую пенсию абсолютно уединенно уже целых шесть лет. Не вижу ни с кем, нигде не бываю и у меня не бывает никто.

Слухи не утихают, а наоборот, разгораются».

Невозможно поверить: Шаламов называет себя пигмеем. Я в это и не верю. За Геркулеса в стольном граде выдают неназванного другого, но это понятно только самому Шаламову. Для адресата в контексте письма эта фраза звучит самоуничижительно: меня, Шаламова, город слухов выдает за Геркулеса, хотя на самом деле я маленький безобидный советский писатель. Кроме того, маленький безобидный советский писатель безбожно врет. Про радиоприемник – правда: Шаламов глух, вместе с ним Би-Би-Си и «Голос Америки» слушала бы вся коммуналка. Абсолютное вранье – про абсолютное уединение в течение шести лет: за годы этого уединения Шаламов успел как минимум трижды передать за рубеж рукописи «Колымских рассказов». Интересно, с каким чувством читал это письмо такой прожженный циник и инженер человеческих душ как автор вузовского учебника «Основы теории литературы» Леонид Тимофеев. Наверное, без всякого чувства. Этолог-бихевиорист проводит опыт, результат которого предрешен. Страшная растерянность и упадок духа, продиктовавшие письмо, отвечают прогнозируемому результату. Это можно зафиксировать, но особой пищи для размышлений это не дает.

Поразительно, однако, другое. Когда сопоставляешь переписку Шаламова с его прозой, бросается в глаза одно требующее уяснения обстоятельство. В эпистолярной коммуникации Шаламов, что естественно, тесно зависим от адресата, его понятий, его терминологии, его

логики, – словом, от духа времени и его кодов, общих для отправителя и получателя. В самых непосредственных и откровенных посланиях постоянно мелькают «нравственная позиция», «нравственная ответственность», «нравственные требования», «бесспорная нравственность» и весь круг близких понятий, вернее, клише, бытующих в среде либеральной интеллигенции и направляющих мышление по их наезженной колее в пустоту. Когда читаешь многие его письма, приходится напоминать себе, что они написаны человеком, одновременно создающим рассказы, не просто свободные от этих смертоносных для поэзии мировоззренческих штампов, но разрушающие весь тот механизм микрии под полноценное общества, в который их собрал растленный сталинизмом советский образованный слой. Если Шаламов эпистоляр-ной коммуникации заражен конформизмом среды и избавляется от него с большим трудом и большими утратами, то Шаламов колымско-го эпоса как будто ничего об этой среде знать не знает и не связан никакими ее установками. Эта поразительная автономия поэзии от низкой и лживой действительности, в которой живет поэт, объясняет, каким образом автор писем к Столяровой может быть одновременно автором рассказа «У Флора и Лавра», а автор письма к Тимофееву – автором заблудившейся между жизнью и смертью нескончаемой медитации «Перчатка», написанной в год освоения Шаламовым языка таких адресатов как Борис Полевой. Согласно теории «новой прозы» больше всего Шаламов ценит современность и новизну. Практика «новой прозы» доказывает обратное: Шаламов верен непреходящему.

Вот его кратчайший портрет этого года: «...человек со следами некоторой болезни на лице и с угловатыми движениями. Такой странный человек, но с абсолютно выточенным лицом, которое иногда дёргалось» (Наталья Иванова).

Дом Шаламова намечен под снос, и его переселяют в новую коммуналку, сначала предлагая выселки с символическим названием Чертаново, от которых он наотрез отказывается, потом выделяя комнату в доме на Васильевской улице – насколько я понимаю, единственного сохранившегося по сей день местожительства Шаламова после его возвращения с Колымы. Нынче эта квартира в частном владении. Переезд для него тяжел, перемен в жизни он не любил, говорит Сиротинская. Видимо, никто Шаламову, кроме подруги и нанятых грузчиков, в переезде не помогает – в осеннем письме Шрейдеру он извещает, что адрес его изменился, поскольку дом на Хорошевском шоссе «провалился сквозь землю». Тяготы перебазирования осложняются, к

тому же, как пишет Сиротинская, амбициями исполкомов, не способных договориться, на территории какого района стоит дом, и тянущих с пропиской, а прописка в СССР – единственное законное основание для постоянного пребывания человека в определенной точке пространства, без прописки его могут выселить куда сочтут нужным. «Ордер не регистрировали в исполкоме. В.Т. не прописывали недели две, я ходила по инстанциям. В.Т. был просто в истерике – он потеряет прописку в Москве, его выселят. В конце концов я пошла в исполком и сказала, что не уйду отсюда, пока дело не решится – я не могу сказать В.Т., что прописка еще откладывается. И бесславно расплакалась, просто убитая всеми проволочками. Дело решилось тут же. Ордер приняли.

Но бедняга – каким он чувствовал себя бесправным. Это ощущение бесправия вошло в кровь его. Сделать с человеком могут все: взять и вышвырнуть из Москвы».

Как раз для таких случаев и нужен Моисей Авербах, но Авербаха уже нет и вообще никого нет.

Подбивая итог жизни на Хорошевской, 10, «этажом выше», Шаламов записывает в тетради: «впервые в моей московской жизни я получил возможность *писать*... каждый день дышал здесь свободно, с рабочим настроением вставал и ложился целых пять лет... полный разрыв с миром без малейших послаблений... Ее [Сиротинской] любовь и верность укрепила меня даже не в жизни, а в чем-то более важном, чем жизнь – умении достойно завершить свой путь. Ее самоотверженность была условием моего покоя, моего рабочего взлета... Впервые я не был объектом продажи и купли, перестал быть вишерским, колымским рабом. Знакомство с Н. Я. и Пинским было только рабством, шантажом почти классического образца. Я так... радовался своей рабочей свободе,.. что прозевал всю издательскую сторону дела и поплатился жестоко, конечно... Но если бы мне пришлось вернуться на четыре года назад, я... точно так же писал бы, а не ходил к Фогельсону».

К слову, об «издательской стороне дела». Если у Шаламова в СССР выходит, наконец, истерзанный поэтический сборник, то у «Н. Я.» в парижском издательстве ИМКА-Пресс, где, по моим предположениям, томятся в импровизированном «спецхране» по меньшей мере два списка КР, параллельно выходит «Вторая книга», окончательно закрепляющая ее шумное мировое признание. Вся эта фактическая сторона дела на редкость рельефно отображает историю взаимоотношений Шаламова с либеральным московским светом. Здесь нет звена



или цепочки несчастных случаев, здесь железная внутренняя логика, ведущая от причин к следствиям.

Не совсем понятно, что имеет в виду Шаламов, говоря о «рабочем взлете». Слов нет, «Четвертая Вологда» – превосходная книга, но «рабочий взлет» приходится все-таки на 65-67 годы, годы написания «По лендлизу», «Сентенции», «Воскрешения лиственницы», «У Флора и Лавра».

Сиротинская описывает обстановку на новом месте: «...квадратная комната, окно и балконная дверь, напротив – дверь в коридор, направо и налево от входа по стене – открытые книжные полки, просто крашенные доски, слева стояли полки с «Библиотекой поэта», вообще с поэзией. Далее по левой стене – высокие застекленные полки с архивом, поставленные друг на друга, шкаф для одежды, обеденный стол – почти вплоты к балконной двери и шкафчик для посуды, продуктов – над ним. Перед окном – однотумбовый письменный стол. Далее по правой стене, в неглубокой нише – деревянная кровать, далее – опять открытые книжные полки. Свой угол... Варлам Тихонович очень любил».

Вот во что превратится эта «светлая просторная комната» (5х3 метра), этот «свой угол» через пять лет:

«То, что я увидела, превзошло все мои ожидания... там было по колено бумаг. Антисанитария – это даже мягко сказано... Он ухаживать за собой не мог, стеснялся выйти на кухню. Все держал в комнате – и продукты, и помойное ведро. А комната была 15 метров. У него была большая библиотека. Посередине комнаты стоял диван. Через всю комнату висели простыни – он в них постоянно сморкался, потому что платков ему не хватало... хронический ринит... Он так застеснялся... схватил веник и стал веником сметать со стула бумажки... Мы немножко посидели. Потом зашли в соседний дом, где жил наш с Юликом [Шрейдером] общий приятель... Я так ревела, у меня была истерика» (Людмила Зайвая).

Шаламов жалуется в дневнике, что радио и телевидение «подчеркивают ежедневно, что глухим нет места в жизни», а глохнет он все ощутимее. «Эпистолярный способ общения, фельдъегеря и почтовые кареты – вот время, когда глухота не мешала бы мне общаться с миром». Глухота, конечно, мешает, но «эпистолярный способ общения», кроме способности «вести турнир по переписке», предполагает партнеров, а у Шаламова их нет, и острота слуха тут не при чем. Вся пере-

писки Шаламова за год состоит из горстки деловых писем – вышеупомянутым литераторам, Шрейдеру и Лесняку, обеспечивающим его рецептами на сновторное, критику Олегу Михайлову, выразившему неосуществленное желание написать статью о Шаламове в «Малой литературной энциклопедии» и привести в своем очерке о т.н. «одесской школе» (Бабель и др.) обширную цитату из «Очерков преступного мира» – которые Шаламов для данного случая дополняет жестокой критикой документальной повести бывшего эстонского «лесного брата» Ахто Леви «Записки серого волка» и экранизации ильф-ипетровского «Золотого тельца» с Сергеем Юрским в роли Остапа Бендера – и, возможно, драматургу Александру Гладкову, письмо которому не датировано. Эту скудость партнеров по эпистолярной коммуникации очень хорошо отражают четыре варианта письма малоизвестному прозаику Александру Кременскому, причем я не уверен, что письмо было отправлено. Кременский высоко отзывается о знакомых ему «Колымских рассказах», но причисляет Шаламова к «солженицынской школе», что, естественно, вызывает у того неприятие и потребность «отвести незаслуженный комплимент». Это послание – тоже своего рода декларация, манифест – и не только литературный.

«...у меня нет согласия с Солженицыным. У меня иные представления, иные формулы, каноны, кумиры и критерии. Учителя, вкусы, происхождение материала, метод работы, выводы – все другое».

Десятилетия работы «в стол», отсутствия широкой читательской аудитории и пример Солженицына делают Шаламова все более свободным от оценок его труда другими.

«Цена суждений профана не велика. Тут не помогут законы массовой статистики... Ни в каких проверках на массовом читателе писатель не нуждается... Массовый читатель ни единой мысли, строчки даже не подскажет.

...мнение товарища по цеху – важно. Товарищ по цеху видит упущения, замечания, мелочи...

В последнем же счете и мнение товарища по цеху, литературно-единомышленника или литературного врага, тоже неважно для человека, скажем, моих лет... собственная душа – вот главный критерий...

Часть из того, что было мною задумано, Вами... разгадана, мимо части Вы прошли. Это ничего не меняет ни в оценке, ни в масштабе, ни в чем».

Отсутствие резонанса на Западе (но резонанса на что? – ведь более или менее добросовестно и в надлежащем объеме «Колымские

рассказы» будут переведены Джоном Глэдом на один из основных европейских языков только в восьмидесятом году) Шаламов склонен объяснять трудностями перевода на другой язык.

«...на Западе «КР» не могут иметь успеха и не только из-за рака равнодушия, как пишете Вы. Причин тут много. Рак равнодушия только одна из них. Граница языка тоже граница серьезная... Разве Гоголь или Зощенко могут звучать на Западе?.. «Колымские рассказы», где создаются новые русские фразы без метафор, ритмизованные, – все это теряется и должно безнадежно теряться в переводе».

Информационную и художественную составляющие своей «новой прозы» Шаламов соотносит так:

«...Освенцим и Колыма – есть опыт 20-го столетия, и я в силах этот опыт закрепить и показать. Так что в познавательной части в «КР» тоже есть кое-что полезное, хотя для художественной прозы это прежде всего душа художника, его лицо и боль.

Я летописец собственной души, не более».

Прогноз вклада изящной словесности в дело исправления мира – крайне пессимистичный, но писать зачем-то все равно нужно. Зачем – Шаламов уже пытался ответить: литература для писателя – форма прямого действия и как таковая может подвинуть на прямое действие кого-то другого, в той форме, какая человеку доступна.

«Можно ли писать, чтобы чего-то... не повторилось. Я в это не верю, и такой пользы мои рассказы не принесут.

Все может повториться...

Атомная бомба – единственная гарантия мира...

Условия... могут повториться, когда блатарская [блатари, напомним, для Шаламова – нелюдь, иной антропологический тип, а, может быть, вообще законченные исчадия дьявола, душа которых исполнена «абсолютного холода», абсолютного зла] инфекция охватит общество, где моральная температура доведена до... оптимального состояния...

Но если даже и так, то все равно должно писать, написать».

Что в силах литературы? Зафиксировать опыт, а через опыт – новое знание, истину.

«Современная проза может быть добыта только в личном опыте, когда отсеяно все литературное,.. все скрывающее истину, как бы эта истина ни была неприглядной.

Все проверяется на душе, на ее ранах, все проверяется на собственном теле, на его памяти, мышечной, мускульной... Жизнь, которую вспоминаешь всем телом, а не только мозгом. Вскрыть этот опыт, когда мозг служит телу для непосредственного реального спасения, а

тело служит, в свою очередь, мозгу, храня в его извилинах такие сюжеты, которые лучше было бы позабыть».

«...вопросы, затронутые в «КР», – вне категорий добра и зла. [Кстати, то же самое о поэзии: «Стихи.. вне мира добра и зла»]. Возвратиться может любой ад, увы, «Колымские рассказы» его не остановят, но при любом случае я буду считать себя связанным выполнением своего долга».

«Вопросы, затронутые в «КР», сродни постановке какой-то научной проблемы, парадоксальным образом решаемой средствами художественной прозы, которыми располагает открытая истине душа художника. Это триединство, пожалуй, и есть способ постижения бытия поэтическим гением, поскольку объединяет реальность, объект научного познания, воображение художника, подчиняющее эту реальность законам прекрасного, и его душу, содержащую «какой-то нравственный стимул, мираж добра». Более точно основы поэтики Шаламова я определить не могу, гений бежит однозначных определений.

Одна из записей в дневнике этого года гласит: «У меня формула очень простая: то, чему ты учишь, делай сначала сам. Вроде: «делай, как я». Но моя формула в своем существе иная – антивоенная, чуждая и даже противопоставленная духу подчинения и приказа. Поэтому «новые левые» +, Максимов +, а Гароди и Сахаров – минус».

Формула простая и неверная. Вроде формулы или, как еще выражаются, «одинадцатой заповеди» Шаламова: «не учи». Шаламов с его учением о «живых буддах» или упреками «прогрессивному человечеству» – законченный моралист. А Солженицын, имя которого в этой записи отсутствует, последователен в слове и деле – пусть хитро, изворотливо, эксплуатируя для нейтрализации противников демагогию, а для вербовки союзников – свою сомнительную харизму, но действует он не в противоречии со своим словом. Беда Шаламова в том, что его общественный мессидж, его моральное учение, вообще любое его этическое высказывание, поскольку формула «чему учишь – делай сначала сам» – это тоже проповедь, а проповедь ищет последователей, – этот мессидж не имеет адресата в обществе, к которому обращен. Шаламов – пророк, вопиющий в пустыне. В его публицистическом мессидже нет гения, который пронизывает «новую прозу» и делает проповедь ее структурной, неотъемлемой составляющей – именно этим «Колымские рассказы» так разительно отличаются о аушвицких Тадеуша Боровского. Общественный мессидж Шаламова, вплетенный в художественный текст, совершенно ясен и недвусмыс-

лен, праведников у него в рассказах больше, чем в морализаторских повествованиях Солженицына, однако, общество, которое видит в КР «какие-то очерки», лагерную прозу, а в их авторе – летописца не собственной души, а Главного Управления лагерей, естественным образом предпочтет шаламовской летописи солженицынскую, сделанную в соответствии с бытующими литературными штампами и идеологическими стандартами и отвечающую «направлению», в котором мыслит и порывается следовать общество реставрации. Шаламов – революционер, тогда как Солженицын – реставратор и конформист, эпигон опровергнутых жизнью истин, которые могут восторжествовать только в обществе подражателей, в обществе, совершенно очищенном десятилетиями сталинского террора от любых носителей творческого отношения к жизни. Истина и проповедь Шаламова не сводимы к публицистической и не могут составлять конкуренции истине и проповеди партийного идеолога Солженицына. Поэтому формула проста и неверна. Она годится для человека, который в силах ей следовать, но не для общества, слух которого настроен на восприятие совсем других формул. Сама склонность формулировать какие-то заповеди заведомо обрекает Шаламова на неуспех в качестве проповедника. Все, что нужно, он сказал в «Колымских рассказах», а имеющие уши да слышат.



# 1973

О Шаламове 1973 – конца 1977 годов, когда его начинает опекать Людмила Зайвая, оставившая хоть сколько-нибудь содержательные воспоминания, известно очень мало. Почти вся информация взята из его скудной переписки и таких же скудных дневниковых записей этих лет. После скандала с письмом в ЛГ и вступления в Союз советских писателей – презренную, но могущественную организацию, которую Шаламов бойкотировал с начала шестидесятых годов – о нем забывают. Москва перестает им интересоваться, а собеседников и знакомых у него почти не осталось. Сиротинская пишет, что 1973 год Шаламов «называл одним из лучших, счастливейших в жизни», ни словом не уточняя, что же делало этот год «счастливейшим». Правда, в этот год написано «особенно много стихов», но среди стихов она выделяет именно иступленную, ненавистническую «Славянскую клятву», вопль души, охваченной первобытной, дьявольской жадной мести. В предисловии к мемуарам Сиротинская дает краткие противоречивые характеристики своего «друга Варлама Шаламова». Среди них следующая: «Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа». Эту характеристику она сопровождает слегка искаженной цитатой из рассказа «Перчатка», подарившего название последнему циклу КР, который Шаламов в семьдесят третьем году восполнит несколькими не слишком яркими текстами и завершит, завершая эпос: «Главный итог жизни: жизнь – это не благо. Кожа моя обновилась вся – душа не обновилась». Кончается «Перчатка» беспросветно мрачным «выводом из личного опыта»: «Сначала нужно возвращать пощечины и только во вторую очередь – подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить все хорошее сто лет, а все плохое – двести. Этим я отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века». Едва ли год, последовавший за подобным обобщением «всей жизни моей», может быть «счастливейшим в жизни». «Жалкий, злой калека, непоправимо раздавленная душа» – вернее.

« – ...после этого письма [1972] начался процесс распада личности», – говорит Сиротинская в интервью Джону Глэду.

«– Физического распада?»

– И физического, и вообще распада личности. Это было тяжелое зрелище».

Хочу дополнить: само письмо – симптом начавшегося распада. В 1973 его уже можно ясно диагностировать. Этот год – начало полосы самого мрачного десятилетия послелагерной жизни Шаламова, ее

мучительного исхода, преобразующегося в последний колымский рассказ, поэзию во плоти.

Итак, в начале года Шаламов обзаводится членским билетом ССП (выдан 15 марта) и начинает получать «литфондовские путевки в Коктебель и Ялту, которыми вплоть до осени 1978 года неукоснительно пользовался» (Сиротинская). К чему эта сладкая жизнь впоследствии будет приводить, расскажет Зайвая. Шаламов хлопочет о новом сборнике, во всяком случае, ссылается на это в письме Шрейдеру как на обстоятельство, препятствующее общению. Теперь Шаламов – тот истинный нелюдим и бирюк, о котором твердит молва. «Году в семьдесят втором или третьем... я решил заглянуть к нему, проведать. Дверь открыл В. Т. и сказал, разводя руками, что принять меня сейчас не может, так как у него посетитель, с которым предстоит ему долгий и трудный деловой разговор. Просил извинить его... Я вышел на улицу немного растерянный и смущенный. Пытался представить себя на его месте, как я возвращаю его с порога своего дома» (Лесняк). «Я с ним познакомилась в «Знамени» в 1972 году. Я тогда пришла работать в отдел поэзии совсем еще юным существом, и первый поэт, который ко мне тогда пришел, был Варлам Тихонович. Он был человеком абсолютно вне любой литературной среды, она ему была совершенно не только противопоказана, а я думаю, что она ему была и неприятна» (Наталья Иванова). Параллельно этому окончательному отчуждению от профессиональной среды происходит потеря критериев оценки тех, с кем имеешь дело. Адресатами редких писем и дарственных надписей Шаламова становятся без разбору такие люди как Фазиль Искандер, Станислав Куняев, Константин Ваншенкин, Вадим Кожин, Давид Самойлов и бог весть кто еще (дарственные надписи Шаламова не собраны, и сведения о них выныривают случайно), – общее отвращение к людям и знание им цены нивелирует все различия, объединяющие или разъединяющие участников литературной борьбы. Писательская среда становится для Шаламова однородной и подчиняется только правилам бытового общения – приемлем всякий, кто не успел стать врагом, а такие в большинстве среди посторонних, которым Шаламов глубоко безразличен. Это толпа. В какой-то из дневниковых записей он говорит, что «Колымские рассказы» – это «советы человеку, как держать себя в толпе». В действительности Шаламов не владеет этой наукой. Толпа вынужденно подержит его в себе и вытеснит в богадельню, где бы он никому не мешал.

Самое главное событие в жизни Шаламова семидесятых годов – это жизнь в отсутствии той жизни, которая должна была быть. Все ее параметры так же смещены, как смещены параметры жизни человека в тюрьме. У человека отнято пространство, где могла бы действовать его воля, до сих пор направлявшая усилия на то, чтобы обеспечить себе это пространство в будущем. Воля и основные побудительные мотивы продолжают действовать, но в карликовом, сниженном виде, в той скудости объема и обстановки, какие им предоставляют камера и тюремный распорядок дня. Какое-то время их питает спасительная инерция, отодвигающая утрату себя посредством удержания привычного образа мысли и действия, некогда работавших на будущее и наполненных смыслом, а теперь мало-помалу превращающихся в чистый автоматизм – в той мере, в какой они вообще возможны. До семидесятых годов послелагерная жизнь Шаламова была непрерывным взлетом – в противящейся этому взлету, отравленной, враждебной среде, но среда должна была смениться, взлет выводил за ее пределы. Наконец, пик был достигнут, а среда не сменилась. Все дальнейшие усилия потеряли смысл, стали работать только на истощение. Семидесятые годы оказались украдены у Шаламова. Мы никогда не узнаем, чем были эти его настоящие семидесятые годы, годы, когда к нему должно было прийти мировое признание. Эти годы украдены у него и у нас теми, в чьих руках находились переданные на Запад списки КР для их издания книгой. Невызревшие плоды труда этих лет – на совести тех бессовестных человекоподобных ничтожеств, кто полагает, что вправе безнаказанно определять пути человеческого гения. Шаламов писал, что всем убийцам в его рассказах даны настоящие имена. Осталось назвать имена убийц в этом последнем колымском рассказе.

Сиротинская отдаляется от Шаламова. 1973 год – последний, каким она может датировать его прозу; «Заметки о Достоевском», воспоминания [О Колыме], очерк «Поэт Василий Каменский» и некоторые другие вещи помечены просто «70-е годы». Либо интерес к его труду пропадает, либо Шаламов не особенно посвящает ее в выходящее из-под пера. На новом месте они скрывают от новых соседей свои отношения, или же отношения лишаются компоненты, которую стоило бы скрывать. «...нашла картонку, на которой было написано крупным почерком: «Варлам, для твоих соседей я твоя племянница». Я спросила, что это. «А! Это Ирина Павловна написала» (Людмила Зайвая). Зачем Шаламов хранит эту картонку спустя шесть лет? Это его сокровищница. В сокровищницу он складывает засушенные цветы, листки настольного календаря, тапочки подруги, ее волосы с расчески, еще



какую-то чепуху, – очевидно, память его нуждается в осязаемых подтверждениях затопляющих ее образов, «все этого не было – был лишь новогодний сон». Летом он в нетерпении и досаде записывает в дневнике: «Пора, пора бы быть письму, письму, письму» (Сиротинская в отпуске). дождался ли он письма, неизвестно, скорее всего, нет – в письмах Сиротинской семидесятых не могло быть чего-то, по ее мнению, компрометирующего, обрекающего их на уничтожение. Их просто нет. Нет и ответных писем Шаламова. Единственное исключение – не письмо, а рецензия в форме письма на рукопись мемуаров знакомой Сиротинской Ивановой под названием «Книга жизни» и начинается оно обращением: «Ирина Павловна». Рецензия не более чем добросовестна, но последние ее строчки привлекают внимание, потом это суждение в развернутом виде появится в письме Шрейдеру. «Не следует к стихам относиться так серьезно. Стихи – это боль, мука, но и всегда – игра... Жизнь в стихах, по рецептам стихов противопоставлена людям. Стихи – это античеловеческое мероприятие, скорее от дьявола, чем от Бога». Попутно Шаламов еще более запутывает будущих исследователей его прозы, и без того сбитых с толку рассуждениями о ее вящей документальности. «В одном из писем Солженицыну я писал, что проза будущего – документ, отнюдь не понимая под документом так называемую документальную литературу... Документ – это совсем другое, чем документальная литература. Документ – это, например, стенограмма IX партийной конференции, которую вел Ленин во время войны с Польшей (19–22 декабря 1921 г.) и которая недавно опубликована, которая горит в руках и сейчас». Если «новая проза» – «эмоционально окрашенный документ», то что в данном «документе» эмоционально окрашено: выступления участников партконференции, отношение к ним ведущего запись или реакция читателя «горящей в руках» стенограммы? Рабочие термины Шаламова функциональны только для его целей и годны только в контексте его парадоксальной поэтики, пользоваться ими для целей научного анализа его прозы бессмысленно.

Домашнее хозяйство Шаламов ведет сам. «Домашние уборки, стирки дают достаточно физической нагрузки для бессмертия». Варит он, видимо, «супчик», описанный у Полянской. Присутствие Шаламова на кухне, да и вообще в коммуналке придает ей некоторое инопланетное измерение. «Место мое в коммунальной квартире определялось по пересечению лучей солнечного света, падающих откуда-то сверху в кухонное окно, с лучами, газовыми огнями кухонной конфорки». Я попытался представить себе это место, получилась некая точка паре-

ния в стенах кухни. «Я объяснил, что по квартирным склокам выступать не буду,.. что считаю... долгом принципиально бороться против всякого атавизма, против реликта. – Вы знаете, что такое реликт? – спросил я секретаря парткома, кандидата каких-то наук. – Знаю, – сказал он, – но ведь они пишут в ЦК, в суд... А у них ссора с 1958 года. – Ну вот, я же здесь всего с прошлого года. Живу, как метеорит, как инопланетный камень...». Все это, конечно, совсем не весело. «В его последние одинокие годы жизни бытовые заботы, самообслуживание тяжелым грузом ложились на него, опустошая внутренне, отвлекая от стола» (Лесняк). От стола, забитого, напомним, неизданными книгами. Что, кроме стихов и последних рассказов цикла «Перчатка или КР-2» мог писать Шаламов в семьдесят третьем и последующие годы? Сиротинская отмечает: «Проза все иссякала, иссякала. После 1973 года он писал прозу совсем мало». Но ведь остались воспоминания [О Колыме], остались «Заметки о Достоевском», содержащие прекрасную колымскую прозу – «Черная мама», «Омск». Попробую, располагая письмами и дневником Шаламова, предположить, когда они сделаны, хотя бы частично.

В декабре Шаламов шлет новогоднее поздравление редактору «Юности» Полевому, и, пользуясь случаем, просит того содействовать скорейшей публикации в журнале «короткого рассказа» под названием «Джалиль» – о бесталанном татарском поэте, погибшем в немецкой тюрьме и превращенном советской пропагандой в официальный патристический бренд. Шаламов знал Мусу Джалиля по Москве двадцатых годов. Тон и содержание этого шаламовского ходатайства примечательны сами по себе. «...хотел бы довести до конца при Вашей доброжелательной и энергичной, активной поддержке публикации своих коротких рассказов, первым из которых является находящийся в «Юности» – «Джалиль»... он заполняет брешь в биографии Джалиля (во всех его жизнеописаниях мустафиновых также, за которым Вы лично следили)... Это пять страниц на машинке и заполняют эту пятилетнюю брешь биографии Мусы. Я прошу Вашей помощи. Не может быть, чтобы пять страниц самого документа не нашли себе места в «Юности». В этой странной истории блокирования рассказа, который все одобряют и никто не печатает, есть психологические черты – не бюрократизма – это было бы с полгоря, а то, что Маркс назвал бы «идиотизмом издательской жизни». Черты эти были в «Советском писателе», в Гослитиздате, но в «Юности» при горячей поддержке главного редактора? Не хочу верить...». На самом деле все просто – тиски блокады никуда не делись и сжимаются рефлекторно. (В письме

Леониду Черткову того же времени: «Я сдал еще 14 коротких рассказов в «Наш современник», но мало надеюсь на публикацию»). Очерк, впрочем, при содействии Полевого в следующем году будет опубликован. Советский дьявол – человек слова, и иногда это слово держит, на такой случай и существует журнал «Юность» с его главным редактором.

Начинается письмо, однако, с поздравления и приветствия, содержащего следующий пассаж. «Генерал де Голль в нашем с Вами возрасте выступил с большой «итоговой» речью, где перечислил свои заслуги перед Францией. История доказала, что в 67 лет у де Голля еще все было впереди». В Записных книжках Шаламова одна запись с именем де Голля датирована 73 годом и текстуально повторяет начало письма: «В 67 лет де Голль выступил с речью в день рождения, сказал, что он рад тому, чего добился. Все было впереди. Пятнадцать покушений было впереди – борьба за президентство с правыми и левыми – все было впереди». Другая запись сделана на недатированных листах и поминает де Голля в контексте размышлений о возможностях, открывавшихся перед Шаламовым с реабилитацией, но неиспользованных по причине отсутствия поддержки со стороны близких – имеется в виду главным образом первая жена, Галина Гудзь, «компенсировавшая увядание женской красоты» «прогрессивным образом мыслей». Следующая запись дана в книге через интервал, но тот же это лист или нет, не знаю, предположу, что тот же. Запись содержит рассуждения об опыте половой жизни Шаламова, «прошедшего жесткую школу двадцатых, их целомудренного начала и распутного конца», и заканчивается фразой: «... чтение даже вчерашней газеты больше обогащает человека, чем познание очередного женского тела, да еще таких дилетанток, не проходивших курса венских борделей, как представительницы прекрасного пола прогрессивного человечества». Эхом этим словам вторят строчки из образца «новой прозы» в воспоминаниях [О Кольме] под названием «Черная мама» – текст, который я бы включил в «золотую десятку» «Кольмских рассказов», к которым по содержанию примыкают воспоминания. «Со мной поочередно ложились на этот трон любви звезды венских борделей, могущие сдвинуть ход мировой истории... даже медицинские сестры, не имевшие квалификации в этом несложном деле, пытались возместить рвением недостаток опыта». Если эти точечные содержательно-стилевые касания как-то хронологически соотносятся, то «Черная мама» написана параллельно с письмом Шаламова Полевому на рубеже 73-74 годов, стало быть, воспоминания [О Кольме] можно приблизительно датировать этими же годами.

Есть свидетельство против. Неудачный очерк «Федор Раскольников» приурочен Сиротинской к 73 году, хотя писался он чрезвычайно долго: «...редкая для него по жанру вещь, попытка писать по собранным материалам, сделать что-то для публикации, а не в стол, как всегда. Но пока вещь писалась (а начата она была в 60-х годах), оттепель кончилась, имя Ф. Ф. Раскольникова (1892–1939) снова стало опальным, и рукопись Шаламова так и не увидела свет». Режиссер Александра Свиридова, автор фильма о Шаламове «Несколько моих жизней», в конце восьмидесятых собирала материалы для фильма о Федоре Раскольникове, вышла на след неизданного шаламовского очерка и явилась в ЦГАЛИ на него посмотреть.

« – Что вы хотите увидеть в архиве Шаламова? – заинтересованно спросила Наталья Борисовна Волкова.

– Посмотреть, не писал ли он о Раскольникове...

– Писал. Это была его последняя работа перед смертью...».

Правда, это говорит не сама Сиротинская, а ее начальник, но, надо полагать, с ее слов. Если так, то после 73 года Шаламов вообще не писал прозы. Загвоздка в том, что в декабрьском письме Леониду Черткову, автору статьи о Шаламове в Краткой литературной энциклопедии, Шаламов говорит совершенно определенно: «О Раскольникове я еще не писал, но все уже сложилось в голове – и мера героя и мера слова». Конечно, написать большой художественный очерк можно и за неделю, но это не та вдохновенная работа, черновики которой остаются за кадром, а на бумагу изливается чистовик, – это работа для «публикации, не в стол», она может потребовать значительно больше времени. Вопрос датировок последней прозы Шаламова требует более тщательного исследования, чем я могу провести. Но, так или иначе, сами сомнения в датировках, данных Сиротинской, подтверждают все нарастающую отчужденность между ею и Шаламовым и его все сгущающееся одиночество.

Для статьи в литературный справочник, которую напишет бывший лагерник и будущий эмигрант поэт Леонид Чертков, Шаламов уже вторично – первый раз год назад критику Олегу Михайлову – делает обзор своего творчества. Считаясь с известными обоим бесчеловечными правилами игры, он ни словом не обмолвится о «Колымских рассказах» (в письме Михайлову упомянут напечатанный в начале шестидесятых «Стланик», но «сборников прозы у меня нет» – иначе говоря, Шаламова-прозаика на начало семидесятых не существует!), почти все внимание уделяя поэзии, добавлю, подцензурной, которой, собственно, и должен быть представлен в энциклопедии. Названы

также рассказы и очерки, печатавшиеся в тридцатых годах, переводы («переводил я все, что дадут, как Пастернак») и рецензии на поэтические сборники, назвать из которых какую-либо удачной Шаламов затрудняется. Все это выглядит достаточно невероятно, но такова жизнь в концентрационной вселенной. На фоне этих унижительных микроскопических хлопот об очерке в «Юности» и статье в восьмом томе литературного справочника происходят действительно исторические события, инициированные тайной полицией, Солженицыным и издательством ИМКА-Пресс. Советский режим начинает очередную расправу с инакомыслием, открывшуюся во всех отношениях скандальным процессом над диссидентами Якиром и Красиным и продолжившуюся обнаружением машинописного экземпляра солженицынского «Архипелага ГУЛАГ» на квартире одной из его помощниц, которая в сознании вины и состоянии глубокой депрессии после допросов кончает жизнь самоубийством. Солженицын в ответ отдает распоряжение Никите Струве немедленно начать издание своего пухлого «опыта художественного исследования», и к концу года первый том «Архипелага ГУЛАГ» выходит в свет. Последствия предсказуемы. Солженицын достигает потолка своей популярности и все следующие годы будет уверенно держаться этой отметки. С высоты этой отметки пекущегося о Мусе Джалиле Шаламова не видно даже как презренного ренегата. С Шаламовым покончено.

Точнее, покончено как с некоей литературной и общественной величиной – физически еще нет, физически он нужен чему-то большему, чем сотня «Архипелагов ГУЛАГ». Летом он по-прежнему купается и загорает в Серебряном Боре. С Серебряным Бором связан необычный для него рассказ «Жук» – экспериментальный кафкианский набросок, кончающийся, однако, чисто шаламовским восклицанием: «Через пять дней рана моя перестала чесаться. Но память? Память? Что делать с памятью?». Тот физический распад, о котором говорит Сиротинская, проявляет себя в знакомых расстройствах вестибулярного аппарата, но они усугубляются. «Поймите, я не могу ездить на такси... Любой транспорт мне противопоказан, но хуже всего, опаснее всего, результативнее всего – такси и метро. Лифт убивает меня сразу. Но и автобус, и троллейбус, и трамвай – все опасно. Когда я от Вас уходил и садился на троллейбус, я тут же выходил и со следующей остановки брел домой пешком. Вы живете на втором этаже. А что было бы, если бы Вы жили на 102-м?.. Я на строжайшем режиме и пищи, и движения,.. шагреновая кожа вестибулярного аппарата, нервные ткани тратятся медленно, как можно медленней... Лечиться тут

нельзя, нет радикальных средств, кроме перерезания нерва, долбления черепа. Согласитесь, что в 67 лет долбить череп страшно... Если я прошу остановиться на ул. Горького, то это потому, что я рассчитываю дойти или доползти до дома сам,.. вместо этого Вы командуете везти на Васильевскую, где и ставите меня на край могилы», – выговаривает он Шрейдеру, опять ссылаясь на болезнь Меньера, тогда как в действительности им манипулирует куда более страшный недуг, запущенный, питающийся общей неухоженностью и душевными травмами.

Жизни, кажется, удастся внушить обессилевшему, растерянному Шаламову, что его труд и самооценка – иллюзия. «...мне тяжело было слышать в 70-е годы, когда он говорил изредка: «Да что рассказы – нет в них ничего особенного», – признается Сиротинская. «Шаламову казалось, что почти все, чему он отдал жизнь, современникам не нужно... В 72 году Варлам Тихонович признавался мне, что пришел к мысли: колымские рассказы никому не нужны». Эти пораженческие настроения автора, без сомнения, скажутся в будущем, когда его архив в течение многих лет будет лежать в кабинете «простой душеприказчицы» в ЦГАЛИ неразобранным, и извлечет его на свет только горбачевская «перестройка». Между тем, «зловонный» «Новый журнал» как ни в чем ни бывало продолжает «без помпы» публиковать из номера в номер подборки «Колымских рассказов», мало того что краденые, вырванные из целого, так еще и правленные, «нередко «исправленные» (Михаил Геллер). «Как в свое время делали купюры в текстах Марины Цветаевой, так сейчас, например, в «Новом Журнале» причесали рассказы Шаламова, приведя их в большее соответствие с нормами эмигрантской эстетики», – говорит, оказавшись на Западе после отсидки и эмиграции Андрея Синявского, его жена Мария Розанова. «Нормы эмигрантской эстетики» – это приблизительно нормы московского «Нового мира», в целостности и сохранности передавшего их парижскому «Вестнику РСХД» и издательству ИМКА-Пресс, который возглавляет Никита Струве, на вопрос корреспондента, как повлиял на его творчество обожаемый им Солженицын, ответивший: «К сожалению, у меня нет творчества», – но умолчавший, что, к счастью, есть возможность распоряжаться чужим. 1974-77 годы – издательский пик, буквально девятый вал «Архипелага ГУЛАГ», тиражи которого, наконец, начнут распродавать по цене макулатуры, как в СССР тиражи Чернышевского. Все великое мировое значение этой необъятной морализаторской компиляции проистекает из вложенных в нее непомерных средств, иначе говоря, непомерного объема затраченной на нее энергии, мускульной и финансовой, в которую конвертируется первая и любая

другая. Это гигантский проводник энергий, всасывающий их и направляющий в пустоту. Перенаправь поток этих энергий или изначально лиши их этого русла – и останется хобби опасного графомана, пустое место, груда макулатуры, которую никто не читает и не прочтет. «Архипелаг... – не роман. И не нонфикшн. Это отдельный текст в истории русской прозы XX века. Отдельная глава. В каком-то смысле текст, несравнимый ни с какой книгой в этом веке. Ни по поэтике, ни по социокультурному значению. В поэтике не может быть чемпионов, но в плане общественного резонанса – «Солженицын чемпион», – говорит современный литературовед, куратор и культуролог Глеб Морев. Эта внешне лестная характеристика – жесточайший приговор тому, что пытается выдать себя за «опыт художественного исследования», литературный текст, ибо любой литературный текст – это опыт художественного исследования, состоятельность и качество которого проверяется на читателе. Опыт художественного исследования, у которого нет читателя – это опыт банкротства, какие бы финансовые потоки ни вливались в этот океан эстетической пустоты. Если взять простую меру вещей – количество энергии, затраченной на создание «Колымских рассказов» и утверждение их в качестве бессмертного мифа о человеке и бытии, и количество той же энергии, затраченной на создание мифа «Архипелага ГУЛАГ», от которого в памяти потомков не останется ничего, кроме названия, мы увидим чудовищный вейстинг, безумную потраву, результатом которой может быть только опустошенность той социокультурной сферы, которая подверглась невозможному расхищению. Результаты мы видим в современной России, живущей, как выразился один публицист, «по лжи Солженицына». Две формы лжи по обе стороны «железного занавеса» объединились против поэзии и победили, но победа эта пиррова и поэзия ее не засчитывает. Последнее слово все-таки за Надеждой Мандельштам в бытность не куклой моды на расточительную бабу-ягу, а «нищенкой-подругой» сдохшего на владивостокской пересылке великого русского поэта: «... **лучшая проза** в России за многие и многие годы... А может, и вообще лучшая проза двадцатого века».



# 1974

Я уже говорил, что посторонних свидетельств о Шаламове середины семидесятых практически нет. Чудом обнаружил в интернете маленький мемуар самодельного певца Анатолия Михайлова, судя по дате под текстом (1974-1987) посетившего Шаламова в семьдесят четвертом в его квартире. Михайлов положил на музыку стихи Шаламова и пришел порадовать поэта авторским исполнением. Вот как он описывает увиденное.

«...хотя бы своя персональная кнопка. А здесь мало того, что коммуналка. Ещё и без опознавательного знака...

С той стороны спросили:

– Кто там?

Спрашивала женщина. Я сказал:

– Простите... Здесь живет Варлам Тихонович Шаламов?

За дверью ничего не ответили. Я стоял и ждал... Я решил нажать на другую кнопку, может, другая окажется поудачливее, но в это время звякнула цепочка, и за спиной у женщины я увидел старика. Он двигался из глубины коридора какой-то непонятной поступью.

– К вам пришли! – повернувшись на шаги, резко выкрикнула женщина...

Нет... это совсем не Варлам Тихонович... Но Варлам Тихонович приблизился и не оставил мне никакого шанса.

(Когда-то в журнале «Юность» я прочитал про Варлама Тихоновича такие строчки: «У него была легкая походка. Это казалось невероятным для человека едва ли не двухметрового роста, с могучим разворотом плеч, с той совершенно богатырской статью, которой природа всё реже наделяет людей...»).

«Могучий разворот плеч» был как-то бесцеремонно отторгнут от туловища, точно поникший на стволе сдвинутый каркас переломанных ветвей, и каждое плечо ходило ходуном независимо от рук, как будто это не руки, а крылья, которые принадлежат птице, а птицу только что подстрелили. И это было видно даже при свете коридорной лампочки.

– Варлам Тихонович... – выдавил я... Я уже предчувствовал, что ничего хорошего меня в этой квартире не ожидает.

Мы прошли с ним по коридору, и, пока мы с ним шли, я обратил внимание, что из каждой щели на нас продолжают смотреть.

Он вошёл в комнату первым, а я со своим нелепым магнитофоном следом за ним. Резко остановившись, он как-то неожиданно повернулся. И тут я его разглядел уже окончательно.



На Варламе Тихоновиче висело неопределенного цвета рубище, как будто на кресте; что-то вроде полотняного костюма; такие костюмы выделяет производство на похороны одиночек. Но дело даже не в костюме, а в самом лице.

Нижняя губа по отношению к верхней была смещена, а выжидательный наклон головы, словно к чему-то внимательно прислушивающейся, придавал всему лицу выражение какой-то застывшей тревоги. Точно когда-то его свело судорогой, да так и не отпустило.

На фотографии в книжке Варлам Тихонович совсем не такой...

Вокруг... белели листы, наверно, черновики; откуда-то из угла кругляшками клавиш проступала пишущая машинка, а возле неё... горела настольная лампа.

Варлам Тихонович сделал по направлению ко мне шаг и произнес:

– Вы ка-а-а мне?

При этих словах он как-то весь напрягся, и голова у него мало того что затряслась, ещё и потянулась вверх подбородком. И туловище снова задёргалось. И даже когда он замолчал, оно продолжало раскачиваться.

Я плохо соображал, что делаю, но чувствовал, что каждое моё слово куда-то меня проваливает.

– Варлам Тихонович... – снова начал я, – я на ваши стихи...

– Что?! – закричал Варлам Тихонович и приставил дрожащую ладонь к своему уху.

Лицо у него в этот момент было хоть и перекошенное, но доброе. Наверно, он меня принял за водопроводчика с коробкой для инструмента. И только тут я окончательно понял, что в довершение ко всему Варлам Тихонович ещё и глухой.

Так ничего и не придумав, я прокричал чуть ли не в самое его ухо:

– Я на ваши стихи написал песни...

По его выпученным глазам я вдруг сообразил, что он меня услышал, а может, разобрал по губам. Лицо у него не то чтобы перекошило, оно ведь и так уже было перекошено до предела, а как-то теперь перекрутило. Он опять весь затрясся и несколько раз со всё ещё дрожащей возле уха ладонью прокричал слово «что» и каждый раз всё громче и громче:

– Что? что?! что?! Песни?!?!

И тут я почувствовал, что он уже еле сдерживается, чтобы меня не ударить.

Я втянул голову в плечи и, лепеча «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...», стал от него пятиться.

А он рывком распахнул дверь и как-то истерически закричал:

– Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!

Миновав коридор, мы выскочили на лестничную клетку. Он – чуть ли меня не подталкивая и кандыбая, все продолжая выкрикивать «Только через Союз писателей!!! Только через Союз писателей!!!», а я – чуть ли не прикрыв голову руками и все продолжая лепетать «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...».

Поистине, «жизнь – отмерена, а здоровье обрывчиво». Или даже резче: «умер Шаламов».

Вот еще один портрет Шаламова тех лет, нарисованный пользователем одного из интернет-серверов со слов писательницы Татьяны Бек. Бек «рассказывала мне, что видела В.Т. в юности, ей его показали из троллейбуса: по улице шёл совершенно невозможный, страшный даже на расстоянии старик в длинном пальто, простоволосый, явно не в себе, с огромным каменно-затёкшим лицом, плечи его ходили ходунном,.. Он шёл так, что его походка представляла угрозу целостности фонарным столбам. Размашисто, дёрганно, как не ходят в городе, тем более в столице, никогда и никто. Городской сумасшедший».

Возможно, эти описания утрированы, но других нет. Во всяком случае, «походка, представляющая угрозу фонарным столбам», не мешает Шаламову «неукоснительно пользоваться литфондовскими путевками» в Крым – «комфортабельная писательская жизнь произвела на него сильное и приятное впечатление. Воображаю, как неуместно выглядел он на закрытом для прочих пляже», – с пониманием и ноткой разочарования пишет Сиротинская. В октябре Шаламов уезжает в Дом творчества в Коктебель, извещая об этом Сиротинскую в письме, составляющем всю его переписку за этот год. Сиротинской письмо не понравилось, она почувствовала в нем чуждую, «литературную» ноту. «Ирина Павловна. Я еду в Коктебель не для того, чтобы тревожить тени Волошина или Грина, или, скажем, самого Овидия Назона. Я хочу просто посмотреть, можно ли там писать столь продуктивно, как и в Москве».

Несмотря на то, что поезд – тоже рельсовый транспорт, губительный для вестибулярного аппарата Шаламова, он преодолевает это препятствие.

«...обычный российский поезд, где за день было на троих (без меня) две бутылки водки и бутылка коньяка... двое мужчин и дама лет тридцати возвращались из командировки. Один – очевидно, какой-то спортсмен... при начальнике и... чтобы тому не было скучно – рассказывает анекдоты. Это омерзительное времяпрепровождение... К счастью, я тугоух. Тугоух к сближению – не только к анекдотам...

На Курском вокзале громким мегафонным голосом в час моего отъезда орал какой-то деятель вечного «Дня поэзии 74»: «Здесь все поэты мира от Наровчатова до До-ризо! До До-ри-зо!»...

...пожалуй, все это – металлический абажур – выглядит вполне современно, гобелен светло-зеленый, диван – в тон. В тон и шкаф, хоть не запирается, но вполне надежный. Огромная веранда с зонтиком, койка, стол и несколько стульев. И, самое главное, собственная уборная, как у Людовика XIV. Уборная явно новая, все сверкает».

Для старожилы коммуналки собственная уборная – роскошь, Людовик Четырнадцатый.

Побывал в доме-музее Волошина. «Волошина Марья Степановна картин не показывает... – нет договора с Литфондом». Посмотреть картины Волошина можно в Феодосии, неизвестно, ездил ли Шаламов в Феодосию полюбоваться картинами Максимилиана Волошина. Как поэта он Волошина ценит.

При всей самоизоляции Шаламова доброжелатели, получившие после издания «Архипелага ГУЛАГ» свежую информацию и повод к злословию, извещают его о приписке, сделанной о нем Солженицыным в тексте книги в 1972 году: «Отрекся... Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что – умер Шаламов». Умершего это, естественно, приводит в ярость, и он строчит письмо автору лукавого некролога – не отправленное, конечно, Солженицын уже депортирован за границу, где его встретят сначала Белль, потом Никита Струве, потом шведский король, и почему-то напечатанное в издании Записных книжек Шаламова в сокращении, как будто и через тридцать лет после смерти его записи продолжают «гореть в руках», да так оно, впрочем, и есть. Письмо импульсивное и брошено на полдороги, поэтому не составляет единого целого, а рассыпается на ряд бессвязных инвектив, жалоб, поучений и уверений, на которые адресат, случись ему получить эту эпистолу, ответил бы пожиманием плеч.

«...считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки.

...ссылка на «Литературную газету» не может быть удовлетворительной и дать смерть. Дают ее стихи или проза [какое дело Солженицыну до стихов или прозы...].

... Даль – это Даль, а не боль.

... «со стихами [у меня, – прямая речь Солженицына] – плохо». Вот эти-то стихи мне и довелось почитать в Солотче еще две ночи, пока на третье утро я не сошел с ума от этого графоманского бреда, голодный добрался до вокзала и уехал в Москву...

...небольшое отступление, чтобы Вы поняли, о чем я говорю.

Поэзия – это особый мир...

Стихи рождаются по другим законам – не тогда и не там, где проза... В поэме Вашей не было стихов...

Я сказал Вам, что за границу я не дам ничего...

Я пробыл там четырнадцать лет, потом Солженицыну...

Я никогда не мог представить, что после XX съезда партии появится человек, который собирает воспоминания в личных целях...

Главная заповедь, которую я блюду, в которой жизни всех 67 лет опыт – «не учи ближнего своего»...

Я считаю себя обязанным не Богу, а совести...

Я не историк, свои сборники почитаю ответом. Я не умер...

Я буду художником... Вы никогда ничего не получите [Шаламов, очевидно, имеет в виду: от меня, материалы для «Архипелага ГУЛАГ». Во-первых, дело прошлое, во-вторых, он ошибается, ибо не до конца понимает, с кем имеет дело]...

Вы так денно и ночью кричите о религии громко: «Я – верю в Бога! Я – религиозный человек!»

Это просто бессовестно. Как-нибудь тише все это надо Вам...

Я, разумеется, Вас не учу...

Теперь о Боге.

За все 67 лет моей жизни я не обольщался этой идеей... Поэтому я плюю на все советы этого плана...

Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны, Вы – ее орудием. ...

На это письмо я не жду ответа...

«Вы – моя совесть». Разумеется, я все это считаю бредом, я не могу быть ничьей совестью, кроме своей, и то – не всегда, а быть совестью Солженицына...».

В позднейшей словесной дуэли нобелиата с душеприказчицей Шаламова Сиротинской, мало-помалу предававшей огласке мнение Шаламова о сопернике, «совесть России» пеняет ей: «Варлам Шала-

мов прожил страшную жизнь. Потому не удивительно, хотя и больно, узнавать из его записей, как он терзаем был горечью, завистью, озлоблением. К чести его – он не давал им при жизни брать верх, выплещиваться вовне. Какая же злая судьба, что теперь каждое новое выступление владелицы его архива Сиротинской – старается лишить его победы в той мучительной борьбе». Честь Шаламова – вне сомнений. И победа его – тоже вне сомнений. Но в какой именно борьбе, нуждается в уточнении. Действительно, при жизни Шаламов не давал «выплещиваться вовне» своей ненависти, презрению и зависти – будем, вслед за Солженицыным, называть вещи своими именами – к «дельцу» и «авантюристу», «который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма». Играли роль и природная порядочность, не позволившая бы Шаламову ронять себя в агитпроповских «пятиминутках ненависти», в которых по свистку буйствовали коллективы трудящихся включая академиков и «творческие союзы», и предсказуемая реакция либерального общественного мнения, показавшего себя в истории с письмом в «Литературную газету», и, наконец, неоспоримый факт принадлежности Шаламова к «демократической оппозиции» режиму, сначала убивавшему его в лагерях Вишеры и Дальстроя, а когда это не удалось, безжалостно заткнувшему ему рот. Но было еще одно обстоятельство, с которым Шаламов должен был считаться – у союзников и телохранителей Солженицына в эмиграции имелись такие убийственные доказательства его нелояльности режиму, что слово «шантаж» здесь более чем уместно. Шаламову угрожала не только советская тайная полиция. Шаламову угрожал смертоносный донос с противоположного края окружавшей его концентрационной вселенной. «Лагерь мироподобен». Шаламов жил с незащищенной спиной и не мог подставлять ее под удар.

Высланный Солженицын тем временем поселяется на вилле в Швейцарии, объявляет о создании «Русского общественного фонда помощи политзаключенным», порицает добровольно эмигрирующих из СССР соотечественников и издает сборник «Из-под глыб», наследующий старорежимным «Вехам», в котором без умолку поучает, поучает и поучает, определяя, в частности, сделавшую ему имя советскую интеллигенцию как ничтожную и безнравственную «образованщину», что, конечно, недалеко от истины. Главный советолог мира Збигнев Бжезинский высказывает сомнения в дальнейшей действительности этого «орудия холодной войны»: «Играть на Солженицыне можно будет от силы полгода-год, поскольку ни как писатель, ни как историк, ни как личность интереса для западной публики он не представляет», –

и он заблуждается. Наоборот, гений саморекламы, интриг и навязчивости в своей стихии, ничем не связанный. «Чем бы я тогда отличался от Третьей эмиграции, погнавшей в Америку и Европу за легкой жизнью, подальше от русских скорбей?». Правда, и «колбасная эмиграция» видит этот мыльный пузырь насквозь – в пещерном мире советского цинизма и шкурничества поза пророка уместна лишь до полного вхождения лицедея в роль и потери расположения зрителей: «...в каком-нибудь уютном нью-йоркском или парижском доме милые и симпатичные *Третьи* истерически кричали, что Солженицын – нуль, *ничто*, наполненное и вытянутое из *ничего* ими, московскими интеллигентами» (Людмила Сараскина). Что ж, не стоило так усердствовать.



## 70-е годы, вторая половина



# 1975

Черновик письма Солженицыну – последняя, можно сказать, рефлекторная реакция «русских скорбей» на многолетний мучительный раздражитель, в какой превратилась для Шаламова вся проблематика его не востребовавшего труда и общественных отношений. Больше он этого раскаленного железного прута не касается. Из поля зрения современников он исчезает почти полностью. Записные книжки за 1975-77 годы не опубликованы, хотя, по косвенным признакам, в архиве Шаламова в РГАЛИ они имеются. Свидетельств очевидцев практически нет. В сущности, о Шаламове этих лет известно не больше, чем о его соседях по коммунальной квартире. Толику информации дают письма, но почти все они адресованы Шрейдеру и посвящены вопросам поэзии. К свидетельству о разочаровании Шаламова в своих рассказах Сиротинская добавляет: «Его творческий поток в эти годы как-то переместился в стихи, а стихи все реже, как мне казалось, сохраняли крепость настоящей поэзии. Он пытался писать и стихи «на случай». Это не получалось, т. е. получалось плохо. Я, конечно, ничего не говорила ему, но он это чувствовал». В интервью Глэду о промежутке между 73 и 78 годами она говорит в двух словах: «...после этого письма [в «Литературную газету»] начался процесс распада личности... Это было тяжелое зрелище, страшнее смерти. Здоровье стало ухудшаться, он стал хуже видеть, обострилась болезнь Меньера». Действительно, «все донашивается – зубы, желудок» (Записные книжки, 1974). Донашиваются и отношения с Сиротинской.

«...году в семьдесят пятом он сунул мне вдруг среди разговора томик Цветаевой и ткнул в строки:

Ты меня не любишь больше,  
Истина в пяти словах.

Я прочитала, и мы продолжали говорить о каких-то пустяках».

Единственная записка Шаламова, адресованная ей в этом году, содержит короткое вежливое уведомление, что номер журнала с повестью Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» он уже приобрел, и свой она может оставить у себя. Это годы, когда у Шрейдера сложилось впечатление, что он «был почти единственным, кто его посещал», «тех, кто мог бы постоянно оказывать ему помощь, в которой он все больше нуждался», возле Шаламова не осталось.

Из этого предавшего его, смыкающегося над головой мира Шаламов бежит в несколько стерильный мир версификации и размышле-



ний об основах стихосложения. В этом эскейпе ему помогает Шрейдер. Вот образец их эпистолярного диалога.

«Дорогой Юлий Анатольевич!

Стихи – это особый мир, где эмоция, мысль и словесное выражение чувства возникают одновременно и движутся к бумаге, перегоняя друг друга, пока не закончат каким-то компромиссом. Компромиссом – потому, что некогда ждать, пора ставить точку. Для русского стиха таким коренным, главным путем движения, улучшения и прогресса является сочетание согласных в стихотворной строке. Совершенство – и совершенствование – русского стиха определяется сочетанием согласных. Вы пишете: «Я убежден, что все это – правда, но как это доказать? И надо ли доказывать?»...

В чем тут затруднение? Крайняя неразработанность русской поэтики: теории стихосложения, учения о поэтической интонации. Я избегаю пользоваться музыкальной терминологией – ибо это одна из причин смещения понятий, тормозящая дело. Музыка – абсолютно иное искусство...

Пастернак чувствовал себя поэтом, способным на величайшие достижения в русской поэзии, чего карьера музыканта не обещала. Отец Пастернака – рядовой художник «прогрессивного направления», передвижнический эпигон, не мог толкнуть сына на путь исканий. Гениальные стихи: «Я клавишей стаю кормил с руки». Это ведь не музыка, а стихи. Для того чтобы написать, «казалось скорей умертвят, чем умрут, рулады в крикливом, искривленном горле» – не надо учиться контрапункту. Стихи очень далеки от музыки. Даже в ряду смежных искусств – танец, живопись, ораторское искусство ближе стихам, чем музыка. Стихи не пишут по модели «смысл-текст» – терялось бы существо искусства – процесс искания – с помощью звукового каркаса добираться до философии Гете и обратно из философии Гете почерпнуть звуковой каркас очередной частушки. Начиная первую строку, строфу, поэт никогда не знает, чем он кончит стихотворение. Но звуковой каркас будущего стихотворения, его очень приблизительная идея – при полной силе эмоционального напора – существует...

Татьяне Дмитриевне шлю тысячу приветов. Рад повидаться в вами обоими в любой день и час».

«Дорогой Варлам Тихонович!..

Когда я использую термин «контрапункт», то имею в виду необходимость осознания для поэтики законов поэтической гармонии. То, что для музыкальной гармонии (видимо) уже сделано. Насколько в поэтике это далеко от сознательного (неосознанно это, разумеется, знает каждый поэт) понимания, видно уже из того, что аллитерация

трактуются обычно как вспомогательный прием, а не как гармоническая суть стиха. Используя еще раз музыкальную аналогию (я настаиваю на ее чисто эвристической полезности), аллитерация сейчас рассматривается как нечто аналогичное музыкальному «тремолло». На самом же деле речь идет об опорных трезвучиях согласных, определяющих звуко-смысловую гармонию стиха...

Я думаю, мы оба не случайно говорим о русском стихосложении. Язык — материал поэзии, как в изобразительных искусствах масло, холст, гуашь, акварель... и система гармонии свойственна именно языку, а не поэзии вообще. При переводе об этом в подавляющем числе случаев забывается. В переводах Маршака нет ни следа богатейшей гармонии сонетов Шекспира. (В моих скромных опытах, увы, тоже.) Но здесь нет и не может быть прямого соответствия трезвучий одного языка с трезвучием другого. Употребляя аналогию со скульптурой: нельзя статую «Медного всадника» непосредственно вырубить в мраморе. Но аналогичную гармонию форм, вероятно, возможно передать и средствами мрамора.

...буду рад Вас видеть в любое время. Например, 25-го вечером Вас устраивает? Можно ли снять копию с Вашего письма, чтобы показать тем, кто интересуется данной проблемой?».

«Дорогой Юлий Анатольевич!..

Пастернак — антимузыкальное начало в русской поэзии, как бы много ни писал поэтических стихов о музыке. Есть в этой проблеме и еще одна тонкость. Все суждения (сравнения, образный словарь и т. д.) касаются лишь исполнительской стороны творчества музыканта, т. е. интерпретатора чьей-то чужой души. Мне кажется, стихи Пастернака отражают именно эту сторону дела, а не композиторские духовные и душевные, нервные и нравственные творческие толчки. Суть, конечно, не в том, какой пользоваться терминологией для замены понятия «благозвучие», хотя ничего общего именно с благозвучием в поэтической работе нет. Напряженное мучительное искание достаточно удовлетворительного звукового соответствия состоянию собственной, стоящей по колено в грязи первого неблагозвучия «души», выползание на какую-то сухую площадку среди болота языка. В этом состоянии нельзя пользоваться таким термином, как «эвфония» (а только он включает в словарях такую решающую вещь как «звуковые повторы», как стихотворная гармония)...

Искусное перо Пастернака прямо-таки провоцирует сосчитать эти зерна подлинной поэзии, которые искал когда-то Крыловский петух, и наглядно вскрыть, что же скрывается за «точность тайн». Точность — это повтор.

«Поэзия – не поступайся ширью»

П-З/С/Н-П-СТ-ПС

«Храни живую точность – точность тайн»

К-Р-Н-Ж-В-Т-Ч-Н-С-Т-Т-Ч-Н-С-Т-Т-Н

«точность тайн» лишний раз повторяется для лучшего усвоения.

«Не занимайся точками в пунктире»

Н-З-С/Н-М/СЗ/-ТЧ-К-М-В-ПНК-Т-Р

«И зерен в мере хлеба не считай»

З/С/Р Н/М-Р-Х/К/ Б-Н-С-Ч-Т

Вот так расшифровывается «точность тайн». Все, что искал я нашел».

Все это прекрасно, если диалог происходит на Женевском озере по соседству с Набоковым. Но «третья Москва» (Сергей Неклюдов) не забывает отравить эту касталийскую атмосферу своим зловонным дыханием:

«У меня есть второй экземпляр статьи, которая не пошла в «Вопросах литературы» и верстку которой я подписал. Статья эта – «Поэзия – всеобщий язык» [будет опубликована в 1989 году] была предисловием к сборнику моего «Избранного». Я рассчитывал, что ее использует редактор, когда сборник будет готовиться к печати. Она была задумана как комментарий к стихам. Но место сжималось, сжималось и в конце концов остался комментарий к трем стихотворениям: (из трехсот)... Между тем, остальные двести девяносто семь мне тоже важны. Мне кажется, редактору будет очень удобно сокращать – отсекать до нужных двух листов».

Та же история, что со сборником «Московские облака» – там ради двух допущенных к типографскому станку в отвал ушло тридцать печатных листов, здесь – ради трех стихов пришлось пожертвовать двумястами девяносто семью. «...каждое мое стихотворение, попавшее в печать, выдавалось издательским, редакционным работником как его личный подвиг, жертва, грозящая ему немедленно чуть не смертью. Все это было действиями того же «прогрессивного человечества», которое травило и Пастернака» (Записные книжки, 1974).

В какой-то момент бегство не удается, и на короткое время пробуждается прежний Шаламов – узник московской коммуналки, неукротимый богоборец и нигилист, переполненный своим страшным жизненным опытом и ничего не способный ему противопоставить:

«...Если Вы хотите заниматься стихами серьезно, повседневно – все равно, в качестве любителя или профессионала... – Вам нужно знать хорошо – почувствовать всячески, а не только продумать, что

стихи – это дар Дьявола, а не Бога, что тот – Другой, о котором пишет Блок в своих записках о «Двенадцати» – он-то и есть наш хозяин.

Отнюдь не Христос, отнюдь [Шрейдер, адресат – верующий христианин, католик, через пару лет станет терциарием ордена проповедников, доминиканцем-мирянином, могу себе представить, каково ему читать подобные откровения].

Вы будете находиться в надежных руках Антихриста. Антихрист-то и диктовал и Библию, и Коран, и Новый завет. Антихрист-то и обещал воздаяние на небе, творческое удовлетворение на Земле...

В стихах нет правды, нет жизненной необходимости!

...стихи не принесут Вам радости. Всегда в стихах очень много: повелительность, императивность, чужое вмешательство... в смысле каких-то чужих книг, чужих идей, бессилия собственного, мизерности.

Теургическому направлению всегда будет мешать отсутствие личных примеров, а стало быть, и теургическое тоже от Дьявола.

Знаний стихи не дают никаких: ни души, ни истины, ни истории».

«Да что рассказы – нет в них ничего особенного», «...стихи – это дар Дьявола... в стихах нет правды», членство в Союзе советских писателей, запущенная комната в коммуналке, одинокая холостяцкая жизнь, непослушное донашивающееся тело, четыре истерзанных подцензурных поэтических сборника, вручную переплетенные машинописные тома никому не нужной прозы, шестьдесят восемь лет, – это собачья старость и полный жизненный крах.

Держит Шаламова в жизни только необыкновенная природная жизнестойкость – та, что держала на Колыме и, наверное, обратная сторона которой – тяжкая наследственная болезнь, дабы эта титаническая жизненная мощь не разрешилась плотским бессмертием. Его упорство находит выход в жалком последовательном пользовании всеми благами, какие причитаются продавшему душу дьяволу (неважно, какому, дьявол повсюду). Может быть, подсознательно он ждет какого-то окончательного освобождения – невозможного, как смерть Сталина, как встреча с Пастернаком, как первый записанный колымский рассказ, – все это было невозможно и все же случилось. Может быть, он по-своему переживает очередной затянувшийся промежуток, скупко храня остатки мышечной ткани и мозга, откуда однажды уже излетела «сентенция», почему бы ей не излететь во второй раз, абсолютная новизна концентрационной вселенной допускает любое чудо. Надо думать, упования его небеспочвенны. Во всяком случае, он «не-

уклонно» садится осенью в поезд и едет в Ялту, откуда «докладывает» Шрейдеру, единственному, кто готов слушать его доклады. «Стихотворный автоматизм работает на полный ход... Написал даже «под шумок» один небольшой рассказ [значит, проза все-таки пишется. Но что именно?].... взял с собой... «Структурализм», со статьями Якобсона, «Лингвистика и поэтика» и «Кошки» Бодлера, которых я не читал и решил прочесть на досуге... Вторая книжка – избранное Есенина... вот что мне пришло в голову: в своей краткой работе о звуковом луче в стихах Есенина – начать прямо с «Миколы» – первого стихотворения первого сборника... Тут есть все, что нам нужно. И четыре «м» подряд – их явная нарочитость и скрытая переключка согласных – «облачного – лапоточках»... Ялта нравится мне гораздо больше, чем Коктебель... Пляжи здесь не угнетают... услуга ориентирована на одиночество, на покой, на бесшумность... У меня не было ни одного приступа стенокардии. Здешние горные рельефы я, прошедший хорошую горную школу, преодолеваю легко... У меня большая комната с верандой на лучшую, восточную сторону».

Один маленький проходной эпизод ретроспективно опознается как звено намечающегося финального сюжета.

В начале 1975 года, незадолго до ареста, диссидент Сергей Григорьянц встречает Шаламова в Ленинской библиотеке, где тот ищет материалы о Чугуевском периоде жизни Репина. Григорьянц дает ему телефон Ильи Зильберштейна, автора трехтомной монографии о художнике, не зная, что поиски ведутся для работы Сиротинской в архиве, начальник которого, Наталья Волкова – жена Зильберштейна и располагает всеми его материалами. Косвенно эта путаница свидетельствует о том, насколько Сиротинская продолжает оставаться дорога Шаламову и насколько их отношения пунктирны, если взявшийся за поиски Шаламов не знает, что предложенный Григорьянцем источник в ее полном распоряжении. Но важно другое. После письма 72 года в ЛГ Григорьянц, как я уже говорил, разорвал с Шаламовым отношения, написав ему резкое письмо, отправил ли которое, он не помнит, но звонить и заходить перестал. Прошло три года, страсти улеглись, и при встрече они мирно общаются. В ближайшее время Григорьянц получит пять лет тюрьмы, и на момент посадки их отношения с Шаламовым достаточно бесконфликтны для того, чтобы, выйдя на свободу, он мог начать искать Шаламова с целью поделиться собственным паразитическим опытом политического заключенного. После долгих поисков он отыщет писателя в доме престарелых в полном забросе, а потом приведет к нему Александра Морозова, одну из ключевых фигур этой

беспросветно мрачной и бесконечно поэтической притчи. Морозов же, в свою очередь, рекомендует Шаламову в качестве помощницы свою знакомую по «кухне» Надежды Мандельштам Елену Захарову, которая позже найдет Шаламова умирающим в приюте для умалишенных и на руках которой он испустит дух. Захарова фальсифицирует его предсмертное пожелание, и отпевать этого «совершенного безбожника» будут по православному обряду в церкви Николы на Кузнецях.

Тень отношений сохраняется с Еленой Лопатиной, подругой Натальи Кинд. Слова из письма, в котором Шаламов хвалит статью Лопатиной, озаглавленную «Лопатины» и опубликованную в иркутской газете «Восточно-Сибирская правда»: «Саратовскую же книжку [о народовольцах, интерес к которым у Шаламова сохраняется до конца]... я лучше почитаю у Вас – она невелика», – свидетельствуют, что, возможно, они изредка видятся. Письмо «из-за своего неразборчивого почерка» он пишет печатными буквами, машинистки у него теперь нет, а печатать самому не дает пляска Витта. Здесь упоминается, по видимому, еще один «небольшой рассказ» или исторический очерк – «Опричный террор», «тоже вологодская тема. Вологда ведь была в опричнине вся», и в связи с темой опричнины – «известный синодик Ивана Грозного», монографию, содержащую который, «в один прекрасный день отключили», то есть переместили в «спецхран», лишив Шаламова нужной книги. Автоматизм мыслей и движений помогает сохранять личность: «Опричный террор» и «Народная расправа» – это исторические пласты, подстилающие колымский эпос, повествование о терроре, оставшемся безнаказанным.

Письмо Юрию Лотману, главе тартуской семиотической школы, с предложением участия в сборнике статей о «поэтической интонации» или «стихovedческими разборами некоторых стихотворений Межирова» остается без ответа, хотя, возможно, он просто не опубликован. Стихovedческое эссе Шаламова напечатает в следующем году Шрейдер.

Советская «Краткая литературная энциклопедия» печатает статью о Шаламове, которую порывался сделать критик Олег Михайлов, но смастрячил в конечном счете поэт Леонид Чертков, за год до выхода восьмого тома справочника эмигрировавший во Францию. Вот она полностью, это все, что положено знать о Шаламове интеллигентному москвиту середины семидесятых годов.

«Шаламов Варлам Тихонович [р. 18.VI (1.VII). 1907, г. Вологда] – рус. сов. писатель. Учился на ф-те сов. права МГУ (1926 – 29). Печатается с 1932. В 1937 незаконно репрессирован. Возобновив лит. работу после реабилитации, Ш. выступает с 1957 преим. как поэт: сб-ки стихов «Огниво» (1961), «Шелест листьев» (1964), «Дорога и судьба» (1967), «Московские облака» (1972). Осн. направление поэзии Ш. – философская лирика. Для нее характерны точный отбор слов, сдержанность поэтич. средств, ритмич. разнообразие. Публикует также рассказы, к-рые отличаются повышенной эмоциональностью, лаконизмом, литературоведч. статьи; переводит произв. болг., казах., чуваш., евр. и др. поэтов.

Соч.: Маяковский разговаривает с читателем, «Огонек», 1936, №10; Три смерти доктора Аустино, «Октябрь», 1936, №1; Пава и древо, «Лит. современник», 1937, №3; Работа Бунина над переводом «Песни о Гайовате», «ВЛ», 1936, №1; [о Есенине], Стланик, «Сельская молодежь», 1965, №9; Пушкинская премия Академии наук в кн.: День поэзии, М., 1968.

*Лит.:* Слуцкий Б., Огниво высекает огонь, «Лит. газета», 1961, 5 окт.; Инбер В., Вторая встреча с поэтом, «Лит. газета», 1964, 23 июня; Михайлов О., По самой сути бытия, «Лит. газета», 1968, 31 янв.; Красухин Г., Человек и природа, «Сиб. огни», 1969, №1; Ольгин Дм., «Стиха невозмутима мера», «Лит. газета», 1972, 29 нояб.»

Для сравнения: французский журнал «Пуэн» объявил Солженицына «Человеком года».

Пока не изданы дневники Шаламова середины – второй половины семидесятых годов, писать его биографию, в сущности, невозможно. Нет материалов. Дневники эти, по всей вероятности, существуют. В недавней статье о Шаламове-болельщике Валерий Есипов цитирует несколько его дневниковых записей. Одна относится к 1974 году, хотя в опубликованных записных книжках за этот год ее нет, другая – к 1976 и свидетельствует об интересе Шаламова к Белой, или Зимней, Олимпиаде в Инсбруке. Не знаю, чем так «горят в руках» заметки Шаламова, что их не могут, не решаются, не соберутся, словом, не хотят издать через тридцать лет после его смерти. Пока приходится довольствоваться его затухающей перепиской и несколькими обмолвками современников.

# 1976

В мемуарах Сиротинской центральным событием года выглядит ее окончательный уход, хотя обрисован он буквально в нескольких предложениях. Не думаю, что это центральное событие, это, скорее, символическое оформление существующего положения дел, которое ничего не меняет. Приурочено оно к десятилетию их знакомства. «Я понимала, что ему нужен друг, который целиком посвятит свою жизнь ему, и надеялась, что после моего ухода такой друг появится... мне очень больно, но как-то неотвратимо я чувствовала, что все кончено. И сказала: «Ну вот, все кончается так». Он сказал: «Это были десять лет жизни и счастья. Ты подарила мне десять лет жизни»... я попросила отдать мне наши письма» – часть из них подвергнется «аутодафе», часть уцелеет. «...мне стала просто непосильна эта ноша. Я становилась старше, появились другие проблемы, – говорит она в интервью. – Жизнь на две семьи неизбежно создает тяжелую раздвоенность. Я... больше просто не могла выносить этого... устала... я думала – поэзия заменит утрату, да еще если будет домработница – все будет хорошо». Сиротинская лукавит только в одном: она не могла всерьез ожидать, что после ее ухода у Шаламова появится друг, готовый полностью посвятить ему жизнь. Шаламов никому не нужен, и она это прекрасно знает. Но это отношения двух некогда близких людей, которые вправе строить их, пренебрегая оценкой со стороны. Тем более, что оценивать некому – ухода Сиротинской никто не заметит, кроме, разве что, Шрейдера, которому удалось вовлечь Шаламова в постоянную коммуникацию и на которого теперь ложится ответственность за не желающего умирать старика. Уход Сиротинской заметят значительно позже – когда заметят самого Шаламова, когда он «войдет в моду», как выразился относительно Н. Мандельштам член семьи Шкловских Николай Панченко. Сейчас все происходит незаметно и буднично. Итог присутствию Сиротинской в жизни Шаламова я подведу позже, памятуя, что миссия, с которой она пришла десять лет назад – передача его архива в ЦГАЛИ – еще не завершена. Завершится она спустя три года.

Параллельно с тем, как Шаламова покидает Сиротинская, окончательно рвутся его отношения с Лесняком – человеком, с которым его свел лагерь, то есть случайность, броуновское движение, но который вместе с женой, Ниной Савоевой, все же оставил в его жизни глубокий след. Лесняку посвящена непримиримая «Вставная новелла», в которой Шаламов, оправдывая несчастную фразу из своего письма 1972



года о «проблематике, давно снятой жизнью», солидаризуется против него со следователем тайной полиции, но одновременно написан рассказ «Перчатка», где он в суровом, протокольном стиле признает, что «именно Лесняку, Савоевой, а также Пантохову обязан реальной помощью в наитруднейшие мои колымские дни и ночи. Обязан жизнью... не сочувствием, не соболезнованием». И это признание не умаляют написанные позже воспоминания [О Колыме], где больница в Беличьей именуется «обыкновенной «кормушкой», от которой отгоняли врагов,.. не считая нужным замечать, что тот, кого отогнали, умрет». Шаламова отогнали, но он не умер, сначала его спасли и выходили. Лесняк и «черная мама», которую они некоторое время делили, если можно делить повергающего в трепет персонажа мистерии смерти и воскресения, мистерии, не ведающей «категорий добра и зла», ибо жизнь – благо сомнительное, – спасли жизнь, а значит, и труд Шаламова. И помнят обоих совершенно заслуженно.

«Последний раз В. Т. был у нас дома в 1976 г., – вспоминает Лесняк. – С Ниной Владимировной он не виделся с 1957 г. Она рада была его приезду, приняла со всей открытостью своего характера и с радушием, на какое только была способна. Варлам был растроган этой встречей».

«В. Т. требовал от нас правильно и своевременно оформленных рецептов [на снотворное] в соответствии с постоянно меняющимися инструкциями Минздрава... Одно из его писем было грубым и раздраженным... Я ответил ему тоже в повышенном тоне, уже который раз объясняя, что ни я, ни Нина Владимировна доступа к рецептам давно не имеем и что только при случае можем попросить нембутал для себя в районной поликлинике... Больше Варлам не писал».

«По времени примерно в тот же период.. жалуясь на ухудшающееся здоровье,.. он сказал, что очень дорожит остающимся временем, что хотел бы успеть сделать хотя бы малую часть того, что задумано,.. поэтому предельно ограничивает круг своих знакомств и контактов. После этого разговора я решил инициативу в наших взаимоотношениях предоставить ему... он уже не подходил к телефону. Приезжать к нему без приглашения я не мог. По несколько раз в году я писал ему письма, в которых напоминал, что мы еще на ногах и, если он нуждается в какой-либо помощи, на нас может рассчитывать полностью. Ни на одно из этих писем мы не получили ответа».

Лесняк не сознает, что жизнь свела его с гением и обиды тут неуместны. В тени гения живут дольше обычного, гений делится частичей бессмертия с теми, кто попал в его тень. Это хорошая, щедрая компенсация резкого письма или нежелания подходить к телефону.

В сентябре Шаламов попадает в больницу с приступом стенокардии. Эта госпитализация прерывает на полуслове его письмо к Галине Воронской – поводом послужило переиздание книги ее отца, Александра Воронского, революционера, литературного критика и троцкиста, расстрелянного в 1937 году, «За живой и мертвой водой», экземпляр которой Воронская презентует Шаламову. Тот окликается: «Сердечно Вас благодарю за такой дорогой подарок. С удовольствием перечитываю каждую строчку... – ведь это наша живая юношеская классика, где мы учили каждый абзац», – а заодно раздраженно отзывается о свежем бестселлере популярного среди интеллигенции Юрия Трифонова, «Нетерпение», на мой взгляд, мастерском художественно-документальном повествовании про серию покушений, организованных «Народной волей» на царя Александра II: «Нетерпение» – это уголовный роман, вроде «Антоня Кречета», где упущено все серьезное... За последние тридцать лет по «Народной воле» вышел ряд важных работ, одной из которых является работа Троицкого в Саратове, где приведен список поименный всех затронутых народовольческими темами. Этот список включает пятьсот имен по семидесяти процессам (!) Вот тебе и кучка. Такие сведения помогли бы автору «Нетерпения». Еще крупней другой просчет, который потом повторен во многих книгах. Дело в том, что истинной героиней, истинной руководительницей «Народной воли» была Ошанина». Имя Ошаниной повторяется в письмах настолько часто, что не исключен замысел очерка, трактующего ее скрытую, но важнейшую роль в революционном движении. Письмо распадается на две части, вторая написана уже после выхода из больницы. «...очень долго не мог ни с кем связаться. Звонил Вам много раз – и телефон оказался другой. Я благодарю Вас и Ивана Степановича [Исаева, мужа Воронской] за столь срочную, своевременную и продуманную помощь. Я выписан в среду, 15 сентября, как и обещано врачами и вообще-то мне нечего делать в больнице». Воронская в двух словах вспоминает этот эпизод, как обычно у мемуаристов спрямляя хронологию целых лет в нескольких строчках: «Он разошелся с Ольгой Сергеевной [формально 1965, фактически раньше], а ходить в два дома я считала неудобством, да и не очень он меня приглашал! Как-то раз, правда, вызвал нас с мужем, в больницу. Не знаю, по поводу чего он лежал. Мы навестили его, разговор был общий, так как он проходил в больничном коридоре, Варлам Тихонович все-таки был доволен, что мы пришли, очевидно, не слишком много народу его тогда посещало». Наверняка не слишком, а скорее всего, никто – Иван Исаев отмечает, что в Москве они с Шаламовым встречались не боль-

ше десяти раз. О таких знакомствах обычно вспоминают на полном безлюдье.

Осенью Шаламов, как обычно, едет отдыхать в Крым. Немногие письма этого года отмечены каким-то странным сдвигом в мышлении в сторону сиюминутного или просто старческой рассеянностью, которых не ожидаешь. Послание Шрейдеру из Ялты детально и скомкано описывает перипетии дороги, бардак, царящий в Аэрофлоте, и заканчивается довольно убогим стихом с припиской: «Качество стихов говорит о том, что рука и в семьдесят лет тверда». Качество стихотворения говорит как раз об обратном.

Воронской он посылает журнал «Юность» с подборкой своих «крымских» стихов. Та вежливо отвечает: «Мне это нравится, хотя и прежде тоже нравилось. Если написала глупость, не сердитесь. Я уже Вам говорила, что у меня «что-то сломалось» в восприятии стихов, это еще случилось на Колыме».

Шаламов поясняет – совсем не по адресу, но других адресов у него нет: «Стихи пишут по законам звуковых повторов – что я и показываю во всем ялтинском цикле.

Стихотворение о Чехове – давнее мое желание рассчитаться с родственниками Чехова за этот музей, за этот дом-комод, где М. П. Чехова жгла чеховские письма и вымарала все, что казалось ей опасным для семьи [здесь, конечно, подтекстом, известным только Шаламову, идут его горестные размышления о судьбе собственного архива, уничтоженного в годы террора первой женой Галиной и ее сестрой Марией Гудзь, об этом в главе «Большие пожары» в воспоминаниях [О Колыме]. «Дом-комод» – это музей родственников Чехова, а не его самого».

В декабре он извещает Шрейдера: «...в «Советском писателе» идет моя очередная книжка, на которую я уже подписал договор. Книжка называется «Точка кипения», – и благодарит за публикацию своей статьи «Звуковой повтор – поиск смысла (Заметки о стиховой гармонии)» в редактируемом учеными мужами, среди них Шрейдер, сборнике «Семиотика и информатика». «Я в полосе удаче, – заключает Шаламов. – Поэтому из трех облигаций 3%-ного займа, которые у меня были, одна – выигрывает, правда не двести тысяч рублей, как Левенталь (Вы, наверное, знаете эту ошеломляющую цифру 1913-го, предвоенного года), а сорок рублей. Но учитывая все психологические нюансы, я обрадован не менее Левенталья». Левенталь – журналист, «человек с монгольским лицом», рассказывавший ему на разъезде

Шатурторф о взаимоотношениях Раскольникова с Ларисой Рейснер и о подоплеке самоубийства Маяковского.

Самое странное письмо всей шаламовской переписки датировано тем же месяцем и адресовано литературоведу-многостаночнику и критику Исааку Крамову. При чтении этого письма начинаешь понимать, что имела в виду Сиротинская, говоря о прогрессирующем «распаде личности». Начинается оно рассуждениями о Платонове, которым тогда занимался Крамов, и Горьком: «От себя же насчет Платонова скажу: Платонов был гений русской прозы, достиг определенных достойных результатов... Отнюдь ни на что не похоже – считать, что Катаевская повесть «Время, вперед» может сравниться с «Котлованом» по форме и по существу, и по тому величайшему эмоциональному накалу этой превосходной прозы. Для Платонова «Котлован», впрочем, лучшее. Как всякий большой талант реально верил в свои силы и строчил, и строчил, строчил без устали химическим карандашом, без помарок, складывал в стол один за другим все новые и новые романы. Я думаю, что в судьбе Платонова много сыграл Горький. Горький все брал, все и бросал платоновские вещи. А Платонов не то что верил в Горького. В Горького было верить нельзя, ибо знаю я, кто стоял за Горьким, направлял и решал: Надя, Черткова, Закревская, Петр Крючков. Ведь это – не дурная, а реальная жизнь. Почему же Платонов все время держался за Горького, как за авторитет. Я думаю, что тут очень сильна роль двух обстоятельств. Не то что Платонов верил в авторитет Горького, [нрзб]. Верить в авторитет [нрзб] Горького мог только круглый идиот. Просто Горький был трезвее иного, чего-то худшего, в круге тогдашнего времени. Платонов тут считался с тем, что Горький только декорация. Он не более чем ширма. Но Горький не одобрял этой дороги, и Платонов так и умер не признанным человеком. А без Горького все это в сто раз еще опасней и еще дороже бы Платонову обошлось. Вот поэтому-то платоновский страшный роман задержался». Потом поток сознания неожиданно меняет русло и оборачивается сущим бредом: ««У меня все ремонт в разгаре и как только новый сервант в качестве книжного шкафа войдет в мою жизнь, все будет вечером. В чем еще одна подробность насчет подборки тахты. Я ведь живу лежа или ходя по комнате. Стулом я в своей жизни не пользовался... В моей жизни нет ничего от стула. Уже есть два стула, [нрзб]. Но все это – чушь. Необходимая сила оставлена с переездом с Пресни, раз сие выбросили. В своем быту всегда следовал девятому принципу Энрико Ферми – творца ядерной бомбы. Ферми ли эту придумал. Энрико в отношении устройства всего себя, [нрзб]. Он тогда

был студент, а стал Нобелевским лауреатом. Он ничего, кроме нескольких костюмов [нрзб] и, как правило, вещи брал самые дешевые. Этим великим принципом Ферми теперь руководствуюсь и я. В итоге я раз в лето купил (кроме серванта) – стул, стол (2), книжных полок. Стульев, мягких стульев, чудных кресел и тахты в моей жизни не будет и дня жить, и вот лежу, кровать – вот суть сути».

Это последний год, когда нью-йоркский «Новый журнал» публикует подборки его рассказов. Со следующего года имя Шаламова на пять лет исчезнет из зарубежной периодики, а в год его смерти поле отгремевшей битвы посетит еще одна разновидность шакала – солженицынский парижский «Вестник РСХД».

Солженицын тем временем – чтобы не забыть это важное действующее лицо данного очерка – объезжает Европу и переселяется в Америку, покупает в Вермонте участок, строит виллу, организует рабочее место «и строчит, и строчит, строчит без устали», соперничая с Платоновым. Человек, достигший всего, но лишь входящий во вкус.



# 1977

О том, как день ото дня живет-может оглохший, полуслепой, с трудом владеющий телом, невесть как обслуживающийся себя и стряпающий себе Шаламов, переписка, конечно, не дает никакого представления. От 1977 года осталось два шаламовских письма – критику Вадиму Кожину с похвалой его книги «Как пишут стихи» и повторным сожалением о недооценке поэта Голенищева-Кутузова, и Шрейдеру, как обычно, октябрьское, из Крыма, с «докладом»: «...погода здесь исправилась – в тот самый миг, когда я всовывал письмо в узкую щель почтового ящика... четыре дня полного ялтинского солнца мне обеспечены», – а также любопытным наблюдением над научно-техническим прогрессом эпохи освоения космоса: «В здешних газетах я нашёл... беседу конструктора лунохода «Почему колеса, а не гусеницы»... Я помню был просто поражен, что восьмиколесный луноход пущен, так сказать, назад – к катку, к бревну, который катил неандерталец, надежность дали именно колеса, а уж древнее колес на свете ничего нет». Эпистолярное наследие года дополняют две записки Сиротинской, с перерывом в три дня – в ответ на ее неопубликованное письмо, хранящееся, должно быть, в архиве Людмилы Зайвой. «Дорогая Ирина Павловна. Получил Ваше письмо с большим волнением. Конечно, я ничего не забыл, интересуюсь Вашей жизнью и жизнью Вашей семьи. Помню я, что мы не виделись более 3-х лет, а не год, как вы пишете». Далее Шаламов предлагает план «возобновления дружбы и знакомства». «Вы приезжаете ко мне в любой удобный Вам день и час, и мы обо всем поговорим. Жду Вас». Ждет он напрасно. «Я хотел вручить эту книгу Вам лично – ну, что ж не судьба». Речь идет о свежем поэтическом сборнике «Точка кипения» (в дарственной надписи Станиславу Куняеву автор называет его «очередным своим опусом»), жалоб на содержание которого, вероятно, полностью определявшееся благодетелем и политруком Виктором Фогельсоном, Шаламов уже не высказывает – укатали сивку крутые горки.

По сообщению Сиротинской, в связи с семидесятилетием Шаламова представляют к ордену «Знак почета» – рутинное поощрение третьесортных советских литераторов-ветеранов, – но ордена не дают. Какие-то точнейшие идеологические весы указывают степень официального признания, на которое может рассчитывать сдавшийся и едва живой, но все-таки живой и уже тем опасный Шаламов – представление к награде возможно, однако само награждение нежелательно.

В Крыму астроном Николай Черных нарекает именем Варлама Шаламова открытый им астероид (3408 Shalamov). К сожалению, о Черных мне ничего неизвестно, не знаю также, был ли извещен об этом событии сам Шаламов, а если да, то как отреагировал. Возможно, астероид – замена ордена. В таком случае, советский режим дал маху – никчемный орден эпохи Брежнева интересен только старьевщикам, а астероид будет летать еще вечность.

Всем известным о повседневной жизни в эти годы земного Шаламова мы обязаны драгоценным показаниям Людмилы Зайвой в ее позднейшем интервью «Общей газете» и частично воспоминаниям его лечащего врача Михаила Левина.

В предисловии Зайваю характеризуют: поэт, издатель. В действительности она заведует клубом книголюбов, знает с «тьмой народа» включая писателей, в том числе за стаканом водки на дачах, мать-одиночка с маленькой девочкой на руках, склонна к авантюрам, вроде пережитой с Шаламовым, открыта, легкомысленна, отзывчива, доверчива, инфантильна, придумывает себе литературные влюбленности – Сартр, Сомерсет Моэм, Паустовский, Бунин. Увидела в книжке фотографию Шаламова – влюбилась, случайно узнала от Шрейдера о его положении, возмутилась, велела немедленно везти ее к нему, заняла денег – на «коньяк, шоколад, цветы – к поэту же».

Комната поэта повергла в шок. Шрейдер представил: «Людмила Владимировна... пишет стихи». Попросила автограф, посоветовала обратиться к хорошему врачу. Шаламов на нее разорался: «Никаких врачей!». Зайвая от растерянности вспылила: «Я женщина! Я пришла к вам в гости! Ведите себя достойно!». «Тут Юлик нашел валидол». Шаламов успокоился, извинился и сказал: «Мне, кроме нембутала, ничего не надо». После визита у Зайвой была истерика.

Вот каким она увидела Шаламова – единственный его портрет того времени. «У него были пронзительные синие глаза... Он ходил в ботинках на босу ногу, брюки не доставали до шиколотки – с его ростом он не мог просто купить себе подходящую одежду. Пиджак надет на голое тело. По улице он шел по диагонали – то есть, со стороны глядя, четкое алкогольное опьянение. Только лицо не пьяное – крепкое, сильное... За спиной рюкзак – в рюкзаке продукты... очень худой – все в нем сгорало».

Опекать его она начинает в ноябре, и продолжится это около полутора лет. До ноября 77-го о Шаламове ничего не известно. Сиро-

тинская оставила его полтора года назад. Посещает ли его кто-нибудь, кроме Шрейдера? – «...при нем остался только Шрейдер, навещавший его иногда» (Людмила Зайвая). По словам соседей Шаламова, к нему никто не ходит. Еда и помойное ведро стоят в комнате. Выходить из запущенной конуры он стесняется. Еду, какие-нибудь пирожки, способен покупать килограммами. Наверное, их и ест. Иногда он делает уборку – у него есть пылесос, стирает белье и простыни, в которые сморкается из-за хронического ринита. Неизвестно даже, пользуется ли он простынями по их прямому назначению. По рассказу Зайвой, принесшей ему «роскошный комплект нового постельного белья» с вышитыми подсолнухами, он все порвал в клочья, а спит на досках, точнее, на куске четырехслойной фанеры, которую Зайвая отодрала от задней стенки своего платяного шкафа, ко времени интервью как раз развалившегося. Сначала она носит ему еду из дому, потом берет «комплексные обеды» в ресторане «Пекин», это недорого, по ценам приличной столовой. У Шаламова булемия, патологическая прожорливость – съедает по три обеда за раз. Ложкой из-за дрожания рук пользоваться уже не может, поэтому черпает суп из кастрюли кружкой. Гущу, наверное, доскребаёт все-таки ложкой.

Прийти вторично она боялась – «пустит ли, не побьет ли?». Запаслась нембуталом и постельным бельем. Шаламова дома нет. Села на лестнице покурить. Курит, пьет и предается разврату на писательских дачах. «Вижу – он тяжело так поднимается». Невнятно говорит: здравствуйте. Вообще, речь очень невнятная, заплетающаяся. Иногда бывают просветы, но часто Зайвая вообще не понимает, что он говорит. Бросился целовать руки, проводил в комнату. Зайвая пришла сделать уборку. Нет, лучше поговорим. Записывает слово «крокусы» – название цветов, принесенных поклонницей.

Убирать невозможно. Зайвая пытается как-то рассортировать архив с черновиками рукописей, письмами Солженицына, Эренбурга, а Шаламов кричит: «Все это надо выбросить!». «Посидите лучше, мы с вами поговорим. А уборка, она никуда не уйдет». Сиротинская пишет, что Шаламов платил ей как домработнице, и считает, что Зайвая была баклуши. Сиротинская, наверное, ожидала, что ее сменит человек, готовый посвятить Шаламову жизнь. Зайвая тоже искала «невесту» своему подопечному. Та разок помыла окна и «пришла вся в слезах, сказала, что больше к нему не пойдет». Сиротинская должна удивляться, что нашелся хоть кто-то, а не сводить счеты с матерью-одиночкой, зарабатывающей на жизнь себе и дочери. Если Шаламов предпочитает поговорить – пусть работа заключается в предоставлении ему возмож-



ности высказаться. Он всегда ценил эту возможность, а теперь годами ее лишен. Так или иначе, какие-то человеческие отношения складываются. Когда Шаламов в хорошем настроении, он зовет Зайваю «блядишей». «Я съела «блядишу» – это было у него как «Людочка», как «милая». Это у него так звучало. Иногда смотрю на него, ну – зек, бандит, да как он писать стихи может?». Хуже, когда он зовет ее «Людмилой Владимировной» – это означает, что Шаламов не в духе, и «Людмила Владимировна» очень переживает. Иногда у него случаются неконтролируемые приступы бешенства, вдруг вскакивает, начинает все рушить. Зайвая в страхе забивается в угол. Придя в себя, Шаламов ее успокаивает и просит не обижаться. «Вы постоите где-нибудь в коридоре. Это через 10 минут пройдет. У меня бывают такие невероятные боли в мозгу из-за глаз, что я сам за себя не отвечаю». Зато он умница. «Такого ума я ни у кого не встречала».

«Он меня провожал и сразу писал письмо, которое я получала утром. Это была мука. Я сейчас не помню своих чувств тогда. Я помню, что занималась им каждую минуту... Теперь я понимаю, что он любил меня, – демонстрирует Зайвая классическую женскую логику. – Иначе, какими бы силами я все это вынесла. Уходила я оттуда всегда в слезах. Я не могла его оставить одного. Я видела, что он страдает. Я доставала Союз писателей, чтобы ему помогали, дали вторую комнату, литературного секретаря. Наверное, я его любила. Я разрывалась между ним и Маринкой. Но Маринка могла без меня побыть два-три часа. Она была в детском саду – я ее просто позже забирала, потом я ее отдала на неделю».

«Сначала я ездила раз в неделю, потом два раза в неделю. А через год надо было ездить чуть ли не каждый день. А я не могла, у меня была пятилетняя Марина».

Однажды, когда Шаламов болел, позвонила Галине Гудзь. Та сказала: «Да пусть он сохнет, пусть он в гробу перевернется». «...звонила Сиротинской, советовалась. После каждой встречи рассказывала, что он, как он. Предлагала ей самой прийти. «Нет».

«Он мне дал телефоны: «Если вам надо будет, чтобы вам помогли» – телефон Лихачева, Тимофеева, Сиротинской».

Телефоны людей, к которым можно обратиться за помощью, Шаламов давал и Шрейдеру – каких-то женщин из ЦДЛ. Об этих женщинах мне ничего не известно, непонятно, что связывает их с Шаламовым, кроме службы в творческом союзе, в котором тот состоит. Дмитрий Лихачев – сам старик. Тимофеев – зловонный партийный функционер. Сиротинская говорит: «Нет».

Зайвая вызывает у меня искреннюю симпатию. Ей достались без преувеличения человеческие развалины, причем опасные, грозящие в любой момент рухнуть на голову. Вдобавок, «Колымские рассказы», похоже, не будят в ней никакого отклика, для нее Шаламов – советский поэт из тысяч назначенных режимом на эту должность («тысяч» – не гипербола, Андрей Вознесенский в стихотворении 1967 года упоминает 2717 «поэтов нашей федерации», через десять лет их поголовье должно значительно возрасти). В нем нет очарования былой сопричастности к салонам и интеллектуальной элите: «...я понятия не имела о его бывшем окружении». Кроме того, Шаламов не перестает оставаться прокаженным, ренегатом, отступничество которого потеряло свежесть сенсации, но приобрело стойкость общего места. На мой взгляд, Зайвая движима исключительно идеалистическим порывом и состраданием, если не считать несоизмеримо маленькой оплатой забот, преследующих день и ночь. «...[я] все время о нем думала, кого бы позвать, что бы еще сделать». «...открыла один из ящичков, увидела там залежи нембутала. Он его и не пил. Просто знал, что, если скажет, что у него нет лекарства, я обязательно приеду». «По телефону он не говорил. Были звонки с молчанием, и я знала, что это он». И так месяцами, изо дня в день.

# 1978

Кошек Шаламов больше не держит, но однажды его посещает Муха. «Сегодня мне днем приснилась Муха. Встретила меня и сказала: «Что ты рассказ обо мне не напишешь, я скоро приду еще к тебе». Шаламов опоздал написать рассказ про Муху. То место под теменной костью, где рождается проза, мертво, оно иссушило себя дотла, отдавая, отдавая и отдавая и ничего не получая взамен.

То же происходит и с местом по соседству, откуда еще точится поэзия или, скорее, ее рифмованное подобие. «С небес тебя суют на кухню коммунальной квартиры. Но даже если это не кухня коммунальной квартиры, то какие-нибудь рыночные проблемы с чисто московским вопросом: «Яблочки эти вроде чего? Но почему?»... всякая сельская суета, которая похуже суеты светской, пушкинской, и отрываться от которой труднее, «когда потребует поэта...».

Последние трогательные, беспомощные письма к Сиротинской с внезапным переходом с «ты» на «Вы», сбивчивой поспешностью признаний, желанием одарить хоть чем-нибудь, когда ничего уже не осталось. Мольба по какому-то вниманию, робко нарушающая конвенцию, тон «просящего милостыню», как это назовет доктор Михаил Левин.

«Почерк мой тороплив и плох из-за усталости...

Ира!

Если ты получишь это письмо – то как-то откликнись – мне надо знать.

Ты меня раз просила сказать, какие мои стихи относятся к тебе. И я читал эти стихи-близнецы...

«Она ко мне приходит в гости...» – [написано] на Васильевской, где я и сейчас живу [уточнение для человека, который может не знать о таком важном событии как переезд. Видимо, у Шаламова небезосновательное ощущение, что они не виделись долгие годы].

Стихотворение... в высокой степени квалифицированное. И Ваше хранил все, хранил след твоих рук, я берег даже лекарство, подушку с заплаткой на скорую руку.

Я все помню и благодарю судьбу за встречу с тобой.

В наших свиданиях... мне особенно памятна «Аптека»... я тебя всегда видел издали по спуску к Песчаной.

Ну, целую.

Недавно я случайно заходил в эту аптеку – все повторилось».

«Твои письма с Крымского берега у меня хранятся все. Но с Памира, из Таджикистана – у меня никаких писем нет. Почему же? Могла бы бросить открытку в каком-нибудь Душанбе.

Твое-то письмо я ждал и благополучно его получил... вчера разорвал этот конверт на ходу».

Шаламов что-то путает – у него не могло быть крымских писем Сиротинской, та их перед уходом забрала и частично подвергла «аутодафе».

«Я не думала, что он любил меня так глубоко».

Шрейдеру он жалуется на Людмилу Зайвую, как капризный ребенок.

«Людмила Владимировна исчезла, «взяв на память» томик Марины Цветаевой и фото Осипа Мандельштама. Передаточная надпись есть только на книжку. Исчезла, не вынеса даже собственного мусорного ведра, которое принесла с собой. Исчезла, как в Бермудском треугольнике... Прошу Вас принять меры к розыску Л. В... Даже не делает сюрприз к 8 марта. Очень прошу помочь».

«Ушки мои полетели к чертям», – записывает Шаламов. Не только ушки. В 1978 году его опять госпитализируют, на сей раз на целых четыре месяца. Это происходит в отсутствие Зайвой, по инициативе домкома, т.е. жильцов, Зайвая в это время в разрыве с Шаламовым.

«Я договорилась с главным редактором издательства «Советская Россия», что они выпустят книжку Шаламова – переиздание из его пяти книг. Шаламов согласился и дал мне свои книги – по два экземпляра каждой – для расклейки». Профессионалу нужно заплатить за расклейку 150 рублей. Зайвой жалко этих денег, и она в течение полугода, по ночам – стало быть, дело происходит во второй половине года, но когда именно, сказать не могу: в конце сентября Шаламов едет отдыхать в Крым («...водворенный в номер, в миг, когда чуть не помер, живу в нем до конца, до скрипа вагонной двери Симферополь – Москва») – делает расклейку сама, а когда приносит эти триста двадцать страниц Шаламову, вместо благодарности получает сцену из театра абсурда. «...тут он стал на меня орать: «А мне это совсем не надо, Людмила Владимировна. Я вас об этом даже не просил. Вы должны бросить меня и сделать себе судьбу. Я себе ее уже сделал. А с этим я сделаю вот что!» И бросает расклейку под потолок. Все эти листья разлетаются, летят на пол, на очередной пролитый кефир или молоко. И он по этому топчется своими ножищами. Я говорю: «Я эту

работу сделала потому, что обещала издателю. А к вам я больше никогда не приду. Я такого отношения не заслужила».

Через три недели раздается звонок, и незнакомая женщина просит Зайваю дать Шаламову телефон Шрейдера («который он знал наизусть»), поскольку Варлам Тихонович в больнице. «Это был трюк, чтобы мне сообщить, как ему плохо. Что я должна была сделать после звонка? Я тут же помчалась в больницу... Он встретил меня так, как будто ничего не было. Так обрадовался, целовал мне руки: «Забери меня отсюда». Он дал согласие пойти в интернат. Врачи его готовили в 32-й интернат для психохроников».

«32 интернат» для Шаламова – верная смерть, которая там его и настигнет. К счастью, вести его в 67-й городской больнице достается невропатологу Михаилу Левину, внимание которого привлекает сначала только необычно звучащее имя, больше ему о Шаламове абсолютно ничего не известно, «Краткой литературной энциклопедии» он не читал.

Левин обследует этого «высокого худого человека с глубокими морщинами на лице и подбородке». Общаться с ним тяжело – он почти не слышит и плохо видит, кроме того, непроизвольно гримасничает и выбрасывает конечности. О себе ему удастся сообщить, что он работал фельдшером в Сибири, за что Левин помещает его в привилегированную двухместную палату. Через несколько дней одна из больных узнает телефон Зайвой, которую Левин называет секретарем Шаламова, но которая ни за какого секретаря себя не выдает. «– А кто вы ему?», – передает она разговор с лечащим врачом. «– А никто. Я за ним ухаживаю. – А что вы от него хотите? – Да ничего».

Зайвая рассказывает Левину, кто такой Шаламов, и с разрешения автора приносит ему машинописный экземпляр «Колымских рассказов», которыми Левин с женой «зачитываются взахлеб». Левин, насколько возможно, расспрашивает пациента о жизни на Колыме. По словам Шаламова, «настоящий Архипелаг ГУЛАГ описан им» – Шаламову уже навязали этот всепроникающий бренд, и он пользуется им для характеристики своей «летописи души», очень далекой от разрекламированной на весь мир «истории лагерей» его антипода уже и в географическом смысле. Переводчиком между врачом и Шаламовым служит Зайвая, умеющая его успокоить и усмирить, она и жена Левина подкармливают Шаламова, который мало того что прожорлив – еще и прячет продукты под матрас, под подушку, откуда их тайком от него приходится извлекать полуиспорченными. Возвращаются лагерные привычки, иначе говоря, концентрационная вселенная окончательно

накрывает узника. «...я находил его лежащим на клеёнке, без простыней, свернувшегося в комочек, с завязанным полотенцем вокруг шеи, засунутыми простынями и наволочками под матрац. В это время общение с ним было крайне затруднено, почти невозможно. Наверное, это было явное проявление странностей и переживаний бывшего эка. При попытке его обследовать в эти моменты, он судорожно хватал меня за руки, ощупывал их и если не узнавал, отбрасывал. Его зрение катастрофически падало, и он практически не слышал». Настроение Шаламова скачет от гордого, резкого, нетерпимого в обращении к «мягкому, испуганному, жалобному, «будто просящему милостыню». Очень часто он говорил заговорщически: «У меня много денег, очень много денег». Он как будто пытался задобрить медперсонал, чувствуя себя виноватым». Однажды, не узнав Левина, он пытался чем-то в него запустить. Эмоциональные взрывы не зависели от него, поясняет невропатолог. «Он понимал свое тяжелое положение,.. старался загладить свою вину». Галина Гудзь, до которой удалось дозвониться одной из больных, отреагировала враждебно и потребовала, чтобы ее больше не тревожили. За время госпитализации Шаламова Левину неоднократно звонят неизвестные (для него само собой разумеется, что это госбезопасность) и интересуются, не следует ли поместить пациента в психиатрическое отделение, но Левин решительно настаивает на том, что больной неврологический и должен находиться в том отделении, где лежит. Диагноз, который, наконец, ставят Шаламову, отодвигает всякие болезни Меньера на третий план – речь идет о тяжелом, скорее всего наследственном, заболевании с прогрессирующим повреждением мозга, хорее Гентингтона, одним из симптомов которой является снижение умственной деятельности, что по Шаламову, на восьмом десятке публикующемуся в сборнике трудов по семиотике и информатике, как раз незаметно. С некоторым улучшением состояния его выписывают. По словам Зайвой, Левин «пошел на подлог» и спас его от сумасшедшего дома. Так это или нет, не знаю, но Зайвая приводит его слова: «Он годится для этого интерната по анализам. Но я не могу, прочитав его стихи, отдать его туда». Следовательно, диагноз учитывал эту опасность и может быть подвергнут сомнению. Нельзя сбрасывать со счетов и того, что участие в Шаламове принимает не одна Людмила Зайвая – Левин несколько раз встречается со Шрейдером (он называет его Юлиан), чей статус ученого достаточно высок в глазах медика и который в состоянии культурным языком и убедительно донести, какой мощи талант зависит от воли лечащего врача. В первой половине следующего года Левин навещает Шаламова дома и застаёт его в обществе Зайвой передвигающимся хотя и тяжело, но самостоя-

тельно, умиротворенным, очень спокойным и даже с каким-то подобием улыбки на лице, чего врач никогда не наблюдал в отделении. Шаламов показывает гостю выпущенный в Лондоне толстый (896 страниц) том «Колымских рассказов».

Этот том передан ему Столяровой. Сама она прийти не решилась, и книгу по ее просьбе отнес Шрейдер. «Он не ответил ни слова, только взял толстый томик в левую руку и стал оглаживать его, не касаясь, правой рукой резкими плохо координированными... движениями». Отношения Шаламова со Столяровой нуждаются в более детальном исследовании. Это один из последних представителей «прогрессивного человечества», с которым он рвет. В письме Мандельштам от второй половины 68 года он просит избавить его от общества «одиноких дам», делая исключение, «разумеется», для Натальи Ивановны Столяровой. Столярова приходит к нему с Сучковым продемонстрировать не изменившееся отношение после его письма в «Литературную газету». Сучков тут с боку припеку, а визит Столяровой глубоко символичен. Однако, Шаламов не пускает их на порог. Столяровой посвящены два рассказа – «Золотая медаль», который ей не понравился, и прекрасная притча «У Флора и Лавра», о которой она, возможно, даже не знала. «Золотая медаль» (1966) не попал ни в один из списков КР, переданных Шаламовым на Запад, и впервые напечатан только в советских сборниках. «У Флора и Лавра» (также 1966) вообще не вошел в корпус КР, составленный Шаламовым, и извлечен из архива в 2011 году. Изъять этот эстетически совершенный текст можно только из каких-то посторонних художественным соображений. Что это были за соображения? Обида? Мечь? За что? Столярова была готова к тому, что Шаламов вернет ей книгу. Первый долгожданный сборник КР на русском! На пустом месте такие опасения не возникают. В отношениях подпольщика Шаламова и подпольщицы Столяровой есть какая-то твердая событийная подоплека, к сожалению, глубоко и безнадежно законспирированная. Не мешало бы ее выявить.

Следует также выяснить все детали, связанные с выходом лондонского издания КР, «геллеровского сборника», как по имени составителя называет его Леона Токер. Права на издание директором издательства Стипульсковским (в Сети о нем нет ни слова) были получены по договору от Романа Гуля, которому в геллеровском предисловии предъявлены заслуженно резкие обвинения. Однако, 17 рассказов и очерков тома печатались не в «Новом журнале», а в НТС-овских «Посеве» и «Гранях». Следовательно, есть второй договор. Все это должно

храниться в архивах издательств и журналов, из которых «Посев» и «Новый журнал» выпускаются и поныне. Лондонское издание дважды, уже после смерти Шаламова – 1982 и 1985 гг. – будет продублировано издательством ИМКА-Пресс, а в дополнении ко второму переизданию будет выпущен том, включающий рассказы из списка-68. Значит, между ОРІ и ИМКА-Пресс тоже должен существовать договор на передачу прав. Как обставлена передача прав на издание КР от журнала, владеющего списком-66, издательству, которое, как я твердо уверен, располагает списком-68 и, вероятно, еще одной авторской рукописью, через промежуточное лондонское звено? Зачем понадобилось это звено, надо полагать, не посвященное во все обстоятельства, иначе трудно представить молчание Михаила Геллера перед лицом факта, требующего «бича, клейма»? Все это я уже говорил и сейчас только повторяю.

Издание КР в 1978 году не может нанести вреда Солженицыну. Солженицын на гребне славы, позволяющей ему читать с высоких трибун нравоучения жителям самого Нового Света, не желающим понять, что косноязычная заповедь «жить не по лжи» универсальна и американцы отнюдь не вправе уклоняться от ее соблюдения. Пусть это выглядит фарсом, но сцену этому фарсу предоставляет не воскресная школа, а Гарвард. Париж же предоставляет шестидесятилетнему строчкогону типографию и немеренные тонны бумаги для издания собрания его сочинений, первые два тома которого содержат один роман – тот самый, в отзыве на который Шаламов впервые сформулировал непримиримое противостояние двух эстетических, да и мировоззренческих принципов: «проза, пережитая как документ» и «банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме».

Лондонскому изданию предпослано не слишком яркое, но для того времени удовлетворительное предисловие Михаила Геллера. Шаламов, безусловно, его читал, вернее, будучи уже полуслепым, выслушал из уст Шрейдера или Зайвой, однако о реакции его я ничего не знаю и не знаю даже, на что, собственно, должна была быть реакция, поскольку опубликованная Сиротинской без спроса автора в одном из Шаламовских сборников, а затем оцифрованная для сайта «Варлам Шаламов» статья под названием «Последняя надежда» взята из парижского, посмертного переиздания КР; идентичен ли ее текст предисловию к книге 1978 года, а если отличается, то чем, мне неизвестно.



Где-то в это время («в конце 70-х»), т.е. в промежутке между 1977 и апрелем 1979, когда Сиротинская забирает в ЦГАЛИ «буквально весь» оставшийся архив Шаламова, происходит непонятный «несанкционированный обыск в отсутствие автора», изъятые при котором «дневники 57 и 59 годов» в начале двухтысячных (это по сведениям Сиротинской, а в действительности – в 1995-96 гг., если речь не идет о разных событиях) будут «проданы «конфискатором» Вологодской картинной галерее», иначе говоря, музею Шаламова. Имя этого «конфискатора» в чине полковника госбезопасности (бывшего), галерея знает, но по условиям сделки не разглашает. Здесь все непонятно. Чем объясняется необходимость несанкционированного обыска? Почему похищены именно дневники конца пятидесятих годов – для кого они могли представлять интерес, – и только ли дневники? Не похищено ли еще что-то, что похитители почему-либо затруднялись продать? Как оформлялась сделка, деньги на которую выделил частный банк? Откуда Сиротинской вообще известно о «несанкционированном обыске» именно в конце семидесятых годов, когда она у Шаламова не показывалась? Согласно одному из сообщений, продавец рукописей заявил, что нашел их на свалке. Зачем человеку, нашедшему что-то на свалке, выдавать себя за бывшего офицера тайной полиции? Или его идентифицировал кто-то другой? Журналист Виктор Филиппов, встретившийся с основательницей музея Шаламова Мариной Вороно, ездившей в Москву выкупать рукописи, пишет не о дневниках, а о стихах и черновых набросках рассказов и очерков:

«Две толстые общие тетради в картонном блекло-зеленом переплете со стихами Варлама Шаламова и длинным списком «блатных» слов. 13 тонких ученических тетрадок: в них черновики рассказов «Лагерная свадьба», «Бригадиры», «Нина» и набросок автобиографии писателя. Еще 14 тонких тетрадок, связанных бечевкой крест-накрест в пакет с общим названием «Пастернак». Это заметки Шаламова о Борисе Пастернаке, начиная с первой их встречи 13 ноября 1953 года, и отдельно – 225 изрядно потрепанных листов желтоватой писчей бумаги с рассказами «Герман Хохлов», «Вишера» и стихами. Все рукописи датированы 1956-1959 годами».

На причастность неизвестного к госбезопасности указано лишь намеком:

« – Я, конечно, поинтересовалась, откуда у него рукописи Шаламова, – продолжает Марина Николаевна. – Он пристально на меня посмотрел и говорит: «А вы что, сами не догадались?»».

Время обыска подсказывает название статьи в «Известиях» (1996): «Семнадцать лет спустя», – но неосведомленный Филиппов

относит кражу уже ко времени пребывания Шаламова в приюте для престарелых, чего быть не может.

Все это – еще одно белое пятно в послелагерной биографии Шаламова, которое требуется заполнить.

Итак, Шаламова выписывают из больницы, но ненадолго. Видимо, после выписки он и едет в Ялту – тут какая-то несостыковка в датах, связанная со временем его пребывания в больнице и в писательском Доме творчества. «Дорогие Татьяна Дмитриевна и Юлий Анатольевич! – пишет Шаламов. – На этот раз из-за крайне холодных ветров – холодных в физическом смысле, удалось сделать гораздо меньше, чем я рассчитывал. Но Ялта есть Ялта, и я справился со своей задачей в конце концов... Настроение у меня было превосходное. Но дожди, дожди...». Перед отъездом Зайвая спрашивает его обнору – четыре роскошных («серый, бежевый, черный и какой-то еще такой серебристый») костюма из гардероба знакомого дипломата – пиджаков на рослого Шаламова в магазинах не водятся. Шаламов, заподозрив неладное и не найдя ярлыков, подобно Демидову, категорически, со скандалом, отказывается носить вещи с чужого плеча, тут же облачаясь в черный грязный свитер поклонницы, в котором та убирает комнату. «– Варлам Тихонович, этот грязный свитер – с чужого плеча! – Но ваше же плечо не чужое... так приятно, что на мне этот свитер». Так, пишет Зайвая, он его три года и не снимал, в нем и похоронили.

Из Ялты от него «буквально через неделю пришла телеграмма: приготовить ему любой вид транспорта, кроме такси, он возвращается тогда-то. Я послала Юлика встречать Шаламова в аэропорт, а сама жду их дома». Шрейдер встретил пять или шесть самолетов, Шаламов не прилетел.

«Мы с Юликом понимали: если Шаламов умер, то мы в эту квартиру больше не попадаем. Сюда придут завтра из милиции, опечатают все. У нас нет ни доверенности, ничего, мы чужие люди. Шрейдер говорит: «Люда, надо спасти хотя бы что-нибудь. Потому что все это будет уничтожено». И мы с Юликом приняли решение хотя бы часть архива забрать. Мы взяли из квартиры Шаламова 12 или 13 папок. Брали только то, что было напечатано на машинке».

Сиротинская постоянно намекает на то, что Шаламова обокрали, не уточняя, правда, обстоятельств и не называя имен. По-моему, из рассказа Зайвой все ясно. Впоследствии Шрейдер отнес свою часть шаламовского архива в ЦГАЛИ – тогда уже, кажется, РГАЛИ, – а дочь Зайвой после смерти матери, насколько я знаю, собирается передать ее архив в музей Шаламова в Вологде.

Утром Зайвая дозванивается до директора дома отдыха и говорит, что «Шаламов должен был улететь. Директор хохочет: «Да вот он сидит в коридоре, не хочет лететь самолетом, требует билет на поезд. Вы кто? Разве таких людей присылают? Здесь над ним все смеются».

Хочу подчеркнуть, что все это время им занимаются только два человека – Людмила Зайвая и Юлий Шрейдер, многомиллионной Москвы вокруг нет.



# 1979

Шаламова, рассказывает Зайвая, идея фикс – брак. Предлагает «выйти за него замуж «хотя бы народвольческим браком». Или привести нотариуса. «Вы столько для меня делаете... если со мной что-нибудь случится, вы же ничего не получите». Другое – эгоистическое – основание: «Блядища, ну дай мне умереть в своей постели. И я тебя отблагодарю. Ты будешь очень богатой».

«У него был дикий страх перед интернатом. Страх врачей, психушки. Он знал, что если его куда-то поместят, то это будет непременно психушка. И он знал, что если рядом я, то я его никуда не отдам».

Взять его в свою однокомнатную квартиру она не может. Пытается выхлопотать для него вторую, освобождающуюся комнату в коммуналке. Пишет в Союз писателей, что ему нужна комната для секретаря. Авербах, быть может, чего-то и добился бы в такой ситуации, но не беспомощная Зайвая. «...все впустую... все знают, что с ним, но никто не поможет. Его не убивали потому, что он сам дох. И я поняла, что мне тоже никто не поможет... Я и сама понимала, что другого выхода нет». Съехаться иначе как через супружество, пусть фиктивное, невозможно. (Тот же вариант, кстати, что был возможен с Сиротинской – теоретически, разумеется, в ответ на ее лицемерный довод о трех детях в комнате олимпийца). «Пришла домой, думала, думала об этом, позвонила Сиротинской. Она медленно так сказала: «Наверное, это ваше правильное решение. Но он человек трудный».

Возможно, для пушнего драматизма Зайвая спрямляет хронологию событий, но ее разрыв с Шаламовым происходит уже на второй день.

Утром звонит соседка. Шаламов заперся в ванной и упал, ему плохо, приезжайте немедленно.

– Вызовите «скорую».

– Нет, вызывайте вы, я не буду.

Зайвая вызвала, пока примчалась – «скорая» уже у подъезда.

« – Ну, что там случилось? Это я вас вызывала.

– Да он жив-здоров. Он нас вытолкал, поколотил. Мы дважды пытались войти. Вам надо психушку вызывать, а не нас.

Он мне открыл – в прекрасном самочувствии... лежал на диванчике, совершенно спокойный.

– Варлам Тихонович, как себя чувствуете?

– ...как на курорте.

– ...а что у вас болит?

– Да ничего, я прекрасно себя чувствую.

– А что здесь случилось?

– Да ничего не случилось!

– Варлам Тихонович, а почему вы врачей не пустили?

Он поманил меня пальцем и на ухо говорит: «Надо узнать, кто их вызвал». А я говорю: «Да я вызвала. Я! Я их вызвала! Почему вы их не пустили?!»

Он замер, быстро встал с постели и сказал совершенное спокойно: «Отдайте мой паспорт, отдайте мои документы».

У меня были его документы, я хлопотала ему пенсию.

– Отдайте. А теперь прочь отсюда, стукачка».

Почему «стукачка»? Взял тетку за шиворот и вытолкал в коридор. Полтора часа присидела на кухне проплакала, несколько раз стучалась, он не пустил. Позвонила Шрейдеру, предупредила, что Шаламов остается один. Потом Шаламов прислал письмо, звонила соседка, но свое состояние Зайвая называет «психозом». «Он звал меня, просил вернуться и просил прощения. Но тут появился Союз писателей, Сиротинская, которая потом писала и говорила, что я Шаламова унижала, обворовывала, обирала. Унижать такого человека, как Шаламов...».

Дело, по всей вероятности, происходит в середине апреля, поскольку именно Зайвая звонит Воронской с жалобами на Шаламова, а в течение месяца после визита Воронской и Исаева Шаламов соглашается на переезд в богадельню.

В интернат для престарелых она не ходила, только справлялась о нем по телефону. Боялась, что если появится, все начнется сначала.

Дневников он уже почти не ведет, слеп.

«Я не боюсь покинуть этот мир, хоть я – совершенный безбожник». Обычно в преклонном возрасте даже безбожники ищут какую-то лазейку в потустороннее. Шаламов тверд в своем выношенном реликтовом атеизме.

Какое-то время – но наверняка недолгое – он живет совсем один. Недолгое – потому что долго одному в такой заброшенности не выжить физически. Зайвая свою быль досказала, но так не бывает. События следуют своим чередом помимо воли мемуариста, и их инерция отпускает не сразу. Теперь рассказывает Иван Исаев, которого вместе с женой Галиной Воронской Зайвая почему-то считает близкими друзьями Шаламова, во всяком случае, обращается именно к ним, хотя они не знакомы. В середине апреля из квартиры Шаламова раздается звонок, и какая-то женщина передает его просьбу приехать. Вторично

она звонит из дому «и, наверное, целый час» рассказывает Воронской, как она «ряд лет» бескорыстно ухаживает за Шаламовым, получая в ответ лишь ругань и тумачи. На другой день, договорившись встретиться у Шаламова, Исаев и Воронская едут туда, но застают хозяина одного. Описывать комнату Исаев считает кощунством. Жилье Шаламова представляет собой «первозданный хаос», посреди которого стоит глухой и слепой хозяин, изучая пространство руками. (Сиротинская упоминает, что в конце семидесятых Шаламов по ошибке закапал в глаза не те капли и в результате почти ослеп). Разговаривать с ним приходится крича на ухо. Гостей он не видит, но узнает по голосу. Речь крайне невнятна, но, пишет Исаев, Шаламов делится какими-то прожектами относительно личной жизни. Соседка сообщает, что последние два года Шаламова пытаются отправить в дом престарелых, однако идти в «богадельню» он категорически отказывается, угрожая повеситься. Исаев и Воронская уезжают, ничего не надумав, но твердо уверенные, что оставаться одному в таком положении Шаламову нельзя.

«Недели две-три» спустя звонит сын соседки и просит приехать: Шаламов согласен ехать в дом престарелых. В комнате те же хаос и грязь, но книг на стеллажах «значительно поубавилось». Вполне возможно, что поубавилось не книг, в просто содержимого стеллажей, это означало бы, что в промежутке здесь побывали Сиротинская с коллегой, которые забрали архив Шаламова. Хотя одно другого не исключает.

«В апреле 1979 года он срочно вызвал меня, сказал, что собирается в пансионат и попросил взять весь архив, который оставался. «Воруют», – сказал он. Я взяла все. Он спросил: «Как твои дети?» Я промолчала. А он сказал: «Ты думаешь, мне это неинтересно». И заплакал... Я говорю: «Мои дети... уже выше меня». Всю остальную часть крохотной главки воспоминаний, озаглавленной «1979 год», архивист-Сиротинская сводит счеты с расхитителями, не называя имен, хотя оговаривает, что «...похищена незначительная по сравнению с основным фондом часть архива, в основном машинописные экземпляры рукописей». В одном из поздних интервью она говорит, тоже не называя имен, о книжном воровстве, которым занимались «даже люди интеллигентные»: «Когда он стал плохо видеть, книги быстро стали растаскивать». Насколько я понимаю, кроме Зайвой и Шрейдера, растаскивать было некому, больше к Шаламову никто не ходил. Входят ли в понятие «архив Шаламова» его книги? Если входят, то часть их могла забрать сама Сиротинская, с полным на то осно-

ванием, согласно завещанию владельца, который, более того, завещал ей все свое имущество. Не она ли и опустошила стеллажи, которые видел Исаев во второй приезд к Шаламову? За архивом Сиротинская приехала не одна, и унесли его не в руках, увезли в такси, а в машину можно погрузить целые чемоданы книг. Если книги входят в понятие «архив Шаламова», то они должны быть зарегистрированы как часть этого собрания. Если нет, то Сиротинская просто унаследовала то имущество Шаламова, которое он ей завещал. Она нигде не упоминает, что, собственно, случилось с этим «имуществом». Куда оно делось? Речь, конечно, не о кухонной плите или стульях, а о библиотеке Шаламова. Куда делись эти сотни книг? Кроме Сиротинской, на имущество Шаламова претендовать было некому. Следовательно, его библиотека могла отойти только ей. Если библиотека отошла Сиротинской, то она – или ее остатки – должна находиться в музее Шаламова в Вологде. В этом деле так же нет правых, как «в лагере нет виноватых». Все упреки Сиротинской в адрес «расхитителей» чего бы то ни было уместны лишь принимая во внимание, что она – наследница имущества великого писателя, для увековечения памяти которого существует музей. Вещи Шаламова, то есть его библиотека, должны храниться в музее. Пока они в чьем-то личном пользовании, это факт, имеющий отношение не к великому писателю, а к мелким бытовым дрязгам. Прежде чем захламлять разговор о великом писателе мелкими бытовыми дрязгами, Сиротинской следовало придать этим дрязгам статус разговора о великом писателе, и это легко можно было сделать передачей остатков библиотеки Шаламова в музей, где они находились бы в контексте немногих материальных свидетельств о его жизни.

Словом, герой этой главки – архив Шаламова, и Сиротинскую можно понять: во-первых, она завершила свою многолетнюю миссию, во-вторых, время, когда она пишет воспоминания – уже девяностые и начало нового тысячелетия, и архив принадлежит ей, ей лично.

Сиротинская прожила счастливую жизнь. Ей выпал случайный выигрыш в небесной лотерее, и она его не профукала. Женщины, как правило, существа более жизнестойкие, чем мужчины. Мужчина работает на женщину, а женщина создает для обоих тыл, но хозяйка в этом тылу – она. У Сиротинской был выбор между семьей – не детьми, а семьей – и Шаламовым. Что представляла собой ее семья? Мужа она характеризует как «технаря», любителя футбола и путешествий. Муж преданно ее любит и чем дальше, тем больше. «Видите ли, муж меня тоже очень любил», – говорит она в одном интервью. «...за несколько дней до смерти [он] сказал мне, обнимая меня у плиты на кухне: «А

знаешь, я теперь люблю тебя еще больше, чем в молодости». Так и было». У нее «семейное амплуа «обожаемой жены и матери». Каждое лето они уезжают в отпуск – сначала с детьми в Крым, потом в байдарочные походы (Волга, Валдай) или в Среднюю Азию, на Памир. Здоровая, крепкая, экономически состоятельная семья, размеренный образ жизни. «...сейчас, оглядываясь в прошлое всеми чувствами и мыслями, я понимаю... – я не могла пожертвовать своей семьей». По природе она моногамна, признает Сиротинская. Ей тяжело делить себя между двумя мужчинами, к одному из которых ее привязывает не столько любовь, сколько «глубочайшее сострадание». Задним числом, когда к Шаламову прилипает прозвище «Данте двадцатого века», Сиротинская с должной иронией, но и не без сознания правомерности этой аналогии называет себя его «Беатриче». От классической Беатриче в ней только пол. Если это и «Беатриче», то в ее растленном советском мелкобуржуазном изводе, который низводит божественную трагедию до площадного фарса или, скорее, телесериала для интеллигентных домохозяек. «Тяжелую раздвоенность» между своей дюжинной моногамностью и реальным положением дел Сиротинская снимает возвращением к присущим каждой женщине в младую пору мечтам о «любимом, единственном». В юности она «смешивала в своих мечтах Болконского, Фанфана-Тюльпана, еще кого-то. В результате любимый и единственный сложился из двоих». Второй в этой паре, в этом химерическом персонаже – Шаламов. Напомню, что встречаются они, когда Шаламову под шестьдесят, а Сиротинской тридцать три года – разница в возрасте чуть не вдвое. Даже будь это не Сиротинская и не с ее семейной идиллией, в запасе у Шаламова всего ничего, чтобы каким-то могучим рывком выправить эту удручающую асимметрию и стяжать руку и сердце возлюбленной. Возможности для этого имеются, но судьба не дает им хода. Остается Шаламов какой он есть, по-прежнему невероятно притягательный, тот самый, к кому Сиротинская – не считая служебного долга – шла «как к новому пророку, спросить: как жить», но вместе с тем житейски крайне опасный своим максимализмом, нигилизмом, разрушительной безбытностью, черно-белым делением мира на «да» и «нет» и прочими особенностями исключительной, титанической личности – не считая неустранимого конфликта с полицейским государством, которое не сводит с него глаз. Волей случая Сиротинская попадает в волшебную сказку со всеми ее сказочными ловушками и сказочным призом и должна согласовать эту сказку с мерзкой действительностью, в которой она стихийно своя. С помощью Шаламова, любовь которого изливается на нее с величайшей щедростью, ей это удастся. Удастся по-своему, толкуя ситуацию в терминах какой-то



органичной для нее мелкобуржуазной душевной расчетливости. «...он добавал мне то духовное, высокое, чего не было в родственной, нежной любви мужа». И наполняя слово «любовь» собственным, одновременно инфантильным и чрезвычайно здравым, лишенным всяких иллюзий значением: «я любила В. Т... Любовь не ищет равенства... скоро я, смотревшая на него снизу вверх, освоилась с глубиной его личности». Сделать это было не слишком сложно: «...он меня вознес на пьедестал непомерный – и красавица, и разумница, и вообще лучше и нужнее всех на свете. Ко всему привыкаешь, и я на пьедестале стала чувствовать себя вполне комфортно». Итак, с одной стороны – обожаемая жена и мать, с другой – красавица и умница, которая «тратит свою одаренную натуру (как он говорил) на семью». В письмах Шаламова действительно много свидетельств этого романтического, восторженного, слепого к реальности отношения. «Оба они любили меня, и я каждого любила по-своему». Однако, Шаламов только «додает» – «дает» жизненно необходимое все же семья. Не дети – семья, дети, когда этот довод возникает в ее мемуарах – отговорка. Семья. Сиротинская «...крепко, нерушимо завязана в плотную жизнь большой своей семьи». Не просто крепко – нерушимо. «[Я] не могла уйти к нему, оставив мужа, сыновей, родителей. Это ведь тоже была бы жертва своей жизнью» – имеется в виду, что Шаламов видит в ее жизни жертву на алтарь семьи, которую он считает одним из самых омерзительных и лицемерных институтов советского общества. «...я не могла пожертвовать своей семьей... Варлам не смог бы дать детям то, что им давал отец. Мальчишкам нужны велосипеды, коньки, горные лыжи...». У Сиротинской уверенная позиция и слишком богатый выбор, ничто не подталкивает делать его срочно, наоборот, до поры до времени статус кво позволяет ей убивать двух зайцев. Поскольку, как я убежден, она посвящена во все планы Шаламова, связанные с изданием его книг за границей, она может позволить себе ждать сколько нужно, пока эти планы осуществляются, а если они не осуществляются, она ничего не теряет – ни семьи, ни Шаламова. Это, конечно, формула ее отношения к происходящему, не само отношение – само отношение включает массу нюансов, требующих психологического романа. Но суть проста. Получи Шаламов мировое признание, сделай он карьеру пусть не Солженицына, пусть другого, но с именем и статусом не менее славным, не менее перспективным – в обычном, житейском смысле, – ситуация стала бы совершенно другой, и надо думать, Сиротинская сумела бы в ней сориентироваться, и не исключая – в пользу Шаламова. В Сиротинской работает тончайший и безотказный механизм приспособления к обстоятельствам, целевой вектор которого – наилучшее в

ее понимании. Шаламов не может обеспечить этого наилучшего, он пытался, он приложил все силы, но власть обстоятельств оказалась сильнее. А Сиротинская всегда на стороне силы, обеспечивающей житейскую, да и всякую, защищенность. Себя, детей, своего маленького, но подлинно своего мира, хочется сказать, мирка, однако любой мирок имеет право на существование. Ее мир автономен от поэзии, от арктического неба «планеты Колыма», от лиственницы, видевшей мучения и смерть Натальи Шереметевой-Долгоруковой, от вечной мерзлоты, хранящей трупы мучеников до Судного дня, – словом, от поэзии, – в той же мере, в какой поэзия автономна от ее, Сиротинской, мира домашнего очага, байдарочных походов и службы в учреждении, наряду с лагерями входящим в систему Министерства внутренних дел. Все могло обернуться совершенно иначе, но миры эти оставались бы автономными друг от друга, просто их несовместимость оказалась бы скрытой от глаз, непроявленной. В биографии Шаламова она проявлена, но и только. Сути это не меняет.

«Я сказала Варламу «нет».

Сиротинская пережила головокружительное приключение и во время, не ушибшись, прыгнула с идущего в пропасть поезда. Некоторое время инерция этого движения доставляла ей дискомфорт – то, что можно назвать остракизмом либеральной среды, жадной до зрелищ и полагавшей, что в этой катастрофе следовало сгинуть и ей. Потом режим рухнул, либеральную интеллигенцию сдали в утиль, архив Шаламова рассекретили и вернули владельце, и ей воздалось стократ. Все это не имеет никакого значения.

В конце пути единственной точкой соприкосновения обрисованных выше миров, их еще общей областью, остаются рукописи. Шаламов заинтересован в сохранении архива – для будущего читателя, для потомков, для посмертного воздаяния, для славы в веках, не суть важно, труд должен быть сохранен, архив не должен быть уничтожен, как уничтожены архивы его отца и его собственный двадцатых-тридцатых годов. Сиротинская тоже заинтересована в сохранении архива – это ее работа, ее служебная карьера, доказательство ее профессиональной хватки и компетентности. О том, что житейски архив Шаламова может представлять дополнительную ценность, она не знает – советская власть кажется нерушимой по крайней мере на ближайшие сотни лет. К счастью, Сиротинская, кажется, способна оценить и объективную художественную ценность трудов незадачливого возлюбленного. Заслуга Сиротинской в том, что архив Шаламова не остался беспризорным. Но помещен он в ЦГАЛИ и много лет будет находиться в полной недосыгаемости для кого бы то ни было, кроме специально

допущенных. Надежда Мандельштам позаботилась о передаче архива мужа за границу, где он открыт мировой культуре. Архив Шаламова Сиротинская закрыла для мировой культуры, гарантировав ему при этом достаточную сохранность. Я считаю, что для советской женщины из послевоенного советского культурного слоя, слоя лагерных бригадиров и капо, самого шкурнического, растленнейшего из социальных слоев «социалистической структуры», созданной для «массового убийства кошек и людей», это немало. В апреле 1979 года Шаламов мог быть уверенным, что связь с Сиротинской себя оправдала. Врач Елена Мамучашвили, его знакомая по Колыме, говорит, что его отношение к женщинам было прагматичным. К счастью, она не ошиблась.

Итак, Исаев снова у Шаламова. Выясняется, что за помощью и советом бедняга обращался к Борису Слуцкому и Науму Мару – публицисту, специализирующемуся на военной тематике. До Слуцкого Исаеву дозвониться не удается, а Мар отвечает, что Шаламов с его капризами всем надоел – ему не раз предлагали дом престарелых, но он отказывается и всех от себя гонит, пусть им занимается Литфонд. В Литфонде реакция тоже «бурная и очень недоброжелательная». Приходится объяснять, что речь идет о старом, тяжело больном человеке, и исходить надо «не из его поведения в прошлом», а из настоящего. Наконец, чиновников удается уломать, и те сообщают, какого рода медицинское заключение нужно взять у лечащего врача. Оформление бумаг занимает декаду – Исаев пишет, что это рекордный срок, в течение которого Шаламов, тем не менее, всех торопит, не понимая, что бюрократические процедуры требуют времени.

25 мая, то есть минимум через полтора месяца после того, как Шаламов брошен на произвол судьбы и влачит существование буквально на ощупь, служащая Литфонда извещает Исаева, что документы готовы, и можно вести подопечного в интернат. Готов ли Исаев помочь Шаламову собраться? Тот с Воронской немедленно приезжают, но выясняется, что женщина тут не в помощь, «все требовало только мужских рук». Хочу напомнить, что Исаев – ровесник Шаламова и тоже бывший колымский каторжник. Ни одной пары «мужских рук» помоложе и покрепче для помощи Шаламову в сборах на очередной этап не нашлось. Шаламов, узнав, что дело срочное – принять его в интернате могут только до обеда – впадает в волнение и растерянность, принимается вслепую искать вещи, быстро обессиливает и «усаживается на дно платяного шкафа». «Объяснять ему, что надо торопиться, было бессмысленно, это только затянуло бы дело». Поэтому Исаев молча собирает все, что можно, в старый рюкзак и чемо-

дан, а теплое демисезонное пальто и шапку из овчины Шаламов, не смотря на тридцатиградусную жару, натягивает на себя. Тетрадами и карандашами, как еще осенью прошлого года перед отъездом в Крым, он уже не запасается.

Вырисовывается печальная закономерность: резкое ухудшение состояния происходит после ухода женщины – в первом случае Сиротинской (ярко выраженный симптом такой деградации – письмо И. Крамову (1976), во втором – Зайвой).

Они сходят во двор, где в такси ждет служащая Литфонда. Доезжают без осложнений, но в интернате две женщины в белых халатах долго с недоумением разглядывают Шаламова, подозрительно изучают бумаги и выражают сомнения, что ему здесь место. «Это у него такой вид, – убеждает сестер или врачей служащая Литфонда, – у нас не было времени нормально его одеть». За деньги крепкая няня соглашается вымыть это чучело, и документы о приеме начинают, наконец, оформлять.

Исаев уведомляет Шаламова, куда его привезли, тот отвечает: «Знаю. Спасибо», – и его провожают в двухместную палату, где он выбирает кровать пожестче и сразу ложится, натягивая простыню до самого подбородка. Сборы и переезд очень утомили обоих.

Служащая Литфонда горячо благодарит Исаева за помощь и говорит, как важно иметь в трудную минуту близких друзей. Затем в своем коротком мемуаре, написанном по свежим следам, Исаев задается вопросом, был ли он близким другом Шаламова? – и отвечая: вряд ли, – рассказывает историю их знакомства в поселке Дебин на Колыме, где Шаламов «раскрылся душой», узнав, что жена вольнонаемного, бывшего зэка Ивана Исаева – дочь почитаемого им писателя и литературного критика Александра Воронского; с отъездом сначала Шаламова, а впоследствии Исаева и Воронской «на материк» их общение, собственно, и заканчивается. В Москве они видятся от случая к случаю.

Академик Дмитрий Лихачев – как и Шаламов, бывший узник соловецких лагерей, раскинувшихся до Вишеры и Березняков – пишет тому письмо по уже несуществующему адресу.

«Дорогой Варлам Тихонович, захотелось написать Вам...

Сотни людей мерцают в моей памяти. Не будет меня, и прекратится память о них...

Вы другое дело. Вы выразили себя и свое».

Лихачев – один из немногих, к кому Шаламов в случае необходимости велел обращаться Людмиле Зайвой. Если через четыре месяца

после его перевода в дом престарелых об этом не знает Лихачев, то кто знает? По-видимому, никто, и никому это не интересно. Письмо Лихачева находится в фонде Шаламова в РГАЛИ – надо полагать, Сиротинская еще осенью посещала квартиру на Васильевской и забирала у соседей адресованные бывшему жильцу письма. Самого Шаламова она, вероятно, не навещает – ни у нее, ни у других об этом ни слова.

Пробыть в этой «богательне» Шаламову предстоит два с половиной года. Одно из самых ранних свидетельств о его пребывании там (май 79, тотчас после помещения Шаламова в интернат) оставил библиограф Александр Ратнер, приятель «зловещего следопыта и архивиста» Аркадия Храбровицкого, через которого Шаламов некогда передал запрет Солженицыну пользоваться любыми его материалами – и, уместно напомнить, вообще «знакомиться с моим архивом», присовокупив к фамилии Солженицына «всех, имеющих с ним одни мысли», «сук», как он выразился, – но это уже в дневнике, обнародованном спустя много лет, когда запрет злостно и многократно нарушен, да и нарушенный никем в расчет не берется. Запись сделана Ратнером. Он сопровождает Храбровицкого, который едет в интернат посетить одного своего знакомого.

«На третьем этаже прошли длинным коридором сквозь строй инвалидных кресел на колесах, старух с клюками, одугловатых мужчин, изуродованных гримасами паралича. Наконец, комната № 244.

...я не мог отвести взгляд от человека на соседней койке. Он лежал, уткнувшись лицом к стене, его худая спина и ноги все время вздрагивали, передергивались. Казалось, человек беззвучно плакал навзрыд.

Мы вышли в коридор и сели на диван. Между А. В. и В. С. тягостно тлел разговор. Старик сетовал на тяжелое житье-бытье в интернате.

Вдруг А. В. спросил, не слышал ли В. С. о Шаламове, и услышал: мой сосед и есть Шаламов!..

Мы вернулись в комнату. Когда вошли, Шаламов резко повернулся навзничь и, как-то хаотически двигаясь, пытался сесть, пока ему это не удалось. А. В. не видел Шаламова десять лет и все спрашивал, помнит ли тот его. Шаламов пытался отвечать, но у него ничего не получалось – речь была совершенно неразборчива. Тогда он попросил бумагу и карандаш и нарисовал на каком-то клочке крест».

Храбровицкий истолковывает это как «плюс в моей жизни». Стоит напомнить, что Храбровицкий – сексот, агент тайной полиции. В концентрационной вселенной «плюсом в жизни» может быть и сек-

сот – достаточно говорить при нем то, что хочешь, чтобы услышали – и ты в безопасности. Лагерные правила поведения как бумажные рубли – действительны на всем пространстве СССР.

Хочу вернуться к переменам в состоянии здоровья Шаламова. Вот ужасающая разница между его способностью к общению, по крайней мере, бытовому, в апреле и мае.

« – Варлам Тихонович, как себя чувствуете?

– ...как на курорте ... прекрасно себя чувствую... Надо узнать, кто их вызвал... Отдайте мой паспорт, отдайте мои документы... А теперь прочь отсюда, стукачка».

Спустя полтора месяца или немногим более того он не в силах ответить на простейший вопрос.

Это шок от утраты дома и последнего близкого человека. В течение года шоковое состояние будет усугубляться. Александр Морозов отметит у Шаламова элементы бреда: «...он несколько раз упоминал о «ларьке», куда надо спешить до закрытия». Потом, пишет Морозов, это прошло. Прошло с приходом людей. Зайвая надорвалась. Будь у нее хотя бы два-три помощника, ей, возможно, удалось бы избежать «психоза», Шаламов не лишился бы своего угла и состояние его не претерпело бы такой деградации.

Все говорит о том, что столичный культурный слой забыл Шаламова напрочь. Собирает его в дом престарелых один-единственный, почти чужой ему человек. Сергей Григорьянц, освободившийся на следующий год из тюрьмы и желающий поделиться с Шаламовым впечатлениями от перенесенного, разыскивает его через знакомых с большим трудом, а знакомых у него много, и все они – в самой сердцевине этого культурного слоя. По словам администратора заведения, с которой говорит Григорьянц, Шаламова никто не навещает, разве что на 1 мая придут с коробкой мармелада дамы из Союза писателей. «Никто» – пожалуй, преувеличение. Шаламова пусть редко, но навещают Исаев и литературовед, исследователь обэриутов Владимир Глоцер (по свидетельству Галины Воронской со слов мужа). Может быть, еще кто-нибудь, о ком я не знаю, так или иначе, этих людей можно пересчитать на пальцах одной руки. С уходом Людмилы Зайвой от Шаламова отступился, похоже, и Шрейдер, по крайней мере, о встречах с Шаламовым в последние три года он не упоминает. Забвение.



## 1980-е годы



# 1980

В комментариях к записи в своем блоге о «позднем совке» Валерий Шубинский, отвечая собеседнику, мельком замечает: «Шаламов *был*, более того, к концу 70-х он стал на «западнических» кухнях рассматриваться как явление более «идеологически правильное», чем Солженицын». Я не москвич и ни подтвердить, ни опровергнуть этого утверждения не могу. Но все же, сдается, на московских кухнях о Шаламове начали говорить позже – в начале восьмидесятых, когда его стал опекать Александр Морозов, записывавший и распространявший его стихи, а случилось это не раньше, чем его привел к Шаламову Григорьянц, и когда на Западе Шаламову присудили премию Свободы французского ПЕН-Клуба. Григорьянц вспоминает: «...оказалось, что Шаламова нет и по его новому адресу и вообще никто о нем ничего не знает и все о нем забыли». «...почти никто не знает, где именно сейчас находится Варлам Тихонович», – говорит Виктор Хинкис дочери летом восьмидесятого (Елена Захарова). «Жена дважды ходила в Литфонд, но и там никто не мог сказать о нем что-нибудь определенное. Мы искали его через Горсправку – безрезультатно» (Лесняк). Последний акт драмы впереди. Весна 79-го – лето 80-го – антракт, когда он еще может умереть, не привлекая к себе внимания и не осушая эту чашу до дна. «Новая проза» и проза жизни, две автономных друг от друга, но оспаривающих первородство и враждебных вселенных в неустойчивом равновесии.

О том, что происходило с Шаламовым с лета семьдесят девятого до лета восьмидесятого, может рассказать только его история болезни, наверняка сохранившаяся в архиве этого богоугодного заведения. Других свидетельств нет. Однако, общая обстановка в «пансионате для ветеранов труда» – официальное название богадельни, часть мест в которой выделена Литфонду – остается неизменной, поэтому ничто не мешает обрисовать ее, опираясь на свидетельства более поздние. Сиротинская в воспоминаниях рисует картину если не пасторальную, то отталкивающе приукрашенную, богато орнаментируя и без того короткую и малоинформативную главку стихами, цель этой лакировки действительности – отчасти внушить, что ничего страшного не произошло, а отчасти усугубить вину тех, кто лишил Шаламова этого «непрочного бедного рая», «скудного рая последних его стихов» – слово «рай» действительно отсылает к его последним стихотворениям, но «рай» у Шаламова обычно синоним смерти. В ее описании дом престарелых выглядит так. «...дом, пропахший беспомощной и безза-



щитной старостью», «...блеклые взгляды старушек и двух мальчиков в креслах-каталках», «маленькая отдельная комнатка с широким окном, тишина, отдельный санузел («это очень важно»), тепло, еда». «Отдельная комната» не должна обманывать – отдельной она стала, если не ошибаюсь, ближе к концу, когда сосед Шаламова либо умер, либо был куда-то переведен, до этого он делил ее с таким же беспомощным стариком, к которому, правда, приходила дочь, иногда угощая Шаламова плавленным сырком или подобной невзрачной снедью. С «березами» (см. ниже) тоже не совсем понятно: комната Шаламова находилась на верхнем этаже, на прогулки он не ходил, зрение почти утратил, так что «березы», да и «небо» несколько не у дел. Шаламову здесь тяжело, но преимущественно из-за состояния здоровья – вещи некоторым образом фатальной и к заведению отношения не имеющей. Кроме того, возвращаются лагерные привычки, что тоже, конечно, прискорбно, но проистекает это не из действительного положения дел, а из их искаженного восприятия чувствами и сознанием выжившего из ума старого лагерника. «Он глух, слеп, тело его с трудом держит равновесие. Язык с трудом повинуется». «Простыни, пододеяльники он срывал, комкал и прятал под матрас – чтоб не украли. Полотенце завязывал на шею. Лагерные привычки вернулись к нему. На еду кидался жадно – чтоб никто не опередил». «Он видел то... чего не должны видеть люди. И это отравило его навсегда». «Я всегда приносила ему любимое – яблоки, вафли, еще любил он пастилу, зефир. Однажды он спросил меня: «А где пастила?». Я говорю: «Ее нет, не продают»... Но яблоки, к счастью, были всегда. Яблоки он бережно ощупывал, бережно, серьезно укладывал в тумбочку». Короче говоря, «здесь ему нравилось». «– Здесь очень хорошо». Здесь «небо над лоджией, березы, еда, мысли, как сверчки, стрекотали в мозгу». Кроме того, «...и здесь, в этом жалком раю, где обитает его бедное тело, жива душа поэта». «...там, внутри, живет поэт». «Ему нужен был только покой и записи стихов».

Повторяю, нет никаких свидетельств, что Сиротинская вообще посещала Шаламова первые год-полтора, используя ее рассказы, чтобы показать общую обстановку ее глазами.

Мемуары Сиротинской рисуют ее хуже, чем она есть. В общем балансе отношений с Шаламовым ее роль значительно благообразнее той скверны, в какую их превращают эти чудовищное лицемерие и непереносимая патока. Вдобавок, она не понимает, что душа и тело гения – нечто единое, что «стрекот мыслей в мозгу» Шаламова – единое целое с его слепотой, произвольным мочеиспусканием, навиками окруженного ворьем узника и прожорливостью вечного доходаги. Не понимает она и того, что сама встроена в эту мистерию, что ситуа-

ция выходит из-под ее контроля, да и вообще из-под контроля участников – администрации, посетителей, пациентов, медицинского персонала, тайной полиции, Союза советских писателей, «зубьев государственного механизма», «прогрессивного человечества», вообще человечества и вообще той реальности, какой она исчерпывается для Сиротинской.

Итак, обстановка. Каким видели этот дом престарелых – «обычную горздравовскую богадельню», как называет его врач-невропатолог К., обследовавший Шаламова по просьбе Григорьянца и Александра Морозова (Амаяк Абрамянц) – люди, спорадически или постоянно ухаживавшие за Шаламовым в начале восьмидесятых?

Биолог Татьяна Леонова описывает его так:

«...огромное железобетонное здание. Входишь на первый этаж – все замечательно: чистенько, фикусы стоят, стенгазеты какие-то, старушки опрятные ходят, телевизор... чем выше я поднималась, тем острее и концентрированнее становился запах мочи, грязи, гниения. Я почувствовала, что задыхаюсь. На последнем этаже находились лежачие, те, на ком администрация поставила крест... огромный широченный коридор, по грязному линолеуму в прямом смысле ползали какие-то совершенно беспомощные люди. Это была страшная картина. Я даже не предполагала, что такое вообще может быть в современной Москве. Никого из медперсонала видно не было.

Запах на всем этаже стоял просто чудовищный... помню, я вышла из палаты, разыскала нянечку... «А кто ж их тут мыть-то будет?». Нянечка была одна на целый этаж лежачих больных и по сути дела ничем не могла им помочь.

...крали все – начиная с администрации, медперсонала и работников кухни до тех больных, кто еще мог хоть как-то двигаться. И этих больных, конечно же, нельзя осуждать. Их ведь не кормили. У них не было ни родственников, ни знакомых, которые могли бы их защитить. Порядки... были совершенно лагерные...

...опыт, который я приобрела в том доме для престарелых, был для меня крайне разрушительным».

Вот свидетельство врача Елены Захаровой, на руках которой Шаламов умрет на следующий год:

«Обитателями этого заведения были одинокие, тяжелобольные люди, кстати, далеко не всегда престарелые или даже пожилые, много было там и молодых инвалидов, главным образом с нарушениями

двигательного аппарата. Понятно, что все они нуждались в первую очередь в уходе, так как не могли самостоятельно передвигаться, а зачастую даже и есть сами. О необходимости медицинской помощи нечего говорить. В интернате был врач, а может быть и несколько, были медицинские сестры, санитарки. Конечно, персонала не хватало, но дело не в этом. Дело в отношении... выглядело это вот как.

Те, кто мог хоть как-то двигаться или имел дальних родственников, плативших, пусть небольшие, деньги, еще могли выжить. Беспомощные, прикованные к постели – умирали. От голода – кормить с ложки было не принято, или от гнойных пролежней, образовавшихся от лежания по несколько суток на мокрых, загаженных простынях. Кричали, пока были силы кричать, а что толку. Медицинская помощь, если бы она и была, в таких условиях не имела никакого смысла. От этого нет лекарств. Некоторым, впрочем, приносили какие-то таблетки, да не все могли их проглотить. Словом, каждый раз, подходя к дверям «Дома для инвалидов и престарелых», я буквально силой заставляла себя войти внутрь. И привыкнуть мне не удалось. Оказываясь внутри, я испытывала шок...

Думаю, что такого рода заведения – это самое страшное и самое несомненное свидетельство деформации человеческого сознания, которое произошло в нашей стране в 20-м веке. Человек оказывается лишенным... права на достойную смерть».

Александра Свиридова, снимавшая в конце восьмидесятых документальный фильм о Шаламове и интервьюировавшая персонал, говорит кратко: «...гадюшник, пропахший мочой и преисподней».

Поменяв масштаб, мы увидим комнату Шаламова – наверное, редкий случай, когда палата в этом заведении и быт ее обитателей подробно описаны посторонними.

«...муж его довольно часто посещал, хотя после каждого посещения ему приходилось принимать валидол. Варлам Тихонович невнятно говорил и плохо слышал... общение с ним было чрезвычайно трудное. В палате, кроме него, был только один человек» (Галина Воронская).

«Шаламов... сидел раскачиваясь на кровати, говорил очень невнятно... На грязной тумбочке валялись какие-то приглашения из Дома литераторов... подушка лежала прямо на грязном матрасе... сам он почти не мог есть еще из-за того что громадные руки у него так дро-

жали, что он почти ничего не мог поднести себе ко рту» (Сергей Григорьянц).

«Он лежал, сжавшись в маленький комок, чуть подрагивая, с открытыми незрячими глазами, с ежиком седых волос – без одеяла, на мокром матрасе» (Сиротинская).

«Он лежал, когда мы вошли в двухместную, пахнущую мощами, уютную комнатушку,.. в позе свернувшегося калачиком заключенного, пытающегося удержать остаточное тепло. Это было последнее мое свидание с Шаламовым [осень 1981]. Он ощупал ходившими ходунуном руками мой облысевший кумпол и, по-моему, не узнал меня» (Федот Сучков).

«...приборами не пользовался... и компот и суп пил из миски, не мог спать на белье – мял, комкал его... речь нарушена» (Свиридова приводит слова санитарки, работавшей на этаже, где лежал Шаламов).

«...голосовые связки его уже не слушались. Лишь по большой привычке время от времени можно было выделять отдельные слова. Сразу, по первому впечатлению, он произвел на меня безумное впечатление. Именно безумное. Не сумашедшее, а по-Лировски безумное, то есть с полосами затмения, бреда... потом это сгладилось, полосы безумия почти прошли.

...мне показалось, что он чувствует себя здесь, как если бы он находился в лучшей тюрьме, откуда ни за что не хочет выходить. Так и было: ни на прогулку, ни в ванную комнату В. Т. невозможно было вывести.

...ему ставили миску, обыкновенно почему-то без ложки, но плохо было с водой – кран отключали, а подносить не трудились, и В.Т. иногда громко кричал на всю больницу. Среди персонала считалось, что к нему подходить опасно – может чем-нибудь бросить, ударить. Речь шла о прикованном к месту, незрячем человеке. Впрочем, до туалета В. Т. добирался сам, цепляясь за стенку, сам ложился и вставал. Выглядел он предельно истощенным. Врач сказал: «Полный авитаминоз», хотя ел В. Т. при нас много.

Врачебной помощи фактически не было, если не считать вкалывания аминазина (сведения противоречивы)» (Александр Морозов).

«...на одной кровати сидит человек, совершенно ободранный, а на другой, на которой вообще никакого постельного белья не было,

только голый матрац, спит огромный, худой, изможденный человек, с очень длинными руками и ногами. То, что на нем было надето, даже назвать пижамой нельзя было – тряпки какие-то изорванные.

Когда я вошла, он, видимо, что-то почувствовал... Он проснулся, рывком сел, причем конечности его двигались резко, беспорядочно... страшные, внезапные движения руками и ногами, жуткие гримасы на лице. Наблюдать за ним было тяжело. Как только он сел, сразу же начал кричать: «Але, але, какой день, какое число, который час?», причем страшно громко. Все было таким странным, сюрреалистическим... Было поразительно, что этот полутруп так интересуется временем.

...сказал мне, что любит виноград и шоколад. В тех диких условиях... эта фраза прозвучала чуть ли не иронично. Все... съедал тут же. Никогда ничего не оставлял. Видеть это было страшно. Он знал, что пока я в палате, у него ничего не отнимут и не украдут.

...я и так догадалась, что его не кормят. Впоследствии выяснилось, что даже в истории болезни у него было записано – «дистрофия». Его не кормили, он – не просил.

...мы собрали Варламу Тихоновичу одежду, переодели его во все чистое, но на следующей неделе ничего найти уже не удалось. Все исчезло» (Татьяна Леонова).

«Лежал он там вдвоем с умирающим стариком. В палате вонь: старик тот ходит под себя, на лице сардоническая улыбка...

Руки, голова дергаются, ходят ходуном – хорея Гентингтона, простыни срывает... Длинный, худой, совсем без живота... С вафельным полотенцем на шее... под подушкой и в тумбочке леденцы, кусочки хлеба припрятаны» (Амаяк Абрамянц цитирует врача К., обследовавшего Шаламова в восьмидесятом году).

«Мы нашли Шаламова лежащим на сетке панцирной кровати; матрац отсутствовал, белье, видимо, не менялось неделями; полностью нагое тело писателя было в лиловых пролежнях, простыни – в экскрементах. Сосед Шаламова по комнате, кривой на один глаз старик, судя по всему, воровал из тумбочки продукты. Мы попробовали завязать разговор – ничего не получилось. Речь у Шаламова была нарушена.

Пока Л. [жена Мирзоева] меняла белье на кровати, мы с Сашей [Александром Волоховым] повели (скорее понесли) Шаламова в душевую, которая была в самом конце длинного коридора... Кое-как доковыляли, с огромным трудом уложили писателя в древнюю чугунную ванну... Было ощущение, что Варлам Тихонович отвык от воды –

она его пугала. Пока мы отмывали губками скрюченное жилистое тело, писатель успокоился – видимо... теплая вода принесла облегчение. Потом, уже лежа в чистой постели, Шаламов с аппетитом поел – моя жена, как ребенка, кормила его с ложечки домашней едой» (Владимир Мирзоев).

«...в то время я уже была студенткой 5 курса мединститута, подрабатывала фельдшером на «скорой»... и считала себя опытным человеком. Но то, что я увидела, в рамки моего опыта не укладывалось. В маленькой палате стояло две койки, две тумбочки и стол. Грязь, запах. Два старика... один неподвижно лежит на кровати, другой сидит на полу рядом с голой, не застеленной койкой, одет в какое-то тряпье, изможденный, все время дергается, лицо асимметричное. С ним-то отец [Виктор Хинкис] и поздоровался очень громко. Старик крикнул что-то совершенно неразборчиво и взмахнул рукой, в которой была зажата погнутая алюминиевая кружка. Ни о разговоре, ни тем более о медицинском осмотре не могло быть и речи. Я выскочила на улицу... Единственное, чего мне хотелось, это уйти как можно дальше от этого места и забыть о том, что я увидела» (Елена Захарова, о первом посещении Шаламова в восьмидесятом году).

«...он срывал с кровати постельное белье... с невероятным трудом, но все-таки перемещал себя до туалета, находившегося тут же, в предбаннике палаты. Путешествие в ванную комнату могло происходить только с помощью двух людей, и являлось для В. Т. настоящим подвигом» (она же, на следующий год).

Попробую восстановить хронологию событий и назвать действующих лиц этой драмы по мере их вступления в действие.

Итак, в апреле 79 года Сиротинская отвозит в ЦГАЛИ архив, а в конце мая Исаев со служащей Литфонда забирают Шаламова в интернат. Помещен он в комнату на третьем этаже, для тяжелых больных. Делит ее Шаламов с искусствоведом Виктором Оголевцем, которого навещает дочь. Палата на двоих – возможно, привилегированное положение, для творческих работников, хотя площадь ее – шесть квадратных метров, не палата, а конура. Шаламов практически слеп и глух, речь нечленораздельна, страдает конвульсивными движениями конечностей, самостоятельно есть может с трудом. Обычно такие больные не в состоянии и самостоятельно одеваться. Тем более, не в состоянии они соблюдать личную гигиену – принимать ванну, стричь ногти, бриться и проч. В течение первого года Шаламова посещают от силы

несколько человек, если не один-два. Ни ухода, ни лечения он, по-видимому, не получает. Ложкой пользоваться не может, суп хлебает прямо из миски, кашу и тому подобное выгребает пальцами. Лежит на голом матраце, часто мокрым, в грязной казенной пижаме или том, что можно назвать пижамой, временами, вероятно, совершенно нагой. В краткой биографии Шаламова Сиротинская отмечает, что он перенес инсульт, однако, сведения эти из третьих рук, поскольку датирует она его «1980-1981 гг.». Так продолжается целый год, до появления Сергея Григорьянца, впервые после Ратнера засвидетельствовавшего увиденное. Не совсем понятно, как без ухода, да еще пережив апоплектический удар, можно выжить в таких условиях в течении года. Точная дата освобождения Сергея Григорьянца из тюрьмы мне неизвестна, приблизительно середина весны восьмидесятого года. На протяжении полумесяца Григорьянца разыскивает Шаламова по старым адресам и наводит справки. О его переезде на Васильевскую он, скорее всего, не знает, поскольку после письма Шаламова в ЛГ разорвал с ним отношения, а спустя три года попал в тюрьму. Через врача-психиатра Юрия Фрейдина, будущего душеприказчика Н. Мандельштам, местопребывание Шаламова удастся, наконец, установить. В первый визит Григорьянец разговаривает с заведующей интернатом, та сетует, что Шаламова никто не навещает «уже года два», то есть с момента госпитализации, что ему «очень тяжело одному и даже просто хочется чего-нибудь вкусенького, но «сами понимаете, что у нас здесь за еда». Жить в Москве Григорьянцу запрещено, местожительством он избирает районный Боровск, и перед отъездом туда навещает Шаламова в обществе Александра Морозова, который «слегка помнил Шаламова по встречам у Надежды Яковлевны» (Шаламов, в свою очередь, сразу вспомнил не только Морозова, но и «обстоятельства [их] знакомства в доме Н. Я. Мандельштам», а не виделись они «около двенадцати лет»). Александр Морозов обещает присматривать за Шаламовым. Тогда же Виктор Хинкис, непревзойденный переводчик Уильяма Голдинга и частично Джеймса Джойса, тоже давний знакомый Н. Мандельштам, приводит к Шаламову дочь, студентку медицинского института, для обследования и консультации, но увиденное приводит ее в ужас, и она поспешно сбегает, чтобы впоследствии все же вернуться. Месяца через три (или, скорее, позже, где-то в октябре-ноябре), в один из наездов в Москву, Григорьянец опять навещает Шаламова. Шаламов, пишет он, «...был не то что более ухоженным, но все-таки чуть более убранным и, может быть даже, чуть в более успокоенном состоянии. На голове у него была какая-то шерстяная шапочка», связанная одной из приведенных Морозовым посетительниц. В присутствии Григорьянца при-

шла «...еще какая-то незнакомая мне дама, которая с большим терпением и ласковостью начала пытаться накормить Варлама Тихоновича». Морозов с гордостью сообщает, что «...бормотание Шаламова – это постоянное, как и в лагере, сочинение и повторение стихов, он эти стихи записывает и уже очень много собрал», что посетителей теперь много и что «...и Шаламов, и стихи, которые [он] записал, в центре внимания литературной Москвы». Григорьянцу дарят несколько прекрасных фотографий Шаламова, сделанных, по-видимому, французским корреспондентом сербом Николаем Милетичем и, надо полагать, не для посетителей дома престарелых, а для западной прессы. Григорьянц пишет, что тогда же отношение заведующей интернатом резко переменялось от доброжелательного к холодному и неприязненному, это заставило его серьезно предупредить Морозова о чрезвычайно опасных для Шаламова последствиях шумихи, однако Морозов, человек увлекательный, своенравный и неуживчивый, пропустил предупреждение мимо ушей. Где-то в это время Григорьянц с Морозовым, озабоченные тем, что Шаламов не получает лечения, попросили консультации у психоневролога: «...одного товарища нашего съездить посмотреть надо, не могли бы?», – того самого К., (Евгений Шкловский называет фамилию психиатра Лаврова), что упоминает о соседе Шаламова, разбитом параличом «умирающем старике», который «ходит под себя». Это, вероятно, уже не Оголевец – полутора годами раньше состояние Оголевца было значительно лучше шаламовского, и умер он позже Шаламова. Видимо, Оголевца перевели, а его место занял некий паралитик, после смерти которого комната Шаламова действительно станет «отдельной». (Об «отдельной комнате» не раз говорит Сиротинская, но все обстоятельства, упомянутые в ее мемуарах, относятся уже к концу 1980 и далее, это может с определенностью указывать на то, что в первые год-полтора пребывания Шаламова в интернате она туда либо не ходит, либо появляется крайне редко. Вот цитата из ее интервью Глэду: «Сначала в комнате с ним жил какой-то то ли генерал, то ли прокурор, старичок, потом его удалили, и у Шаламова была отдельная комната. Я приходила, он лежал, сжавшись в комок... Узнавая меня по руке, вставал, усаживался на стул и диктовал стихи». Генерал-прокурор – это, должно быть, как раз упомянутый паралитик, Сиротинская могла слышать о нем от медперсонала. «Я приходила,.. он диктовал стихи». Морозову он начал диктовать осенью восьмидесятого, а сама Сиротинская датирует стихи этого цикла 1981-м. Она нигде не упоминает о волонтерах Татьяны Леоновой, опекавших Шаламова как минимум до весны восьмидесят первого, зато часто и раздраженно отзывается о появившейся после компании Елены За-



харовой). Лавров этот К. или кто-нибудь другой, то есть одну консультацию или несколько инициировали Григорьянц и Морозов, я не знаю, последний говорит об обращении к «разным врачам». Скорее всего, К. и Лавров – разные люди, поскольку при Лаврове Шаламов диктовал Морозову стихотворение, которое тот записывал, ни о чем таком К. не сообщает. Врача К. Шаламов к себе не подпустил, тот освидетельствовал его со стороны, отметив «поразительное здоровье» – «из породы людей выносливых – высокий, жилистый» – человека, перенесшего то, что перенес в жизни Шаламов и дотянувшего до преклонного возраста, однако сделал заключение, что «дела его плохи». Именно в беллетризованном документе, датированном автором, Амаяком Абрамянцем, 2002 годом, впервые обнаружен диагноз, поставленный Шаламову Михаилом Левиным в 1978 году – «хорея Гентингтона». Естественно предположить, что администрация заведения позволила К. полистать «историю болезни» Шаламова, на основании которой тот был помещен в интернат для престарелых, а не в сумасшедший дом.

Теперь пора поставить вопрос, чем же в действительности был болен Шаламов? Болезнь Меньера в Боткинской больнице в пятидесятых годах могли диагностировать с высокой степенью точности, но болезнь Меньера, по-видимому, является лишь фоном истинной, тяжелой и запущенной, болезни Шаламова, вызывающей кроме прочего «пляску святого Витта», как по старинке называет этот недуг врач К. «Руки, голова дергаются, ходят ходуном – хорея Гентингтона... и без осмотра диагноз на расстоянии был ясен – пляска святого Витта». Зайвая пишет, что Левин «пошел на подлог и переправил ему показания», чтобы уберечь Шаламова от психодиспансера, который его убьет. Она приводит слова лечащего врача: «Он годится для этого [«32-го», психбольницы, уточняет Зайвая] интерната по анализам. Но я не могу... отдать его туда». Иначе говоря, диагностировав хорею Гентингтона, болезнь неврологическую, Левин одновременно диагностировал и другую болезнь, о которой умолчал и в медицинском заключении, и в своих мемуарах, поскольку, как представляется, не мог перешагнуть через нормы писаной медицинской этики, запрещающей врачу фальсифицировать (или скрывать) диагноз, какими бы благими намерениями это ни оправдывалось. Теоретически такое правило на пользу больному: Шаламова не заперли в сумасшедший дом, но лечение не диагностированной болезни невозможно. На практике же Левин поступил, разумеется, в высшей степени правильно и гуманно – писанный медицинский устав не учитывает условий содержания пациентов в советских психиатрических лечебницах, а лечение психических за-

болеваний в СССР, где психиатрия вернулась к средневековью, ничем не лучше лечения заклинаниями шамана, разве что располагает современными смертоносными лекарственными препаратами вроде аминазина. Я думаю, высококвалифицированный психиатр, вооруженный данными «истории болезни» Шаламова на протяжении его послелагерной жизни, мог бы по симптоматике, принимая во внимание, что и память, и интеллект Шаламова не претерпели ущерба практически до конца, выявить круг психических недугов, один из которых поразил великого писателя в пятидесятых годах и который в «обычной гордздравовской богадельне», даже не имевшей в штате врача-психиатра, диагностировать, конечно, не пытались и не могли. Безусловно, психика гения со всеми ее особенностями получает выражение также в плодах его творчества, этот гипотетический диагноз мог бы пролить свет и на особенность шаламовской «новой прозы», так резко и непримиримо противопоставившей себя всей литературной традиции. Кроме того, это неучтенный аргумент в споре о том, нужно ли и до какой степени искать в КР «свидетельство», понимаемое как лишенный эстетического измерения отпечаток какой бы то ни было верифицируемой архивом реальности. Я считаю, что таким «свидетельством» КР быть не могут и не должны. Наоборот, любое документальное свидетельство о советских концентрационных лагерях той эпохи нуждается в верификации «Колымскими рассказами». Именно поэтому «Архипелаг ГУЛАГ» («историю лагерей») можно успешно оспаривать с цифрами в руках, тогда как «Колымские рассказы» («летопись души» гения, низвергнутой на дно концентрационной вселенной, истина о бытии, установленная поэзией) неоспоримы, по крайней мере, пока существует поэзия, а с ней человечество.

С октября Морозов начинает записывать за Шаламовым, речь которого он, хотя и с трудом, «многократно переспрашивая», разбирает, последний цикл стихов под названием «Неизвестный солдат». «...осенью 1980 года Варлам Тихонович сказал, что мы запишем стихотворение... Я его мучительно расслышал, слово за словом, в течении многих часов». К концу года Шаламов, видимо, уже один в палате – сыграло роль морозовское паблисити: возможно, как раз тогда последовал растревоживший администрацию звонок такой знаменитости как Евтушенко, кроме того, имя Шаламова опять всплывает за рубежом благодаря изданию «Колымских рассказов» на английском в переводе Джона Глэда и на французском в виде трехтомника 1980-1982гг., что, в свою очередь, должно заставить шевелиться госбезопасность, – во всяком случае, никого из умирающих к Шаламову больше не подсе-

ляют, в его распоряжении «отдельная комната» размером с одиночную камеру.

Большого внимания англоязычной аудитории «Колымские рассказы», а это солидный корпус, 103 текста, не привлекают – рынок советской «лагерной литературы» и вообще неподцензурной русской словесности на годы вперед затоварен Солженицыным, «Архипелаг ГУЛАГ» которого переведен на французский самой Ниной Берберовой. Прежде чем перевод Глэда увидит свет тиражом в две тысячи экземпляров, ему отказывают восемь издателей. Западный читатель перекормлен ГУЛАГОм и вообще проблемами чужой ему казарменной сверхдержавы, которую самовлюбленная нудная беллетристика Солженицына не приближает, а наоборот, все более отдаляет – теперь уже не советским «железным занавесом», а его двойником – законсервированными эмиграцией эстетикой соцреализма наизнанку и чванливым провинциальным словарем националиста, монархиста и ортодоксального клерикала. Западу скучно и незачем читать еще одно дополнение к «истории нашей канализации», и его можно понять: Солженицын – продукт бешеной рекламы двух огромных пропагандистских машин и в качестве такового принят и признан, но бульварный интерес к нему исчерпан, а интеллектуалы калибра Андре Глюксмана оправданно видят в нем не столько писателя, сколько идеолога антикоммунизма и религиозного моралиста, явившегося для перевоспитания инфантильных западноевропейских советизанов. Хищнические методы промысла, которые до конца использовал Солженицын, выжили и рассеяли потенциальных читателей «Колымских рассказов», и последствия этого шока сказываются на Западе поныне. «Он [Солженицын] эту тему как бы закрыл» (Габриэле Лойпольд). Как ни странно, Россия, почти совершенно не интересующаяся ни Солженицыным, ни Шаламовым и куда менее осведомленная, лучше знает цену и тому, и другому.

В декабре умирает Надежда Мандельштам, которую с Шаламовым продолжают связывать невидимые нити судьбы – именно из ее окружения приходят Морозов, сделавший Шаламову карикатурно громкое имя в литературных кругах Москвы, «города слухов», и Елена Хинкис-Захарова, принявшая его последний вздох, именно либеральный поп Александр Мень, ее духовник, решит, где отпевать иссохший труп отъявленного безбожника и нигилиста Шаламова, именно в доме ее верной помощницы и подруги «Наташки» Кинд устроят поминки участники последнего акта этой мистерии. Магнетизм личности Ман-

дельштам продолжает оказывать влияние на судьбы поэзии даже тогда, когда его носитель почти распался. Отношения титанов, освобождаясь от плоти и быта, а вместе с ними и от нагноившихся несведенных счетов, трансцендируют себя во вселенную чистой поэзии, искусства ради искусства.

Здесь я считаю нужным сказать, чем в моем представлении являются последние годы Шаламова, начиная приблизительно с середины семидесятых, когда проза его сходит на нет, а поэзия превращается в эксперименты с гласными и согласными. С точки зрения видимых творческих результатов это годы прогрессирующего бесплодия. Кажется, что гений Шаламова себя исчерпал. Однако, гений Шаламова – особого рода. Если возможна классификация гениев, то по неисчерпаемости и последовательности он близок к Цветаевскому. Невыход КР книгой на Западе был катастрофой, от которой Шаламов уже не оправился. Проза его, готовая к новому взлету, вынуждена была катиться прежней колеей в никуда, пока не иссякла инерция. Поэзия, утратившая в прозе противовес и опору и окончательно замордованная журнальными и издательскими «ласковыми садистами», выкрикнула себя в «Славянской клятве» и смирилась перед окружающим дьяволом. Гений Шаламова оказался лишен способов выражения, выработанных искусством слова, литературной традицией, от пут которой он и без того непрерывно жаждет освободиться. Известно множество высказываний Шаламова, где он говорит о литературе как о форме, не подходящей для выражения его опыта и поэтического начала. Вот некоторые из них. «Ни одной строки, ни одной фразы в «КР», которая была бы «литературной» – не существует». «Колымские рассказы» – вне искусства». «Я... пытаюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой». «...вся мировая и русская литература – это... искусство для чтения... не более того. А здесь – единственный в своем роде феномен нелитературной литературы. И вообще – не литературы... Ничего подобного мировая литература не знала... Откуда им?». «Я не верю в литературу», «...чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагерь». «КР – фиксация исключительного в состоянии исключительности... боль, которую надо снять». «Все, что переходит документ, уже не имеет права поставить себя выше любой туманной сказки» (напомню: пример документа – ленинская стенограмма партконференции). «Все выдуманное, все «сочиненное» – отвергается». «Новая проза – это сам бой... а не его описание... прямое участие автора в событиях жизни». Эта устремленность Шаламова-творца к «прямому действию» десятилетиями пребывала в жес-

током конфликте с искусством повествования, подменявшим действие текстом, художественной условностью. Наконец, обстоятельства сами разрешили этот конфликт – сначала невозможностью издать книгу в полицейском государстве и во враждебной русской диаспоре, потом слепотой, выходящим из повинования телом, непереносимым бытом, отсутствием помощи, заключением в богадельню, утратой коммуникации. Поэтический гений Шаламова оказался лишен всех форм, в каких привык себя выражать. Но мощь этого гения такова, что он не может пребывать в бездействии, пока физически не уничтожен его носитель. Гений собирается силами и отвечает на вызов. Последний ресурс поэзии – сам поэт. «...суть сути двадцатых годов – это соответствие слова и дела. Поэзии нам казалось мало». Поэзии не может быть мало. Поэзия – это искусство превращения реальности в знаки и приведения их в гармонию, отвечающую эстетике, законам прекрасного. Гений, в распоряжении которого слово, пишет «Колымские рассказы», приобщая мир концентрационных лагерей к поэзии и тем утверждая его как истину. Гений, у которого отнято слово, переходит к прямому действию – он творит поэзию непосредственно из реальности, делая знаками обстоятельства и участников самой жизни и созидавая из них нечто прекрасное и бессмертное, а следовательно истинное. Участок жизни со слепым и глухим гением в центре теряет свойства омерзительной повседневности, упорядочивается вокруг сгустка поэзии и приобретает характер эстетического явления. Это прекраснейшая из поэм, но изложенная непосредственно во плоти, своего рода иерофания поэзии в мире, которым она полностью овладела и который приобщила к чему-то недостижимому. Победа Шаламова не в том, что «Колымские рассказы» разошлись миллионным тиражом и стяжали, наконец, мировое признание – тиражи и популярность Солженицына на порядок-два выше. Это «банальная идея, выраженная в самой примитивной форме». Победа Шаламова в том, что он преобразился в притчу, в легенду, в последний колымский рассказ, возобладав над низкой действительностью, «жизненной скверной», которая давно подменила легенды брендами, сходящими с конвейера медиа в жадные институции и на прилавки рыночной экономики («Какую биографию делают нашему рыжему!»). Шаламов восстановил попорченную и ошельмованную подлинность поэзии, трагедии, славы и героизма.

«...все дело в том, чтобы суметь подставить себя, предложить собственную кровь для жизни возникающего пейзажа». «Чтоб кровь была настоящей, безымянной». Лагеря уничтожения стали поэзией

благодаря «Колымским рассказам», мертвенная Москва семидесятых – начала восьмидесятых стала поэзией благодаря их создателю.

Совершенно ясно, что такого рода притча – «вне категорий добра и зла». Точнее, добро и зло присутствуют здесь как дело житейское, бытовое, в той мере, в какой речь идет об одиноком беспомощном старике, умирающем в пропахшей «мочой и преисподней» богадельне на московской улице Вилиса Лациса. Последний колымский рассказ, действие которого разворачивается в Москве, не несет морали. Все настолько смещено, что обрести смысл и подлинность может только в искусстве ради искусства. Притче безразлично, почему Шаламов согласился на переезд в дом престарелых. Притче безразлично, как он выжил там на протяжении первого года. Притче безразлично, зачем его искал и нашел Сергей Григорьянц. Притче безразлично, из каких побуждений записывал за ним стихи, а затем их распространял Александр Морозов. Притче безразлично, кому в Париже пришло в голову наградить Шаламова смертельно опасной премией. Притче безразлично, кто, по чьему наущению и в связи с чем принял решение перевести Шаламова в психбольницу. Притче безразлично, сказала Елена Захарова правду или солгала, приписав Шаламову завещание отпеть его в церкви. Притче безразлично, что чувствовали собравшиеся на его поминках в доме Натальи Кинд. В этой притче есть святой, черти в человеческом облике, нормальные, достойные люди и просто посторонние, попавшие сюда для массовки, но все они включая главного героя – суть знаки, слагающие невиданную поэму, «нелитературную литературу», рассказ «вне искусства», прямое действие поэзии в мире, которая пришла с ее носителем и ушла.

К заботливым дамам с «сомнительной репутацией» (Григорьянц) – сомнительной, разумеется, в кругах и с точки зрения диссидентов – которых задействует для ухода за Шаламовым Морозов, добавляется компания молодых людей, приведенных Татьяной Леоновой. Татьяна Леонова – молодой биолог, «Колымские рассказы» она читала в самиздате и потрясена известием своего ленинградского знакомого Леши Романкова (инженер и правозащитник Леонид Романков), что одинокий Шаламов умирает сейчас в интернате для престарелых в забвении и без помощи. Романков обещает выяснить адрес этого заведения через какую-то псковскую знакомую Шаламова, которая, бывая в Москве, неизменно его навещает. Не представляю, кем могла быть эта знакомая – в переписке Шаламова ни одного псковского адресата. Через месяц Романков сообщает Леоновой адрес дома престарелых «на

Планерной» и номер палаты Шаламова. «Увидев весь этот ужас, – пишет Леонова, – я бросила клич по знакомым... и мои друзья стали к нему ходить. Володя Мирзоев и Миша Эпштейн даже вымыли его один раз». Владимир Мирзоев, театральный режиссер, называет другую фамилию своего помощника – Александр Волохов, в то время актер, в будущем приходской священник. Вдвоем они доволакивают Шаламова до ванной комнаты в другом конце коридора и отмывают, если верить Мирзоеву, от грязи и экскрементов, которыми запакошен голый матрац писателя. Потом жена Мирзоева Л., перестелив постель, кормит успокоенного теплой водой Шаламова с ложечки. Это единственное посещение интерната Мирзоевым – о дальнейшем он пересказывает недостоверные слухи: «Через неделю или две после нашего визита Шаламова перевезли в Дом Литфонда». Среди принимающих участие в Шаламове Леонова, вслед за Мирзоевым, называет молодого философа Михаила Эпштейна, а также свою подругу Олесю Гуревич, сведений о которой интернет не дает. О Морозове, «безработном литературоведе», она говорит, что Шаламов был рад его появлениям, причем уже диктует ему стихи, стало быть, дело происходит осенью. В отношении шагов, предпринятых этими молодыми людьми для устройства Шаламова в какое-то более приличное место, свидетельства Мирзоева и Леоновой расходятся. Мирзоев говорит, что «о переводе Шаламова в специализированный дом престарелых при Союзе писателей» «хлопотал Миша Эпштейн», Леонова сообщает о подобных, но вялых хлопотах переводчика Дориана Ротенберга. Она упоминает о комиссии, «созданной по вопросу Шаламова Союзом писателей», которая «никаких позитивных сдвигов в его положении не сделала». Что это за комиссия, кто входил в ее состав, что именно она сделала и когда, Леонова не уточняет. Деятельность комиссии, скорее всего, приходится на следующий год. Сам Шаламов к мысли о переезде относится отрицательно, об этом пишут и Леонова, и Морозов. Положение дел его устраивает. Лучшего он не хочет и в лучшее не верит, причем совершенно оправданно.

При обилии мелькающих лиц, чего-то хотя бы отдаленно похожего на должный уход Шаламов не получает. Могу судить, потому что знаю эту работу. Все, что может Леонова – это «только придти раз в неделю и накормить его», вероятно, не больше внимания может уделить и ее подруга; наверное, несколько раз в неделю Шаламова кормят Морозов и те интеллигентные дамы, о которых рассказывает Сергей Григорьянц. Быть вымытым в ванне раз в несколько месяцев катастрофически недостаточно. Шаламов постоянно грязный, голодный,

мучим жаждой и отсутствием необходимых ему носовых платков, озабочен тем, как добраться до туалета, лежит, как правило, на голом грязном матрасе в драной пижаме, сотрясаемый «пляской святого Витта», при опознании посетителей доверяет только осязанию и остаткам слуха, а главным образом чутью зверя, вход в нору которого открыт каждому, комната, точнее, клетушка, в запущенном, «антисанитарном», выражаясь языком администрации, состоянии, воздух застоявшийся, пропитан миазмами. Вот «рай» последних стихов Шаламова, о котором элегически повествует Сиротинская, та «тихая, тихая, как снег, как облако, как внутри себя камень, комната», куда «через тайную дверь в стене» отбывает с Хорошевской, 10 необычный жилец из рассказа Ирины Полянской. «Я думаю, что В. Т. считал себя заключенным, да, собственно, он им и был», – говорит не склонная к сантиментам и оставившая честное, добросовестное свидетельство Елена Захарова. Можно добавить к этому следующее. Журналист Анатолий Королев, рассказывая о выступлении Сиротинской на столетие со дня рождения Шаламова, отмечает такую особенность восприятия им себя в советской действительности: «Ирина Сиротинская... подчеркнула особую поведенческую природу писателя, который дошел в своем максимализме до самого края. Он, например, даже не признал факт своего освобождения реальным событием. Он продолжал осознанно жить как зек, подчеркивая, что нет никакой разницы в СССР – жить в зоне или в Москве. Например, он обучал Сиротинскую приемам лагерной каторги... Он был уверен, что этот опыт в советском отечестве нужен всем, иначе не выжить». Говоря о Шаламове, ни на минуту нельзя забывать, что речь идет о человеке, осужденном на бессрочное заключение – менялись только координаты острога и режим. «Лагерь мироподобен».

К восемьдесят первому году в доме престарелых, по-видимому, новая администрация. Григорьянц во время летних и осенних посещений беседует с женщиной, а Леонова и другие спустя некоторое время говорят уже о мужчине. Портрет директора дает Александра Свиридова, делавшая съемки для документального фильма о Шаламове через несколько лет после его смерти, причем обвиняет этого типа (Ю. А. Селезнев) в краже из монтажной запечатлевшей его пленки. В ее описании это уголовник из «Очерков преступного мира». «Сложенные в замок крепкие крестьянские руки с наколкой на каждом пальце». По-видимому, отвечая на вопрос режиссера, следила ли за Шаламовым госбезопасность, он с презрением отвечает: «Никакое КГБ за ним не следило. Кому он был нужен? Это я сам позвонил в КГБ и попросил,



чтобы меня оградили от этих посетителей». Елена Захарова рассказывает несколько иначе. На ее просьбу отложить перевод Шаламова в психодиспансер директор отозвался: «Мне лично все равно, останется Шаламов или будет переведен, но товарищи из ГБ этим уже интересовались». Не исключено, что заявление директора о звонке в КГБ спровоцировано неприязненным отношением к нему Свиридовой. Во всяком случае, после просьбы Захаровой, призвавшей «проявить гуманность и неформальное отношение», перевод Шаламова был отложен на полгода, хотя уже в июле 1981 местом прописки в паспорте должна была значиться психбольница.

О главвраче интерната, Б. Л. Катаеве, Татьяна Леонова говорит даже с некоторой симпатией, хотя, как выяснится, Катаев – законченный негодяй. В положении Шаламова он необоснованно обвиняет Сиротинскую, которой Шаламов, член Союза писателей, стало быть, по его разумению, человек обеспеченный, все завещал и которая спланировала его в интернат, где, по словам Катаева, ни разу не появилась. «...главврач на самом деле очень доброжелательно относился к нам, потому искренне уговаривал не ходить к Шаламову. Предупреждал, что... это все может быть опасно для нас. Да и зачем? Все равно ведь умрет». Лечить его, по мнению главврача, в таком состоянии бессмысленно, с чем Леонова решительно не согласна. «Правда, – добавляет она, – они вполне искренно считали Шаламова невменяемым... Он ведь и был неадекватным во многом... не отвечал на вопросы, которые ему задавали официальные лица... вел себя, как зэк с начальством».

Медицинские комиссии и освидетельствования, которым подвергается Шаламов на протяжении последних полутора лет жизни, преследуют две противоположные цели. Администрация желает избавиться от беспокойного пациента и ажитажа вокруг него, опекуны Шаламова, наоборот, пытаются либо найти для него место получше, либо воспрепятствовать его переводу в приют для умалишенных. Несколько врачей, о чем я уже говорил, посещают его по просьбе Григорьянца и Морозова, один из них готов помочь устроить Шаламова в стационар, где бы тот получал лечение, однако, согласие на госпитализацию Шаламов дает лишь через год, когда, пишет Морозов, «подошла угроза другой «больницы». Врач Лавров констатирует «тяжелое неврологическое заболевание», но слабоумия, которое обосновывало бы помещение человека в психодиспансер, не находит (Евгений Шкловский). Поражает его не состояние больного, а условия содержания, причем визит его приходится не ранее, чем на середину осени восьмидесятого, поскольку в его присутствии Шаламов диктует Морозову

стихотворение. Очевидно, условия содержания постояльца за полтора года не изменились.



# 1981

В начале года, после разговора с главврачом, Леонова и Гуревич приводят знакомую женщину-психиатра, «настроенную очень доброжелательно и... искреннее желающую помочь», чтобы та сделала независимое заключение о состоянии его психики. В начале осмотра Шаламов ее игнорирует, потом начинает отвечать на вопросы. Шаламов глухой, поэтому разговор идет на крике. На вопрос, какова его мечта в жизни, отвечает: хочу остаться поэтом. Для благожелательно настроенного советского психиатра это очевидное доказательство помешательства: «Ну, вы же видите, он действительно ненормальный». «...ее диагноз, – пишет Леонова, – мало чем отличался от официального: ...лечить надо не неврологию, а психику. Чего же было ждать от врачей богадельни».

Вскоре после этого происходят два события, предreshившие судьбу Шаламова уже независимо от медэкспертиз.

Морозов, отчаявшись пристроить надиктованные ему стихи (вернее, «расслышанные», уточняет он) в советский журнал, «Юность» или «Знамя», куда их просил отнести Шаламов и где их назвали «распадом», «после тяжелых сомнений» передает их для публикации за границу, и пятнадцать стихотворений цикла «Неизвестный солдат» печатает «Вестник РСХД» – все дороги в концентрационной вселенной ведут в Париж к Струве. Подборке предпослан комментарий, где Морозов вкратце говорит о положении Шаламова в интернате для престарелых и пишет: «...одно имя автора «Колымских рассказов» способно вызвать представление об этой жизненной судьбе... эта судьба взята на себя ее носителем уже сознательно, как художником и ответчиком». По отношению к самим стихам он применяет медицинский термин «компрессия» – «невероятная компрессия» – и продолжает: «...как забудешь теперь про верную Еву и про то, чем только может быть куплена (и искуплена) ее верность, как забудешь про Португалова, и по смерти шагающего по колымскому льду, и кого не охватит жуткий озноб перед встающим видением Царя Миноса в стране «авитаминоза» – стране, над которой этот царь мертвых царствовал уже тогда, когда ощупывал своими холодными руками тело Блока». И правда, как забудешь жуткую картину полусумасшедшего энтузиаста «Великой Поэзии», снимающего с губ судорожно гримасничающего полусумасшедшего старца в крохотной зловонной комнатке средневекового дома приречения стихи, некоторые из которых действитель-

но оставляют сильное впечатление. Это не действительность. Это уже легенда.

Морозов сообщает о публикации Шаламову, и Шаламов «принял это, хотя по-настоящему переживал только публикации здесь» – например, в августовской «Юности», редактору которой, непотопляемому казенному Полевому, удалось заручиться доверием всеми оставленного писателя.

В марте Шаламову присуждают премию Свободы французского ПЕН-Клуба, о чем извещает примечание к публикации в «Вестнике РСХД», то есть публикуют уже отмеченного. В русском интернете об этой премии не сообщается почти ничего. С большим трудом на сайте Русская идея, название которого говорит само за себя, мне удалось найти справку из франкфуртского эмигрантского журнала «Посев» – того самого, на который почти без повода обрушился в своем открытом письме Шаламов – за 1983 год, где говорится:

«Учредитель премии, член правления французского ПЕН-клуба Димитрий Столыпин (внук русского премьер-министра) сказал журналистам о «Премии Свободы» следующее:

«Эта премия – дань уважения и признания тем литераторам, которые обречены на долготелее заключение в тюрьмах и лагерях за то, что они осмелились выразить открыто свои мысли и проявить свой литературный дар. Председателем жюри «Премии Свободы» является член французской академии Эжен Ионеско, в состав жюри входят Жорж Эмманюэль Клансье, член академии Пьер Эмманюэль, Нобелевский лауреат по медицине Андре Львов, писатели Рене Тавернье, Веркор и, наконец, я сам. Начиная с 1980 года премия присуждалась писателям, весьма отличным друг от друга, но чьей общей чертой явилось гражданское мужество...».

В числе русских писателей «Премией Свободы» были отмечены в 1980 г. Лидия Чуковская и в 1981 г. Варлам Шаламов».

Сайт дополняет эту информацию примечанием:

«Премия Свободы» писателям, проявившим мужество в несвободных странах, присуждалась французским ПЕН-клубом, в руководство которого... в те годы входил... Дмитрий Столыпин (а сын Столыпина, Аркадий Петрович, входил в руководство НТС и в редакцию «Посева») – вот почему этой престижной премией награждали не только борцов против апартеида в ЮАР, но порою и русских националистов, как Л. И. Бородин, В. Н. Осипов. Такая награда была способом их защиты гласностью от репрессий».

Защитой от репрессий премия для Шаламова послужит очень сомнительной, но следует отметить несколько связанных с ней моментов, которые интегрируются в сюжет. Первый лауреат премии, Лидия Чуковская – страстная обожательница и верная помощница Солженицына, «Колымские рассказы», по ее мнению, «нельзя читать. Реликвия. И только», ее имя рядом с шаламовским воспринимается как издевка. Другой лауреат этой премии (о чем, во всяком случае, извещает сайт), Владимир Осипов, тоже известен Шаламову и назван в его дневнике «шантажистом». Насколько мне удалось выяснить, премия присуждалась в течение восьми лет (1980-1988), и лауреатами ее, кроме названных, стали русский писатель-националист и диссидент Леонид Бородин, ныне редактор черносотенного журнала «Москва», польский публицист и общественный деятель Адам Михник, Абделлатиф Лааби (Марокко), Недим Гюрсель (Турция), Адам Загаевский (Польша) и Бужор Недельковичи (Румыния-Франция) – ни о ком из них, кроме Бородина и Михника, я ничего не знаю, и борцов против апартеида в списке лауреатов нет.

Это одна из множества литературных премий, ежегодно присуждаемых во Франции, и никакого веса она, разумеется, не имеет. Для сравнения: Солженицын получил французскую премию «За лучший иностранный роман» еще в 1968 году, и это действительно литературная, а не общественно-политическая («за гражданское мужество») с неким неясным уклоном в словесность награда. Французским литературным премиям несть числа. Журналист Радио Свобода Семен Мирский говорит, что ему не раз доводилось слышать «фантастическое утверждение, что число литературных премий во Франции больше, чем во всех остальных странах, вместе взятых». Вряд ли это соответствует действительности, добавляет Мирский, но в то же время отражает несомненный факт, что число литературных премий во Франции очень велико. Отсюда можно судить, насколько высоко оценен труд Шаламова – и вообще при жизни, и в стране, которая стараниями Никиты Струве и его ИМКА-Пресс, из года в год выпускающем том за томом, по два-три кряду, собрания сочинений сорвавшегося с цепи графомана, превращена в бастион Солженицына на Западе.

Единственное светлое пятно в этой истории – имя Эжена Ионеско, председателя жюри премии, который, будь «Колымские рассказы» изданы книгами и переведены вовремя, мог бы содействовать своим авторитетом мировому признанию их создателя. Эстетика театра абсурда перекликается с эстетикой «новой прозы». Взгляд авангардиста Ионеско на человека ненамного светлее взгляда авангардиста Шаламова. Ионеско подпадал под обаяние фашистской доктрины, знаком с

румынским социализмом и знает цену тоталитарной идеологии. Со своей стороны, пьесу «Носороги» Шаламов считает лучшей пьесой столетия. Возможно, с хорошим переводчиком они нашли бы общий язык.

Суммируя, а суммировать, собственно, нечего, можно сказать: вся эта история покрыта густым туманом дурной таинственности, который предстоит разгонять. От кого исходила инициатива выдвижение кандидатуры Шаламова? При чем тут «Посев» (представленный сыном Дмитрия Столыпина Аркадием), опубликовавший всего два текста КР, и вообще НТС, ответственный за пиратскую публикацию в «Гранях» еще полутора десятка рассказов? Какую роль могли здесь сыграть взаимоотношения франкфуртских солидаристов с парижскими русскими христианскими демократами? Не была ли номинация Шаламова на премию и присуждение ее каким-то ходом, направленным против безраздельно властвующего над умами старой эмиграции Солженицына? Не было ли это борьбой клик, схваткой кланов за влияние на умы? Предвидели ли организаторы мероприятия, какие смертоносные для Шаламова последствия будет иметь присуждение ему премии, за которой стоят крайне одиозные в глазах советской власти персоны, политическая доктрина и политическая практика, включавшая сотрудничество с нацистами? Или таков и был замысел? Существуют ли протоколы заседаний, где обсуждалась кандидатура Шаламова и где ему было отдано предпочтение? Имеются ли какие-то частные свидетельства посвященных в эту историю с выражением неофициального мнения? Какова должна была быть формальная процедура вручения премии? Могло ли ее принять доверенное лицо Шаламова и информировали ли его об этом? Каков был – если был – денежный приз и почему он не был передан награжденному в течение года? Не было ли это обычной дешевой – в финансовом смысле – провокацией, затраты на которую исчерпываются расходами на несколько respectable вида клочков бумаги? Чем она вообще была, эта премия Свободы, присужденная человеку, формально, да и фактически находящемуся не в тюрьме, а в открытом для посещения интернате для инвалидов и престарелых – вполне естественном месте для старого, тяжело больно-го и одинокого человека? Кто ответит на эти вопросы?

Как отреагировал на сообщение о присуждении премии сам Шаламов? Судя по мемуарам Сиротинской и Морозова, почти никак. Сиротинская прокричала ему в ухо: тебе дали премию, во Франции! Шаламов отозвался: но премия – это деньги. Денег, однако, нет, и

интерес у Шаламова пропадает. Были бы деньги, справедливо замечает Сиротинская, можно было бы нанять сиделку, Пастернаку деньги возили чемоданами. Она права. Получи Шаламов в качестве гонораров хотя бы сотую часть того, что имелось на банковских счетах Гуля и других глодавших его шакалов, возможно, он был бы обеспечен сиделкой и не попал в дом престарелых. Морозов, в свою очередь, рассказывает, что Шаламов «требовал премию, имея в виду, вероятно, какой-то знак ее получения», а на вопрос о возможных деньгах равнодушно ответил: «Государству – так все делают». Во всем этом отчетливо проступает какой-то гротеск, присущей легенде как жанру сугубо антипсихологическому: поздняя жалкая популярность неизлечимого калеки Шаламова в московских литературных кругах зло передразнивает желанное мировое признание, а никчемная премия Свободы точно так же зло карикатурит ускользнувшую Нобелевскую.

Итак, два этих события подписывают Шаламову приговор. До сих пор режим терпеливо ждал, когда этот пережиток февральской революции и левачества двадцатых годов «сдохнет» сам, не заставляя компрометировать себя власть, наследующую сатанинской деспотии, само понятие клеветы в адрес которой лишено смысла. Теперь оказывается, что умирает он долго и по-прежнему несговорчиво. Все происходит, естественно, за кулисами и должно явить свершившийся факт, но тут в легенду вплетается новое действующее лицо.

Год назад Виктор Хинкис приводил к Шаламову дочь, студентку-медика, чтобы выслушать ее мнение о состоянии его здоровья. Елена испытала шок и сказала: «Не знаю, по-моему, ему ничем помочь нельзя». Единственное, чего ей хотелось – «это уйти как можно дальше от этого места и забыть о том, что увидела». Забыть, однако, не получалось, пишет она, вернуться – тоже. За этот год она похоронила Надежду Мандельштам, перед которой преклонялась и за которой ухаживала в компании сверстников, и отца, героически и заведомо «в стол» переводившего джойсовского «Улисс» и сходявшего с ума в бескислородной московской атмосфере семидесятых годов. На дружеской собирушке в конце июня в полугодие смерти Н. Мандельштам Морозов читает несколько последних стихов Шаламова, и Захарову поражает, что «внутри этой... отрезанной от мира не только стенами, но и глухотой, слепотой и почти немотой, оболочки», которую она видела, «сидит живой, мыслящий человек, поэт». Испросив у тещи разрешение и заручившись его рекомендацией, она идет в интернат. Услышав имя Морозова, с которым у Шаламова есть что-то общее – в

самоотдаче поэзии, максимализме, резкости характера, общей планиде маргинала и неудачника – Шаламов ее не гонит, и с тех пор она начинает за ним ухаживать, благо имеется опыт пусть начинающего, но врача, и недавних дежурств у постели тяжело больной восьмидесятилетней старухи. Морозов пишет: «С весны 1981 г. В. Т. вместе со мной стали посещать еще Лена Хинкис и – с лета – Таня Уманская (внучка того Уманского, про которого рассказ «Вейсманист»). С этого времени мы взяли весь уход за В. Т. на себя». Захарова датирует свое появление более поздним временем, привязывая его к полугодию со дня смерти Мандельштам, следовательно, все дальнейшее приходится на середину лета – начало осени. Через некоторое время приходит Татьяна Уманская-Трусова. Это племянница той жительницы Кургана Софьи Уманской, которая в шестидесятых спрашивала у Шаламова, где опубликованы воспоминания последнего о ее брате профессоре Уманском, и которой тот отвечал, что никаких воспоминаний и никаких рассказов не пишет, а пишет нечто другое, и что когда «Вейсманист» будет опубликован, он непременно его пришлет. «Вейсманист» так и не был опубликован, и гонорар Шаламов получает уходом от внучки героя своего давнего не-рассказа. Находит Шаламова еще одна его почитательница, Людмила Анис, которую Сиротинская невеста почему называет «кагэбэшницей» – по-видимому, такая же «кагэбэшница», как Сиротинская для Морозова «главная гепеушница».

ГБ, впрочем, не стесняясь присутствует – если верить, а в какой мере ей можно верить, не знаю – той же Сиротинской. «Там главная сиделка, я ее видела, она сотрудник КГБ. Она-то там и сидела, записывала всех, кто к нему ходил».

Татьяна Леонова к тому времени как-то стушевывается. На лето мы вывозили детей за город, рассказывает она, и скинулись, кто сколько мог, чтобы заплатить студенту, готовому в наше отсутствие ухаживать за Шаламовым. Однако, деньги попали в руки некоей ревностной православной христианки, оказавшейся мошенницей и присвоившей их. Быть может, увидев после отпуска, что подросла замечена, Леонова с подругой больше не появляются – она нигде не упоминает о новых няньках Шаламова, лишь мельком осуждая не названную по имени Захарову за выдумку, что тот просил отпеть его в церкви. Захарова тоже пишет, что за те месяцы, что она там бывала, ни с кем у Шаламова, кроме Морозова, Уманской и Анис, не сталкивалась, хотя не утверждает, что никто его больше его не навещал, просто не знает.

«Кормили, купали в ванной, стригли ногти, переодевали в чистое, стирали и тут же на батарее сушили вельветовые пижамы, остав-



шиеся от моего деда и пришедшиеся очень кстати, мыли полы», – перечисляет она те элементарные вещи, какие положено делать работникам «интерната для престарелых и инвалидов», но делать которые вынуждены энтузиасты. С Шаламовым она почти не общается, хотя научилась как-то разбирать, что он говорит – «что я могла такого сказать, что представляло бы интерес для Шаламова. Тем более было бы дико мучить его какими-то расспросами, речь давалась ему тяжело». Шаламов уже один в комнате, но, по ощущениям Захаровой, этого не заметил. Она не преувеличивает своей роли няньки при беспомощном старике и затрудняется точно определить мотивы – «возможно, я делала это для себя». «Может, и не много значили наши посещения, но все-таки мы его мыли и кормили, держали за руку, просто были с ним».

Для одинокого ветхого бедолаги, «человеческого обрубка», это, конечно, немало. Однако этот последний колымский рассказ – *московский рассказ*, – сложившийся вокруг оставленного эпосом сгустка поэзии, разворачивается по собственной логике. Житейски это выглядит так (Сиротинская):

«...ему нужен был покой, только покой и записи стихов. А шум и склоки убивали его, как и врачебные комиссии, приводимые Хинкис». «ПЧ показало, на что способно: звонки Евтушенко, записи голоса, которые Морозов почти не разбирал [разбирал не хуже Сиротинской], фотографии В. Т., «поставленные пострашнее», зарубежные публикации». «Только в интернат для психохроников и могли его отпавить – убить. Там он прожил 3 дня. Не устраивали бы шума и склок, прожил бы лишние месяцы». «Захарову я знаю. Она, так сказать, из прогрессивного человечества... Она притащила врачей к нему... надо соображение иметь, что нельзя поднимать шум, тем более в те времена... Жил он тихонько – и пусть бы жил там, в Тушине».

Во-первых, рассуждая житейски, обстирывает и купает Шаламова и стрижет ему черные ногти не Сиротинская, а все же ПЧ. Во-вторых, преображенный Шаламов принадлежит уже не столько себе, сколько легенде о себе, творению своего гения, лишенного всех средств выражения, кроме судьбы и тела поэта. В роковых последствиях учиненной шумихи винит Морозова не только Сиротинская, но и Сергей Григорьянц. Они правы – публикация в «Вестнике РСХД» сыграла свою роковую роль. Сыграла ее и премия Свободы, причем оба эти события логически и хронологически как-то связаны, хотя я не располагаю данными для установления этой связи. Морозов, чем бы он ни руководствовался, действительно виноват. Но суть в том, что к стихам Шаламов возвращается именно после появления в интернате

Морозова, составившего его читательскую аудиторию, а также в том, что стихи пишутся для того, чтобы их печатали и читали. Морозов предлагал записанные им стихи Шаламова в советские журналы, их там отвергли с оскорбительной формулировкой. Только после этого он решается переслать их на Запад. То же самое годами делал Шаламов, и Сиротинская это прекрасно знает. С точки зрения приземленной и одновременно весьма последовательно уклоняющейся от забот по уходу за своим другом Сиротинской, Шаламову следовало умереть как его соседу-паралитику – тихо, не привлекая к себе внимания, с сардонической улыбкой справляя под себя нужду. Она полагает, что стихи пишутся для архива, а архив существует для того, чтобы было, чем заниматься архивисту Сиротинской. Морозов мыслит иначе, его мышление направляет поэзия, точнее, «Великая Поэзия». Мандельштам он прижил почти до самоотожествления с ним. Сиротинская, кропающая свои мемуары уже в двухтысячных, не может простить Морозова и Захаровой, что их роли в последнем колымском рассказе неизмеримо выше ее роли, роли простой шаламовской душеприказчицы и его преклонных лет «Беатриче». Но так уж этот рассказ устроен.

Теперь об обвинениях в адрес Захаровой, приводимые которой «врачебные комиссии» не дают Шаламову «тихонько прожить лишние месяцы там, в Тушине» и «убивают» его. Сиротинская лжет и лжет намеренно. Сообщение Морозова об обстоятельствах смерти Шаламова было опубликовано в неподцензурной «Хронике текущих событий» в начале 1982 года, а в начале двухтысячных выложено в интернете в свободный доступ. Сиротинская не могла его не читать, а прочтя не выправить последовательность событий, если та, по ее мнению, требовала поправок, и предложить свою, если она у нее имелась. Однако, ни морозовских показаний, ни версии Захаровой, тоже хорошо ей известной, она не опровергает, вместо этого по обыкновению сваливает все в кучу, дабы все запутать и всех очернить.

По Морозову, события развивались так.

«В последних числах июля 1981г. Хинкис [Захарова] случайно узнала из разговора медсестер о принятом решении перевести Шаламова в специализированный дом для психохроников. Главный врач интерната Б. Л. Катаев подтвердил, что решение принято, обосновав его, во-первых, диагнозом «старческое слабоумие», поставленным Шаламову на бывшей незадолго перед этим консультации, и, во-вторых, заключением санэпидемстанции об антисанитарном состоянии его палаты. Катаев сказал, что Шаламов «социально опасен» и пред-

ставляет угрозу для персонала, т.к. способен, например, опрокинуть тумбочку или бросить в медсестру кружкой. Хинкис напомнила Катаеву о недоброй репутации домов для психохроников. Катаев воскликнул:

– Да что вы! Это совсем не так страшно.

– Когда предполагается перевод?

– Завтра-послезавтра.

– Что же, не приди я сегодня, о переводе никто бы и не узнал?

– Нет, почему же, мы собирались звонить в Союз писателей.

Хинкис просила отсрочить перевод. Катаев поинтересовался, на какой срок («Хотя бы недели на три», – сказала Хинкис), но не ответил ни да, ни нет.

Хинкис сразу пошла к директору интерната Ю. А. Селезневу, который забеспокоился, едва услышал имя Шаламова.

– Кто вы такая, – спросил он. Хинкис объяснила.

– Вы что, считаете, что он действительно поэт?

Хинкис сказала, что этому есть доказательства.

Тут же Селезнев обнаружил, что знает об этом и без доказательств, и даже осведомлен о самых недавних фактах, связанных с Шаламовым. Он заявил, что вокруг Шаламова «развели шум», «печатают его», «дали премию», «появляются какие-то юнцы с магнитофонами» и «уже звонил Евтушенко»...

Хинкис спросила, кто проводил консультацию и нельзя ли попытаться пересмотреть диагноз. Оказалось, что слабоумным признали Шаламова консультанты из психоневрологического диспансера N 17, курирующего дом-интернат... Окончился разговор невнятно выраженным согласием Селезнева на попытку добиться переосвидетельствования Шаламова».

По версии Захаровой, изложенной в ее короткой заметке, дело происходит в сентябре.

«...меня пригласил к себе для беседы главный врач. Он поинтересовался, кем доводимся Шаламову Морозов, Уманская, Анис и я. «Вы не родственники, так и не ходите... А то мне уже намекают «оттуда», что обстановка нездоровая... Вы ведь понимаете, что я могу перевести вашего Шаламова в интернат для психохроников, с глаз подальше, тем более основания есть, он недавно протечку устроил, воду в туалете не закрыл».

Я испугалась. «Интернат для психохроников» – это почти полная изоляция, а условия там еще хуже...

Я долго уговаривала главного врача. Уверяла, что мы и сами не заинтересованы в лишних разговорах, что ни Евтушенко, ни кого бы то ни было еще, мы ни о чем не просили. Ссылалась на то, что я врач,.. что В. Т. нуждается в элементарной помощи сиделки и так далее. Разговор завершился тем, что посещения нам не запретили, но пригрозили провести психиатрическую экспертизу В. Т.».

О Селезневе Захарова не упоминает, я объясняю это тем, что статья писалась через много лет после событий, тогда как Морозов делал свое сообщение по их горячим следам и узнавая о происходящем не от кого иного как от той же Захаровой. Приводятся даже дословные выражения директора вроде «каких-то юнцов с магнитофонами», нигде более не упоминающихся.

Морозов продолжает:

«В ближайшие за этим дни удалось связаться с заведующей диспансером N 17, и Хинкис... по телефону условилась с ней о повторной консультации. 14 августа Хинкис встретила у ворот интерната двоих консультантов и проводила их к главврачу. Тут же появилась старшая сестра и еще несколько лиц из персонала. Казалось, что о предстоящей консультации в интернате знали заранее, хотя в известность о дне и часе Хинкис никого не ставила. Все вместе поднялись к Шаламову. Он сидел на стуле, поглощенный питьем чая. Хинкис поздоровалась – Шаламов ответил. Консультанты здороваться не стали. Помолчав, один из них, очевидно, старший, сказал:

– Патологическая прожорливость.

Молчание. Потом спросили у Шаламова, какой нынче год. Шаламов сказал:

– Отстаньте.

Молчание. Спросили, почему на койке не видно постельного белья. На это ответила Хинкис, упомянув о лагерном прошлом Шаламова. Молчание.

– Ну, ладно, – сказал, наконец, старший, – будем описывать по статусу (что означало: больной недоступен контакту и заключение выносится на основании визуального наблюдения).

– Так что же? – спросила Хинкис у консультантов уже в коридоре.

– А ничего, – ответил старший, – это, конечно, слабоумие. Можете пригласить хоть сто психиатров, никто диагноз не изменит.

Вся консультация продлилась несколько минут».

Захарова рассказывает немного иначе.

«Вскоре экспертиза состоялась. Мне удалось добиться разрешения присутствовать... сотрудники районного психоневрологического диспансера проследовали в кабинет главного врача, меня, естественно, не пустили. Пробыв у главного около получаса, они зашли в палату к В. Т. и спросили его, какое сегодня число. В. Т. не ответил, не услышал, а вероятнее всего – не захотел отвечать. И, задав еще пару вопросов – какой день недели и что-то еще – комиссия покинула палату. Я побежала следом, пыталась объяснить, что В. Т. плохо слышит, мне кратко ответили – сенильная деменция. И ушли. В переводе на человеческий язык это означает, что полуслепой и полуглухой беспомощный человек, живущий в изоляции, не имеющий не то что телевизора или радио, но даже календаря (да и не нуждающийся в них), и не знающий, какое сегодня число, страдает старческим слабоумием...

После «экспертизы» я еще раз была у главного врача. Он повторил заключение комиссии, и добавил – пока подождем. Мы оставили в сестринской комнате свои телефоны, потолковали со всеми медсестрами, просили позвонить, если все-таки переведут».

Итак, где-то между маем и октябрём начальство решило перевести Шаламова в сумасшедший дом – на основании проведенной медэкспертизы и заключения санэпидстанции, либо – следуя версии Захаровой – его опекунам пригрозили, что если они не перестанут ходить к Шаламову, тот будет помещен в психбольницу. Все это можно точно установить, порывшись в архивах соответствующих учреждений за 1981 год. В любом случае, эту первую «врачебную комиссию» привела не Захарова, а администрация богадельни, решившая избавиться от пациента, запятнанного публикацией в зарубежном антисоветском журнале и присуждением премии, к которой также причастна антисоветская эмиграция. Эти временные рамки можно значительно сузить, не дожидаясь результатов раскопок. Решение принято между двумя датами. В начале июня Сиротинская «пришла порадовать» Шаламова известием о награде, а в конце июля, согласно штампу в паспорте, Шаламов уже выписан из интерната, другими словами, официально там не проживает. Сплавить Шаламова в психушку решено где-то в июне, непосредственно за присуждением ему премии, отсрочка вызвана наличием свидетелей, которые в отличие от Сиротинской наверняка предадут происшедшее нежелательной огласке. К сентябрю терпение администрации иссякает, и следует разговор главврача с Захаровой с требованием перестать навещать Шаламова. На случай, если волонтеры не уберутся, начальство организует психиатрическую экспертизу, весь смысл которой – заручиться нужной бумажкой.

Главный психиатр Литфонда Дашевский сначала обещает переосвидетельствовать Шаламова, но потом отказывается, оговорив, по словам Морозова, что «этот случай – вне медицинской компетенции» – должно быть, в компетенции санэпидстанции. Тем не менее, добавляет Морозов, «в первой декаде сентября последовало заверение Союза писателей в том, что Союз берет на себя контроль над ситуацией и без ведома Союза Шаламова никуда не переведут». Хочу обратить внимание на такую подробность. Сообщение Морозова под его инициалами – совершенно прозрачными для тайной полиции – было обнародовано в неподцензурном правозащитном бюллетене в самый разгар гонений на диссидентов, поэтому во избежание стандартного обвинения в «клевете на общественный и государственный строй» ему следовало максимально точно придерживаться фактов, что он, на мой взгляд, и делает. Вторая комиссия, приведенная уже, очевидно, опекунами, состояла из одного врача, частным образом осмотревшего Шаламова и не посчитавшего клиническую картину убедительной для психушки, но согласившегося выразить свое мнение только в составе «официальной и полномочной комиссии экспертов». Правда, даты этого медосмотра Морозов не называет, не исключено, что здесь он имеет в виду одну из консультаций, инициированных им еще с Григорьянцем. Вот все комиссии Захаровой, которые «убивали» Шаламова. Следуя версии Морозова – а она для меня выглядит наиболее убедительной – именно Захарова подарила Шаламову несколько последних месяцев жизни.

В августе Шаламов тяжело простужается, несколько дней лежит с высокой температурой, друзья посещают его ежедневно, интенсивно лечат, колют антибиотики, он выкарабкивается.

Осень и начало зимы проходят спокойно. Четверка опекунов навевается «по очереди», «нами никто больше не интересовался» (Захарова), стало быть, плюсуя визиты Сиротинской и, возможно, кого-нибудь еще, Шаламов сравнительно ухожен и присмотрен. Александр Зорин упоминает о дежурствах по средам и пятницам. Сиротинская, ссылаясь на некоего журналиста Тумановского, с осуждением говорит об «осаде директора сразу двумя женами с требованием зарегистрировать брак», о «планах вывезти больного, слепого, глухого старика за границу», но об этом ни я, ни интернет ничего не знаем.



# 1982

Под Новый год Шаламова навещают Морозов и Сиротинская, которой он диктует вариант одного из стихотворений, Захарова появляется последний раз 12 января, а 15-го ей в панике звонит Татьяна Уманская и сообщает, что Шаламов исчез. Морозов пишет о звонке Захаровой Ивану Исаеву, который со слов Сиротинской сообщает о переводе Шаламова в психбольницу. На следующий день Захарова и Уманская приходят в пустую палату, на батарее – выстиранная пижама, «в тумбочке стопкой газеты «Московский литератор» и приглашения на вечера в Дом писателей». Старушка из соседней палаты говорит: «Увезли вашего Тихона».

Что случилось 14 января? Автор литературного сайта Кипарисовый ларец Андрей Высоковос восстановил последний путь еще живого Шаламова.

«Сумасшедший дом помещался в Лианозове, на Абрамцевской улице. Где-то я прочитал, что Шаламова везли туда через всю Москву. Это не так, – его везли вообще не через Москву, но по самому ее краю. Я знаю, как его везли, сейчас я вам это расскажу.

Дело было морозным январским утром. Одетого в легкую больничную одежду Шаламова затолкали в неотапливаемый кузов машины скорой помощи... Выехали на Вилиса Лациса, сразу свернули налево, на прямую, как стрела, Планерную улицу, и поехали вдоль забора метродепо. Проскочили вот здесь, прямо под моим окном, и на перекрестке снова повернули налево – на улицу Свободы. И снова свободы досталось Шаламову немного – меньше километра, до поста ГАИ. Сейчас пост ГАИ находится перед поворотом на МКАД, но в те годы он стоял после съезда на кольцевую дорогу, который с поста даже не просматривался. Кто знал, этим пользовался: если нужно было на машине попасть в Москву, избегнув встречи с ГАИ, достаточно было проехать этот короткий и кривой отрезок по встречке – медленно, с включенной аварийкой. Стало быть, не доезжая до поста, санитарный рафик ушел со Свободы направо и очень скоро уже катил по внутренней стороне МКАД. Кольцевая дорога в то время представляла собой узковатый и кособокий шлях, со стертой разметкой, весь в трещинах и колдобинах, и с известной гордостью носила народное прозвище «дорога смерти». Собрав все полагающиеся на ее долю ямы, санитарка додрезбуждала до поворота в Лианозово, и вскоре уже были на месте, – искомый интернат за номером 32 тоже недалеко убежал от московского кольца. Весь путь вряд ли отнял больше сорока минут – пробок на

дорогах тогда не было, но и этого времени было вполне довольно, чтоб убить слабого, слепого, не по зиме одетого и потому прозябшего до костей старика. Об этом почему-то не говорят, но это было вполне сознательное, более того – грамотно спланированное убийство, замаскированное под совдеповское разгильдяйство».

По-видимому, все так и происходило. Маловероятно, что Шаламов сопротивлялся, хотя его биограф Евгений Шкловский пишет, что, по словам очевидцев, «был крик», – думаю, во избежание ненужных забот ему вкололи хорошую дозу аминазина. Режиссер Александра Свиридова отмечает такую деталь: «...напомню, что в любом казенном заведении ты облачен в казенную пижаму, которая на учете у директора. А потому – пижаму «Дома ветеранов» с В. Шаламова сняли, а пижаму психушки – надели только, когда привезли». Возможно. Учет – основа «социалистической структуры», предназначенной для массового убийства кошек и людей. Положили на брезентовые носилки, оснащенные роликами по ширине вмонтированных в пол кузова направляющих, затолкнули в салон и набросили облезлое больничное одеяло. «– Я думаю, его намеренно никто не простужал, – возражает Татьяна Уманская. – Просто об этом никто не думал. Его нужно было убрать с глаз долой, и его убрали». Я много раз ездил зимой в неотапливаемом «рафике» «скорой помощи», одетый в теплый свитер и куртку. Если в такой машине перевозят человека в пижаме, то это преднамеренное убийство. Для сидящих в машине это очевидно.

Наталья Иванова добавляет, что в ожидании палаты Шаламова продержали на носилках несколько часов в мерзлом помещении, правда, умалчивает, откуда у нее эти сведения.

«У него был дикий страх перед интернатом. Страх врачей, психушки. Он знал, что если его куда-то поместят, то это будет непременно психушка» (Людмила Зайвая).

Можно сказать, что ССП, державший ситуацию под контролем, предал своего члена Варлама Шаламова. Но сказать так – все равно что сказать, что Шаламова предала тайная полиция, поскольку ССП и тайная полиция – это два соседних зуба государственного механизма, делающего свою работу.

Захарова пишет, что слегка «придушила» дежурную медсестру, которая на вопрос, куда увезли Шаламова, посоветовала спросить завтра у главврача. В результате адрес нашелся: Абрамцевская улица, интернат для психохроников №32.



Наутро Захарова и Анис едут туда, но психобольницу еще надо найти.

«Это было какое-то марсианское место, посреди изрытого замерзшими глиняными колдобинами пустыря стояло большое серое бетонное здание, как мне показалось, почти без окон... С трудом отыскали дверь, стали колошматить. Открыл вахтер, буркнувший, что посещений нет... я путано и почти без всякой надежды на успех объясняла ситуацию, просила разрешения побеседовать с дежурным врачом, напирая на то обстоятельство, что я медицинский работник. Удивительно, но нас пропустили. Ко мне вышел дежурный доктор, выслушал мой лепет. Доктор оказался человеком. Он разрешил нам зайти к В. Т... День был очень морозный и ясный, большая палата насквозь прострелена солнцем (стало быть, окна были). На одной из кроватей лежал В. Т., на соседней – какой-то старик засовывал себе в рот пальцы, измазанные экскрементами. Потом доктор рассказал мне, что это был в прошлом крупный гэбэшный чин».

Палата не то на шесть, не то на восемь человек.

«Мы подошли к Шаламову. Он умирал. Это было очевидно, но все-таки я достала фонендоскоп. В. Т. умирал от воспаления легких, развивалась сердечная недостаточность. Думаю, что все было просто – стресс и переохлаждение».

«Гиппократово лицо – предсмертная маска человека – известно каждому студенту медицинского факультета. Это загадочное однообразие предсмертных движений послужило Фрейдю поводом для самых смелых гипотез. Однообразие, повторение – вот обязательная почва науки. То, что в смерти неповторимо, искали не врачи, а поэты...

Жизнь входила в него и выходила, и он умирал».

«Я вернулась к дежурному врачу, спросила, получает ли Шаламов какое-нибудь лечение. Доктор достал из шкафчика историю болезни, посмотрел сам, к моему изумлению, дал посмотреть и мне. Оказалось, он же дежурил и в день перевода В. Т. В записи первичного осмотра значилось – беспокоен, пытался укусить врача [Морозов добавляет: «Крайне бестолков, задаваемых вопросов не осмысливает»]. Диагноз все тот же, сенильная деменция. В назначениях я обнаружила антибиотик, стало быть, воспаление легких развилось почти сразу. Пошла к медсестре, оказалось, антибиотик сегодня еще не вводили, не дошла очередь. Опять вернулась к доктору, и, ясно понимая, что смысл в моих действиях чисто символический, попросила назначить внутривенное вливание препарата, стимулирующего деятельность сердца.

– Пожалуйста, можете даже сами ввести.

Ввела, и антибиотик тоже. Еще раз повторю, я не считала, что это может изменить ситуацию, Шаламов был в агонии, но все-таки я решила сделать то небольшое, что было возможно. Ничего не изменилось, да и не могло измениться. Тогда я стала читать молитву «На исход души». Не буду утверждать, что Шаламов перед смертью узнал нас, но надеюсь все же, что присутствие наше он успел почувствовать. Впрочем, не знаю. Через полтора часа В. Т. умер».

На руках Захаровой и Анис умер последний поэт Серебряного века и русского авангарда, последний поэт разрушенных, наконец, до основания русских Афин. У поэзии оказалась невероятная сопротивляемость жизни. Она прошла Соловецкие лагеря, Колыму, ссылки, Москву коммуналку и богаделен и дотянула почти до краха режима. Режим издох вслед за ней, но причастился ее бессмертия.

Захарова обзванивает друзей, ей звонят «многие и многие», приходят, собирают деньги на похороны.

Людмила Зайвая узнает о смерти Шаламова в шесть утра от соседа, который слушает Голос Америки. Она звонит Шрейдеру и Сиротинской. Та уже знает – от Шрейдера, и говорит Зайвой, что никаких дел Шрейдер теперь иметь с ней не хочет.

Сиротинская немногословна: «Мне позвонили и сказали, что он умер».

Исаева и Воронскую, по словам Морозова, извещает Сиротинская.

Уманская находит в Боровске Григорьянца, сообщает ему о смерти Шаламова и дне похорон и просит написать прощальное слово.

В секретариате Союза писателей 19 января обсуждается вопрос о похоронах. Представители Союза, пишет Морозов, склоняют друзей Шаламова похоронить его «по-хорошему», иначе говоря, «перед кремацией выставить тело в ЦДЛ и провести гражданскую панихиду». Переговоры ведут поэт Владимир Костров и секретарь правления СП Юрий Верченко.

Труп Шаламова – по-прежнему собственность концентрационной вселенной. Это труп ее заключенного.

«Секретариаты правлений союзов писателей СССР, РСФСР, Московской писательской организации СП РСФСР с глубоким пригорбем извещают о смерти известного советского поэта Шаламова Варлама Тихоновича, скончавшегося 17 января с. г. после тяжелой и

продолжительной болезни, и выражают глубокое соболезнование близким покойного» (Литературная газета, 27 янв. 1982 года, стр.6)

Близких у покойного нет, их отсутствие восполняет Захарова. Насколько я понимаю, Захарова представляется его родственницей или женой – видимо, отсюда фраза Сиротинской о «женах, осаждавших директора». Она относит в жилищно-коммунальную контору врачебную справку о смерти, берет паспорт Шаламова, из которого вырезана фотография и в котором стоит июльская отметка о выписке из интерната для престарелых, обменивает в ЗАГСе справку и паспорт на свидетельство о смерти и получает, таким образом, право похоронить усопшего.

Легенда, по обыкновению, радикальна. Александра Свиридова цитирует по сохранившейся у нее пленке для биографического фильма о Шаламове:

« – Если бы вы не пришли, не нашли его в воскресенье, не взяли бы всё это на себя, а он умер бы просто, как обыкновенный одинокий человек, мы бы сегодня нашли его могилу? – спросила я Лену [Захарову], сидя в кабинете нынешнего директора Диспансера [дома-интерната для психохроников №32].

– Конечно, не нашли бы, – ответила директор Б. С. – Его кремировали бы и похоронили бы в общей могиле одиноких психохроников».

Впрочем, родословная этого красивого сюжетного хода восходит к самой Захаровой:

«Выяснилось, что тела умерших увозят в морг и какое-то время хранят там. Невостребованные в течение двух, что ли, месяцев передают в анатомический театр или кремируют сразу несколько тел и хоронят в одной урне, а где, доктор не знает...

Шаламова увезли, доктор по моей просьбе сделал отметку в сопроводительном документе, что родственники есть... именно ему мы обязаны тем, что у Шаламова есть могила».

Вероятно, могилу все же нашли бы. Рано или поздно, в течение недели-двух, о смерти Шаламова стало бы известно, и хоронил бы его Литфонд или Союз писателей. Машина сделала бы запрограммированный оборот, для этого существуют инструкции, штат и статья расходов. Для притчи совершенно неважно, кто будет хоронить Шаламова, выбор невелик.

Мне очень не хотелось бы задеть Елену Захарову, к которой я испытываю большую симпатию, но она тоже часть концентрационной вселенной – ничего другого вокруг Шаламова быть не может.

«...я солгала, – пишет Захарова. – Я встретила с человеком, который занимался похоронами писателей, он взялся хлопотать о месте на Троекуровском кладбище... мне сообщили, что предполагается траурный митинг в Дубовом зале Дома литераторов. И тут со мной что-то случилось, я вспомнила газеты и приглашения в тумбочке, сидящего на полу Шаламова с полотенцем на шее, и твердо сказала, что Варлам Тихонович завещал мне отпеть его в церкви. Это была неправда... я бы не осмелилась судить о его вере или неверии. Но он был сыном священника, он точно был крещен, стало быть, в отсутствие прямого запрета с его стороны, его следовало отпеть».

Исследование мотивов и психологический анализ здесь неуместны, «новая проза» отвергает психологию, ибо работает с неумолимыми массовыми тенденциями и обитающим в них прихотливым божеством случая.

Захарова – прихожанка Меня, «миссионера для племени интеллигентов», духовника Мандельштам, участница Преображенской группы его прихода.

Что лучше для трупа Шаламова – быть кремированным после гражданской панихиды в ЦДЛ или быть отпетым отцом Александром Менем в церкви Николая на Кузнецких и похороненным по православному обряду на Ново-Кунцевском кладбище, – судить не берусь. При жизни Шаламова симметрично уничтожающему его советскому механизму действовала уничтожающая его труд русская эмиграция, перед его бездыханным телом стоит симметричный выбор между советской духовностью ССП и духовностью либерального православия, которое всем своим существом на стороне Солженицына и всем своим существом враждебно Шаламову. Труп Шаламова – его случайный, неожиданный военный трофей. Захарова, правда, рассказывает, что имелся третий, сказочный, вариант, предложенный Александром Морозовым: «Леся, ты не понимаешь, это сюжет! Сосновый гроб, обернутый рогожей, и пьяный дьячок, вот что нужно», – но Захаровой, понимающей, что «сюжет» может обойтись слишком дорого, удастся усмирить фантазера. Так или иначе, отвечает Шаламова поп Александр Мень (по сведениям Википедии, протоиерей Александр Куликов), как раз в это время, согласно Лёзову, на мечты своих прихожан о свободной России с энтузиазмом отвечающий: «А мы – мы уже живем в свободной России», – где, замечает Лезов, «и правда,.. «органы» выполняли план,

добирая всё, что хоть как-то давало о себе знать...». В этой «альтернативной реальности», в этой иллюзорной, игрушечной «свободной России», которая однажды превратится в настоящую чудовищную реальность и будет чувствовать инспектирующего ее от транзитного лагеря во Владивостоке, где умер Манделъштам, до психушки в Москве, где умер Шаламов, триумфатора-Солженицына, обаятельный импозантный *батюшка* с невидимой гебешной удавкой на шее отпевает Шаламова, чтобы после службы буднично переодеться в штатское и пойти в туалет. «Безобидное, естественное действие батюшки покорило меня, настроенного на высокий лад песнопеньями и ладаном» (Федот Сучков). «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...» – начал заупокойную литию отец Александр Мень. Ему прислуживал незнакомый дьякон, обладавший роскошным баритоном. Хора не было... Стоявшие спиной к алтарю не расступились, да и не заметили, когда открылись Царские врата. Запрестольный образ «Спасителя, грядущего в славе» так и остался для усопшего закрытым, что противоречит обряду: новопреставленный готовится к встрече с Господом и как бы должен «видеть» Его» (Александр Зорин). Труп Шаламова в заношенном черном свитере Людмилы Зайвой терпеливо ждет, когда, наконец, это кошунство кончится и его зароят в уютную, отвечающую нормам санэпидстанции яму – в нормальном гробу в нормальной московитской земле, откуда трупы не встают свидетельствовать на Страшном Суде, в который они не верят и в справедливость которого они тоже не верят.

Литургия, пишет Зорин, «давно закончилась, и разошлись священники, а гроба все не было. Мало ли с чем связана задержка. Шаламов – опасный покойник». Задержка как раз понятна – подать катафалк означает смириться с необходимостью освободить по-настоящему и безвозвратно, выбора не оставлено, но мешают рефлексы.

19 января поэт Геннадий Айги, автор патетического мемуара о своей единственной встрече с Шаламовым в доме Кинд и, по предположению Леоны Токер, поставщик списков КР для «геллеровского сборника», пишет стихотворение на кончину почитаемого им «остойка» под названием «Стланик на камне».

Землю и почву – более суровую знал он, чем ту, в которую  
ныне хороним.

Прощаемся с Шаламовым.

Тело Литературы, мясо Поэзии, при «градусах» ада колымского,

оторвать от железа, с кусками железа, с его плотью! – такое он совершил.

Был – как умерший при жизни для жизни. Говорил – Абсолют: свет, из костей выжимаемый, более верный, чем если бы было – из...

Оставляем здесь то, из чего было выжато – все, ставшее Геометрией (не видим, но знаем) Трагедии.

Вернемся в город – в Провинцию Живых. Где будет иное отныне

– пространство-и-тело Поэзии: живые для жизни не владеют Ее языком.

Панихида и похороны проходят 21 января. По разным данным, провожающих от сорока до полутора ста человек. Непонятно, откуда они взялись. Оттертая на второй план Сиротинская называет обряд «делом суетным, спектаклем». «Чужие возбужденные лица – попавших в сенсацию людей». Ну что ж, сенсация невелика, но какая уж есть. Культурная жизнь столицы питается и такого рода сенсациями. В отчетах о похоронах Шаламова действительно мелькает много имен людей, ни разу или практически не встречавшихся в его послелагерной биографии. Александр Зорин, Владимир Леонович, Вадим Рабинович, Анатолий Сенин, Андрей Бессмертный, Феликс Светов, Борис Михайлов, «запевавший поминальные тропари, с которыми процессия с гробом Варлама Тихоновича шла от машин к могиле». Именно Михайлов, по словам Григорьянца, предупреждает, что Шаламов не желал речей над могилой, чего, как потом выяснилось, он знать не мог, стало быть, его активность отсылает к наблюдателям из тайной полиции, присутствующим по службе и присутствия не скрывающим. Автобусы и место на кладбище обеспечивает Союз писателей, официальные представители которого церковную церемонию, естественно, бойкотируют. Неофициально Союз писателей представляет Фазиль Искандер, стоящий на отпевании со свечой – проявил напоследок широту души и простил Шаламова за отступничество. Сиротинская непонятно за что подвергнута остракизму. «Сиротинская была только на кладбище, но появилась как-то внезапно около церкви... С ней никто не здоровался». «Сиротинская и я ехали на кладбище в катафалке с телом Варлама Тихоновича. Сиротинская прошла вперед и села рядом с его головой, я был где-то около ног. И катафалк, и автобус... были переполнены, на панихиде в церкви было довольно много людей, и все они хотели поехать на кладбище, но рядом с Сиротинской оставалось два или три места – никто не захотел сесть» (Григорьянец). «Беатриче» потом от-

квитается в мемуарах. Один человек, во всяком случае, не охвачен этим стадным инстинктом – Федот Сучков. Сучков преспокойно разговаривает с Сиротинской и даже обращает ее внимание на сотрудников тайной полиции, надзирающих со стороны за порядком. Он и Морозов осмеливаются прочесть над могилой стихи усопшего. Западный корреспондент во всеоружии аппаратуры подносит им микрофон. Сиротинская про себя успокаивает труп, исцелившийся, наконец, от хореи Гентингтона, слепоты, глухоты, болезни Меньера, хронического ринита, пневмонии, сердечной недостаточности и неведомого психического заболевания: «Не бойся, я с тобой», – и сует ему в карман пиджака (значит, Шаламов мало того что в свитере – еще и в пиджаке, дабы не простудить вторично) «наш талисман, который он мне подарил давно... – маленького моржика, вырезанного из моржового клыка», приношение царю Миносу из царства авитаминоза. Читают молитву. В небе, по словам Зорина, прихожанина Меня – как, вероятно, многие из присутствующих – реактивный самолет оставляет инверсионный след в виде креста. Гроб заколачивают, опускают в яму, забрасывают землей.

С кладбища на поминки к Наталье Кинд едут «человек 25, максимум 30» (Григорьянц) – сколько могут разместиться в большой академической квартире. Здесь, по-видимому, случайных людей нет. Могу предположить, кто присутствовал. Кинд с семьей. Александр Морозов. Елена Захарова. Людмила Анис. Татьяна Уманская. Юлий Шрейдер с женой. Федот Сучков. Наталья Столярова (под вопросом). Геннадий Айги. Олег Чухонцев. Возможно, Елена Лопатина и Евгений Пастернак. Возможно, Евгения Ласкина и Владимир Лакшин, присутствовавшие среди провожающих. Возможно, Фазиль Искандер и Виктор Фогельсон, наверняка командированный издательством «Советский писатель» отредактировать молчание многолетнего автора. Исаев, если был на кладбище, в этот круг не вписывается. Лесняк и Савоева узнают о последнем местопребывании и смерти Шаламова задним числом. Дочери Шаламова Елены Янушевской на кладбище не было и быть не могло. Сестра, Галина Сорохтина, вероятно, даже не оповещена.

Накрыли стол. Пустили магнитофонную ленту с голосом Шаламова, читающего стихи.

Сергей Григорьянц произносит поминальное слово, которое потом будет опубликовано в журнале «Континент» и инкриминировано ему на следующем суде. Слово написано наспех, языком этой вторич-

ной эпохи, с учетом разнообразных возможных последствий, и, конечно, не отвечает концовке последнего колымского рассказа.

«Шаламов неотделим от России, как Волга, как Уральский хребет, для него не было выбора: уезжать или оставаться – ему, как Божье испытание Иову, дана была судьба всей России, и он повторил ее в своей – человеческой судьбе. Вместе с тем – Шаламов всемирнен, всечеловечен, ибо его свидетельство не умещается в рамки национальной литературы или истории, свидетельство, в существовании которого мы уже четверть века боимся себе признаться, ставит вопрос о возможности дальнейшего существования всего человечества, о праве человечества на существование.

...даже в еще шедший в эти годы

Наш спор о свободе,

О праве дышать,

О воле Господней

Вязать и решать

его – главного свидетеля – пускать не хотели и боялись. В литературных кухнях-салонах к Шаламову относились с заметной и насмешливой снисходительностью (а потом и злорадством: «мы еще тогда это говорили»), а он жаждал какого-то действия, или, вернее, действенной жизни литератора-профессионала: переводил, писал об уголовном мире, создавал наставления для начинающих поэтов, разбирал раннее творчество Репина, – и все это никому не было нужно. Кое-что, правда, издавалось, но проходило, как правило, незамеченным...

Иногда кажется, что, если бы Достоевский не умер, Александр Второй не был бы убит и эпоха русского идеализма, веры в Народ-Богоносец и во всемирное провиденциальное значение России не закончилась бы так трагично. Так и судьба Шаламова, таинственная, загадочная, какой только и может быть истинная судьба, судьба, поставившая перед человечеством вопрос о смысле его бытия...»

Истинная правда – выбора уезжать или оставаться у него не было.

Концовкой последнего колымского рассказа должна служить концовка последнего из «Колымских рассказов»:

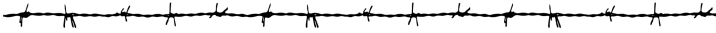
« – Желая вам уехать отсюда, освободиться по-настоящему... Я предчувствую, предчувствую ваше освобождение.

.....



Через три месяца я был в Москве).

Концентрационная вселенная замкнулась.



Послелагерная биография Шаламова заканчивается 1982 годом, но не похоронами и поминками, а другим событием.

Я уже приводил завещание Шаламова из его записных книжек десятилетней давности: «Ни одна сука из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и всем, имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом». Завещание по естественным причинам не могло быть своевременно обнародовано, что отнюдь не лишает его моральной силы. В свете этого завещания и следует рассматривать выход в 1982 году в издательстве ИМКА-Пресс переиздания лондонского тома «Колымских рассказов». При каких обстоятельствах права на публикацию, переданные (или все-таки проданные?) Гулем Стипульковскому, оказались у Струве и Солженицына? Три года спустя этот «геллеровской сборник», опять переизданный ИМКА-Пресс, будет дополнен томом под названием «Воскрешение лиственницы». Откуда в этот второй том попадают рассказы, имевшиеся только в шаламовском списке-68, переданном Хенкиными в Париж и там сгинувшем – до появления их в здешней газете «Русская мысль» непосредственно перед выходом книги? Где находился все эти годы список-68? Если предположить, что в лапах Никиты Струве, то как об этом мог не знать идеолог и, со слов одного из его издателей, «фактический хозяин издательства» Солженицын, под «полный контроль» которого ИМКА-Пресс переходит с начала восьмидесятых годов (Владимир Аллой)?

К 1982 году позиции «Архипелага ГУЛАГ», с одной стороны, непоколебимы, с другой – его былая сенсационность вылиняла, и эта компиляция нуждается в притоке свежей крови (жаждет крови), в новых громких свидетельствах, которые работали бы на ее автора. Шаламов уже мертв и ничем навредить не может. Его наследие могут безнаказанно разворовывать самые «подлые суки». В шестьдесят четвертом году Солженицын предлагал ему сообща писать «историю лагерей». Шаламов наотрез отказался. В шестьдесят восьмом он передал Солженицыну, что запрещает пользоваться какими бы то ни было его материалами для своих работ. В семьдесят втором лишил доступа

к своему архиву. В неотправленном письме от семьдесят четвертого года пишет: «Вы никогда ничего не получите». Он плохо знал, с кем имеет дело. Он плохо знает психологию бригадиров, лагерных капо, гримирующихся под «совесть России». Опыта Колымы для этого недостаточно. Для этого нужен опыт Парижа и Вермонта, которого у Шаламова нет. Закрывая парижские издания колымского эпоса, мы обнаруживаем, что это всего лишь приложение к «Архипелагу ГУ-ЛАГ» Солженицына.

«...у Варлама посмертная судьба, можно сказать, счастливая» (Сиротинская).

Убит, ограблен и опозорен.

На этом я заканчиваю свое жизнеописание Варлама Тихоновича Шаламова, русского гения, героя и мученика.



### **Несколько слов об архиве Шаламова и его распорядительнице Ирине Сиротинской**

В аннотации к мемуарам Сиротинской «Мой друг Варлам Шаламов», в частности, сказано: «С 1970-х годов Сиротинская И. П. занимается расшифровкой рукописей Шаламова». Иначе говоря, завладев, наконец, желанным архивом, верная подруга, архивист и текстолог по профессии, понимая, как тяжело будет составить канонический корпус КР и подготовить к печати другие вещи, среди которых «Четвертая Вологда», антироман «Вишера», целый сборник воспоминаний и эссеистики и сотни стихов, а тем более, навести порядок в записных книжках и переписке писателя, да и просто понять его становящийся все более неразборчивым почерк, немедленно принимается за работу, чтобы при возможном повторении «оттепели» груды руко- и машинописного материала немедленно материализовались в книги, о которых мечтал и которых не увидел Шаламов.

Это вранье, и нет ничего легче, чем его опровергнуть.

Убогий и лживый миф, который смастерила Сиротинская, в дополнении к проведенной ею как душеприказчицей автора действительно большой работе по публикации книг Шаламова сначала в горбачевском СССР, а потом в ельцинской и путинской России, естественно отводит ей центральное место среди персонажей шаламовской биографии. Ее мемуары кончаются патетической фразой: «Я отдала тебе жизнь, друг мой Варлам». Сиротинская отдала только то, что желала и способна была отдать, жизнь в этот набор услуг не входила. С шестьдесят шестого года она, по заданию ЦГАЛИ и с разрешения автора, забирает у него рукописи в государственное хранилище – начав с автографов нескольких стихотворений, продолжив «рассказами...

сборниками такими машинописными» («каждый раз с чем-то уходила. Потому что я же ходила в рабочее время, надо было отчитываться о своей работе»), и закончив перевозкой «буквально всего», «вплоть до последней бумажки», что оставалось от Шаламова перед его помещением в интернат. В 1979 году весь архив оседает в ЦГАЛИ. Каков его статус в ЦГАЛИ и степень доступности для исследователей?

«Я был в довольно хороших отношениях с Зильберштейном и соответственно с Волковой (директором архива [его женой]), но мне ничто не было показано даже в 87-ом году» (Сергей Григорьянц).

«...в ЦГАЛИ объяснили, что он [архив Шаламова] есть, но находится в «спецхране», что в переводе на язык людей означало, что «единицы хранения» засекречены. Я отправилась к директору ЦГАЛИ.

– Что вы хотите увидеть в архиве Шаламова? – заинтересованно спросила Наталья Борисовна Волкова...

– Я хотела бы посмотреть, какова его версия смерти Раскольникова: он убит или сам умер?

– Минуточку...

Директор ЦГАЛИ вышла и вернулась со своим заместителем – Ираидой Сиротинской.[...]

Меня допустили к секретному архиву Шаламова» (Александра Свиридова, конец восьмидесятых годов).

Степень доступности, как видим, почти нулевая – в первые годы после смерти Шаламова сотрудники архива уведомляют интересующихся, что архив в «спецхране», следовательно, в компетенции тайной полиции; позже – в период той самой неожиданной «оттепели», назвавшейся «перестройкой», и после краха коммунистического режима – допуск к нему зависит уже от благосклонности лично Сиротинской, заместителя директора ЦГАЛИ-РГАЛИ, по службе являющейся его хранителем, а, не знаю, насколько тут уместно слово «юридически», во всяком случае, фактически – его владелицей. Пример такого странного и страшного статуса демонстрирует примечание к фрагментам текста «Четвертой Вологды», опубликованным советским журналом «Наше наследие» в 1988 году: «Шаламов В. Т. Четвертая Вологда / Варлам Шаламов ; Публ. и предисл., [примеч.] И. П. Сиротинской[...] Впервые по автор. из част. арх. (ЦГАЛИ?)». Даже еще в 1988 году статус архива настолько неясен, что непонятно, принадлежит он государству («спецхрану») или частному лицу, а это весьма важно – допуск к государственному имуществу дает или не дает соответствующая государ-

ственная инстанция, тогда как допуск к частному имуществу предоставляет или не предоставляет его владелец. Архив Шаламова сторожат сразу два цепных пса, имеющих каждый право вето, и конечное слово – за любым из этих неприветливых и клыкастых созданий.

Каков же статус архива Шаламова формально? В дополнениях 2002 года к мемуарам Сиротинская пишет: «Относительно «спецхрана». В четвертом выпуске «Путеводителя Центрального государственного архива литературы и искусства» – «Фонды, поступившие в 1967–1971 гг.» – на стр. 472 легко найти информацию о поступлении в архив фонда В. Т. Шаламова... Естественно, что о фондах «спецхрана» в открытом справочнике не сообщают. И у меня всегда под рукой были готовые к публикации тексты «Колымских рассказов». Это она «двадцать лет спустя» отвечает Сергею Григорьянцу на его фразу относительно «полуофициального права [Сиротинской] распоряжаться рукописями В. Т.». Нет, право нотариально заверено в 1969 году, говорит она, а преимущество такого положения в том, что тексты Шаламова всегда под рукой, готовые к публикации – ведь Сиротинская еще в 1979 году знала, что «Колымские рассказы» вот-вот будут рассекречены и востребованы журналами и издательствами, которые их до сих пор по недоразумению отклоняли.

На встрече в Сахаровском центре в 2009 году на вопрос зала: «...очень большая часть трудов Шаламова раньше была на спецхранении, то есть, была недоступна. А сейчас, скажите, пожалуйста, все ли фонды можно посетить?», – она отвечает: « – Нет, нет. Оно было не в «спецхране», а в моем кабинете. В «спецхран» я ничего на секреты не отдавала. Зачем? Это ведь целая процедура. Собирается комиссия, смотрит... но я мудрая... пока я работала, у меня был отдельный кабинет, и своя печать на... Ни в какой «спецхран» я их не отдавала. Своя рука владыка». Истолковывается эта открытость просто: Сиротинская – настолько доверенное лицо режима, что антисоветские рукописи, хранящиеся в ее кабинете в ЦГАЛИ с собственной «печатью на», плюс, разумеется, сигнализацией «на», настолько гарантированы от взгляда постороннего, что их нет необходимости оформлять как секретные – они и без того скрыты от посторонних глаз до такой степени, что никакое частное лицо и даже никакое государственное учреждение, кроме, естественно, тайной полиции, в случае нежелания хозяйки кабинета разрешить ознакомиться с материалами не сумеют преодолеть ее вето. Напомню, что в течение пяти лет, 1982-1987, имя Шаламова в советских печатных изданиях появляется только в небольших подборках стихов в свалках коллективных поэтических сборников –

поэт, удостоившийся статейки в официальной «Краткой литературной энциклопедии», том 8, имеет право на подцензурную лирическую пядь родной советской бумаги. Прозаические тексты Шаламова изъяты Сиротинской из мирового и отечественного культурного оборота полностью, подчистую, ныне, присно и во веки веков.

Итак, казалось бы, ясно: архив Шаламова засекречен, «отдан на секреты» не был. Ничуть не бывало!

Вот что говорит в интервью журналу «Наше наследие» лицо не менее осведомленное, чем Сиротинская, а именно ее начальница Наталья Волкова, директор архива:

«К 1993 году рассекречивание материалов архива было в основном завершено. Как всегда, одновременно с рассекречиванием проводилось широкое использование и публикация наиболее примечательных материалов. По нашим автографам в период архивного бума, в годы перестройки, напечатаны повести А. П. Платонова «Котлован» и «Чевенгур», пьеса М. А. Булгакова «Багровый остров» ...несколько книг из литературного наследия В. Т. Шаламова (в частности, «Колымские рассказы»). Опубликовано: по машинописной копии из фонда Ф. Ф. Раскольниковца известное открытое письмо к Сталину (1939)».

Публикация одновременно с рассекречиванием означает одновременные рассекречивание и публикацию. Или я не понимаю русского языка.

Словом, вопрос до сих пор затянут туманом дурной таинственности.

Внезапно происходит чудо неожиданной даже для аналитиков ЦРУ «оттепели» под названием «гласность и перестройка». Клад, запечатанный проклятьем, не только перестает интересовать госбезопасность, но следующим логическим ходом превращается в настоящую частную собственность, сулящую владельце реальные деньги, публичности и совершенно особое положение в литературоцентричной стране, охваченной невероятной массовой тягой овладеть еще недавно абсолютно запретным. Здесь и выясняется, в какой мере занималась в семидесятых-восьмидесятых годах расшифровкой рукописей, хранящихся в картонных коробках в ее кабинете, Сиротинская. Ни в какой. Она в них и не заглядывала. Для нее все это как снег на голову.

Первая публикация текста из «Колымских рассказов» с предисловием Дмитрия Лихачева осуществляется в 1987 году в сентябрь-

ском номере журнала «Аврора» Людмилой Зайвой – которая тогда же организует в районном Доме культуры первый вечер памяти Варлама Шаламова. Первая публикация подборки «Колымских рассказов», сделанная Сиротинской, появляется в 1988 году в февральском номере журнала «На Севере Дальнем». Первые книги прозы – «Вишера», «Левый берег» и «Воскрешение лиственницы» – выходят только в 89 году. Тогда же диссидент и литературовед Лев Тимофеев пишет:

«...в Москве выходит наконец том рассказов Шаламова «Левый берег» (Современник, 1989)... и без первого цикла! Хуже не придумаешь. Почему, чем руководствовались публикаторы? Никаких объяснений...»

В том же году, но в другом издательстве выходит ещё одна книга шаламовских рассказов – «Воскрешение лиственницы». Слава Богу, начинается она с первого цикла, с собственно «Колымских рассказов», но дальше (опять хуже некуда!) сильно и совершенно произвольно урезанные, наполовину и больше, «Артист лопаты» и «Левый берег». Причём здесь они поменялись местами и по сравнению с парижским изданием, и по сравнению с только что изданным сборником «Левый берег». Почему, по какому принципу?».

Сто лет спустя Сиротинская считает нужным сконфузиться и предложить оправдание:

«Конечно, я сожалею, что не удалось начать публикацию книг Шаламова с полного издания «Колымских рассказов», включающего шесть книг (61 печ. лист). Не были готовы тексты «Перчатки или КР-2», да и издательства не брали два тома.

Да, я торопилась, не была тогда, в 1987-88 гг., уверена в будущем гласности. Да, вторая книга («Левый берег») обогнала первую – издательство «Современник» оказалось оперативнее «Художественной литературы».

Издательство «Современник» оказалось оперативнее. Что это значит? Это означает «период архивного [и книготоргового] бума», о котором говорит Волкова. 89 год – разгар этого бума. Как он выражается в плоскости книгоиздания? «...неожиданно, – рассказывает Александр Ригосик, участвовавший в подготовке к печати произведений Шаламова, – к нам просто кинулись издатели. Начали звонить и просить: «Дайте нам что-нибудь пожестче...» Получили указание и бросились его выполнять». Александр Ригосик – сын Сиротинской, ныне правообладатель шаламовского наследия, что, к слову, выглядит некоторым абсурдом. Для иллюстрации абсурдности такого положения дел сошлюсь на Сиротинскую. «От второй жены [Ольги Неклюдовой] остался пасынок Сергей Неклюдов. Пасынок – это не наследник».

Допустим. А кто тогда сын «подруги»? Пасынок, профессор и директор Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, доктор филологических наук, автор более 350 работ по фольклористике и мифологии, редактор научных серий и журнала «Живая старина» о традиционной культуре наследником шаламовского творчества быть не может. А сын подруги, выпускник МАИ, факультет летательных аппаратов, впоследствии дилер и Генеральный директор УПТК «Стройтехника» (поставки мозаично-шлифовальных машин, опалубок, вибраторов, строительных подъемников, бетоносмесителей, пилорам и проч.) – с недавнего времени законный его наследник. Все вокруг Шаламова отдает каким-то специфическим гротеском в духе рассказов «Инжектор» и «Калигула». Но вернусь к архивному и книгоиздательскому буму времен Горбачева. Оказывается, «звонят и просят». Дайте полный корпус «Колымских рассказов»! Дайте давно уже опубликованную на Западе «Четвертую Вологду»! Дайте «Вишеру»! Дайте «Очерки преступного мира»! Дайте «Несколько моих жизней», «Москву 20-х годов» и воспоминания о Колыме! Дайте готовый свод текстов! У вас было десять лет, чтобы его подготовить. Все материалы хранятся в вашем кабинете с печатью на. Вы профессиональный архивист и текстолог, разбираете почерк Шаламова, первый его слушатель и адресат его посвящений! Чем вы занимались все эти годы?!

Нет, не готовы даже тексты цикла «Перчатка или КР-2», то есть самых что ни на есть «Колымских рассказов». Готово, оказывается, лишь то, что опубликовано в Лондоне и Париже, все остальное лежит мертвым грузом. Беатриче напрочь забыла своего Данте, пока не получила указание и не бросилась его выполнять. Когда же в действительности Сиротинская занялась архивом Шаламова? «Открыть это значение писателя для всего мира помогла, в первую очередь, И. П. Сиротинская своим неустанным трудом по публикации наследия Шаламова, по расшифровке его многочисленных рукописей... Эта скрупулезная текстологическая работа велась в одиночку, на протяжении почти 20 лет, требовала громадных усилий, и в итоге увенчалась изданием наиболее полного, шеститомного собрания сочинений писателя», – пишет ее верный оруженосец Валерий Есипов в 2007 году, в годовщину столетия Шаламова и в связи с выходом его шеститомника. Несложный подсчет: 2007 минус почти 20 лет – получается 1988 – именно тогда, в разгар гласности-перестройки, и начала Сиротинская заниматься архивом Шаламова.

«...свод «Колымских рассказов» еще ждет своего опубликования. Несмотря на то, что частично они выпущены книгами в Москве и Магадане, опубликованы подборками... полностью все шесть сборни-



ков... еще недоступны читателям», – жалуется в норильской газете «Заполярная правда» в январе 1990-го библиограф Татьяна Друбецкая. Замечу мимоходом, и в России Солженицын опередит Шаламова: «Архипелаг ГУЛАГ» в трех томах будет издан в 1990 году, а полный свод «Колымских рассказов» в двух книгах – только в 1992. Иначе говоря, Советский Союз ухитрился издать Солженицына, с помощью Сиротинской так и не сняв до конца блокаду с Шаламова.

«Объем, границы и общая структура колымского цикла обозначились уже после смерти автора, в начале девяностых годов (после публикационных усилий И. Сиротинской)» (Игорь Сухих). Не *до*, а *после* «публикационных усилий» Сиротинской, а, скорее всего, параллельно, в ходе лихорадочной подготовки покрытых пылью архивных материалов, которых требуют и требуют журналы и издательства, суля деньги, большие деньги, и паблисити – если не мировое (но мировое тоже придет – Америка, Италия, интервью тем самым «голосам», которым Шаламов «не давал никаких рассказов»), то общесоюзное и российское. «Я поздно, перед самой своей пенсией стала обрабатывать, я поздно довольно на пенсию ушла [в 2006 году]». А в 2011 в предисловии к первой публикации рассказа «У Флора и Лавра», уже после смерти «простой душеприказчицы», Валерий Есипов пишет: «В фонде В. Т. Шаламова... есть ещё немало нерасшифрованных (из-за трудного почерка писателя, особенно в последние его годы) рукописей произведений, набросков к ним и отдельных записей... Осталось в архиве и небольшое количество ясно прочитываемых рукописей и машинописей, которые, вероятно, готовились к публикации». И это через тридцать два года после того, как «буквально весь» архив Шаламова увезен в ЦГАЛИ!

В одном интервью Сиротинская даже не стыдится заявить, что оставила любимую работу ради того, чтобы заняться обработкой и изданием шаламовского наследия. «Я посвятила Шаламову жизнь. Бросила любимую работу в Российском государственном архиве литературы и искусства и стала заниматься наследием Варлама Тихоновича». Пожертвовала любимой работой... Начнем с того, что это наглая ложь. Любимой работой, согласно Википедии, Сиротинская пожертвовала в 74 года. Но даже сделай она это на двадцать лет раньше, было ради чего жертвовать. Во-первых, работа знакомая, работа архивиста, текстолога. Во-вторых, неплохой доход, лучше, чем в ЦГАЛИ времен реформ, когда бюджетникам месяцами не платили зарплату. А если и платили – разве могла зарплата Сиротинской (которая никуда не девалась) сравниться с гонорами, не говоря уж о продаже прав на экра-

низацию и прочих мелочах, получаемыми от журналов и издательств за миллионные тиражи. Я уже приводил пример «Нового мира», опубликовавшего подборку из «Колымских рассказов» в 1988 году, когда рубль еще оставался более или менее нормальным рублем эпохи застоя – тираж журнала составлял миллион сто пятьдесят тысяч экземпляров. Вот тиражи только некоторых – тиражи которых можно найти в Сети – из десятков изданий прозы Шаламова конца восьмидесятых – девяностых годов:

«Левый берег», 1989 – 200 000 экз.

«Сучья» война: очерки преступного мира», 1989 – 150 000 экз.

«Воскрешение лиственницы», 1990 – 100 000 экз.

Двухтомник «Колымских рассказов», 1992 – 100 000 экз.

Четырехтомное собрание сочинений, 1998 – 10 000 экз.

Сиротинская не пожертвовала ровным счетом ничем. Сиротинская была и осталась Сиротинской. Это не значит, что ей совершенны не свойственны благие порывы или редкие проявления бескорыстия. Я, скажем, обратил внимание и ценю, что она, как представляется, никогда не возражала против размещения электронных версий произведений Шаламова в интернете. Например, выложенные на сайте «Варлам Шаламов», который она курировала, «Колымские рассказы» взяты из сетевой библиотеки Александра Белоусенко, где их отсканировали и распознали, добавлю, бесплатно, хотя это большая работа, энтузиасты. Но, обрабатывая наследие Шаламова и публикуя его, она работала на себя. В первую очередь и даже исключительно на себя. Все остальное идет побочным эффектом. Не знаю, на чем основываются подсчеты Александры Свиридовой, но на всякий их приведу: «...два сына этой дочери [Елены Янушевской, дочери Варлама Шаламова] – то есть два его внука... могли бы стать миллионерами, торгуя правами на издание литературного наследия. Но им не повезло». Повезло другим.

Сиротинская получила все, что причиталось Шаламову. И если она и отдала чего не пожалела своему великому другу, то получила стократ, и претензии на «Беатриче» здесь не только неуместны, а прямо кощунственны. Мемуары Сиротинской пропитаны лживыми сантиментами. Но вернее, кажется, впечатление ухаживавшей за Шаламовым в богадельне Татьяны Леоновой: «эта женщина» «наверное, принадлежала к ненавистному ему типу «дельца от литературы».

Сиротинская была сторожевым псом режима, и, не издохни волей исторической случайности этот режим историческим мигом рань-

ше, чем мог бы издохнуть, мир ничего бы не знал ни об архиве Шаламова, ни о неприметной офисной даме, которая владела этими исследуемыми тетрадями на паях с советской тайной полицией.

*Март-июль 2011*



## ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ШАЛАМОВА 1960-80-х ГОДОВ

**1960** Шаламов живет в Москве со второй женой Ольгой Неклюдовой и пасынком Сергеем в двух комнатах коммуналки на Хорошевской, 10. Пишет рассказы для циклов "Артист лопыты" и "Левый берег", среди них "Припадок", "Стланик", "Надгробное слово". Получает пенсию по инвалидности, подрабатывает рецензированием самотека в журнале "Новый мир". Смерть Пастернака. С дочерью Еленой Шаламов отношений не поддерживает.

**1961** В издательстве "Советский писатель" выходит первый поэтический сборник "Огниво". Предлагает в журнал "Новый мир" колымскую прозу и стихи (параллельно Солженицын передает в журнал через Копелевых рассказ "Щ-854", известный как "Один день Ивана Денисовича"). Знакомится с Федотом Сучковым, в будущем автором надгробного памятника на могиле Шаламова. В конце года знакомится с Солженицыным.

**1962** Продолжает работать внештатным внутренним рецензентом "Нового мира". Твардовский отвергает "Колымские рассказы" как не нужные журналу "какие-то очерки". Выступает в телевизионной программе с чтением стихов. "Новый мир" публикует повесть Солженицына, о которой Шаламов отзывается восторженно. Пишет для журнала "Знамя" серию очерков о Москве двадцатых годов, журнал очерки не печатает.

**1963** Интенсивная переписка с Солженицыным. Недолго гостит у него на даче в Солодче. "Литературная газета" отклоняет стихи из "Колымских тетрадей". "Колымские рассказы" и стихи ходят в "самиздате". Шаламов готовит новый поэтический сборник. Солженицына выдвигают на Ленинскую премию, Шаламов – его горячий сторонник.

**1964** На предложение Солженицына вместе писать "Архипелаг ГУЛАГ" отвечает категорическим отказом. Для циклов "Артист лопыты" и "Левый берег" пишет среди прочих рассказы "Почерк" и "Кусок мяса". Получает надбавку к пенсии за "горняцкий стаж" и бросает работу внутренним рецензентом. При жизни Шаламова "Новый мир" не опубликует ни одной его строчки. В издательстве "Советский писатель" выходит сборник стихов "Огниво". Шаламов – член Литфонда, предложения о вступлении в ССП неизменно отклоняет. В журнале "Сельская молодежь" печатается рассказ "Стланик" – единственный текст из КР, опубликованный в СССР при жизни Шаламова. Отставка Хрущева. Издательство "Советский писатель" возвращает Шаламову папку с "Колымскими рассказами", пролежавшую там с начала шестидесятых. Фактический разрыв брака с Ольгой Неклюдовой, продолжает жить с ней в одной коммунальной квартире, в отдельной крохотной комнате.

**1965** Знакомство с Надеждой Мандельштам. Весной выступает на вечере в МГУ, посвященном Мандельштаму, с чтением рассказа "Шерри-бренди". Находит Георгия Демидова, живущего и работающего в Ухте. К лету – коренное изменение отношения к Солженицыну, внушающему теперь презрение. Гибель кошки Шаламова Мухи. Знакомство с Натальей Кинд. Тесное общение с "элитой" московской либеральной интеллигенции в кругах Н. Мандельштам, Натальи Столяровой, Рожанских-Кинд, Гринов. Поездка в Верею на дачу к Надежде Мандельштам. Попытка сформулировать принципы своего искусства повествования в эссе "О прозе". Завершает второй и третий циклы "Колымских рассказов", для которых пишет кроме прочего "Прокуратор Иудей", "По лендлизу", "Сентенцию". Сборники рассказов Солженицына, печатавшихся в "Новом мире", выходят за рубежом в переводах на английский и немецкий. Арест Синявского и Даниэля, демонстрация на Пушкинской площади, из наблюдения за которой Шаламов выносит "обнадеживающее" впечатление.

**1966** Встреча Нового года у Надежды Мандельштам. Знакомит Демидова, проводящего в Москве отпуск, со своими друзьями. Суд

над Синявским и Даниэлем. Работает над циклом "Воскрешение лиственницы", для которого пишет одноименный рассказ, а также новеллы "У Флора и Лавра", "За письмом", "Белка". Весной знакомится с Ириной Сиротинской, своей будущей любовью и душеприказчицей, соглашается сотрудничать с ЦГАЛИ. Передает в Америку через слависта-мандельштамоведа Кларенса Брауна список "Колымских рассказов" для издания книгой. Рассказы начинает печатать подборками нью-йоркский "Новый журнал", который редактирует Роман Гуль. Солженицын выступает с чтением отрывков из своих произведений в залах множества уважаемых московских учреждений. Официальный развод Шаламова с Ольгой Неклюдовой. Отказ журнала "Наш современник" печатать "Очерки преступного мира". Написание "антисоветского" (квалификация обвинения) "Письма старому другу" для сборника материалов, связанных с процессом Синявского и Даниэля, который подготавливает диссидент Александр Гинзбург. Письмо будет опубликовано анонимно, но госбезопасность дознается, кто автор, и произведет у Шаламова обыски.

**1967** Постоянное присутствие симптомов неврологического заболевания, которые диагноз, поставленный в пятидесятых годах в Боткинской больнице, позволяет отнести к болезни Меньера: головокружения, глухота, нескоординированность движений, иногда это вызывает приступы с потерей сознания. Солженицынское "Письмо съезду" Союза советских писателей. Знакомство Сиротинской с Н. Мандельштам. Участие Сиротинской в изъятии Надеждой Мандельштам архива мужа у Харджиева. Поездка Шаламова в Ленинград на могилу Ахматовой. Выходит его третья поэтическая книжка, "Дорога и судьба". В ФРГ со списка, имевшегося у Сергея Григорьянца, издают халтурный сборник колымской прозы в переводе на немецкий под названием "Статья 58. Записки заключенного Шаланова", переведенный затем на французский и африкаанс. Шаламов посещает с Сиротинской выставки живописи, театры. Художник Борис Биргер пишет его портрет. Тесное общение Шаламова с Леонидом Пинским, который помогает ему составить корпус "Колымских рассказов" в четырех машинописных томах. Разрыв с Демидовым. Надежда Мандельштам отказывает Сиротинской от дома. "Колымские рассказы" публикуются в Америке журнальными подборками, книги до сих пор нет. Столярова и Кинд, вероятно, передают на Запад еще одну рукопись "Колымских рассказов", судьба которой неизвестна. Завершение цикла "Воскрешение лиственницы", для которого написаны, в частности, "Тропа" и "Графит".

**1968** Суд над составителями сборника материалов по процессу Синявского и Даниэля. Шаламов передает Солженицыну через Аркадия Храбровицкого запрет пользоваться для своих работ какими бы то ни было его материалами. Знакомство с Юлием Шрейдером. Публикация на Западе романа Солженицына "В круге первом" и повести "Раковый корпус", завоевание им широкой международной известности. Весной благодаря упорству Моисея Авербаха Шаламов получает комнату в том же доме на втором этаже и переезжает. Все чаще заводит с Сиротинской речь о супружестве, та уклоняется от ответа. Передает на Запад для издания книгой сразу два списка КР – через французских знакомых Леонида Пинского и Лилианы Лунгиной (возможно, еще в 1967 году) и через супругов Кирилла Хенкина и Ирину Каневскую. Оба списка благополучно собираются до Парижа. Наталья Столярова передает через Александра Андреева на Запад микропленку с "Архипелагом ГУЛАГ". Летняя переписка Шаламова с Сиротинской, отдыхающей в Крыму. В издательстве "Советский писатель" Шаламов готовит новый поэтический сборник, который выйдет только через четыре года. В августе советские войска оккупируют Чехословакию. Шаламов безуспешно пытается связаться с кельнским издательством, где в прошлом году на немецком вышли книгой его "записки", на предмет получения гонорара. Списки, переданные Шаламовым, бесследно исчезают в эмигрантских издательствах, книга на русском так и не появляется. Начало работы над "Четвертой Вологдой". Разрыв Шаламова с кругами Пинского и Рожанских-Кинд, в конце года – разрыв с Надеждой Мандельштам, Натальей Столяровой и остатками либеральных знакомств. "Проклятый год".

**1969** Начало затворничества Шаламова. В Париже на французском выходит небольшой сборник "Колымских рассказов", видимо, со списка Лунгиной, резонанс незначительный. Работа над "Четвертой Вологдой". Сиротинская нотариально заверяет право на пользование рукописями Шаламова.

**1970** Профессор Лев Карлик делает Шаламову справку на случай наступающих на улице приступов. Шаламов завещает все свое имущество, в том числе авторское право, Сиротинской. Начало работы на антироманом "Вишера" и циклом рассказов "Перчатка или КР-2". В Нью-Йорке на русском выходит книга "Воспоминаний" Н. Мандельштам. Франкфуртской журнал НТС "Грани" печатает две больших подборки "Колымских рассказов". Присуждение Солженицыну Нобелевской премии по литературе.

**1971** Смерть Якова Гродзенского. Кампания против "инакомыслящих" в СССР. Выход за границу романа Солженицына "Август Четырнадцатого". Главлит в информационной справке в ЦК КПСС выделяет Шаламова как одного из лидеров антисоветского "литературного подполья". Изъятие госбезопасностью у Бориса Лесняка списка "Колымских рассказов". Завершение книги "Четвертая Вологда". Литературный манифест Шаламова [О новой прозе]. Полная самоизоляция. Предложение редактора поэтических сборников Шаламова Виктора Фогельсона "опровергнуть слух" о его сотрудничестве с западными изданиями.

**1972** Предложение Бориса Полевого, редактора "Юности", публично осудить публикации на Западе, в противном случае Шаламова перестанут печатать в СССР. Фогельсон информирует, что имя Шаламова в "черном списке". Скандальное открытое письмо Шаламова в "Литературную газету", воспринятое либеральной оппозицией как верноподданническое. Просьба к Арсению Тарковскому и Сергею Наровчатову дать рекомендации в ССП. Шаламов подвергнут остракизму со стороны либеральной интеллигенции, разрыв с Авербахом. Запрет Солженицыну и его единомышленникам "знакомиться с моим архивом". Написание для цикла "Перчатка или КР-2" одноименного рассказа, а также медитаций "Тачка I" и "Тачка II". Переезд в коммунальную квартиру на Васильевской улице. Издание "израненной" поэтической книжки "Московские облака". В Париже выходит на русском "Вторая книга" воспоминаний Н. Мандельштам. Прогрессирующее отчуждение Сиротинской от Шаламова.

**1973** Вступление в ССП. Завершение последнего из шести цикла свода КР. Стихотворение "Славянская клятва". Начало, по выражению Сиротинской, "распада личности" Шаламова. Работа над "Воспоминаниями" [О Колыме], куда войдет рассказ «Черная мама», возможно, над "Заметками о Достоевском" и серией небольших подцензурных очерков для журнала "Юность". Подработка поэтическими переводами с подстрочника, как все последние годы. Изъятие госбезопасностью у машинистки Солженицына "Архипелага ГУЛАГ", выход его на русском за рубежом и волна мировой славы.

**1974** Почти полное одиночество Шаламова, которое скрашивают Сиротинская и Юлий Шрейдер. Депортация Солженицына, создание им Фонда помощи политзаключенным, одним из распорядителей которого будет Наталья Столярова. "Неукоснительное" использование



Шаламовым ежегодных путевок в писательский Дом творчества в Крыму. Неотправленное письмо Солженицыну в ответ на реплику в "Архипелаге ГУЛАГ" "умер Шаламов": "...считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки... вы никогда ничего не получите".

**1975** Обострение неврологического заболевания и общее ухудшение состояния здоровья. Занятие теорией русского стиха, тяжкое разочарование в поэзии как в путеводной звезде. Работа над небольшими историческими очерками. Куцая статья о Шаламове – как поэте – в официальном советском литературном справочнике авторства Леонида Черткова. Солженицын – "Человек года" по версии французского журнала "Пуэн".

**1976** Разрыв отношений с Лесняком. Окончательный уход Сиротинской. Госпитализация с приступом стенокардии. Солженицын покидает Европу и обосновывается в собственной усадьбе в Вермонте. Последний год публикаций нью-йоркским "Новым журналом" разрозненных "Колымских рассказов". Статья Шаламова "Звуковой повтор – поиск смысла (Заметки о стиховой гармонии)" в московском сборнике "Семиотика и информатика".

**1977** По случаю семидесятилетия Шаламов представлен к ордену "Знак почета", однако представление не утверждено. Астроном Николай Черных дает имя Шаламова открытому им астероиду. Выход поэтического сборника "Точка кипения". Полная деградация быта. С ноября глухого и полуслеплого Шаламова начинает опекать приведенная Шрейдером Людмила Зайвая.

**1978** Неудачная попытка Зайвой издать сборник избранных стихов Шаламова. В Лондоне в издательстве ОРІ впервые на русском языке выходит том "Колымских рассказов", составленный Михаилом Геллером. Четырехмесячная госпитализация Шаламова, новый диагноз: "хорей Гентингтона", – спасающий его от сумасшедшего дома. "Несанкционированный обыск" в квартире Шаламова в его отсутствие, пропажа части архива. Короткий прерванный отдых в Ялте. Солженицын выступает с "Гарвардской лекцией", издательство ИМКА-Пресс начинает выпускать собрание его сочинений.

**1979** Уход Людмилы Зайвой. Полное одиночество и катастрофическая невозможность себя обслуживать. Шаламов соглашается на

переезд в дом престарелых. Сиротинская забирает в ЦГАЛИ остатки его архива. В мае Шаламова помещают в дом престарелых в Тушине в комнату на двоих площадью шесть квадратных метров. Изредка его навещает знакомый по Колыме Иван Исаев. Шаламов наполовину слеп, глух, не в состоянии выразиться членораздельно, движения не-скоординированы, живет буквально наощупь, возможно, переживает инсульт.

**1980** Весной Шаламова находит Сергей Григорьянц и приводит к нему литературоведа Александра Морозова, который начинает за ним присматривать. Появление Татьяны Леоновой с друзьями, которые некоторое время ухаживают за Шаламовым. Осенью Морозов записывает стихи Шаламова с голоса, безуспешно предлагает их в советские журналы, наконец, отсылает в парижский "Вестник РСХД", редактируемый Никитой Струве. Начало посещений Шаламова Сиротинской. Умирает Надежда Мандельштам. В интернате для престарелых новый директор, отношение к Шаламову ухудшается. Единственная – но практически недоступная – запечатлевшая Шаламова кино-пленка. В Париже выходит на французском первый том "Колымских рассказов", в Нью-Йорке их впервые издают на английском, сразу книгой в переводе Джона Глэда.

**1981** В марте французский ПЕН-Клуб присуждает Шаламову Премию Свободы. Летом появляются Елена Захарова, Татьяна Уманская и Людмила Анис, которые вместе с Морозовым берут Шаламова под опеку. Госбезопасность открыто следит за его посетителями. Администрация дома престарелых решает перевести его в интернат для психохроников, медицинская комиссия дважды диагностирует старческое слабоумие. В Америке в переводе Глэда выходит сборник "Графит". Сиротинская записывает за Шаламовым другой вариант его последнего цикла стихов. По настойчивой просьбе Захаровой перевод в психушку откладывается. Шаламов благополучно переносит воспаление легких. Волонтеры продолжают за ним ухаживать, угроза психушки, кажется, миновала.

**1982** 14 января Шаламова в отсутствие опекунов насильно перевозят в приют для умалишенных. По дороге он простужается и через три дня умирает от пневмонии на руках Елены Захаровой. Захарова приписывает Шаламову последнюю волю похоронить его по православному обряду. Панихиду служит отец Александр Мень. Хоронят Шаламова 21 января на Ново-Кунцевском кладбище, поминки справ-

ляют в доме Натальи Кинд. Парижское эмигрантское издательство ИМКА-Пресс посмертно переиздает на русском "геллеровский" том "Колымских рассказов".



## ПРИЛОЖЕНИЯ К «ЖИЗНЕОПИСАНИЮ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА»

### *Приложение 1*

#### Удаленное видео

По этому адресу [http://www.youtube.com/watch?v=x\\_STIYKTzTo](http://www.youtube.com/watch?v=x_STIYKTzTo) был размещен видео-фрагмент из фильма «Диссиденты: Варлам Шаламов»: интервью с заведующей «домом престарелых», куда был помещен Шаламов, с И. Сиротинской, Е. Захаровой и др.; документальные съемки Шаламова в бытность его жильцом этой богадельни.

Вскоре появляется следующее извещение:

***This video has been removed due to terms of use violation***

Удален цензурой YouTube по причине содержащихся в нем сцен «насилия». Видимо, для невежественных модераторов этого отделения полиции нравственности Шаламов – серийный убийца. Позже появилась надпись: «Это видео удалено владельцем». Вранье!

Также это видео было на сайте Люди. Peoples.ru, но и от него остался единственный первый кадр [http://www.peoples.ru/art/literature/prose/publicist/varlam\\_shalamov/video-335021.shtml](http://www.peoples.ru/art/literature/prose/publicist/varlam_shalamov/video-335021.shtml) Оно также якобы удалено пользователем.

Напомню, это единственная киноплёнка, запечатлевшая Варлама Шаламова.

Есть ли у кого-нибудь возможность найти этот ролик и сделать его общедоступным?

---

## Приложение 2

### Могила Шаламова, 1989

Письмо читательницы в газету «Литературная Россия», 1989, 21 июля (№29)

---

#### *«Приходишь с поклоном*

Бесконечно уважаю русского поэта и прозаика Варлама Шаламова. Сын в 12 лет прочитал "Колымские рассказы" и был потрясен ими. Были мы с ним на Ново-Кунцевском кладбище, где похоронен наш близкий человек, и решили положить цветы на могилу великого мученика Варлама Тихоновича. С большим трудом нашли могилу, спрашивая встречных. По какой-то горькой иронии судьбы все указывали (по созвучию фамилий) на местоположение могилы хоккеиста Харламова.

Нашли могилу Шаламова. Вроде и не заброшена, а таким бездушием веет. Скульптурный портрет писателя поставлен так, что увидеть его толком нельзя - к дороге он стоит "затылком". С другой стороны - впритык ограды других могил - не подойдешь. На ограде висит изуродованная временем и непогодой фотография Шаламова. Все это производит очень тягостное впечатление. Цветы трудно положить и некуда...

Сейчас, казалось бы, у Шаламова достаточно почитателей, и веcher не так давно был в ЦДЛ, посвященный его памяти...

Почему же таким забвением веет от его последнего пристанища?

Мне кажется, что святой долг всех, кто почитает Варлама Шаламова, сделать так, чтобы люди могли поклониться праху русского писателя».

Ирина Алексеевна Лазутина, Москва

Скан текста можно посмотреть здесь  
<http://img190.imageshack.us/img190/808/mogilashalamova.jpg>

## Могила Шаламова

Памятник на могиле Шаламова, Москва, Кунцевское кладбище  
<http://www.booksite.ru/varlam/333.jpg>

Скульптор Федот Сучков на могиле Шаламова  
<http://www.langlab.wayne.edu/Russian/Shalamovsgrave.html>

---

« - В 2000-м была осквернена могила Шаламова на Кунцевском кладбище. Что там случилось? Вы наверняка знаете.

- Там была бронзовая скульптура. Это Федот Федотович Сучков делал. Варлам очень хорошо к нему относился. Свой первый гонорар за наследие Шаламова я истратила на это, я заплатила. Теперь же это ценный металл. Оказалось, пропала голова у памятника... Она была еще винтами прикручена к гранитному камню. Я расстроилась... Жалко: бронза делает лицо тоньше, чем чугун. Хорошо, что еще при жизни Федота Федотовича осталась гипсовая голова, с которой он делал бронзовую. Гипсовую голову мы отвезли в Вологду. Я собрала подписи Чухонцева, Ахмадулиной, Искандера... И написала директору Череповецкого завода. Они сделали новую голову и сами привезли сюда. Голова была ничего, даже с таким серебристым оттенком. Некто полюбопытствовал, что под серебром, поскреб сзади: а вдруг мы, как дураки, второй раз из бронзы сделали? И покрасили? Пришлось нам купить черную краску и покрасить... Сейчас опять сказали - на Кунцевском кладбище был погром. Чем это закончится для нас... Как может человек разбить памятник? Сумасшедшие, что ли? Зачем?»

Из интервью Ирины Сиротинской «Московскому комсомольцу», июнь 2007

---

«...замечательную бронзовую голову Варлама Шаламова работы Федота Сучкова, тоже покойного скульптора, ее на Новокунцевском кладбище утащили, видимо, и сдали, как я понимаю, на лом цветных металлов».

Наталья Иванова, в передаче Радио Свобода «Памятники и память» от 15.07.07

\* \* \*

### Как найти могилу

«Станция метро "Кунцевская", автобусом 610 или 612, выйти на остановке у храма. Пройти по дорожке мимо храма (он справа, слева за забором Кунцевское кладбище). Войти на территорию кладбища, пройти до конца стены справа. За ней начинается 8 участок. Вам нужно повернуть направо. Вы увидите как повернули, что к стене примыкает колонка с кранами, откуда берут воду люди, посещающие могилы своих близких. Слева же вглубь 8 участка уходит тропинка. Идите по ней. Отсчитайте 7 оград справа и во втором ряду от тропинки увидите стелу с головой, это и есть могила Варлаама Тихоновича Шаламова»

Отсюда <http://www.bibliotekar.ru/shalamov-varlaam/index.htm>

Могила Шаламова

<http://img696.imageshack.us/img696/5895/gravesh.jpg>

---

## *Приложение 3*

**«Колымские рассказы», хронология написания**

1954

ПЛОТНИКИ  
НОЧЬЮ  
АПОСТОЛ ПАВЕЛ  
ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ

1955

ОДИНОЧНЫЙ ЗАМЕР  
ТАТАРСКИЙ МУЛЛА И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ  
В БАНЕ

1956

ПО СНЕГУ

КАНТ  
ИНЖЕКТОР  
СТУЩЕНОЕ МОЛОКО  
ПЕРВАЯ СМЕРТЬ  
НА ПРЕДСТАВКУ  
ХЛЕБ  
ГЕРКУЛЕС  
ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ  
МЕДВЕДИ  
БУКИНИСТ

1958

ДОЖДЬ  
ШЕРРИ-БРЕНДИ  
ТЕТЯ ПОЛЯ  
ВАСЬКА ДЕНИСОВ, ПОХИТИТЕЛЬ СВИНЕЙ

1959

СУХИМ ПАЙКОМ  
ЯГОДЫ  
СУКА ТАМАРА  
ДЕТСКИЕ КАРТИНКИ  
СЕРАФИМ  
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ  
ДОМИНО  
КРАСНЫЙ КРЕСТ  
ТИФОЗНЫЙ КАРАНТИН  
КРЕСТ  
ИЮНЬ  
МАЙ  
ЗЕЛЕНЫЙ ПРОКУРОР  
ПЕРВЫЙ ЗУБ  
БЕРДЫ ОНЖЕ  
ПРОТЕЗЫ  
КЛЮЧ АЛМАЗНЫЙ  
АЛМАЗНАЯ КАРТА  
“КОМБЕДЫ”  
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА



ОЧЕРКИ ПРЕСТУПНОГО МИРА

1960

ПОСЫЛКА  
ГАЛСТУК  
СТЛАНИК  
ПРИПАДОК  
НАДГРОБНОЕ СЛОВО  
КУРСЫ  
АНЕВРИЗМА АОРТЫ  
МОЙ ПРОЦЕСС  
СПЕЦЗАКАЗ

1961

ТАЙГА ЗОЛОТАЯ  
АКАДЕМИК

1962

ЗАГОВОР ЮРИСТОВ  
БИЗНЕСМЕН  
КАЛИГУЛА  
ИВАН ФЕДОРОВИЧ  
ПОТОМОК ДЕКАБРИСТА  
ЧЕЛОВЕК С ПАРОВОДА

1963

УТКА  
ПРОКАЖЕННЫЕ  
НЕОБРАЩЕННЫЙ  
УРОКИ ЛЮБВИ  
ПОДПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

1964

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ  
ПОЧЕРК  
АРТИСТ ЛОПАТЫ

ПЕРВЫЙ ЧЕКИСТ  
ВЕЙСМАНИСТ  
В БОЛЬНИЦУ  
ПОЕЗД  
ЭХО В ГОРАХ  
ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА  
МАГИЯ  
КУСОК МЯСА  
НАЧАЛЬНИК БОЛЬНИЦЫ

1965

РУР  
БОГДАНОВ  
ИНЖЕНЕР КИСЕЛЕВ  
ЛЮБОВЬ КАПИТАНА ТОЛЛИ  
ПОГОНЯ ЗА ПАРОВОЗНЫМ ДЫМОМ  
В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ  
ОЖЕРЕЛЬЕ КНЯГИНИ ГАГАРИНОЙ  
ПРОКУРАТОР ИУДЕИ  
ЛИДА  
ЭСПЕРАНТО  
ГЕОЛОГИ  
ПО ЛЕНДЛИЗУ  
СЕНТЕНЦИЯ  
ОБЛАВА

1966

ТИШИНА  
ХРАБРЫЕ ГЛАЗА  
МАРСЕЛЬ ПРУСТ  
СМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ  
РЯБОКОНЬ  
ТЕРМОМЕТР ГРИШКИ ЛОГУНА  
ЭКЗАМЕН  
ЗА ПИСЬМОМ  
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ  
БЕЛКА  
ВОДОПАД  
УКРОЩАЯ ОГОНЬ

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

1967

ТРОПА  
ГРАФИТ  
ПРИЧАЛ АДА  
НАЧАЛЬНИК ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ  
ДВЕ ВСТРЕЧИ  
ЖИТИЕ ИНЖЕНЕРА КИПРЕЕВА  
БОЛЬ  
БЕЗЫМЯННАЯ КОШКА  
ЧУЖОЙ ХЛЕБ  
КРАЖА  
ГОРОД НА ГОРЕ  
У СТРЕМЕНИ  
ХАН-ГИРЕЙ  
ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА  
БОРИС ЮЖАНИН  
ВИЗИТ МИСТЕРА ПОППА  
ШАХМАТЫ ДОКТОРА КУЗЬМЕНКО

1970

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

1970-71

ГАЛИНА ПАВЛОВНА ЗЫБАЛОВА  
ЛЕША ЧЕКАНОВ, ИЛИ ОДНОДЕЛЬЦЫ НА КОЛЫМЕ  
ДОКТОР ЯМПОЛЬСКИЙ  
ЯКОВ ОВСЕЕВИЧ ЗАВОДНИК  
АЛЕКСАНДР ГОГОБЕРИДЗЕ  
ИВАН БОГДАНОВ  
ВОЕННЫЙ КОМИССАР

1972

ПЕРЧАТКА

ТАЧКА I  
ТАЧКА II  
РИВА-РОЧЧИ

1973

ТРИАНГУЛЯЦИЯ III КЛАССА  
ЦИКУТА  
ПОДПОЛКОВНИК ФРАГИН  
АФИНСКИЕ НОЧИ  
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОЛУ

---

---

### *Приложение 4*

#### **Википедия о прощании с Шаламовым и с Солженицыным**

*«...похороны в нашем деле – все».*  
*(Шаламов, Записные книжки)*

#### **Шаламов**

«Шаламов похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. На похоронах присутствовало около 150 человек. А. Морозов и Ф. Сучков прочитали стихи Шаламова.

Астероид 3408 Шаламов, открытый 17 августа 1977 года Н. С. Черных, был назван в честь В. Т. Шаламова».

---

#### **Солженицын**

«5 августа [2008] в здании Российской академии наук, действительным членом которой являлся А. И. Солженицын, состоялись гражданская панихида и прощание с покойным. На этой траурной церемонии присутствовали бывший Президент СССР М. С. Горбачёв, бывший Президент России, Председатель Правительства РФ В. В. Путин, президент РАН Ю. С. Осипов, ректор МГУ В. А. Садовничий,

бывший Председатель Правительства РФ академик Е. М. Примаков, деятели российской культуры и несколько тысяч граждан.

[...] прах Александра Солженицына был предан земле в некрополе Донского монастыря за алтарём храма Иоанна Лествичника, рядом с могилой историка Василия Ключевского. Президент России Д. А. Медведев возвратился в Москву из краткого отпуска, чтобы присутствовать на заупокойной службе.

В день похорон Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ «Об увековечении памяти А. И. Солженицына», согласно которому с 2009 года учреждались персональные стипендии имени А. И. Солженицына для студентов вузов России, правительству Москвы рекомендовано присвоить имя Солженицына одной из улиц города, а правительству Ставропольского края и администрации Ростовской области – осуществить меры по увековечению памяти А. И. Солженицына в городах Кисловодске и Ростове-на-Дону.

Правительство Москвы 12 августа 2008 года приняло постановление «Об увековечении памяти А. И. Солженицына в Москве», которым переименовало улицу Большую Коммунистическую в улицу Александра Солженицына и утвердило текст памятной доски. В октябре 2008 года мэр Ростова-на-Дону подписал постановление о присвоении имени Александра Солженицына центральному проспекту строящегося микрорайона Ливенцовский».

### **В дополнение**

«Смежили очи гении», репортаж с гражданской панихиды по Солженицыну на сайте газеты Взгляд: <http://www.vz.ru/culture/2008/8/5/193419.html>

«Мраморные колонны ритуального зала обтянуты черным. В центре – гроб на постаменте, за ним – большой портрет Александра Исаевича, вокруг множество венков, негромко играет классическая музыка.[...]

В 11.00 внутрь зала впускают телевизионные группы, минут через пятнадцать запускают людей. Одним из первых пришел проститься с писателем премьер-министр РФ Владимир Путин, члены правительства, представители власти.

У траурной тумбы появляются всё новые и новые венки. Владимир Путин торжественно подходит с выражением соболезнования к сыновьям писателя, Игнату и Степану, жмет им руки, целует вдову.

По одному, сохраняя расстояние скорби, к гробу подходят люди. Кто-то кладет цветы, кто-то дотрагивается до гроба, замирая на секунду.[...]

Раз в полчаса в зал входит шеренга караула. Неслышно, словно скользя, они шагают, высоко поднимая ноги. Незаметно, отработанными движениями, сменяют друг друга».

\*

«...на государственном уровне Солженицыну были отданы все мыслимые гражданские и военные почести. Премьер-министр стоял навтыжку на гражданской панихиде. Президент прервал свой отпуск, чтоб присутствовать на отпевании. Сразу же после похорон был издан президентский указ об увековечении памяти великого писателя...»

Андрей Полонский, «Слово об Александре Солженицыне», с сайта литературного журнала «Периферия»  
<http://www.russianpoems.ru/news/a-166.html>

---

## Приложение 5

### Архив Шаламова в РГАЛИ

Общие сведения о фонде Шаламова и новых поступлениях здесь  
[http://www.rusarchives.ru/search.shtml?flexum\\_query=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2](http://www.rusarchives.ru/search.shtml?flexum_query=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%20%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2)

Информация с сайта Федеральные архивы

### ФОНД ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Номер фонда Ф. 2596\*

Объем 263 ед. хр.

Крайние даты 1901 - 2000 гг.

\* (Это то, что называется «оп.2»). О ней в выпуске №8 Путеводителя РГАЛИ  
<http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=145&sid=48194#refid48183> Примечание мое)

Содержащиеся материалы

Историческая справка

Шаламов Варлам Тихонович(1907 - 1982) - писатель.

Аннотация

Рукописи В. Т. Шаламова. Сборники рассказов, очерков и воспоминаний: "Колымские рассказы" (1954 - 1973), "Вишера" - "Вишерский антироман" [1960-е - 1970-е], "Воспоминания" [1970-е]; "Четвертая Вологда" - автобиографическая повесть [1968 - 1971]; "Федор Раскольников" - повесть (1973); рассказы: "Возвращение", "Господин Бержере в больнице", "Три смерти доктора Аустино" [1930-е], "Вставная новелла", "Герман Хохлов", "Глухие", "По способу Джанелидзе" и др. [1950-е - 1970-е]; пьесы: "Комедия в четырех актах" - "Памятный листок" [1950-е], "Анна Ивановна" [1960-е], "Вечерние беседы" [1970-е]; стих-ния (1937 - 1981); эссе: "Все или ничего", "Заметки о стиховой гармонии", "Как сделана "Метель" Пастернака", "Кое-что о моих стихах", "Национальные границы языка и свободный стих", "О новой прозе", ["О новой русской прозе"], "О прозе", "Писательское чтение", "Поэтическая интонация", "Проза двадцатых годов", "Рифма", "Стихи в лагере", "Стиховедческий разбор стихотворения А. Межирова "Защитник Москвы" [1960-е - 1970-е]; выступление на вечере памяти О. Э. Мандельштама" (1966); воспоминания о С. И. Аллилуевой, П. Н. Васильеве, А. К. Воронском, Я. Д. Гродзенском, Н. Я. и О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернаке, В. В. Португалове, М. А. Светлове, А. И. Солженицыне и др. [1959 - 1970-е]; записи автобиографического характера [1960-е - 1970-е], автобиографии 2 [1960-е] и др. Всего 550 рук.

Письма В. Т. Шаламова: Ф. А. Вигдоровой 3 (1964 - 1965), Г. А. Воронской - ксерокоп. 16 (1959 - 1977), Я. Д. Гродзенскому 49 (1962 - 1971), Г. Г. Демидову 5 (1965 - 1967), Л. З. Копелеву (1965), Б. Л. Пастернаку - ксерокоп. 20 (1952 - 1956), А. И. Солженицыну 21 (1962 - 1966), Ю. А. Шрейдеру 60 (1966 - 1978).

Письма В. Т. Шаламову: М. Н. Авербаха (1968), Е. С. Гинзбург 2 (1967), Я. Д. Гродзенского 8 (1963 - 1965), Г. Г. Демидова 7 (1965 - 1967), А. З. Добровольского 29 (1955 - 1960), Л. З. Копелева (1965), Ф. Е. Лоскутова 15 (1955 - 1965), Н. А. Решетовской 2 (1963, 1964), А. И.

Солженицына 14 (1963 - 1966), Ю. А. Шрейдера (1975) и др. Всего 17 корр.

Следственные дела по обвинению В. Т. Шаламова в антисоветской агитации и контрреволюционной троцкистской деятельности - ксерокоп. (1929 - 1943); реабилитационные документы - подлинник, ксерокоп. (1956, 2000); библиография произведений В. Т. Шаламова, опубликованных в СССР, России и за рубежом в 1932 - 2000 гг. (1973 - 2000).

Воспоминания, диссертации, статьи о В. Т. Шаламове: В. Г. Агеевой, Г. В. Адамовича, Е. В. Волковой, В. В. Есипова, М. Н. Золотоносова, И. С. Исаева, Л. Клайн, Е. Михайлик, И. В. Некрасовой, Л. С. Панова, И. П. Сиротинской, Ф. Ф. Сучкова, М. Такаги, У. Харта, Ю. А. Шрейдера и др. - авт., маш., печ. выр., ксерокоп. (1967 - 2000); рецензии на его произведения: А. К. Дремова, Г. Лаптева, Э. Мороза, В. П. Солнцева (1963 - 1967); письма с упом. о В. Т. Шаламове: Г. И. и М. И. Гудзь - Б. Л. Пастернаку - ксерокоп. 5 (1952 - 1956); М. Н. Аввакумовой (1987), Г. Айги (1988), Ф. Апановича 2 [1994, 1998], В. И. Аринина 6 (1988 - 1994), В. П. Астафьева (1987), С. А. Баруздина 2 (1987, 1988), М. Берутти 3 (1992 - 1998), В. В. Есипова 2 ([1990] - 1997), Н. М. Ивановой-Романовой 6 (1988 - 1992), Л. Клайн 4 (1994 - 1997), Л. Кресченци (1999), К. Пигетти 6 (1991 - 1994), А. Раффетто (1998), А. И. Солженицына 2 (1989, 1990), М. Такаги 10 (1990 - 1999), Т. Ягтенберг - И. П. Сиротинской 2 (1989); И. П. Сиротинской - Ю. А. Шрейдеру (1979).

Материалы вечеров памяти В. Т. Шаламова и Международных шаламовских чтений (1987 - 2000).

Материалы свящ. Т. Н. Шаламова - отца (1984 - 1904).

Портрет В. Т. Шаламова - работы Б. Г. Биргера - фоторепродукция (1967).

Фото В. Т. Шаламова, индивидуальные и в группах с Г. И. и М. И. Гудзь, А. Е. Крученых, О. С. Неклюдовой и др., 14 (1908 - 1956).

Фото: Н. Н. Асеева в группе с Б. Л. Пастернаком и А. А. Фадеевым [1930-е], Н. Я. Мандельштам 5 [1920-е - 1960-е], О. Э. Мандельштама (1933), Арс. А. Тарковского (1987), Т. Н. Шаламова в группе с



архиеп. Тихоном (Беллавиным), свящ. Н. Кашеваровым и др. - фото-коп. (1901), Н. А. Шаламовой - матери - ксерокоп. [1904].

Фото участников вечеров памяти В. Т. Шаламова и Международных шаламовских чтений: Д. Глэда, О. М. Дмитриева, А. П. Злобина, М. Никольсона, К. Пигетти, М. Такаги и др. 38 (1987 - 1997).

-----

\*\* Сведения о составе документов оп. 1 - 3 (1900-е - 1982) фонда В. Т. Шаламова см.: вып. 7, с. 285 - 287. Оп. 2 переработана и дополнена новыми материалами в 2000 г.

Источник

[http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund\\_id=48183&sort=title](http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund_id=48183&sort=title)

-----

ШАЛАМОВ

Варлам Тихонович (р. 1907), поэт.

РГАЛИ, ф. 2596, 501 док., 1940—1960-е гг.

[http://www.rusarchives.ru/guide/lf\\_ussr/shaa\\_shep.shtml](http://www.rusarchives.ru/guide/lf_ussr/shaa_shep.shtml)

-----

РГАЛИ (общие сведения)

Контактная информация

Адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, 3, корп. 2

Код: 8 (499)

Тел.: (499) 159-76-85, (499) 159-73-81; Факс: (499) 159-73-86, (499) 150-78-10.

URL: <http://rgali.ru>

E-mail: [rgali@rgali.ru](mailto:rgali@rgali.ru), [rgali@list.ru](mailto:rgali@list.ru), [rgali@inbox.ru](mailto:rgali@inbox.ru)

Проезд: метро Водный стадион

Время работы: понедельник–четверг 9.00–17.00

пятница – 9.00–16.00

1-й рабочий день месяца – санитарный день.

---

Директор: Горяева Татьяна Михайловна (тел. (499) 159-76-85)

Зам. директора: Злобина Галина Рауфовна (тел. (499) 159-73-81)

Зам. директора по административно-хозяйственной части: Красавин Алексей Александрович (тел. (499) 150-78-10)

Зав. отделом архивных коммуникаций: Стрижкова Наталья Алексеевна (тел. (499) 159-73-86)

Группа социально-правовых запросов: гл. специалист Дрезгунова Галина Юрьевна (тел. (499) 159-70-06, адрес: 125212, Москва, ул. Выборгская, 3, корп. 1)

---

Зал рукописей

Зав. читальным залом: Неустроев Дмитрий Викторович

Сотрудники: Мельниченко Михаил Анатольевич

Телефон читального зала: (499) 159-75-13

Факс: (499) 159-73-86, (499) 159-74-96

E-mail: [zakazrgali@list.ru](mailto:zakazrgali@list.ru)

Режим работы читального зала:

с сентября по июль: понедельник–четверг 9.30–17.30; пятница 9.30–16.30, суббота и воскресенье – выходные дни.

Санитарный день – первый рабочий день месяца.

В августе читальный зал не работает.

Приём требований на выдачу документов прекращается во второй половине июля.

Обращаем Ваше внимание, что одновременно в читальный зал выдаётся не более 5 подлинников и 10 микрофильмов. Превышение этого количества в силу ряда причин, к сожалению, невозможно. Новые требования принимаются только после сдачи материалов по предыдущему заказу.

---

Зал микрофильмов  
Зав. читальным залом: Гаврилина Ирина Алексеевна

Адрес: ул. Выборгская, д. 3, корп. 1, комн. 8.

Телефон: (499) 156-69-52 (только для продления заказанных материалов)

Режим работы читального зала:  
с сентября по июль: понедельник и четверг с 12.00 до 20.00,  
вторник и среда с 10.00 до 17.30, пятница с 10.00 до 16.30,  
суббота и воскресенье – выходные дни.  
Санитарный день – первый рабочий день месяца.  
В августе читальный зал не работает.  
Приём требований на выдачу документов прекращается во второй половине июля.

Обращаем Ваше внимание, что одновременно в читальный зал выдаётся не более 5 подлинников и 10 микрофильмов. Превышение этого количества в силу ряда причин, к сожалению, невозможно. Новые требования принимаются только после сдачи материалов по предыдущему заказу.

### **Фонд Шаламова в РГАЛИ, поступления 1984-92гг.**

Материалы, поступившие в РГАЛИ (ЦГАЛИ) значительно позже 1979 года, когда Сиротинская забрала у Шаламова перед его переводом в дом престарелых все, «вплоть до последней бумажки». Не понятно, откуда они взялись. Дюжину папок с машинописными сборниками прозы и стихов в 1978 году забрали на хранение Юлий Шрейдер и Людмила Зайвая, так что некоторые из перечисленных здесь материалов мог передать Шрейдер. Но откуда взялось остальное, в особенности письма Шаламову, которые должны были храниться у него до

ма, или, например, копии писем Климовой, которые Шаламову давала читать ее дочь Наталья Столярова для рассказа «Золотая медаль»? Часть материалов в начале девяностых могла вернуть государственно-му архиву госбезопасность, которую Шаламов уже не интересовал. Хотя едва ли тайная полиция держала в папке Шаламова рукописи, например, Ольги Карлайль и Веры Ключевой. В общем, многое здесь непонятно. И само количество – 1200 рукописей – впечатляет.

---

Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. Выпуск 7. Фонды, поступившие в РГАЛИ в 1984-1992 гг.. 1998

<http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=144&sid=11523#refid11508>

#### ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

206. Шаламов В. Т.

Ф. 2596; 566 ед. хр.; 1900-е - 1982 гг.; оп. 1 - 3

Шаламов Варлам Тихонович (1907 - 1982) – поэт, писатель.

*Рукописи В. Т. Шаламова.* Сб. стих-ний: "Высокие широты", "Златые горы", "Кипрей", "Лично и доверительно", "Синяя тетрадь", "Сумка почтальона" (1949 - 1956), тетради с записями стих-ний (1949 – 1979); авторские комментарии к стих-ниям (1969 - 1972); переводы стих-ний К. Р. Аманжолова, Р. Зоговича, Н. Ракитина, К. Христова и др. [1970-е]; повести: "Четвертая Вологда" (1971), "Федор Раскольников" (1973), "Вишера" [1970-е]; сб. рассказов и очерков: "Колымские рассказы" (1954 – 1961), "Очерки преступного мира" (1955 – 1960), "Артист лопаты", "Левый берег" (1960 – 1965), "Воскрешение листовницы" (1966 - 1967), "Вишерский антироман" (1970), "Перчатка, или КР-2" (1973); рассказы: "Возвращение", "Три смерти доктора Аустино" (1936), "Пава и древо" (1937); очерки и статьи: "Эрзя" (1954), "В одной лаборатории" (1956), "Гоголь в Москве" (1959), Заметки о стихах" [1950-е – 1960-е], "Блок и Ахматова", "Василий Каменский", "Интонация Николая Ушакова", "Секреты стихов" и др. [1970-е]; пьеса "Анна Ивановна" [1960-е]; выступление на вечере памяти О. Э. Мандельштама (1965); воспоминания: "Асеев в 20-е годы", "Двадцатые годы", "Луначарский", "Маяковский мой и всеобщий", "Муса Джа-

лиль", "Пастернак" и др. [1960-е – 1970-е]; записи о Ф. А. Абрамове, Н. Н. Асееве, А. А. Ахматовой, Е. А. Баратынском, Г. Бёлле, А. А. Блоке, В. Я. Брюсове, И. А. Бунине, А. А. Вознесенском, Н. Г. Гарине-Михайловском, О. Генри, А. К. Гладкове, А. С. Грине, Г. Р. Державине, Ф. М. Достоевском, Е. А. Евтушенко, С. А. Есенине, С. Т. Коненкове, А. Г. Коонен, П. Л. Лаврове, М. Ю. Лермонтове, Г. А. Лопатине, А. П. Межирове, В. Э. Мейерхольде, В. И. Нарбуте, Н. А. Некрасове, К. А. Некрасовой, Ю. К. Олеше, П. А. Павленко, М. С. Петровых, Б. Н. Полевом, Э.-М. Ремарке, А. М. Ремизове, К. К. Рокоссовском, М. А. Светлове, И. Л. Сельвинском, Я. В. Смелякове, С. М. Степняке-Кравчинском, А. Т. Твардовском, В. Н. Фигнер, М. И. Цветаевой, В. М. Шукшине, С. М. Эйзенштейне и др. [1960-е – 1970-е]; отзывы о произведениях: В. И. Казанского, В. В. Кожина, К. Г. Паустовского, М. А. Шолохова, И. Г. Эренбурга и др. (1957 – 1976) и др. Всего 1200 рук.

*Письма В. Т. Шаламова.* П. Г. Антокольскому (1972), А. А. Ахматовой (1965), О. Ф. Берггольц [1954], Л. Ф. Волкову-Ланниту 2 (1956), Г. А. Воронской (б. д.), А. К. Гладкову 3 (1967 - 1973), Г. И. Гудзь - жене 13 (1954 - 1956), Н. Н. Гусеву (1966), А. З. Добровольскому 8 (1955 - 1965), О. В. Ивинской 5 (1956), Ф. А. Искандеру (1970), В. В. Кожину 2 (1960, 1977), С. С. Лесневскому 2 (1968, 1972), Б. Н. Лесняку 6 (1964 - 1969), Н. Я. Мандельштам 17 (1965 - 1968), О. Н. Михайлову 5 (1968 - 1972), С. С. Наровчатову 3 (1972 - [1970-е]), О. С. Неклюдовой - жене 4 (1956 - 1966), Б. Л. Пастернаку 13 (1953-1956), К. Г. Паустовскому (1967), Б. Н. Полевому 2 (1973, 1974), В. В. Португалову (б. д.), Д. С. Самойлову (1973), Б. А. Слуцкому 2 (1962, 1973), Н. И. Столяровой 9 (1963 - 1967), Ф. Ф. Сучкову (1964), Арс. А. Тарковскому (б. д.), Л. И. Тимофееву 2 (1972, [1970-е]), Л. К. Чуковской (1969) и др. Всего 81 адр.

*Письма В. Т. Шаламову:* Вад. Л. Андреева (1967), В. Ф. Бокова (1961), К. Я. Ваншенкина (1977), Л. Ф. Волкова-Ланнита 4 (1956), А. К. Гладкова 3 (1967 – 1971), Г. И. Гудзь 13 (1954 – 1956), А. З. Добровольского 9 (1956 – 1966), Ю. О. Домбровского (1965), А. В. Жигулина (1965), О. В. Ивинской 2 (1956), В. И. Казанского 2 (1958, 1978), В. В. Кожина (1976), А. А. Кременского 3 (1967 – 1974), С. С. Лесневского (1968), Д. С. Лихачева (1979), Н. Я. Мандельштам 23 (1965 – 1968), А. А. Михайлова (1977), И. Л. Михайлова (1979), О. С. Неклюдовой 24 (1956 – 1967), Б. Л. Пастернака 6 (1952 – 1955), В. В. Португалова 8 (1956 – 1967), Б. А. Слуцкого (1967), Н. И. Столяровой 12 (1964 – 1967), Ф. Ф. Сучкова 6 (1964 – 1965), Л. И. Тимофеева (1965), В. С.

Фогельсона 4 (1963 – 1964), С. П. Щипачева (1977), И. Г. Эренбурга (1961), М. В. Юдиной (1967), Б. С. Южанина 2 (1957) и др. Всего 98 корр.

Материалы к биографии В. Т. Шаламова (1907 - 1980).

Рецензии на сб. стих-ний и прозы В. Т. Шаламова: Е. М. Винокурова, В. В. Дементьева, О. М. Дмитриева, В. М. Инбер, Л. А. Озерова, Б. А. Слуцкого, Ф. Ф. Сучкова, С. А. Трегуба и др. (1961 - 1972).

Рукописи. О. В. Карлайль "Три встречи с Б. Пастернаком" (1960), В. Н. Клюева "Культура и быт Монгольской Народной Республики", "Монгольские баллады", "Народное творчество Монголии", "От Унгерна", Н. Я. Мандельштам "Труд", О. Э. Мандельштам "Четвертая проза", Ф. Ф. Сучков "Об Андрее Платонове", "Святая возвышенность" [1960-е] (авт., маш., маш. коп.).

Письма: Н. Н. Гусева – Н. И. Столяровой 2 (1962), Н. С. Климовой – С. С. Климову, О. Н. Климовой и др. - маш. коп. 47 (1906 - 1917); Б. Л. Пастернака – Г. И. Гудзь 3 (1952 - 1953), И. В. Столярова – К. В. и О. П. Жилинским 2 (1924, 1926); запись телефонного разговора Б. Л. Пастернака и М. И. Гудзь.

Фото В. Т. Шаламова, индивидуальные и в группах, 34 [1920-е - 1970-е].

\*

В том же выпуске 7 Путеводителя РГАЛИ в фонде *Бориса Слуцкого*:

165. Слуцкий Б. А.

Ф. 3101; 672 ед.хр.; 1925 – 1989 гг.; оп. 1

Слуцкий Борис Абрамович (1919 – 1986) – поэт.

Письма В. Т. Шаламова 6 (1961 – 1973)

В. Т. Шаламов "Из колымских тетрадей" – цикл стих-ний (1937 – 1956), Асеев в двадцатые годы" - воспоминания - маш. [1960-е]

## Другие шаламовские материалы в РГАЛИ

Шаламов в других личных фондах, согласно выпуску № 8 Путеводителя РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства. Путеводитель. Выпуск 8. 2004

<http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=145&sid=48194#refid48183>

### ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

Сурков Е. Д.

Ф. 3078; 836 ед. хр.; 1891 - 1989 гг.; оп. 1

Сурков Евгений Данилович (1915 - 1988) - критик.

#### Письмо В. Т. Шаламова (1964)

\*

Берггольц О. Ф.

Ф. 2888; 1408 ед. хр.; 1907 - 1997 гг.; оп. 1

Берггольц Ольга Федоровна (1910 - 1975) - поэтесса.

#### Письмо В. Т. Шаламова (1956)

\*

Копелев Л. З.

Ф. 2549; 1374 ед. хр.; 1925 - 1995 гг.; оп. 1 - 3

Копелев Лев Зиновьевич (1912 - 1997) - писатель, переводчик, литературовед.

Письма В. Т. Шаламова 4 (1965 - 1966); В. Т. Шаламов - стих-ния (1949 - 1960). "Борис Южанин" - рассказ [1960-е].

\*

Симонов К. М.

Ф. 1814; 4299 ед. хр.; 1883 - 1981 гг.; оп. 5 - 9\*

Симонов Константин Михайлович (1915 - 1979) - поэт, прозаик, драматург.

Письмо В. Т. Шаламова (1972)

---

Информация о новых поступлениях документов в Российский государственный архив литературы и искусства за 2005 год (<http://www.rusarchives.ru/federal/rgali2005.shtml>). Дана также в сводке материалов фонда Шаламова

2596 Шаламов Варлам Тихонович 1970-2005 - 24 736 24 1900-е-2005 (1907-1982) – писатель ской,	Запись В.Шаламова, его письма к И. П. Сиротин- ской, биографические документы, материалы о нем.
---	---

\* \* \*

Дополнения к фондам, хранящимся в архиве, поступившие на государственное хранение в 2006 г.  
(<http://www.rusarchives.ru/federal/rgali2006.shtml>)

2596 Шаламов Варлам Тихонович (1907-1982) – писатель 1976-2000 - 250 736 274 1900-е-2005 "Графит",	Отзывы зарубежной прессы на книги В.Т.Шаламова "Колымские рассказы" и переписка Д. Гледа с исследователями и читателями произведений В. Т. Шаламова.
---	--

Непонятно, почему письма Шаламова к Сиротинской поступили на хранение в РГАЛИ только в 2005 году, уже после их публикации в "Новой книге" (2004) - как следствие тридцатилетней сортировки и "аутодафе" неподходящих? - и что собой представляют эти письма - уже опубликованные или какие-то неизвестные? Какого рода биографическими документами и материалами о Шаламове обзавелся государственный архив в 2005 году?



С поступления 2006 года все ясно – это копии из архива американского переводчика Шаламова Джона Глэда.

---

## *Приложение 6*

### **Был ли архив Шаламова в «спецхране»? Незаконченное расследование**

Сиротинская утверждает, что архив Шаламова засекречен не был. «Оно [имеется в виду наследие Шаламова, его архив, хранившийся в ЦГАЛИ] было не в «спецхране», а в моем кабинете. В «спецхран» я ничего на секреты не отдавала. Зачем? Это ведь целая процедура. Собирается комиссия, смотрит,.. но я мудрая... пока я работала, у меня был отдельный кабинет, и своя печать на... Ни в какой «спецхран» я их не отдавала».

Этому противоречат свидетельства таких осведомленных людей как ее начальница Наталья Волкова, режиссер Александра Свиридова и правозащитник Сергей Григорьянц.

Итак, был ли архив Шаламова в «спецхране»?

Ответить на этот вопрос нелегко.

В 2010 году в издательстве Российская политическая энциклопедия вышел недоступный мне справочник под названием «Российский государственный архив литературы и искусства. Вып. 9. Путеводитель: Фонды бывшего спецхрана». Интернету о нем вкратце известно [http://www.kniginina.ru/index.php?id=38738&item\\_type=10](http://www.kniginina.ru/index.php?id=38738&item_type=10)

Я предположил, что ответ находится здесь, однако за невозможностью получить его напрямую и из сомнений в его достоверности присмотрелся к уже имеющимся в Сети справочникам-путеводителям ЦГАЛИ. Вырисовалась следующая картина.

Кроме упомянутого путеводителя №9 от 2010 года существует еще один краткий справочник по бывшему «спецхрану» ЦГАЛИ, выпуска 1994 года –

«Краткий путеводитель по бывшему спецхрану РГАЛИ: (по состоянию на 1 октября 1993 г.) / Archives d'Otat de Russie de litterature et d'art (Otat au 1er octobre 1993) / Сост. С. Шумихин. Ред. С. Шумихин. Москва, Paris: Institut d'Etudes Slaves, 1994. 96 с.

Включает сведения о рассекреченных фондах и документах эмигрантов и репрессированных писателей. Большая часть информации вошла в 7-ой том путеводителя по архиву»

Взято с сайта архива

<http://www.rusarchives.ru/federal/rgali/nsa1.shtml#b167>

Но поскольку и этот, краткий, справочник мне недоступен, я обратился к выложенным в Сети Путеводителям №7-8, в которых сравнительно подробно задокументированы части Фонда Шаламова. Прошу обратить внимание на сноски к аннотациям каждого:

«Т. 7: Российский государственный архив литературы и искусства: Путеводитель: Фонды, поступившие . . . в 1984-1992 гг. / Ред. Е. В. Бронникова, Н. Б. Волкова, С. В. Шумихин и др. М.: Русское библиографическое об-во: In-Quarto/ «Инженер», 1998. [Росархив; РГА-ЛИ] (Русское библиографическое об-во, «Academia Rossica». Т. 7).

...Седьмой том путеводителя включает сведения о новых поступлениях с 1983 года, а также информацию о фондах, переведенных в 1988-1992 гг. со «специального» на открытое хранение.\* Особенно важно, что в него вошли сведения о рассекреченных фондах и документах эмигрантов и репрессированных писателей (многие из этих фондов включены в вышедший ранее список – см. b-167)».

**\*и действительно:**

«Впервые в 7-й выпуск «Путеводителя» включены описания архивных материалов бывшего спецхрана РГАЛИ, которые не только сами были недоступны исследователям, но и сведения о которых были исключены из научно-справочного аппарата».

Из аннотации к 7 выпуску Путеводителя РГАЛИ

<http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html?id=144>

«Т. 8: Российский государственный архив литературы и искусства: Путеводитель: Фонды, поступившие в 1993-2000 гг. / Федеральное архивное агентство, РГНФ, РГАЛИ; Ред. Е. В. Бронникова, Т. Л. Латыпова. – М.: «Российская политическая энциклопедия», (РОССПЭН), 2004. - 672 с.

...Восьмой том путеводителя включает характеристики архивных фондов, поступивших на государственное хранение в период с 1993 по 2000 г., а также информацию о фондах или частях фондов, которые находились ранее на специальном (закрытом) хранении\*\*. В путеводитель включен перечень «Периодические и продолжающиеся

издания, альманахи и сборники Русского зарубежья в Архивохранилище печатных изданий РГАЛИ (1917 - 1999)».

Из аннотации к 8 выпуску Путеводителя РГАЛИ

<http://www.rusarchives.ru/federal/rgali/nsa1.shtml#b166>

**\*\*и действительно:**

«Данный [8] выпуск путеводителя включает характеристики архивных фондов, поступивших на государственное хранение преимущественно в период с 1993 по 2000 год, а также информацию о фондах или частях фондов, которые находились ранее на специальном (закрытом) хранении и были недоступны исследователям».

Из аннотации к 7 выпуску Путеводителя РГАЛИ

<http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html?id=145>

Общие сведения взяты с сайта РГАЛИ

<http://www.rusarchives.ru/federal/rgali/nsa1.shtml>

---

Вывод я сделал такой. Надо смотреть, что именно представляют собой материалы, включенные в 4 выпуск Путеводителя РГАЛИ (1975), на который – в качестве основного аргумента в пользу того, что архив Шаламова хранился в открытом доступе – ссылается Сиротинская в своей книжке «Мой друг Варлам Шаламов»:

«Относительно «спецхрана». В четвертом выпуске «Путеводителя Центрального государственного архива литературы и искусства» – «Фонды, поступившие в 1967–1971 гг.» [*в Сети о нем здесь Т. 4: - Фонды, поступившие . . . в 1967-1971 гг. / Ред. Н. Б. Волкова и др. М., 1975. 563 с.; <http://www.rusarchives.ru/federal/rgali/nsa1.shtml> ] – на стр. 472 легко найти информацию о поступлении в архив фонда В. Т. Шаламова. (Он начал передавать свой архив в 1966 г.) Естественно, что о фондах «спецхрана» в открытом справочнике не сообщают. И у меня всегда под рукой были готовые к публикации тексты «Колымских рассказов».*

Я предположил, что с материалами Фондов Шаламова из справочников №№ 7-8, где они даны уже рассекреченными, материалы Путеводителя №4 имеют весьма мало общего. Электронной версии этого тома нет, однако, по моей просьбе его пролистали и сделали сканы двух страниц, где упоминается имя Шаламова.

На стр. 472 одной строкой в перечне поступившего сказано:

«Шаламов Варлам Тихонович (р. 1907) – писатель (ф. 2596).»

На стр. 194 о письмах Шаламова упоминается в характеристике фонда его второй жены писательницы Ольги Неклюдовой: «Письма к О. С. Неклюдовой: [...] В. Т. Шаламова 13 (1956-1965)».

Не будучи архивистом, не могу вывести отсюда однозначно, был ли фонд Шаламова в ЦГАЛИ в «спецхране». Ясно одно – что человек, в руки которого попал «открытый справочник», на который ссылается Сиротинская, не получит о «фонде Шаламова» ни малейшего представления кроме того, что этот фонд существует. Не вижу причин, почему не известить общественность о существовании фонда писателя, с 1973 года состоящего в ССП и вполне легально публикующегося в советской периодике и советских издательствах. Интересы госбезопасности и «спецхрана» эта информация несколько не ущемляет.

Есть еще один момент. Как могла бы объяснить Сиротинская если не здравствующему, то еще живому Шаламову отсутствие упоминания о его фонде в ЦГАЛИ в выпуске официального справочника за 1975 год, добравшегося до буквы Ш? Куда же Шаламов все эти десять лет отдавал свои рукописи? И куда, как резонно рассчитывала Сиротинская, будет отдавать их впредь, если его фонда в ЦГАЛИ не существует? Нет, существует, пожалуйста, вот, под номером 2596. Готовы принять все оставшееся.

И, наконец, еще один нюанс, который в кафкианском мире советского архивного дела может оказаться решающим. Обратите внимание на формулировку аннотации <http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html?id=144> к 7-му выпуску Путеводителя ЦГАЛИ (1998): «...описания архивных материалов бывшего спецхрана РГАЛИ, которые **не только сами были недоступны исследователям, но и сведения о которых были исключены из научно-справочного аппарата**». Вот это «не только, но и», в других Путеводителях не встречающееся, наводит на мысль, что существовали как фонды, просто «недоступные для исследователей», хотя о факте их существования официально сообщалось, так и фонды, само существование которых скрывалось. Фонд Шаламова вполне мог относиться к первой категории, и тогда сведения о нем в «открытом справочнике» не более облегчали доступ к нему, чем к фондам, существование которых замалчивалось. Дела это, в таком случае, не меняет: фонд Шаламова, существование которого архив признает, фактически (но обязательно и как-то формально, правда, как это могло быть сформулировано, не знаю) оказывается «закрытым». Такое предположение снимает взаимоисключающие заявления Сиротинской и, например, ее

начальницы Волковой относительно того, был Шаламов в «спецхране» или не был.

**Так все-таки, был Шаламов в «спецхране» или нет?**

---

## *Приложение 7*

### **Неизданная переписка Шаламова**

В «Новой книге», 2004, на пятистах с лишним страницах опубликована обширная переписка Шаламова. Но, похоже, едва ли не такая же по объему ее часть до сих пор недоступна. Это даже не десятки, а как минимум порядка двухсот писем и записок, включая письма корреспондентов Шаламова. Я сделал по необходимости неполную сводку, уточняющую, что собой представляет эта до сих пор не обнародованная часть переписки. Сводка, естественно, не содержит сведений о письмах из тех частных архивов, о существовании которых мне неизвестно.

---

#### Письма Шаламова:

Галине Воронской - 16 (опубликовано только 4)

Якову Гродзенскому 49 (опубликовано только 17)

Георгию Демидову - 5 (опубликовано 4)

Александру Солженицыну - 21 (опубликовано только 16, включая неотправленные)

Юлию Шрейдеру - 60 (опубликовано только 21)

«Всего, - пишет Шрейдер, - у меня осталось 64 письма Шаламова и копии 4 собственных писем к нему».

Источник:

ФОНД ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Номер

фонда

Ф.

2596

[http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund\\_id=48183&sort=title](http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund_id=48183&sort=title)

\*

В Фонде Ольги Неклюдовой, Фонд: 509, в РГАЛИ хранятся 13 писем Шаламова (1956-1965), в Переписке Шаламова в «Новой книге», 2004, опубликовано только 2 (два).  
<http://libinfo.org/index/index.php?id=114344>

\*

Письмо А. Богословскому (1965), литературоведу, работавшего вместе с Н. Столяровой над рукописями поэта Бориса Поплавского

Источник:

Архивный фонд А.Н.Богословского.

Фонд № 694

ИМЛИ РАН, отдел рукописей <http://rukopis.imli.ru/?n=15>

\* \* \*

Письма Шаламову:

14 неопубликованных писем Солженицына

2 неопубликованных письма Натальи Решетовой

Федора Лоскутова 15 (опубликовано только 3)

Аркадия Добровольского 29 (опубликовано только 10)

Якова Гродзенского 8 (опубликовано 5)

Евгении Гинзбург 2 (опубликовано 1)

Письма Шрейдера - количество не указывается, но, очевидно, огромное, соответствующее количеству писем к нему Шаламова, а их 64 - (опубликовано только 3)

и другие корреспонденты, всего 17

Источник:

ФОНД ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Номер

фонда

Ф.

2596

[http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund\\_id=48183&sort=title](http://guides.rusarchives.ru/browse/gbfond.html?bid=145&direction=asc&fund_id=48183&sort=title)

\* \* \*

## Неопубликованная переписка Шаламова, дополнение

По материалам Путеводителей РГАЛИ №№ 7-8

### Письма Шаламова:

Письма Галине Гудзь - 13 (опубликовано 3)  
Письма Слуцкому - 8 - 6 в архиве Слуцкого и 2 в архиве Шаламова (опубликовано одно)  
Письма Надежде Мандельштам - 17 (опубликовано 10)  
Письма Олегу Михайлову - 5 (опубликовано одно)  
Письма Сергею Наровчатovu - 3 (опубликовано одно)  
Письма Ольге Неклюдовой - 4 (опубликовано два)  
Письма Валентину Португалову - 6 (опубликовано одно)  
Письма Льву Копелеву - 4 (опубликовано одно)  
Письма Наталье Столяровой - 9 (опубликовано 8)  
Письмо П. Г. Антокольскому (не опубликовано)  
Письмо Константину Симонову (не опубликовано)  
и т.д. всего 81 адресат

### Письма Шаламову:

От Натальи Столяровой - 12 (опубликовано 4)  
От Ольги Неклюдовой - 24 - (опубликовано 3)  
От Валентина Португалова - 8 (опубликовано одно)  
От Федота Сучкова - 6 (опубликовано одно)  
От Виктора Фогельсона - 4 (не опубликовано ни одного)  
От Александра Гладкова - 3 (не опубликовано ни одного)  
От Бориса Южанина - 2 (не опубликовано ни одного)  
От Александра Кременского - 3 (не опубликовано ни одного)  
От Леонида Волкова-Ланнита - 4 (опубликовано 2)  
От Галины Гудзь - 13 (опубликовано 11)  
От В. И. Казанского - 2 (не опубликовано ни одного)  
От Надежды Мандельштам - 23 (опубликовано 22)  
и т.д. всего 98 корреспондентов

В Путеводителе РГАЛИ №8 перечислены также письма с упоминанием Шаламова людей, которые его знали – Галины Гудзь, Пастернака, Геннадия Айги и др., письмо Сиротинской Шрейдеру (1979) - содержащие, быть может, дополнительные сведения к его биографии.

**Кроме того:**

Переписка с Натальей Кинд

Переписка с Сергеем Снеговым (знаю со слов дочери Снегова Татьяны Ленской)

Переписка с Ильей Эренбургом (упоминается в воспоминаниях Людмилы Зайвой)

Письмо или два Шаламову Сергея Григорьянца (с его слов)

Переписка с Людмилой Зайвой (по ее воспоминаниям, где приведены цитаты из некоторых писем Шаламова)

Письмо Бориса Полевого Шаламову 1972 года в связи с «открытым письмом» последнего в «Литературную газету» – о нем говорит Сиротинская, само письмо почему-то не опубликовавшая.

Полная версия неотправленного письма Солженицыну от 1974 года (в опубликованном в «Новой книге» много лакун)

Переписка с Верой Ключевой, возможно, имеющаяся в ее большом неразобранном архиве («ее архив не разобран по сей день») <http://www.vekperevoda.com/1887/klyueva.htm>

Переписка с Борисом Лесняком, полностью (по воспоминаниям Лесняка, где цитируются неопубликованные письма Шаламова. Вся опубликованная в сборниках Шаламова переписка включает лишь 4 письма)

\* \* \*

Могут - и даже должны - существовать переписки с Леонидом Пинским, Олегом Чухонцевым и другими.

---

Как можно писать, например, биографию Шаламова, не располагая всеми этими материалами?

---



## Приложение 8

### Отсутствующий том собрания сочинений Шаламова

Сводка до сих не опубликованной или рассыпанной по периодике, сборникам, антологиям и в Сети части литературного наследия Шаламова, которая должна бы составлять том собрания его сочинений или дополнять изданные.

#### Хронологически:

1 Статьи и заметки, написанные для периодики тридцатых годов.

2 Стихи, не вошедшие в «Колымские тетради» и напечатанные в сборнике, составленном Татьяной Исаевой, «Стихи репрессированных поэтов. Мы – летописцы Пимены и нам не надо имени», 2009.

3 Очерк о Хемингуэе, написанный Шаламовым для Ирины Емельяновой, дочери Ольги Ивинской (вторая половина 50-х).

4 Пьеса «Комедия в четырех актах» - «Памятный листок» (1950-е)

5 Статьи и заметки Шаламова, написанные во второй половине пятидесятых для журнала «Москва».

6 Внутренние рецензии, написанные для журнала «Новый мир» (начало 60-х).

7 Статья «Работа Бунина над переводом «Песни о Гайавате» (1963).

8 Рассказ «У Флора и Лавра» (1966).

9 Открытое «Письмо старому другу», написанное Шаламовым для неподцензурного сборника Александра Гинзбурга по делу Синявского и Даниэля (1966).

10 Статья «Пушкинская премия Академии Наук» (1968).

11 Значительная часть переписки Шаламова включая письма его адресатов, в целом не менее двухсот писем и записок (50-70-е годы).

12 Дарственные надписи Шаламова на книгах и машинописных сборниках (60-70-е годы).

13 Об А.М. Ремизове, Я.Д. Гродзенском и другие записи; О воспоминаниях С. Аллилуевой (Сталиной) (1960-70-е годы).

14 Черновик пьесы «Вечерние беседы». «... набросок пьесы под названием «Вечерние беседы»... Там русские нобелевские лауреаты, начиная с Бунина и кончая Солженицыным» (Сиротинская, в интервью газете GZT.RU) (начало 70-х).

- 15 Рассказы «По способу Джанелидзе» и др. (видимо, 1970-е)  
16 Статья «Как сделана «Метель» Пастернака» (70-е)  
17 Небольшие очерки и заметки, написанные для журнала «Юность» («Опричный террор», «Студент Муса Залилов» и др.) (около середины 70-х).  
18 Часть дневников середины – второй половины 70-х годов.  
19 Цикл стихов «Неизвестный солдат», записанный Александром Морозовым (1980).  
20 Воспоминания о Борисе Полевом, надиктованные Сиротинской (1981).  
  
21 Письма с упоминанием о В. Т. Шаламове: Г. И. и М. И. Гудзь – Б. Л. Пастернаку - 5 (1952 - 1956); М. Н. Аввакумовой (1987), Г. Айги (1988); [...] И. П. Сиротинской – Ю. А. Шрейдеру (1979). Наверняка существует много других писем современников Шаламова со свидетельствами о нем, но информации о них я не нашел.

### **Кроме того**

Валерий Есипов, имеющий доступ к архиву Шаламова, говорит летом 2011 года об остающемся в архиве «небольшом количестве ясно прочитываемых рукописей и машинописей, которые, вероятно, готовились [Сиротинской] к публикации». Что именно входит в эти рукописи и машинописи, он не уточняет. По его же словам, «в фонде В.Т. Шаламова в Российском государственном архиве литературы и искусства есть ещё немало нерасшифрованных (из-за трудного почерка писателя, особенно в последние его годы) рукописей произведений, набросков к ним и отдельных записей».

\*

Сюда же примыкают, в качестве материалов к биографии, в т.ч. творческой, Шаламова, донесения осведомителей госбезопасности периода 60-80 годов, хранящиеся в его деле, если оно не уничтожено. Возможно, в этой папке имеются и рукописи Шаламова, изъятые при обысках, связанных с делом составителей сборника о процессе Синявского и Даниэля.

## Приложение 9

### Фонд Шаламова

Оказывается, в течение пятнадцати лет (1996-2010) существовал Фонд Шаламова <http://www.creditnet.ru/info/?id=3650100>, Президентом которого была Ирина Сиротинская, а генеральным директором – ее сын Александр Леонидович Ригосик <http://www.fisinter.ru/~club6/persona/ind.htm?nmp=418>, руководитель Управления производственно-технологической комплектации СТРОЙТЕХНИКА <http://www.nerlcomp.ru/>. В мае прошлого года ликвидирован. Честно говоря, впервые о нем слышу. Что он финансировал? Единственное упоминание о нем («новинки «Фонда Шаламова») – в сообщении департамента культуры Вологодской области за 2008 год о проведении «Вечера памяти В.Т. Шаламова». <http://depcult.cultinfo.ru/index.php?id=229>

Есть еще один фонд, который называется «Фонд сохранения, изучения и популяризации творческого наследия Варлама Шаламова» <http://iskalko.ru/1037739382570>, но это, оказывается, тот же самый «Фонд Шаламова» под другим именем <http://www.creditnet.ru/catalog/action/list/page/54065>. О нем Гуглу ничего, кроме адреса, неизвестно. Чудны дела твои, Господи.

---

## Приложение 10

### Нежелательный элемент. Вологда

В Вологде существует музей Шаламова, выпускающий время от времени Шаламовские сборники, организующий официальные мероприятия и экскурсии школьников, но наравне с этим город демонстрировал и демонстрируют глубокое равнодушие к судьбе и творчеству своего великого земляка.

---

«Вологда никогда не обращалась ко мне. В рассказах, которые я написал в тридцатых годах, были вещи и на вологодском материале –

никто оттуда ничего не говорил, не писал. С 1957 года печатают мои стихотворения, указывая, что автор – вологжанин. Никаких рецензий в вологодской газете».

Из письма Шаламова Солженицыну 1964 года

\* \* \*

«[...] я приехал на работу в Вологду [середина 60-х годов] и мог убедиться, что о Шаламове на его родине ничего не знают[...]

Все же о Шаламове в вологодской писательской организации знали [вторая половина 80-х годов]. А у В.И. Белова, как мне стало тогда известно, было парижское издание шаламовской «Четвертой Вологды» (на русском языке), и я попросил у Василия Ивановича почитать книгу. Тогда это был чуть ли не политический криминал. Белов дал мне «Четвертую Вологду». И после ее прочтения я написал свою первую заметку о Шаламове в «Красном Севере». Это было в 1988 году».

Владимир Аринин, «Первые публикации - в «Красном Севере», с сайта газеты [http://www.krassever.ru/piece\\_of\\_news.php?fid=4005#no](http://www.krassever.ru/piece_of_news.php?fid=4005#no)

\* \* \*

«Тогда же [1989 год] в Вологде ходило по рукам парижское издание «Четвертой Вологды», и в нем были карандашные пометы на полях, сделанные кем-то, думаю, из наших писателей-"патриотов". Запомнились слова "смердяковщина", "русофобия" и др. по поводу известных отзывов Шаламова о народе, о крестьянстве».

Валерий Есипов, «Поскольку был известен Солженицын...», с сайта Скеписис [http://scepsis.ru/library/id\\_1707.html](http://scepsis.ru/library/id_1707.html)

\* \* \*

«По областному радио на днях прозвучало, что в память о великом русском писателе В.Т. Шаламове в городе Вологде следует назвать улицу[...]

Будет вполне разумным назвать в память Варлама Тихоновича Шаламова часть теперешней Пречистенской Набережной - от устья речки Содемы[...]

Итак, Набережная Шаламова, Шаламовская набережная.»

Павел Демидов, «Шаламовская набережная – звучит», газета Красный Север, 3.07.2008 (ссылка)

*Ответ Гугла-карты на запрос: Вологда, улица Варлама Шаламова*

*«Не удалось найти адрес:  
вологда. улица варлама шаламова»*

«На шаламовских вечерах неоднократно обсуждались предложения - назвать в честь писателя улицу, поставить памятник. Идею подхватила группа «Поиск», которая совместно с нашим мемориалом разработала проект « Улица Шаламова». На рассмотрение городской администрации предложено два варианта: назвать именем Варлама Шаламова ныне безымянную набережную у Соборной горки или присвоить парку культуры и отдыха, некогда именовавшемуся «Парк ВРЗ», имя выдающегося земляка. И тот, и другой варианты подходящие, поскольку эти участки города вплотную прилегают к отчому дому писателя. Проект лежит в городском отделе культуры с февраля, но, увы... всё ещё не рассмотрен».

Римма Рожина, научный сотрудник Вологодской картинной галереи, из интервью газете Красный Север, Вологда, июль 2008 (ссылка)

В Алма-Ате есть улица Домбровского. Виват казахи!

\* \* \*

Вот как на портале Wologda.ru «Сердце Вологды» представляют Варлама Шаламова в рубрике «Известные вологжане»: <http://wologda.ru/article/36>

*Шаламов Варлам Тихонович - Герой нашего повествования - известный русский, российский писатель-вологжанин, прославившийся своими рассказами, повестями, романами о жизни простых крестьян в период 20 - 30 годов прошлого столетия, в период «великого перелома».*

Понятно, что Шаламова спутали с соседним Василием Беловым, но никого это не колышет. Это и есть истинное отношение к великому земляку. Тот же анонс на сайте предваряет воспоминания Сиротин-

ской о Шаламове, взятые из журнала Литературное обозрение и выложенные в 2008 году, стало быть, не колышет годами.

---

В литературной Вологде, у себя на родине, нежелательный элемент до сих пор. Хотя казалось бы...

«Игорь Смирнов: - Литературная Вологда вообще его игнорирует, за исключением, правда, писателя и журналиста Валерия Есипова.

Ирина Губанова: - А вот почему, как Вы думаете такое отношение к нему литературной Вологды ?

Игорь Смирнов: - Литературная Вологда - это такой заповедник... Там есть две враждебные друг другу писательские группы (одна так и называет себя - вологодской писательской организацией). Первая дала русской литературе Василия Белова (Николая Рубцова - тоже, но только формально, мне кажется). Вторая в конце концов породила такой феномен как Елена Колядина... Шаламов [...] в эту «двухполярную вселенную» как-то не очень вписывается».

Из блога на mail.ru  
<http://my.mail.ru/community/knigi/391E5A11A85188F7.html#>

---

«Члены Вологодской писательской организации, обычно дружно поющие дифирамбы всякому сколько-нибудь заметному литератору, так или иначе причастному к вологодской земле, в данном случае хранят дружное молчание, поскольку не считают писателя-узника Гулага своим. И получается, что в городе, который некоторые товарищи всерьёз величали (по крайней мере) литературной сторицей России, Шаламовым интересуется, исследует его творчество только один человек - Валерий Васильевич Есипов... Да и не в одной лишь Вологде...».

Из блога Игоря Смирнова, 2009  
<http://my.mail.ru/community/knigi/53A7EBDC2CAD9C53.html>

---

Сергей Соловьев, один из организаторов Международной конференции-2011 по Шаламову. В блоге на mail.ru  
<http://my.mail.ru/community/knigi/391E5A11A85188F7.html> 17.2.2011

«Если есть желание принять участие в конференции – милости просим[...] Вологодская часть конференции пока под вопросом, так как местные власти пока идею игнорируют».

---

«На фоне нынешнего пренебрежительного отношения российского государства к родной культуре слова американского ученого о том, что советский период нанес огромный удар по русской культуре и Россия должна восстанавливать сейчас именно это свое достояние, звучали как упрек всей отечественной интеллигенции[...]

Примерно об этом же говорил на конференции и Валерий Васильевич Есипов. Оказывается, на проведение мероприятия такого высокого уровня, как международная Шаламовская конференция, у больших вологодских чиновников не нашлось ни копейки. Как рассказал мне Есипов уже потом, провести шаламовский форум в Вологде удалось лишь благодаря случаю: Валерий Васильевич познакомился в вагоне поезда с предпринимателем, и тот, чтобы не посрамить Отечество, ссудил обнищавшую вологодскую казну 40 тысячами рублей. А дорогу и проживание в гостинице гости оплачивали из своего кармана[...] «Не любит Вологда Шаламова», - заметил в своей речи Есипов».

Любовь Новикова, «Уединенный пошехонец», с сайта ярославской газеты Золотое кольцо <http://www.goldring.ru/news/show/99814/>

---

«Объявления в вологодских газетах: «Требуются на работу студенты, способные качественно выполнять контрольные и курсовые работы»; «Продам дипломную работу»; «Быстро, качественно: дипломы, к. работы логика, философия, культурология...»

А мы потом удивляемся, что выпущенные нашим Пед. Университетом **культурологи** не знают, кто такой Варлам Шаламов».

Павел Шабанов, «Кривосудие по-вологодски», с сайта газеты Вологда сегодня <http://vologdatoday.ru/index.php/201108251241/2011-08-25-05-58-39.html>

### **Шарламов у земляков**

Из биографии Шаламова на сайте «Моя Вологда» <http://my-vologda.ru/publ/1-1-0-227>

«Варлам Шаламов - потрясающий писатель прозаик советского времени. Он - самый известный автор произведений о лагерях потерянного союза.[...]

Свою печатную карьеру писатель начал в 1932 году. Работая журналистом в одном Московском журнале, он издал своё первое произведение - «Три смерти доктора Аустино» (1936).

Писатель вернулся к литературной деятельности сразу после ссылки в 51. В этот период он издал свои знаменитые коломинские рассказы. Напечатаны они были только в 90 годах в России. Однако в Лондоне они были изданы ещё в семидесятых.

Шарламов написал множество книг о лагерях СССР. Он по праву считается писцом того времени. С 1973 года здоровье писателя начало резко ухудшаться, он постоянно болел. Ему пришлось переехать в дом инвалидов, где великий прозаик скончался в 1982 году. Похоронен был Варлам на Кузнецком кладбище в Москве.

Слава к автору пришла после его кончины. Основные произведения стали популярны только после краха СССР».

---

#### В качестве дополнения

В журнале Новая Польша рассказ <http://www.novpol.ru/index.php?id=1455> дочери Густава Герлинга-Грудзинского итальянки Марты Герлинг о поездке (2009) в составе польской делегации в архангельскую деревню Ерцево на открытие памятника отцу, отбывавшему в тамошних краях свой лагерный срок. Делегация ехала тем же путем, каким этапировали Герлинга-Грудзинского, т.е. через Вологду. В Вологде делегацию приветствовал мэр города, для польской миссии, в состав которой входил посол Польши в России, были устроены экскурсии по вологодскому Кремлю и другим городским достопримечательностям, но ни вологжане, ни поляки не вспомнили о музее Шаламова, во всяком случае, никакого упоминания о нем в рассказе Марты Герлинг нет. Памятуя о характере польской миссии и о том, что Герлинг-Грудзинский, автор новеллы «Клеймо. Последний колымский рассказ», считал Варлама Шаламова великим писателем и был его союзником по ГУЛАГУ, можно сделать вывод не только о степени официального признания Шаламова у земляков, но и о том, насколько мало в представлении образованного европейца, да еще так тесно приобщенного к гулаговской теме как



Марта Герлинг, имя Шаламова связывается с его родиной – по существу, никак не связывается.

---

## *Приложение 11*

### **Идеальная легенда**

«Невероятно, но Шаламов писал свои рассказы без какой-либо определенной цели... даже не писал, а диктовал, почти ослепший и умирающий в доме престарелых, одной отчаянной девушке, не побоявшейся это записать и сохранить.

Он прекрасно понимал, что ни одно его произведение не будет напечатано при жизни, и велика вероятность, что все его тетради вообще исчезнут навсегда. Поэтому ему если и имело смысл писать, то только правду, такую какая есть.

Еще удивительно, что ни ГПУ, ни НКВД, ни КГБ так и не добрались до этих тетрадей, они действительно просмотрели великого писателя и не успели разобраться с ним».

Из отзыва читателя на «Колымские рассказы» с сайта Имхонет <http://books.imhonet.ru/element/82454/opinions/>

---

## *Приложение 12*

### **Первые вечера памяти**

«Вечер памяти.

[...]

На встречу, организованную клубом книголюбов «Эврика», Домом научно-технической книги, ЦП ВОК, комиссией по литературному наследию В.Т. Шаламова, журналами «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Юность», пришли люди, близко знавшие писателя в последние годы его жизни, - пришли в день, когда ему исполнилось бы 80 лет. Из рук в руки передавалась обыкновенная толстая тетрадь - здесь последние стихи, записанные им. Во встрече приняли участие Ф.

Искандер, Н. Злотников, И. Шкляревский, Е. Пастернак, Г. Трифонов (Ленинград), автор памятника В. Т. Шаламову Ф. Сучков и другие. Встречу вели доктор философских наук Ю. Шрейдер и директор клуба «Эврика» Л. Зайвая».

«Литературная газета», 8 июля 1987

Шаламов на вечере фигурировал как поэт – первый из «Колымских рассказов» появится в советской периодике только в сентябре месяце, в журнале «Автора». До сборников еще далеко.

«Страницы творчества» - так назывался вечер в ЦДЛ имени А.А. Фадеева, посвященный 80-летию со дня рождения Варлама Шаламова. Со сцены звучали его неопубликованные рассказы, стихи. О том, что читатели вскоре получат возможность познакомиться с творчеством писателя в более полном объеме, говорили председатель Комиссии по литературному наследию В. Шаламова А. Преловский, ответственный секретарь комиссии, зам. директора ЦГАЛИ И. Сиротинская, редактор всех вышедших поэтических сборников В. Шаламова В. Фогельсон. На вечере выступали поэты П. Вегин, Н. Злотников, В. Леонович, литературовед Ст. Лесневский, автор памятника Варламу Шаламову Ф. Сучков и другие».

«Литературная газета», 16 декабря 1987

---

### ***Приложение 13***

#### **Читательский спрос на Шаламова в «перестройку»**

Из статьи Льва Гудкова и Бориса Дубина «Параллельные литературы», журнал Родник (Рига), №12, 1989 год:

«[...] круг авторов, привлекающих самый острый интерес читателей, за последние два-три года решительно изменился. По опросам последних месяцев, проведенным разными социологическими группами, фокус читательского внимания переместился в область журнальной прозы. И самыми значительными здесь читатели считают ранее не публиковавшиеся произведения от А. Платонова до А. Битова и Л. Петрушевской, литературу русского зарубежья от В. Набокова до Са-

ши Соколова и документалистику (публицистические статьи и очерки по истории, экономике, политике, праву, воспоминания и собственно документы). Приведем результаты *февральского* [1989, выделено мной – Д. Н.] *анкетирования 200 с лишним тысяч* подписчиков «Литературной газеты», представляющих все регионы страны и все социально-демографические и профессиональные группы населения (в порядке убывания):

А. Рыбаков, В. Гроссман, В. Дудинцев, Б. Пастернак, А. Жигулин, А. Платонов, М. Булгаков, В. Селюнин (статьи в «Новом мире»), А. Приставкин, Н. Шмелев (статьи в «Новом мире»), Ю. Домбровский, Ю. Щекочихин, В. Пиккуль, В. Войнович, Л. Разгон, Д. Гранин, Б. Васильев (серия статей в «Известиях»), Е. Лосото, В. Короленко (письма к Луначарскому), Ф. Бурлацкий, А. Ваксберг (сборник статей «Иного не дано»), И. Амосов, А. Ципко, А. Нуйкин, Е. Евтушенко («Притерпелость» в «ЛГ»), Н. Карамзин, Д. Волкогонов, В. Шаламов, Е. Замятин, Ю. Щербак и так далее, и так далее – примерно 100 авторских имен и названий произведений, собравших более 50 упоминаний каждое.

Из вошедших в список имен и произведений 94% не могли быть изданы еще несколько лет назад».

---

## *Приложение 14*

### **О Шаламове и его творениях**

Валерий Петрович, поэт и прозаик, «Уроки Варлама Шаламова»

«Единственный из современников, с кем пересекаются пути Шаламова, это Платонов. Пересечение это лежит за пределами евклидовой геометрии. Оба они прозревали космос и тень его на земле. Оба силились преодолеть гравитационное поле зла.

Схождения их не часты и тем более поразительны.

Шаламов и Платонов – люди знания. Сведения их точны и беспощадны. Словоблудие им отвратительно. Благодушные – тем более. Платонов из котлована устремляет взоры в вечность. У Шаламова, в его котловане, этой надежды не было. Жизнь окончательна и, как приговор, отмене не подлежит.

И тем ни менее Шаламов живет надеждой и доживает до нее. Его хождение по мукам не бесплодно. Литература ничему не учит – запоминаются его слова. Но еще ярче запоминаются его уроки[...]

Шаламов – единственный из писателей, коснувшихся лагерной темы, вне зависимости от того, о каких лагерях идет речь, кто полностью отказался строить повествование по логическим законам свободного мира. Все писавшие до и после него озабочены тем, чтобы не выйти за пределы восприятия свободного человека. Им приходится оперировать устоявшимися, легко проникающими в сознание категориями, а если и смещать их, то всегда снабжая целой системой оговорок. Шаламов раз и навсегда отказался от приемов комфортного чтения. И отказавшись, он тем самым возвысил читателя, поднял его до себя, сделал его товарищем по несчастью».

«Представьте себе, что Себастьян Бах был забыт и считался за урядным композитором.[...] Двух русских писателей советского периода русской литературы я бы определил как гениев - Платонова и Шаламова. Гениальность – это, прежде всего, с моей точки зрения, – непредсказуемость и неисчерпаемость. Гению невозможно подражать».

Александр Гольдштейн, писатель, «Лучшее лучших», итоги русского литературного века

«[...] метод Шаламова, обретающий себя в безостановочном вытеснении монохромного материала, отчасти родствен Тертуллианову измерению веры, он «абсурден» и в противовес другим, мнимо асемантическим способам самоосуществления не ведет к окольному появлению литературного содержания. «Колымские рассказы» - не литература (а Шаламов не автор); это спокойная, нимало не истеричная констатация невозможности литературы после того, с чем пришлось повстречаться обширному слою людей, удостоверение ее непригодности к описанию этой встречи. Отзвук смысла здесь приходит с другой стороны, не из литературы, а из пишущего человека, чей неизвестно кем установленный долг заключается в том, чтобы самим невостребованным актом письма дать пример - чего именно? Нельзя ответить и на этот вопрос, но уместно предположить, что пример как таковой, вне зависимости от его смутного содержания имеет самостоятельное и, бесспорно, ненужное этическое значение. Экзистенциализм, во всем XX столетии с такой кристальной чистотой достигнутый только Шаламовым, этим русским Сизифом, обратившимся в камень».

Владимир Сорокин, писатель, ответ на анкету

- Самая недооцененная, на ваш взгляд, книга столетия? (XX век)

- Варлам Шаламов «Колымские рассказы».

- Кому бы лично вы дали Нобелевскую премию? (не важно, жив этот писатель или уже умер)

- В. Набокову, Ф. Кафке, В. Шаламову .

Из интервью Владимира Сорокина журналу Time Out, Москва, 2007, с сайта журнала

Михаил Шишкин, писатель, из интервью

«Мы читаем тысячи книг, но есть только несколько авторов, которые тебя создают», «...от произведений которых переворачивает твой внутренний мир. И ты с этим ощущением живешь всю свою жизнь».

«Сейчас ты приезжаешь в Вологду и понимаешь, что та страна ушла, а Шаламов остался».

Владимир Гандельсман, поэт, «Констатация Шаламова»

«Шаламов пишет книгу, материалом которой является то, что он хочет забыть. Не сентиментальная уловка: вывернуть, чтобы избавиться, но – почти противоестественный инстинкт – умолчать, рассказывающая».

Случай весьма уникальный. Писатель словно бы обращается не к памяти, но к забвению. Это не расширение, но сужение горизонта. Не сложение, но вычитание эмоции. Таков мир, который Шаламов описывает, и такова проза, которую он пишет. Не столько возможности, сколько ограничения. Ни один писатель, вероятно, не исчерпал в такой мере возможности ограничений[...]

Эта проза работает на удержание чистоты тона, его нейтральности. Любая интонация всегда немного ложна, а в данном случае едва ли не оскорбительна в отношении к материалу. Как загнанный в лагерь человек, эта проза пытается установить последнее равновесие. Любой импульс (а интонация – есть выдох характера, то, что так легко полюбить или возненавидеть) может его нарушить и лишить сил[...] Он подобен древнему сосуду, пролежавшему тысячелетия в земле: одно прикосновение – и все рассыпется.

Нет диктата ни языка, ни приема[...]

Мир Шаламова – абсолютный мир Ньютона, обитатели которого не соотносят свое существование с чем-то другим. Того – нет. Ни в виде жизни, ни в виде смерти. Жизнь не настолько любима, чтобы к

ней стремиться, смерть не настолько страшна, чтобы от нее шарахаться[...]

И так же, как Шаламов чувствовал нравственную недопустимость разговоров на философско-моральные темы, – нам недопустимо говорить о каких-либо нравственных или философских уроках, извлекаемых из его прозы».

Дмитрий Кузьмин, поэт, в полемике с историком литературы и редактором Глебом Моревым

«Варлам Шаламов занимает радикально более высокие позиции, чем Солженицын, что, по моим понятиям, полностью соответствует и литературной, и человеческой справедливости».

«Давно пора... вернуть Шаламову его законное место».

«Колымские рассказы — прелюдии Баха в исполнении великих аутентистов: маленький сухой звук, от которого продирает мороз по коже — и всегда будет продирать, пока свет стоит».

Виктор Ерофеев, писатель

«Солженицын нашел возможным воспеть в ГУЛАГе русскую душу (Иван Денисович). Шаламов («Колымские рассказы») показал предел, за которым разрушается всякая душа. Это было новым, или, во всяком случае, так это прочитывалось. Он показал, что страдания не возвышают людей (линия Достоевского), а делают их безразличными, стирается даже разница между жертвами и палачами: они готовы поменяться местами[...]

Эта смена вех стала для другой литературы принципиальной.

Как и герой рассказа «Тифозный карантин», Шаламов «был представителем мертвецов. И его знания, знания мертвого человека, не могли им, еще живым, пригодиться».

Мертвец все видит по-мертвецки, что становится предпосылкой для остраненной прозы, не свойственной эмоционально горячей русской литературе: «Думал ли он тогда о семье? Нет. О свободе? Нет. Читал ли он на память стихи? Нет. Вспоминал ли прошлое? Нет. Он жил только равнодушной злобой».

Шаламовский ГУЛАГ стал скорее метафорой бытия, нежели политической реальности».

«Дмитрий Бак: – Шаламов – это главный вообще автор 20-го века, может быть, самый крупный русский писатель 20-го века.

Виктор Ерофеев: – Согласен. Вместе с Платоновым».

Михаил Айзенберг, поэт, ответ на анкету

- Кому бы лично вы дали Нобелевскую премию? (не важно, жив этот писатель или уже умер)

– У Нобелевской премии смешанный литературно-общественный статус, поэтому она полагалась бы самому честному писателю прошедшего века – Варламу Тихоновичу Шаламову.

Юз Алешковский, писатель

«Шаламова я всегда воспринимал как гениального писателя-страдальца и продолжаю считать его прозу более художественной и более одухотворенной, чем проза Солженицына. Колымские рассказы больше расскажут будущим поколениям россиян да и других стран (если выживет сама Словесность) о образе человека, выжившего в казалось бы исключительной выживаемости обстановке колымской жизни, чем Узлы АИС, мало кем прочтенные и обреченные на мемориальную прахобразность.

Рассказы ВШ - это пример: невыносимость их содержательной правды подчас такова, что нет лучшего лекарства, дарующего желание жить и поведать людям о фантастическом реализме действительной, по словам Достоевского, жизни, свидетелями которой были миллионы людей не только в лагерях, но и на воле.

Царство Небесное Варламу Шаламову».

Игорь Яркевич, писатель

«Шаламов и Платонов вскрыли не только тоталитарный характер Советской власти, но и классической русской литературы. Оба писателя повисли над непреодолимой пропастью между русским менталитетом и русским литературным дискурсом. И Шаламов, и Платонов ощущали себя писателями "конца литературы", прекрасно понимая, что существующая как великий интеллигентский миф русская литература бежит по замкнутому кругу собственных претензий. [...]

Шаламов, вероятно, самый «экзистенциальный» из русских писателей послевоенной эпохи. Его проза точно соответствует тому, что сказал Адорно: «После Освенцима не может быть литературы». Ша-

ламову не надо было объяснять смысл этой фразы; для него после советских лагерей литературы тоже быть не могло.

Шаламов и не писал «литературу», Шаламов писал «роман» с ударением на первом слоге, что на блатном жаргоне означает не любовную интригу и не художественную форму, а устный ночной рассказ, которым образованный интеллигент занимает уголовников за определенную мзду. Тема рассказа - любая, по выбору рассказчика, лишь бы легко тянулась лагерная ночь.

Шаламов и «тискал» такие романы с ударением на первом слоге, но уже для свободных людей. Неслучайно среди его «Кольмских рассказов» так много повторяющихся сюжетов. Это словно бы все один и тот же «роман», который варьируется, обрастает бесконечными подробностями, а до утра еще далеко.

Шаламов меньше всего претендовал на роль новой Шехерезады в качестве гида по миру лагерей. Шаламов оказался первым писателем «конца литературы», отрефлексировавшим свое место. Литература кончилась, потому что ее интенцией перестал быть социально-исправительный результат».

#### Сергей Солоух, «Время Шаламова»

«Варлам Тихонович Шаламов был задуман величайшим мастером слова. И он не состоялся только потому, что в сложнейший и требовавший непрерывности процесс становления,ковки таланта, внезапно, навсегда, вклинились бессмысленные тюрьма и каторга. А после на схождение всех граней в одну точку просто не хватило времени. Вино не получилось. Наше ученическое счастье – персональная трагедия учителя. Варлам Тихонович Шаламов оказался Эрнестом Х., не потерявшим, не успевшим, свой первый знаменитый чемодан рукописей».

Густав Герлинг-Грудзинский, писатель и общественный деятель (Польша), из дневников

«Шаламов – вероятно, величайший писатель советского «концентрационного мира».

«Шаламов написал более ста рассказов об опыте ГУЛАГа, на мой взгляд, еще более значительных нежели произведения Солженицына.»

«...он никогда не идет дальше краткого, сухого, почти бесцветного отчета об этом чудовищном дне человеческого существования, не поддаваясь искушению прибегнуть к стилю и языку, соответствующе-



му жестокости описываемых фактов (...). Я замечаю у него инстинктивный или сознательный страх перед приманкой впечатляющей брутальной литературы и волю оставаться верным своей памяти. Эта верность так чиста и абсолютна и в то же время так глубоко укоренена в реальности мира Колымы, что придает рассказам Шаламова блеск искусства».

Сергей Довлатов, писатель, из книги «Зона»

«Я немного знал Варлама Тихоновича через Гену Айги. Это был поразительный человек.

...у нас разный лагерный опыт: Шаламов сидел на Колыме, а я охранял заключенных. Поэтому мои сочинения не так драматичны, не так мрачны. Я влияния Шаламова никогда не ощущал, но с большим уважением к нему отношусь ...это не уменьшает моего почтения к этому замечательному писателю».

Светлана Алексиевич, писатель и общественный деятель (Беларусь), из интервью

«Для меня Шаламов - самый большой писатель XX века. Он дал нам картину необъяснимости и обыкновенности зла в человеческой природе».

Юрий Буйда, писатель, из анонса к гипотетической Антологии мирового рассказа

«В нашу антологию вошли бы только те рассказы, которые были созданы в последние 200 лет.

Собранные под одной обложкой, эти рассказы представляли бы яркую панораму мировой литературы, в которой нет ни национальных, ни исторических границ».

Итак, в списке лучших рассказчиков и рассказов, включающих - среди прочих - Акутагаву Рюноске (4 рассказа), Борхеса (5 рассказов), Гоголя (4 рассказа), Зошенко (1 рассказ), Кафку (4 рассказа), Мериме (1 рассказ), Набокова (1 рассказ), Платонова (3 рассказа), Эдгара По (5 рассказов), Хемингуэя (3 рассказа), Чехова (3 рассказа), Мопассана (1 рассказ) и Бунина (4 рассказа), Шаламов представлен четырьмя рассказами: «Стланик», «Апостол Павел», «Поэт» (очевидно, «Шерри-бренди») и «Серафим».

Дмитрий Быков, «Путь сверхчеловека»

«Он верил в проект грандиозного всемирного переустройства. Он верил, что этот проект не ограничится социальными переменами, а непременно закончится антропологическим скачком, то есть отменой человека как проекта, его претворением во что-то иное[...]

Его дневники и записные книжки раскрывают тайну, о которой читатель «Колымских рассказов» догадывался давно: Шаламову не нравятся люди, он не верит в них, они должны быть преодолены[...]

Человек обанкротился, человек зашел в тупик, человека надо переделать, и первым экземпляром такого сверхчеловека Шаламов справедливо считает себя[...]

Сверхчеловеку нельзя рассчитывать на человечность: он выбрал эту нежизнь – ее прожил и ее дожил[...]

Человек выбрал нечеловеческое и остался в нем; ни осуждать этот выбор, ни сострадать ему – невозможно. Он – по ту сторону, в мире, состоящем из льда и камня».

\* \* \*

Андрей Тарковский, кинорежиссер, из «Мартиролога», запись от 13 января, 1986, Париж

«Читаю «Колымские рассказы» Шаламова – это невероятно! Гениальный писатель! И не потому, что он пишет, а потому, какие чувства оставляет нам, прочитавшим его. Многие, прочтя, удивляются – откуда после всех этих ужасов это чувство очищения? Очень просто – Шаламов рассказывает о страданиях и своей бескомпромиссной правдой – единственным своим оружием – заставляет сострадать и преклоняться перед человеком, который был в аду. Данте пугались и уважали: он был в аду! Изобретенном им. А Шаламов был в настоящем. И настоящий оказался страшнее».

Алексей Герман, кинорежиссер

«Шаламов – высший уровень искусства».

Отар Оселиани, кинорежиссер

«Колымские рассказы Варлама Шаламова навсегда останутся Библией, свидетельством неподкупного человека. Не Солженицына творение, в котором полно вранья, а именно они».

Александр Сокуров, кинорежиссер

«Именем Шаламова нужно назвать улицу, если такой до сих пор нет. Нужен памятник этому человеку – он этого достоин, он – великий мученик, за таких надо проливать кровь, биться, возвеличивать».

\* \* \*

Михаил Рыклин, философ

«Планка жизни в прозе Шаламова иногда настолько занижена, что для определения того, жив еще человек или нет, требуется опыт не просто писателя, а врача (специальность Шаламова с 1946 по 1953 год - фельдшер).

Именно имманентность метода писателя, отказ от соблазна глобализации придают этой прозе своеобразный неуступчивый аристократизм. Медленное, болезненное вхождение в мир «Колымских рассказов» требует от читателя немалых усилий, на первый взгляд не давая ему взамен ничего, кроме ужасной вещи, которую Ролан Барт назвал «эйдосом фотографии: «это было в тот самый момент и в том самом месте». Литература с огромными усилиями овладевает здесь непродуктивной логикой смерти. Простое указание пальцем, настойчиво повторяемое «это было, я это видел, я через это прошел» действует сильнее любого разоблачения».

М. Рыклин, «Жить за пределами жизни»

«Редкий писатель в XX веке был в таком долгу у означаемого, как Шаламов, и редко чье означаемое так упорно ускользало от фиксации на листе бумаги. Задачей большинства писателей было выдумать мир, подчинить его законам письма, заставить казаться отражением чего-то (хотя проницательный критик, конечно, знал, что литературные миры автономны). Шаламов же начал писать после того, как семнадцать лет провел в сталинских лагерях, в мире более запредельном, чем фикция, которую способна изобрести фантазия литератора, и его задачей стало не выдумать свой мир, а вспомнить, как было там, внутри того бесчеловечного мира, который почему-то смилоствивился над ним и отпустил к письменному столу. Шаламов прошел через смерть до того, как стал писателем. Акт письма лишь возвращает его к уже испытанной жизни за пределами жизни[...]

«Никакая истина лагеря не открылась ему в готовом виде; мощь этого письма заключалась в воле к вопрошанию, в способности удивляться и ставить вопросы, ответов на которые никто не знал. Домини-

рующее состояние, в которое погружает читателя эта проза, – не праведность, а удивление перед мощью бесчеловечного в человеке».

М. Рыклин, «Клейменный, но не раб»

Ален Бадью, философ (Франция), из интервью

« - Почему часто в одном ряду с Аристотелем, Кантом, Ницше и Левинасом вы упоминаете и Варлама Шаламова? Неужели мысль, выраженная им в художественной форме, имеет такое же важное значение, как и труды столь великих философов?»

- Я бы сказал, что шедевры искусства могут быть важнее, чем шедевры философии. Например, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова постепенно развивают с помощью фигур текста, порой простых и одновременно мощных, идею о вселенной лагерей и депортации, которая поглощает читателя своей интенсивностью, на которую философия не способна. Эта идея гораздо сильнее идеи «тоталитаризма» или любой идеи о «радикальном зле». И эта идея более «настоящая», чем все то, что на эту же тему написал Солженицын. Философ, который хочет дополнить свои идеи результатами советского опыта и сталинизма, должен однозначно читать и размышлять над произведениями Шаламова».

Эдуард Надточий, философ, из дневника

«Солж с удивлением и презрением рассуждал о сталинских жертвах – что система пасовала всюду, где ей оказывали малейшее сопротивление. А сам сидел и не вякал. Шаламов вполне имел основания его презирать. По-моему, Шаламов все сказал на тему о чести и мужестве. Уж он-то имел возможность их проверить в предельных обстоятельствах.[...]»

Безусловно, пока в России не так страшно, как в концентрационном лагере. Но мир этот уже в генах – концентрационный. Чувство собственного достоинства личности в этом мире заканчивается на его границах даже сегодня. Для отвыкшего от жизни в русском мире каждое движение в мире русской повседневности – стирание его личного достоинства, отчасти обретенного в ином мире.[...]

В зону страха надо вглядываться без страха. Холодно, как Шаламов, исходя из слабости человеческой природы, двигаться к внутренней цели, а не искать сверхчеловека. Мужество нужно, чтобы принять ужас этого мира, построенного на растлении, страхе и лжи, чтобы

искать и спасти человеческое внутри его. Мужество видеть этот мир таким, какой он есть – и любить таким, какой он есть.

Вот тогда возникнет возможность не высокомерного, а внутреннего этому миру вопрошания. О философии неравенства, о рабе и боли, о жертве как даримом. Там апории пострашнее кантовских».

Валерий Подорога, философ, из выступления

«Шаламов... выстроил свою концепцию памяти.... [Он] делает литературу свидетельством, то есть тем самым, возможно, завершает опыт реалистического романа русского, утверждая, что литература является средством – не целью, а средством для свидетельства вот этого выдающегося, невероятного, чудовищного события самоуничтожения народа - такое самоотрицание народа, и почему оно было допущено».

Александр Пятигорский, философ, из интервью

«А. П. – [...] Вот Кафка был совершенно нормальный человек. Вот вы читаете его письма: он любил появляться в обществе, любил хорошо одеваться, любил, очень любил совершенно ему запрещенное ледяное шампанское. Больше того, любил – это ему уже была смерть – сигару выкурить. Любил приятную беседу.

М.С-Н. – Ну да. А наши дедушки любили лес валить. На Колыме.

А. П. – Ну, знаете. Ну валили лес на Колыме, и вдруг появляется простой гениальный человек, который это описывает. Варлам Шаламов. Гениальный же человек.

М.С-Н. – «Нормальный»?

А. П. – Абсолютно нормальный. Понятие нормы выкристаллизовывается в уме людей всегда с учетом времени и места. И это вещь очень тяжелая и сложная».



Дмитрий Нич

**Московский рассказ. Жизнеописание Варлама Шаламова, 1960-80-е годы**"– Личное издание, 2011. – 454с. PDF

Корректурa, предисловие, примечания Дмитрия Нича

Оформление И.Г.

В оформлении обложки использована графическая работа Альфреда Кубина

Личное издание, 2011